9 1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

9 СЕНТЯБРЬ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

Из вьетнамской прозы

ЛЕ ЧИ КИ — Вечер в Храме Литературы *(Рассказ. Перевод И. Глебовой)* 3

ХЮИ ФЫОНГ — Бомба замедленного действия *(Рассказ. Перевод И. Глебовой)* 10

ВО ХЮИ ТАМ — Парус *(Рассказ. Перевод Н. Никулина)* 19

ПИТ ВАН АКЕН — Спящие собаки *(Роман. Перевод и послесловие В. Ошиса)* 25

ЭВА ШТРИТТМАТТЕР — Стихи *(Перевод Ирины Грицковой и Риммы Казаковой)* 95

ДЖОН О'ХАРА — Дело Локвудов *(Роман. Продолжение. Перевод К. Чугунова)* 98

Литературное наследие

ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ — Стихи *(Вступление И. Фильштинского. Перевод Евгения Винокурова)* 182

Критика

ЯН КОЗАК — За социалистическую литературу, за нового человека *(Перевод Л. И. Басильевой)* 187
В. ЧЕРНЫШЕВ — От средневековья к современности 208

Что читают сегодня

ЛУИС МЕРИНО РЕЙЕС — Первые шаги 213

Отклики, встречи, впечатления

Задачи и возможности литературной критики (На Международном конгрессе в Реймсе) 216

Культура и современность

Заметки на полях

Л. Долгошева — Писатели в поисках персонажей... В. Лебедев — И все-таки реализм! А. Галкин — «Софистические забавы» (О некоторых высоконаучных попытках доказать недоказуемое) 232

Публицистика

К 50-летию СССР

КАРЛ ГРЮНБЕРГ — От тайги до Кавказа *(Перевод Э. Венгеровой и Е. Минкиной)* 243

Экран и время

А. КАРАГАНОВ — У итальянских кинематографистов 249

Среди книг

Издано в СССР

Н. Федоренко — Поэтическая антология «Манъёсю» 260

Издано за рубежом

Димитр Кирков — Проникновение в болгарский характер. Илья Константиновский — Новая ветка могучего дерева. Вл. Вавилов — Нигерия: роман из послевоенного времени. Николай Пальцев — Оттенки благодушия, или Метаморфоза «сердитого» писателя 263

Из месяца в месяц

271

Авторы этого номера

287

На обложке: Лукас Кранах-старший. «Портрет Морица Саксонского» (К 500-летию со дня рождения художника)

На цветной вкладке: «Голубое и розовое» (Из нового альбома Пикассо)

Из вьетнамской прозы

ЛЕ ЧИ КИ

Вечер в Храме Литературы

Фидеос подошел к письменному столу, заглянул под настольную лампу и удовлетворенно усмехнулся. Деньги, как он и предполагал, исчезли... Он оставил их под лампой накануне, чтобы отблагодарить этого парня. Ну и что ж! Как ни говори, а тот все же капельку честнее других... Фидеос почувствовал облегчение. Словно гора упала с плеч. Словно он заплатил, наконец, старый долг. Всю эту неделю Фидеоса томило беспокойство, которое усиливалось по мере приближения дня отъезда на родину. И все оттого, что ему никак не удавалось отблагодарить этого человека... Теперь, кажется, все в порядке. Больше не о чем беспокоиться... Но тут Фидеос с удивлением обнаружил, что опять думает о нем и снова — уже в который раз — пытается разобраться в противоречивых чувствах, которые к нему испытывал.

Турист, проделавший путь от самой Греции, казалось бы, должен привыкнуть к повадкам всяких гостиничных служащих. Нельзя сказать, чтобы все они были схожи. Попадались такие, которые все делали кое-как, наспех. Многие лебезили и заискивали — авось что-нибудь да перепадет... А еще больше было нечистых на руку, которые так и норовят стянуть у проезжего иностранца то деньги, то какую-нибудь вещицу. Обогащенного опытом туриста не нужно учить уму-разуму. Оказавшись в очередной гостинице, он ведет себя настороженно, присматривается, выжидает... по крайней мере, на первых порах.

Приехав во Вьетнам, Фидеос не стал пренебрегать старым опытом. Едва получив номер в гостинице, он соорудил целую систему ловушек. Всюду, где мог, сделал только ему одному понятные отметины, наладил хитроумные и совершенно незаметные приспособления. Не обнаружив в первые дни за гостиничным служащим, убиравшим его номер, никаких грешков, Фидеос затеял более дерзкую игру: оставив как бы невзначай ключи от чемоданов, он не появлялся в номере весь день. Когда же, наконец, вернулся, его взору предстала забавная картина: бедняга восседал на стуле перед его номером, добровольно взяв на себя роль стража. Правда, он был занят каким-то делом. Фи-

деосу показалось, что он переписывал что-то, похожее на стихи, в блокнот с синей обложкой. Увидев постояльца, парень закрыл блокнот, поднялся со стула и как-то очень просто сказал:

— Ключи от номера есть не только у нас с вами. До вас в этом номере побывала не одна сотня людей, и ключи терялись не раз... Хорошо, что сегодня у меня выходной... Вот и караулил ваши чемоданы.

Никак не ожидая, что собственная подозрительность так обернется, Фидеос пришел в замешательство. Он покраснел до корней волос, потянул к себе блокнот в синей обложке и дружелюбно улыбнулся:

— Я всегда отличался... рассеянностью, извини меня! Что это у тебя? Кажется, стихи?

Вопрос застал парня врасплох. Он смутился и спрятал блокнот в карман. Вид у него был такой, словно его поймали на месте преступления.

В другой раз Фидеос намеренно оставил деньги в кармане рубашки, которую нужно было отдавать в стирку. Ему была очень хорошо знакома привычка гостиничных служащих обшаривать карманы вещей, сдаваемых в стирку. Велик ли грех прихватить какую-нибудь мелочь, забытую постояльцем в кармане по оплошности! Тем более для этого парня: кроме казенной формы белого цвета, которая, надо сказать, удивляла Фидеоса своей белизной, у него был один-единственный костюм — если только можно назвать костюмом видавшие виды изрядно вылинявшие хлопчатобумажные штаны и рубаху коричневого цвета... Но каково же было изумление Фидеоса, когда минуту спустя парень вернулся с деньгами. Бросив на ходу: «Вы это забыли в кармане», он исчез так же быстро, как и появился, не дав туристу опомниться. Подобные случаи повторялись изо дня в день, и в конце концов Фидеос со спокойной душой отказался от всех своих хитроумных ловушек. Парень явно начинал ему нравиться. Однажды, когда он собрался в город по делу, Фидеос запросто протянул ему деньги и добродушно сказал:

— На вот, возьми себе на выпивку!

Парень залился краской, потом побледнел. Фидеосу пришло на ум, что он слишком поскупился и тем самым обидел человека. Желая исправить свою оплошность, он поспешно достал еще несколько бумажек. И вдруг заметил, каким недобрым стал взгляд этого парня — словно в его внезапно потемневших глазах вспыхнули злые огоньки. От такого взгляда Фидеосу сделалось не по себе, и он молча сунул деньги обратно.

Если разобраться, отказ парня от положенного вознаграждения не должен был особенно удивить Фидеоса. Разве не приходилось ему встречать среди гостиничных служащих честных и добросовестных людей? Утверждать, что таких можно было бы пересчитать по пальцам, значило бы покривить душой. Но честность этого вьетнамского парня была не просто одним из свойств натуры. Его честность была совершенно неотделима от всей его сущности, пока еще мало понятной туристу из далекой Греции.

Фидеос настолько привык ежедневно видеть парня в гостинице, что порой почти не замечал его присутствия. Но постоянная заботливость его не могла оставаться незамеченной... Каждый раз, возвращаясь с прогулки, Фидеос находил свою комнату не такой, какой ее оставил. Постельные принадлежности всегда были свежими, обувь аккуратно расставлена на коврике, чайный сервиз на столе безукоризненно чист, полотенца на специальной вешалке — снежной белизны. В ванной комнате все сверкало, начищенное до блеска. А на подоконнике неизменно стояла ваза со свежими гладиолусами, любимыми цветами Фидеоса.

Порой Фидеосу становилось как-то не по себе от того, что заботы о нем простираются дальше обычного обслуживания приезжего иностранца. У него было такое чувство, словно его опекают по крайней мере как родственника, как близкого человека. Но, приглядываясь к парню, окружившему его такой заботой, Фидеос не находил в нем ничего особенного. Обыкновенный парень... Занимаясь своим делом, он был усерден, как пчела, молчалив и сосредоточен, как муравей. В свободное время он удалялся в свою каморку, сбрасывал стесняющую движения одежду европейского покроя, переодевался в вылинявшие коричневые штаны и рубаху и растягивался на кровати с блокнотом в руках. Записав что-то в своем блокноте с синей обложкой, он откидывал голову и читал нараспев. В такие мгновения его душа словно устремлялась в какой-то иной мир, далекий и необъятный, лицо принимало отрешенное выражение. Но стоило Фидеосу окликнуть его за дверью, как он вскакивал, словно подброшенный пружиной, засовывал блокнот под подушку и только тогда открывал. Фидеос не раз испытывал неловкость за свое непрошеное вторжение в мир сокровенных чувств другого человека...

Как бы там ни было, парень хорошо делал свое дело, и на него спокойно можно было положиться. Мало-помалу Фидеос стал относиться к нему с нескрываемой симпатией и беседовал с ним вполне откровенно. И вот, наконец, наступило утро, когда он проснулся с мыслью о том, что его пребывание во Вьетнаме подходит к концу: до отъезда оставался только один день. Фидеос снова с признательностью подумал об этом парне, который в течение целого месяца заботливо обслуживал и усердно его опекал. Поразмыслив некоторое время, он положил в конверт довольно приличную сумму, написал несколько теплых строк и, сунув конверт под настольную лампу, отправился в Храм Запада — ему не хотелось бы вынуждать человека брать деньги у него из рук...

Фидеос нажал на кнопку звонка и в задумчивости подошел к окну.

Летний день в тропиках. Ясное, синее небо, уходящее в беспредельную высь. На вековых деревьях вдоль улиц играют солнечные блики — словно золотые зайчики резвятся в густой листве. Вот целый сноп золотых лучей заискрился ослепительным сиянием... Фидеос снова и снова представлял себе Храм Запада с его древними ступенями, выщербленными дыханием веков... А бухта Ха-Лаунг? Ее невозможно забыть... Или Пагоду благовонных следов... Уже в первую неделю он увидел так много необычного, что был вполне удовлетворен своей поездкой. Нет, не зря он пустился в столь дальнее путешествие. Не зря... Но теперь, когда остались считанные часы, к чувству удовлетворенности присоединилось какое-то новое, тревожное ощущение... Оно появилось сегодня утром там, в Храме Запада... В последнюю минуту легкое, приподнятое настроение неожиданно сменилось грустными раздумьями о том, что он еще бесконечно далек от подлинного понимания этой страны. Природа вокруг Храма Запада неброская и обычно не вызывает у туристов восторга, но зато статуи буддийских святых... они просто великолепны. Каждая линия, каждая деталь наводит на глубокие раздумья... Фидеос долго не мог расстаться с деревянной статуей архата[1]. Едва сдерживая почти болезненное волнение, он снова и снова возвращался к статуе. Какие у нее руки... И это всего лишь копия! История исчезновения подлинника для Фидеоса так и осталась загадкой, но и копия — ис-

[1] Архат — согласно буддийским представлениям, один из шестидесяти учеников Будды, которые благодаря общению с ним достигли состояния, позволяющего прервать цепь рождений и смертей, обусловленную судьбой (кармой)

тинный шедевр! Прошло несколько часов, а Фидеос все еще был здесь, не в состоянии оторвать взгляда от этих рук — сухих и жилистых, но таких живых и гибких, словно в каждой жилочке билась теплая кровь. Ничего подобного ему не приходилось видеть. Фидеос попытался представить себе вьетнамского художника, несколько веков назад дерзнувшего создать эти прекрасные руки... И не смог. Именно эти руки, гениально воспроизведенные неизвестным художником, приблизили Фидеоса к пониманию, пусть иллюзорному, души вьетнамца тех далеких времен... Или это всего лишь самообольщение? Но разве статуя Венеры Милосской не дает ключа к пониманию души гениального художника Древней Греции, его родины?

Храм Запада Фидеос покинул, полный совершенно новых ощущений: Вьетнам и его народ стали ближе, понятнее...

Фидеос отозвался на стук в дверь. А, вот и он.

— Скоро будем с тобой прощаться, дружище. Через шесть часов я навсегда покину Вьетнам. Жаль... но что поделаешь? Ты мне ужасно нужен, набралась куча дел.

С этими словами Фидеос раскрыл чемоданы и принялся укладывать в них вещи, беспорядочно разбросанные по всей комнате, исподволь наблюдая за парнем: чего доброго, он снова попытается незаметно вернуть деньги, как проделывал уже не раз. Но тот держался как ни в чем не бывало. Разве что, показалось Фидеосу, был на этот раз особенно прилежен и проворен. Заметив, что парень собирается убрать в шкаф чайный сервиз и другие казенные вещи, Фидеос сказал:

— Подожди, я ведь поеду на вокзал только в десятом часу, все это еще понадобится!

Секунду поколебавшись, парень ответил:

— Хорошо. Но только когда будете уезжать, не забудьте сдать дежурному ключи от номера. А я вернусь в десять часов, тогда и приберу.

— Стало быть, ты не проводишь меня?

— Мне очень жаль, но вечером у меня дела, когда вернусь, вряд ли вас застану.

И только сейчас Фидеос сообразил, что не только заботы о его персоне занимали парня. Выражение его лица в этот момент напомнило Фидеосу лица знакомых ему страстных любителей футбола, которые торопились поскорее разделаться с домашними делами, чтобы не опоздать на стадион. Фидеос понимающе улыбнулся:

— Ну что ж, убирай все сейчас, чтобы уйти пораньше. Я и забыл, что сегодня суббота. Тебе небось надо купить что-нибудь детишкам, да? И жена, наверное, надавала всяких поручений? Ничего, мы с тобой мигом управимся. Я ведь тоже задумал одно дело, но еще, пожалуй, рановато — и пяти нет!

Когда все было собрано и уложено, парень достал из кармана небольшой сверток:

— Это для вашей жены. Денег, которые вы оставили, как раз хватило.

Фидеос развернул сверток и страшно обрадовался. Это была шкатулочка для женских украшений. Живопись по лаку. Он много раз просил парня купить такую, но как назло их мгновенно раскупали. Это было именно то, о чем он мечтал. Как хорошо, что парень не забыл его просьбу. Видно, такую вещицу раздобыть не так-то просто.

Растроганный, Фидеос оторвал взгляд от изящной вещицы, он был преисполнен благодарности... Но парня уже и след простыл: он сбежал по лестнице и растворился в уличной толпе. И опять Фидеос остался у него в долгу...

Его охватило горькое чувство сожаления и раскаяния: все его суждения об этом человеке были весьма приблизительны. Что и говорить, он подходил к нему с меркой более чем примитивной. Честный, добросовестный, приветливый, этот человек был похож на многих гостиничных служащих, с которыми ему приходилось иметь дело. Но что-то его отличало от всех остальных, и это «что-то» было очень важным, существенным...

Теперь, когда до отъезда остались считанные минуты, Фидеос удрученно признался себе в том, что совершенно не понимал человека, с которым ежедневно общался в течение целого месяца. И что еще хуже, своим поведением не раз его обижал. Какими неуклюжими показались ему теперь собственные ухищрения!

Солнце клонилось к закату. Фидеос встрепенулся, вспомнив о деле, которое оставил напоследок. Договорившись с администрацией гостиницы, чтобы багаж доставили на вокзал, и оставив в номере только маленький чемоданчик, он оделся и вышел на улицу. Этот парень не выходил у него из головы — не хотелось уехать, оставшись в долгу перед ним. Долг совести... Фидеос собирался уже сесть в машину, когда ему на ум пришла неплохая мысль. Он поспешно вернулся в номер, схватил лист бумаги и торопливо написал несколько строк, затем, помедлив секунду-другую, снял с пальца кольцо, положил его в конверт и сунул под настольную лампу. Кольцо не было обыкновенной безделушкой. Золото весило около трех донгканов [1], дорогой камень играл тонко и искусно отшлифованными гранями. Фидеос подумал, что такая вещь не идет ни в какое сравнение с чепуховыми подарками, которые он делал раньше. Может быть, это кольцо поможет парню существенно изменить образ жизни, представлявшийся Фидеосу весьма примитивным. Но важнее всего было то, что ради этого парня он, Фидеос, не пожалел расстаться со своим обручальным кольцом... Он принял его из теплых и дрожащих рук своей невесты во время венчания в церкви... и был уверен, что жена поймет и одобрит его поступок. Да и перед парнем не стыдно. Фидеос все хорошенько продумал: теперь-то парню не удастся вернуть подарок, потому что в десять часов он будет уже далеко...

А сейчас он может со спокойной совестью отправиться в Храм Литературы послушать, как декламируют стихи. Он давно об этом мечтал. И именно это оставил напоследок. Предварительно он тщательно изучил литературу, которую удалось раздобыть, но только сегодня вечером увидит все собственными глазами...

Шумная улица как-то сразу осталась позади, едва Фидеос ступил за ворота с тремя арками. Он благоговейно поднялся по древним ступеням, охраняемым каменными драконами, которые замерли здесь в своих угрожающих позах еще со времен императоров Ле [2]. Фидеос был ошеломлен: он внезапно попал в совершенно иной мир, сказочный и таинственный. Кто бы мог подумать, что совсем рядом, за стенами — шумный город. Поэтические лужайки, уже окропленные вечерней росой, величественные вековые деревья с темно-зелеными кронами, теряющимися в бездонной глубине темнеющего неба, спокойная поверхность пруда под плотным слоем ряски, еле различимые тропинки, усыпанные прелыми листьями,— все это показалось ему миражем, зыбким и эфемерным... Но уже в следующее мгновение он ощутил реальность всего окружающего: зеленые кроны, сливаясь с тенями надвигающихся сумерек, как бы растворялись в бездне неба, однако древние сооружения, порталы с тремя арками

[1] Донгкан — единица веса, равная 3,7301 грамма.
[2] Императоры династии Ле правили с начала XV до конца XVIII в.

замшелая черепица крыш — все это, напротив, приняло удивительно ясные, четкие очертания. Призрачный и вместе с тем вполне осязаемый мост в давно ушедшие века...

Стараясь ступать осторожно, Фидеос миновал еще несколько ворот с тремя арками, обогнул справа сооружение, не очень высокое, но легкое и строгое, основанием которому служили четыре кирпичные колонны. Прочел надпись: «Беседка изящной словесности». И выйдя по ту сторону беседки, замер, пораженный открывшейся его взору удивительной картиной: перед ним была аллея каменных стел с иероглифическими надписями.

Это была широкая аллея, которая казалась еще просторней в свете уходящего дня. С двух сторон поднимались величественные и безмолвные стелы, уходившие своими основаниями в зеленую траву. Фидеос знал, что на них высечены имена прославленных писателей, поэтов, ученых, политических деятелей страны. Он прочитал об этом в книге по истории Вьетнама. И вот сейчас, среди безмолвия Храма Литературы, окруженный расплывчатыми тенями летних сумерек, Фидеос не может освободиться от странной тревоги, охватившей его. Эти ученые-конфуцианцы пяти столетий, эти писатели и поэты словно ожили и окружили его тесной толпой, такие близкие и реальные и вместе с тем такие далекие, по-своему утонченные, недоступные пониманию... Словно на минуту приоткрылась и тут же захлопнулась дверца в прошлое, в те дни, когда был построен Храм Литературы... Тысячу лет назад, после заката древней греческой цивилизации, когда над доброй половиной мира уже нависла мрачная тень длинной средневековой ночи, где-то на краю света в небольшой стране люди построили ансамбль великолепных дворцов и храмов, куда должны были стекаться самые талантливые, самые образованные люди, чтобы порассуждать об изящной словесности. Одни династии сменялись другими, вырастали новые дворцы и храмы, восхищая и изумляя своим величием все новые и новые поколения,

Фидеос обратил внимание на то, что все стелы обращены к колодцу в центре аллеи — небольшому квадрату, выложенному цветным камнем. В зеркальной глади колодца причудливо преломлялся тусклый свет уходящего дня, а где-то в глубине его мерцало отражение грациозной и величавой Беседки изящной словесности.

Позади себя Фидеос услышал шепот, сдержанные голоса — очевидно, он начал привлекать внимание, слишком долго задержавшись здесь. И он поспешил дальше, миновал внутренний дворик, выложенный кирпичом, обошел еще два сооружения и очутился в другой части Храма, которая сначала показалась ему совершенно незнакомой. Здесь сохранились лишь основания древних сооружений. Повсюду виднелись следы разрушений, оставленные колонизаторами. На просторных основаниях, выложенных каменными плитами, стояли вазоны с декоративными растениями — карликовыми деревьями. На каждом вазоне табличка с указанием имени человека, подарившего дерево Храму. Фидеос с любопытством прочел: «Фикус. 106 лет. От почтенного Нама из Нам Донга», «Карамбола, 99 лет...» Их было много, этих карликовых деревьев, вазоны с ними стояли даже на отдаленных дорожках. Внимание Фидеоса привлек небольшой каменный бассейн на деревянной подставке и в центре его — имитация скалы с карликовым деревцем. А вот и надпись: «Сосна. 477 лет. От почтенной Тьионг с улицы Дой-кан». Это уже был не декоративный вазон, а кусочек самой вьетнамской земли, символ вьетнамской души. Деревце, поднимавшееся от земли всего лишь на пару ладоней, носило на себе печать почти пяти столетий: кора покоробилась и загрубела, веточки напоминали высохшие пальцы дряхлого старца, и все же

кое-где пробивались пучки свежих зеленых иголочек. Деревце продолжало жить. Уходя корнями в миниатюрную скалу — кусочек вьетнамской земли,— деревце спокойно и гордо смотрелось в гладь маленького бассейна, подернутую еле заметной рябью. Фидеос подумал о почтенной Тьионг. Почти пять столетий назад соотечественник этой женщины — наверняка одной с ней крови — начал проращивать семечко сосны в этой маленькой скале, частице вьетнамской земли. С тех пор утекло немало воды. Войны сменялись мирными временами, вслед за упадком наступал расцвет, рабская зависимость безвозвратно уходила в прошлое, уступив место славным свершениям, на смену разъединенности пришло объединение... Исчезло все, что представляло ценность для человека, вырастившего деревце: дом, земля, могилы предков. Имя его забылось. Осталось только вот это деревце, которое переходило от одного поколения к другому. Оно уже перестало быть обыкновенной карликовой сосной, оно стало живой душой, живым символом непрерывной цепи поколений... Почтенная Тьионг, как и сотни тысяч подобных ей, сохранила для других кусочек жизни тех поколений, и эта жизнь не погибла, несмотря на все старания захлебывающихся от злобы колонизаторов истребить, извести вьетнамский народ, вытряхнуть из него самое дорогое — его душу.

Фидеос так глубоко ушел в свои раздумья, что очнулся только тогда, когда вспыхнули электрические фонари. Он медленно направился назад.

Обогнув Храм больших церемоний, Фидеос остановился как вкопанный: широкий мощеный двор был битком набит народом. В середине люди сидели, тесно прижавшись друг к другу. По бокам они стояли плотными рядами, заполняли открытые пристройки к Храму и все три арки Великих крепостных ворот. Вглядевшись, Фидеос заметил в толпе и старцев с седыми бородками, и совсем еще юношей. Нарядные нейлоновые рубашки и затрапезную коричневую одежду. Бантики в волосах школьниц и бархатные валики, поддерживающие шиньоны молодых женщин. Парусиновые шлемы рабочих и очки в золоченой оправе, которые так импонируют интеллигентам. Пожилых людей и совсем еще зеленую молодежь... Вся эта масса людей застыла в торжественном ожидании. Все с напряженным вниманием смотрят в сторону Храма больших церемоний — туда, где под черепичным навесом мерцают золоченые иероглифы горизонтального панно. Фидеосу известен смысл изречения: «Прошлое и настоящее ясны, как солнце и луна». Под иероглифами установлен небольшой деревянный помост. Все очень просто, никаких украшений, ничего лишнего. Вот на помосте появился седеющий человек лет пятидесяти. Наверное, поэт. Он читает стихи чуть глуховатым голосом. Фидеос не знает их автора. Он внимательно вслушивается, пытаясь уловить хотя бы общий их смысл,— на первых порах это ему не удается. Но вот до его сознания доходят отдельные сравнения, и этого достаточно, чтобы почувствовать необыкновенную образность и выразительность стихов. Фидеоса охватывает радостное волнение. Он переводит взгляд на слушателей. Они словно замерли. Тишину нарушает шум приближающегося трамвая из Хадонга. У стен Храма Литературы трамвай замедляет ход, затем быстро катит по рельсам к Озеру возвращенного меча. А мелодичные стихи звучат все проникновеннее, они хорошо слышны даже в самых отдаленных уголках. Люди слушают с жадным вниманием. Звуки слетают с губ поэта и как бы растворяются на полураскрытых губах слушателей, отражаются в блеске их глаз... Распустившийся миндаль молча внимает поэту, тихонько шелестят густой листвой вековые деревья

И этот древний храм, и вековые деревья, и мелодичные стихи в вечерней тишине — все вновь показалось Фидеосу волшебной сказкой. И это бездонное небо — вьетнамское небо... В какой-то момент его темная, почти черная синева напомнила Фидеосу густую синеву Средиземного моря. Накренившийся серп луны удивительно похож на древнюю ладью, зарывшуюся носом в сердитые волны.

У Фидеоса зарябило в глазах. Все вокруг разом стало как-то понятнее и ближе. В воображении промелькнули далекие образы Древней Греции, его родной страны. Наверное, его предки две тысячи лет назад с таким же упоением слушали стихи Гомера под рокот волн Средиземного моря...

И тут Фидеос увидел знакомое лицо. Это он! Фидеос едва успел подавить возглас изумления. Он сидел возле дерева с могучим, в два обхвата, стволом, которое называют железным деревом. Совсем рядом с деревянным помостом. Наверняка он пришел сюда намного раньше других, чтобы занять место поближе к чтецам. И вот теперь-то Фидеосу стало ясно, куда так спешил этот парень накануне.

Он сидел, прислонившись спиной к стволу, ловя каждое слово. Иногда наклонялся и что-то быстро записывал в блокнот с синей обложкой, лежавший у него на коленях.

И только теперь Фидеос осознал, что этот человек стал ему понятен. Да, теперь он мог с уверенностью сказать себе, что понимает его. Никогда еще Фидеосу не приходилось видеть лица этого парня таким возбужденным и одухотворенным. Выражение грусти непостижимо быстро сменялось радостным, почти ликующим, гнев — задумчивой меланхолией... Сам того не замечая, он то хмурился, то по-детски смеялся... Все его лицо словно светилось, особенно глаза, и в этот момент он был прекрасен. А высоко над ним, под черепичным навесом, мерцали золоченые иероглифы: «Прошлое и настоящее ясны, как солнце и луна».

Фидеос молча направился к выходу. Выйдя за ворота, он сел в машину и на предельной скорости поехал к гостинице. В мгновение ока преодолел он все тридцать шесть ступенек, влетел в свой номер, приподнял настольную лампу, схватил конверт и спрятал в маленький чемоданчик. А немного успокоившись, отправился на вокзал. Прежняя мысль не выходила у него из головы: он уезжает, оставшись в долгу перед этим парнем...

ХЮИ ФЫОНГ

Бомба замедленного действия

И вот все решилось... Лам вызвался выполнить «особое поручение» вместо Хао, и командование части, взвесив это предложение, одобрило его. Все произошло так быстро, что, выходя из палатки, в которой размещалось командование части, Лам ошеломленно подумал: а не слишком ли дерзкое решение принял он?

В этой части так повелось, что все командиры, в том числе и

Тхан, командир отделения, имели обыкновение быстро принимать решения. Лам не был уж вовсе никчемным малым, но среди других бойцов ничем не выделялся. Он умел прилежно работать. Во время ожесточенных воздушных налетов не было случая, чтобы Лам сбежал с боевых позиций. Но и только. На большее, казалось, он и не способен. Помимо обычных качеств, присущих всем товарищам Лама, в его характере не было ни одной сколько-нибудь примечательной черты. До сих пор он ни в чем не проявил инициативы, не совершил ни единого героического поступка. Делал что положено... И все молчком, молчком... Про него говорили: «Равнодушный какой-то парень...» В конце концов он и сам стал считать себя таким.

И вот сейчас, совершенно неожиданно даже для самого себя, Лам решился на такое дело, которое никак не назовешь обычным. Он добровольно вызвался обезвредить бомбу! Всякому понятно, какое это опасное дело, тем более если берешься за него впервые.

Сначала товарищи по отделению не приняли это известие всерьез. Больше всех горячился Тхан, командир отделения. Он придирчиво оглядел Лама и накинулся на него с вопросами:

— А ты как следует подумал? Нет, ты скажи: ты действительно все обдумал?

— Так точно!

— Но всем нам не по себе... страшновато за тебя. Ведь никогда тебе не приходилось этим заниматься. А без опыта...

— Ну, кое-какой опыт есть. А скалы, которые я взрываю, разве это не то же самое? В общем, одно и то же... ничего особенного.

В ответ на это Тхан только фыркнул. Он и сам еще был очень молод. Лицо мальчишески пухлое, над верхней губой едва пробиваются редкие усики. Пожалуй, он был даже моложе Лама. Любопытно, откуда у Лама эта самоуверенность... даже строптивость? Совсем на него непохоже. Тхана охватило радостное чувство, но он тут же сдержал себя, подумав о серьезной ответственности, которая ложится на него, постарался придать своему лицу как можно более строгое выражение и снова напустился на Лама:

— Никакой самодеятельности не должно быть, понимаешь? На тебя смотрит вся наша часть, и от успеха этого дела зависит многое. Ты понимаешь, на какой риск идешь?..

Лам усмехнулся: как будто он и сам не понимает... Любит Тхан поучать, а зачем? Ламу хоть и не приходилось иметь дела с бомбами этого типа — он и в глаза их не видел, но предостаточно наслышался об их силе. Девушки из второго отделения, Хюе и Ну, рассказывали, что эта чертова бомба очень больших размеров — ну прямо кит! Она лежит на дороге, зарывшись головой в землю, а хвостовое оперение задрано вверх — настоящее чудище! По-видимому, девчонки считали Лама парнем глуповатым и трусоватым и получали немалое удовольствие, пугая его. Но только зря они старались нагнать на него страху: он и сам понимал, что любая бомба замедленного действия, а тем более такая — это тебе не перезрелый плод хлебного дерева, сорвавшийся в саду с ветки. Он не был смельчаком, но вот уже без малого шесть месяцев только и делал, что ремонтировал дорогу здесь, на горячем участке фронта, и постепенно привык, даже обрел какую-то нечувствительность ко всяким бомбам и снарядам. Конечно, становится не по себе, когда этакий американский «гостинец», с воем раздирая воздух, обрушивается на землю и разрывается на твоих глазах где-нибудь поблизости: стальные осколки проносятся прямо над головой... но пока все обходилось благополучно. Потом Лам, как и другие, преспокойно отряхивал землю с одежды и снова принимался за свое дело. Но бомба замедленного действия! Она залегла

там, как кровожадный зверь, подстерегающий свою добычу, а ему нужно приблизиться к этому зверю, ощупать его пышущее злым внутренним жаром тело, с величайшими предосторожностями выгрести под ним землю, чтобы заложить мины, установить взрыватель... И откуда ему знать, в какое время должен сработать механизм, установленный в этом мерзком теле из железа и стали, чтобы сотни килограммов смертоносного металла разлетелись в разные стороны... Они могут разорвать и его. Лам подумал о своей матери... Она волновалась всякий раз, когда Лам начинал шмыгать носом, схватив насморк. Что было бы с ней, если б она узнала, на какое дело он решился...

Хватит, об этом больше не надо думать. Все обстоит гораздо проще: бомбу нужно обезвредить до наступления темноты, чтобы открыть путь для продвижения наших войск. Этим должен был заняться Хао, «сапер номер один» — так звали его в части. Но Хао расхворался, ему никак нельзя поручать сейчас такое дело. Остался Лам, который неплохо наловчился взрывать скалы — тут уж он никому не уступит. Кого же посылать? Конечно его, больше некого.

Когда эта мысль пришла Ламу в голову, он на какое-то мгновение оцепенел от ужаса. Но уже в следующую минуту принятое решение полностью завладело им, и он почувствовал не ужас, а странный трепет, надежду... Нет, это была не надежда, а настойчивое желание, потребность сделать что-то свыше своих сил — именно поэтому он уже ни за что не отказался бы от принятого решения, оно завладело всем его существом, неотвязно-заманчивое, увлекающее...

И только уложив в сумку мины и взвалив на плечо железную лопату, Лам по-настоящему осознал всю серьезность задания, которое ему предстоит выполнить. Все отделение было в сборе, за исключением Хао.

— Смирно!

Когда Тхан, строгим голосом подав команду, выстроил отделение, чтобы попрощаться с ним, Лам почувствовал, что от смущения и волнения лицо его запылало. Ему очень хотелось пошутить или хотя бы улыбнуться — чего ради устраивать такие церемонии? Он постарается быстро управиться — и мигом назад! Но всмотревшись в сурово-торжественные лица бойцов, Лам прикусил язык, слова застряли у него в горле. Вот они, его товарищи: Тхан, командир отделения, всегда серьезно относящийся к любому делу, но такой ребячливый в часы отдыха; Лак, который пришел к ним из седьмого класса,— вечно он что-то мастерит, сверлит, пилит, за что и получил прозвище Инженер и вполне его оправдывает; а вот и Туан, самый веселый и озорной парень в отделении, с которым Лам делится своими сердечными тайнами. Но, странно, от его обычной насмешливости и говорливости не осталось и следа. Его полные губы плотно сжаты — Ламу это кажется непривычным,— только чуть раскосые глаза часто-часто моргают, в них удивление и еще что-то невысказанное...

Величественный хребет Чыонг-Шон, поросший густыми джунглями, гордо вздымается ввысь в лучах послеполуденного солнца. Темные стволы деревьев, прозванных за необыкновенную прочность древесины железными деревьями, напористо пробиваются сквозь густые, непроходимые заросли — причудливые сплетения ветвей и замшелых корней, которыми сплошь покрыты склоны гор. Верхушки деревьев теряются в беспредельной вышине неба. Джунгли в эту пору наполнены буйной жизненной силой. За десять с лишним дней непрерывных яростных бомбардировок были уничтожены сотни вековых деревьев, выжжены целые бамбуковые рощи. И все же сей-

час, в лучах заходящего солнца, завалы из мертвых деревьев с печальной пожухлой листвой тонут в бескрайнем сплошном море яркой свежей зелени. А где-то рядом продолжается жизнь: травянистые лужайки вытоптаны проходившими здесь людьми, на сырой земле следы колес, и целые стайки пестрых бабочек то порхают над топкими зарослями болот, то замирают разноцветным трепещущим ковром на зеленом болотном бархате.

Тишина этого необъятного зеленого моря нарушается рокотом горного водопада, спрятавшегося в темной расселине, время от времени откуда-то издалека словно раскаты грома доносятся взрывы бомб. Все живое молчит. Джунгли стоят безмолвно, словно затаив дыхание. Это молчание оглушает Лама, обрушивается на него незримыми волнами.

По этой тропинке Тхан каждый день водил свое отделение, и Лам не замечал тут ничего особенного. Но сейчас, когда он очутился здесь один, все вокруг показалось ему совершенно иным, почти незнакомым. Словно все стало более внушительным, более значительным. От выщербленных валунов вдоль тропинки, израненных пулями и снарядами, до подгнивших, рухнувших стволов деревьев вдоль ручья. Размышляя о работе, которую ему скоро предстоит проделать, Лам попытался — уже в который раз — четко представить себе каждый шаг, каждое свое движение в момент, когда он дойдет до места и приметсяся за дело. Но теперь принятое решение стало реальностью, и как-то само собой исчезло приподнятое настроение, остыл горячий порыв, охвативший его всего несколько минут назад, когда он стоял перед Тханом.

Спускаясь с холма, Лам вдруг заметил, что небо словно потемнело, черные тени стремительно пронеслись над лужайкой. Лам даже не уловил рокота мотора, а четыре стервятника уже шли в пике над джунглями. С оглушительным грохотом взметнулись столбы взрывов, каменные громады скал отозвались протяжным воем, будто несметные полчища лесных чудовищ с ревом ринулись напролом, сметая все на своем пути.

Они снова бомбят и, наверное, для того, чтобы засыпать землей бомбы замедленного действия!

Лама охватило сильное смятение, какое-то щемящее чувство тоски, от которого он уже не мог избавиться, сколько ни старался. Жуткая, навязчивая мысль сверлила мозг и неотступно следовала за ним по пятам. Как знать, не станет ли он жертвой какой-нибудь шальной бомбы! И если найдет свою смерть в этих безлюдных зарослях, то как бы ни старались его товарищи разыскать его жалкие останки, им это все равно не удастся. Он исчезнет бесследно!

Боже, как ясно он представил себе лица товарищей, особенно в момент, когда они пели хором или бойко перебрасывались веселыми частушками, что никак не мешало им дружно работать ломами и лопатами. Они все время видят тебя, а ты — их, они слышат биение твоего сердца, а ты видишь их запыленные, перепачканные землей спины. Время от времени кто-нибудь бросает камешком в одну из девчонок, работающих тут же, что всегда вызывает смех. В такие моменты Лам думал, что он необыкновенно сильный, необыкновенно храбрый. А вот сейчас... Почему привычные взрывы бомб сейчас кажутся такими оглушительными, такими страшными?

А как же Хао? А как же он изо дня в день в одиночку обезвреживал эти бомбы замедленного действия? Возвращался он весь перепачканный, словно ему пришлось выкарабкиваться из ямы, но в ответ на расспросы лишь посмеивался. А Лоан? Этой девушке из группы снабженцев приходится каждый день пробираться горными

тропками до самого Кхе-че, а то и до Тхак-да. Там она закупает продукты и тотчас отправляется в обратный путь, чтобы вовремя доставить тяжелую поклажу в свою часть. Лоан рассказывала, как однажды ночью она совершенно одна карабкалась по горам во время сильного паводка, отчаянно продиралась сквозь густые заросли с тяжелыми корзинами рыбы на коромысле. Почему он, Лам, не такой, как они?

Бомба разорвалась где-то совсем недалеко. Лам уже не шел, а бежал, взвалив лом на плечо. От быстрого бега лом подскакивал и больно ударял по плечу, но он почти не чувствовал боли. В этой части леса кроны могучих деревьев, которые называются железными, переплелись так густо, что закрывали собой небо, и Лам не мог разглядеть, откуда и в каком направлении летели вражеские самолеты — об этом он мог догадываться лишь по реву моторов. Ясно было, что самолеты пикировали совсем рядом. Взрывы грохотали со всех сторон, не успевала одна бомба разорваться за его спиной, как другая разрывалась впереди.

Среди режущих слух разрывов бомб Лам ясно различал грохот разламываемых скал, шум осыпающейся земли, уханье и стоны поваленных стволов, металлический скрежет осколков бомб, с ожесточением долбящих древние валуны. Узкая тропинка вдруг заметно расширилась. Ламу показалось, что на примятой траве он различает след колес. Может быть, где-то совсем близко засада... От этой мысли ему стало не по себе, мурашки поползли по спине... Он побежал еще быстрее, задыхаясь от едкого дыма и гари.

— Лам, где ты?!

Хриплый голос Хао замер и затерялся во мраке пустынных дебрей. Он вытянул шею, еще раз осмотрелся по сторонам, но вокруг лишь шелестели густые высокие травы, а солнце нещадно слепило глаза, и резь в глазах была невыносима. «Надо идти напрямик, самой кратчайшей дорогой... Может быть, я его еще догоню, может быть, успею... Надо успеть...»

С трудом удерживая равновесие, еле держась на ногах, Хао прислонился к дереву, перевел дух, чтобы набраться сил, затем шатаясь спустился к пересохшему ручью и пошел по его руслу, продираясь сквозь заросли осоки.

Сейчас, когда сознание полностью вернулось к нему, его тревога еще больше усилилась. Он не мог простить себе своей слабости. Не мог смириться с тем, что в какой-то момент позволил болезни завладеть всем его телом, придавить к постели. Болезнь парализовала его волю, он так ослаб, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не мог перебороть себя, ничего не мог с собой поделать. Когда приступ кончился и Хао открыл помутневшие глаза, он с удивлением обнаружил, что лежит на деревянной кровати и разглядывает солнечный лучик, скользящий по койке. Затем потрогал мокрое полотенце у себя на лбу и тупо уставился на склянку с лекарством, оставленную санитаром на бамбуковом столике. Через некоторое время он уже вполне осознанно вслушивался в негромкие голоса снаружи, затем услышал напутствие Тхана и знакомый конфузливый голос Лама. Хао все понял, он попытался позвать товарищей, но голос его был слишком слаб, а голова, казалось, плыла в тумане, словно его опоили ядовитым зельем. Он попытался сбросить с себя тяжелый дурман, но от чрезмерного волнения снова впал в забытье. Когда Хао окончательно при-

шел в себя, Лама уже не было. Хао понял это по удаляющемуся топоту ног — товарищи, по-видимому, отправились выполнять очередное задание — да по команде дежурного, голос которого раздавался где-то в отдалении. Возможно, ребята отправились в лес за бамбуком, который потребуется им для ночной работы.

Значит, Лам ушел, а он, Хао, остался один в этой палатке, на больничной койке. Тревожное чувство не покидало Хао ни на минуту. Он был в полном смятении: стало быть, товарищи не могли дожидаться, пока у него пройдет приступ, и, очевидно, у них не было возможности послать за саперами на тот берег реки — это потребовало бы слишком много времени. Значит, на этот раз дело исключительно важное, совершенно неотложное. А разве Лам справится? Нет, это ему не под силу. Лам вовсе не глуп, смекалки у него хватает, да и смелости в нужный момент, пожалуй, хватит. Все это так. Хао думал, что он понимает Лама лучше, чем кто-либо другой в их части. Когда они вместе учились в школе, Лам считался самым прилежным учеником, особенно хорошо ему давалась математика. Он отличался добродушием и отзывчивостью, хотя был на редкость неразговорчивым. Что же касается смелости... Так ведь именно Лам, а не кто другой, мог в те времена не задумываясь врезаться в самую гущу отчаянных уличных драчунов, но с виду казался медлительным, нерешительным и даже робким. Хао был моложе Лама, однако верховодил он, а не Лам. Так уж повелось, что Лам нуждался в его помощи, даже опеке. Когда они оба вступили в трудовой молодежный отряд[1], мать Лама пришла в дом Хао и разговаривала с ним так, словно не он был младшим, а Лам. Она сказала: «Он у меня еще очень бестолковый! Не сегодня-завтра вас отправят в чужие места, будете жить среди чужих людей, так ты ему помоги в случае чего. Без тебя я бы его и не отпустила!» Мать очень любила Лама... Да как не любить, ведь он был у нее единственным ребенком, сиротой... Отец-то погиб, когда Лам был совсем крошечный... Хао все это знал и тоже жалел Лама.

И вот сейчас, когда Лам пошел выполнять задание вместо него, Хао не мог найти себе места, не мог унять острой тревоги. Ведь для того чтобы обезвредить бомбу замедленного действия, мало простой смелости: здесь нужна особая смекалка, нужна отвага особого рода. Здесь счет ведется на секунды... Одно неверное движение, минутное замешательство... Требуется хладнокровие, исключительное хладнокровие... Приговор — жизнь или смерть — выносится мгновенно! Хао знал это лучше, чем кто-либо другой, и именно потому не мог допустить, никак не мог смириться с тем, что другой — а этим другим оказался Лам — должен заменить его в таком деле...

Хао не помнил, как заставил себя подняться с постели, как ухитрился преодолеть открытое пространство возле санитарной палатки, не замеченный девчонками-поварихами. Уже нахлобучив на себя шлем и встав на ноги, он с ужасом подумал, что не сможет сделать ни шагу. Ноги казались невероятно тяжелыми и не желали слушаться. С величайшим трудом ему удалось выбраться из палатки, но от яркого солнечного света у него закружилась голова, и только каким-то чудом он удержался на ногах. Первые несколько шагов он проковылял, обливаясь потом, затем с удивлением обнаружил, что ему становится лучше и он в состоянии продвигаться дальше. Дорогу он знал как свои пять пальцев, но никогда еще она не казалась ему такой мучительной. Камни, покрытые скользким мхом, разъезжались под ногами, утыканные колючками лианы больно хлестали по лицу,

[1] Эти отряды обеспечивают безопасность движения и восстанавливают разрушенные вражеской авиацией участки дороги.

рукам, шее. Хао шел пригнувшись, плотно стиснув зубы, чувствуя, как кровь приливает к голове, стучит в висках, а перед глазами — красные круги, отвратительная рябь... Хао не помнил, сколько времени шел таким образом. Когда послышался рев вражеских стервятников и над головой начали рваться бомбы, он был уже в девственном лесу. Оставалось пересечь лес, затем перейти вброд горный ручей, а там уже и большая дорога недалеко. Он остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, затем снова позвал:

— Лам, где ты?

Скалы ответили ему эхом. Потом эхо потонуло в хаосе звуков, наполнивших джунгли: стервятники продолжали неистовствовать и крушить все вокруг.

Оба они, Лам и Хао, чуть было не столкнулись лбами. Увидев друга, Лам в первую минуту остолбенел от изумления, но, придя в себя, порядком рассердился. Он сам не мог взять в толк, почему встреча с Хао вызвала у него такую досаду. Увидев, какие у Хао красные, воспаленные глаза, какой болезненный вид, Лам не смог сдержать раздражения:

— Ну и чудак! Ты ведь болен — чего же ради тебя сюда принесло? Забыл, что Тхан велел тебе лежать?

Хао смущенно отвел глаза, чувствуя свою вину. В самом деле, возразить что-либо трудно. Он, как назло, едва стоит на ногах. Стараясь скрыть свою слабость, Хао перевел дух и стал с беззаботным видом стряхивать сухие листья, приставшие к одежде.

Но Лам снова напустился на него:

— Что же ты молчишь? Я хочу узнать: действительно ли ты здесь по приказу Тхана?

— Нет, что ты!

Тут только Хао посмотрел в глаза другу. И, добродушно улыбнувшись, спокойно сказал:

— Никто мне не приказывал. Понимаешь, я сам... Просто я беспокоился за тебя.

В этот момент он мало чем отличался от того мальчишки, с которым Лам учился в школе. Та же добродушная улыбка, тот же невозмутимый тон. Он был младшим, но всегда опекал его, всегда готов был за него пострадать. Лам вдруг все понял и почувствовал, что окончательно выходит из себя, однако Хао рассудительно продолжал:

— Лам, друг! Я очень за тебя беспокоился. Тебе ведь никогда не приходилось заниматься таким делом. К тому же это моя обязанность, ты тут ни при чем. Я уже вполне оправился, давай-ка мне мины...

— Нет! Ни за что в жизни!

Лам замотал головой и вдруг подумал, что повторяет слова, которые слышал от других. Ни за что в жизни... Хао любил произносить эти слова, когда они вместе работали на дамбе, защищающей поля от наводнения, когда рыли арыки на полях кооператива. Дома собственная мать каждый день произносила те же самые слова. И здесь, в части, многие говорили так... и все они усвоили эту манеру решать за него. А он, Лам, все терпел и терпел, он вел себя словно избалованный, всеми оберегаемый ребенок и только теперь понял, как все это ему надоело. Нет, он, наконец, покончит с этим.

Попятившись назад, Лам судорожно вцепился в сумку с минами, словно опасаясь, как бы Хао не вырвал ее у него из рук. Хао, напротив, приблизился к нему, собираясь что-то сказать, но не успел и рта

раскрыть, как почувствовал на своем плече сильную руку Лама и впервые в жизни увидел в глазах друга незнакомые злые огоньки. Даже голос Лама показался ему совершенно незнакомым — твердым и суровым:

— Вот что, хватит! Ты можешь, наконец, понять, что это задание часть поручила мне и я не могу его перепоручать кому бы то ни было? Понятно? А теперь иди назад...

Все это было сказано спокойно, но строго.

— Лам! Да выслушай ты меня! Надо быть очень осторожным, очень...

Но Лам уже не слушал, он изо всех сил бросился вперед. На бегу он несколько раз оглянулся и радостно засмеялся, обнажив белоснежные зубы на взмокшем от пота лице.

Эту бомбу Лам увидел сразу. Спускаясь по крутому склону к дороге, он впился глазами в эдакое чудище, зарывшееся носом в землю прямо посредине дороги.

Ну и орешек подбросил нам президент Джонсон! — подумал Лам.

Разговаривая вполголоса сам с собой — это его как-то успокаивало,— Лам остановился поодаль. На первых порах бомба поразила его своими огромными размерами. Ну и ну! — думал Лам, она похожа на огромную лодку, опрокинутую вверх дном. Ишь ты, как чудно́ выкрашена — не то желтая, не то рыжая какая-то... Впервые в жизни Лам собственными глазами увидел такую огромную бомбу... и совсем целую. Разглядывая бомбу, он вдруг обнаружил, что нисколько не волнуется. Ощупывая ее шероховатый корпус, поежился — и только!

Тело бомбы оказалось горячим, как нагретая сковорода. Может быть, оттого, что злой огонь, заключенный внутри, уже начал разгораться, а может, она нагрелась от солнца? Кто ее знает! Что толку понапрасну волноваться и ломать себе голову? Надо поскорее приниматься за дело, так-то будет лучше...

С этими мыслями Лам приступил к делу. Земля на том месте, где залегла бомба, оказалась твердой, как обожженный кирпич, лом буквально от нее отскакивал. Но для Лама это была привычная работа — недаром он наловчился взрывать скалы. Через некоторое время углубление для закладки мины было готово. Лам еще раз ощупал ямку под горячим телом бомбы. Ну вот, почти все готово. Остается заложить запал, установить взрыватель, поставить мину в приготовленное углубление... все это он проделывал не раз, все знакомо. Вот только запал... кто его знает, какой длины должен быть шнур... А то ведь не успеешь добежать до поворота дороги, как эта штуковина бабахнет.

Лам стал в тупик. От волнения у него заныло под ложечкой... Стиснув зубы, он одним ударом ножа перерезал шнур, уложил все прихваченные с собой мины в приготовленную ямку, затем плотно присыпал их землей...

Достав коробок, он невольно помедлил и, чиркнув спичкой, не сразу поднес ее к концу шнура... Шнур загорелся, но Лам подождал секунду-другую: надо убедиться, что огонь побежал дальше. В этот опасный момент Лам в последний раз взглянул на чудище, залегшее посреди дороги. Ну и громадина, снова подумал Лам, чтоб тебе пусто было, американский «гостинчик»! Только бы успеть убраться отсюда

подальше, ведь через минуту-другую твое раздутое брюхо развалится на куски — останется груда металлолома! Лам бежал, бормоча себе под нос: ничего, через минуту, бомба, твоя песенка спета! И не больно сложно с тобой расправиться, дело, прямо надо сказать, пустячное...

В лесу снова воцарилась торжественная тишина. Глубокое спокойное безмолвие. Не слышно взрывов. Даже цикады в густой листве разом оборвали звонкий хор. Разве что ручей неумолчно журчит в прохладной зеленой тени.

Лам искупался в ручье. Тщательно отряхнув от земли гимнастерку, накинул ее на плечи и уселся рядом с Хао. Теперь, когда все было позади, так и тянуло поозорничать... Он сунул за шиворот Хао мокрую холодную руку.

— Ну-ка, Хао, угадай, когда я, по-твоему, больше всего разволновался?

— Когда тебя засыпало землей?

Хао осторожно освободился от мокрой руки друга и стиснул ее в своей горячей руке.

— Как бы не так!

— В тот момент, когда поджигал шнур?

— А вот и нет!

— Ну, сдаюсь!

— Так вот: больше всего я разволновался, когда налетел на тебя.

Хао изумился:

— Да ты что? Ты это серьезно?

Лам медлил с ответом. Помолчав некоторое время, он сказал с расстановкой, покачивая головой как бы в такт собственным мыслям:

— Представь себе, я говорю правду. Больше всего я волновался именно в тот момент. Я так боялся, что ты не дашь мне самому выполнить задание...

И, словно вдруг испугавшись, что Хао не так его поймет, Лам заговорил быстро и сбивчиво:

— Это верно, что дело у нас общее и неважно, кто его выполняет, ты или я. Но посуди сам... Если бы ты не заболел, а я бы не решился, не вызвался выполнить это задание вместо тебя, не представляю, что́ бы я потом делал. Разве не так? Я знаю, что ребята считают меня недотепой... и ты тоже. Да и сам я себя считал таким. И только теперь понял: каждый может переделать себя, если только захочет. Надо только хорошенько понять, в чем состоит твой долг, и приложить побольше усилий, ну немного побольше... Вот как я, когда запалил шнур... Нужно было только зажечь спичку — и все пошло само собой... Я все про это думаю... Разве не так?

Лам смущенно запнулся. Но Хао видел, что у него радостно на душе, радость его рвалась наружу, как вырывается на волю подземный ключ. Хао кивнул головой и с веселым добрым смехом сказал:

— Все верно, верно!

Девственный лес по ту сторону ручья неожиданно огласился звуками. Прислушавшись, друзья различили шелест сухих листьев, звонкий девичий смех. Похоже, это девчонки из их части. Ну конечно они. Начинается ночная работа — как всегда после того, как обезвреживались бомбы замедленного действия.

Вдали чернели громады гор, их причудливые очертания чем-то напоминали зубья гигантской мины. А вот и серп луны, светлый и насмешливый, расплылся в широкой улыбке.

Перевод с вьетнамского И. ГЛЕБОВОЙ

Парус

Возле зеленого островка, вздыбившегося горой, к скале крепко, шестом, причалена джонка. С бортов свисают концы новой сети, раннее солнце играет на белых блестящих поплавках, на неизъеденных еще морской солью свинцовых грузилах.

Посреди джонки — мачта, прямехонькая, из сосны, спущен и сложен светло-коричневый парус. В закрытой кухоньке висит поющая раковина, при помощи которой подают сигналы, несколько связок грибов, несколько вяленых каракатиц. Под лежаком стоит маленький треножник для варки, печка с углями. На кухонной доске — нож с широким лезвием.

Старая Нюан присела и подбросила в печку красных пылающих углей:

— Большой лодке — высокие волны. Смотри, этот парень, председатель артели, опять повел рыбаков в море. А ты, старый, что там все стругаешь, вырезываешь? Пошел бы червей накопал для приманки. Сам обещал артели в три раза увеличить улов.

— Они пошли выискивать косяки рыбы. А сынок наш, Кхоат, вырезал для нас отличный флюгер, только вот лис этот малость не такой, как надо, я его немножко подточу, шейку ему вытяну, он будет лучше выглядеть.

— Ну-ка, приделай его к мачте, посмотрим, хорош ли.

Через минуту лис уже красовался на самой верхушке мачты. Стояло безветрие, и лис не шевелился.

— Да, старая, когда я взбираюсь на мачту, чувствую — есть еще гибкость в руках и ногах, могу еще в открытое море выходить.

— Теперь в открытом море тяжко, американские самолеты так и рыщут. Эту поющую раковину надо беречь, бригадир сказал, что оборонить побережье не сможем, коль не будет у нас опытных людей. Здесь, за островками, нас и не видать. Пожалуй, дождемся ветра, а там пойдем под парусом, чтобы грести не пришлось.

Старая Нюан посмотрела на мачту:

— Ни у кого такого красивого лиса нет. Славный у нас сынок. В училище морской паек получает и вот сберег, сахару прислал нам. Ты сам ему написал, мол, на нашей лодке теперь новый парус. Бедный он, бедный наш Кхоат. За книжкой сидит, а о нас думает, жалеет, что нам веслами работать приходится. Ну, ты правильно написал: артель, мол, большой катер купила и у государства в долг ей брать не пришлось.

Старый рыбак взял мотыгу и сошел на берег, зашагал в сторону песчаной косы — туда, где виднелась гряда зеленых островков.

Старушка с плетеным решетом, наполненным рисом, подошла к борту и наклонилась, чтобы промыть крупу[1]. Прозрачная вода отдавала синевой, шелуха от рисовых зерен всплыла на поверхность. Она вспомнила: когда ездила в Хайфон к Кхоату, пришлось попробовать рису, промытого пресной водой,— вот уж, право, преснятина! И еще сын сказал, что здесь, в Ха-Лаунге, воздух — как это? — «ионизиро-

[1] В залив Ха-Лаунг рукава и протоки Красной реки доставляют огромное количество пресной воды, смешивающейся с морской.

ванный», и они со стариком будут жить долго, словно черепахи. Да, вздохнула старушка, мне умирать нельзя, затоскует старик и кто заботиться о нем станет? А подругу ему, понятно, теперь уж не найти. Старушка тихонько встряхнула решето. Блестящие мелкие рыбки принялись хватать шелуху от риса.

Закипела вода, старая рыбачка высыпала рис в котелок. Да, своего старика она знает: ему нужно немного вина, как говорится, просто губы смочить, и он будет работать с утра до поздней ночи; а много он не пил никогда. Рис любит, сваренный на пару, а разваренный ему не нравится, хоть и не все зубы целы. Она подложила еще хворосту. Стояло безветрие, синий дымок поднимался прямо в небо. Каждый раз, когда супруги останавливали джонку здесь при спокойной прохладной погоде, как сегодня, она вспоминала о том случае, который приключился с нею в молодости. Воспоминания эти с годами не стерлись, не померкли, а становились все ярче, все отчетливее.

Волны едва плескались. Был конец девятого месяца по лунному календарю. Море стихло. Солнце проглянуло из-за завесы тумана. По заливу скользила джонка. В ней плыли молодые супруги: жена работала веслом на носу, а муж загребал рулевым веслом. Вдруг оба они, заметив расходящиеся по воде круги, огляделись: прямо к ним, рассекая воды, плыл тигр. Мужчина, оставив весло, взял в руки шест.

— Возьмись за рулевое весло,— сказал он жене.— Придется драться. Иначе — конец.

Лодка медленно остановилась, тигр приближался, с ревом разевая пасть. Мужчина размахнулся шестом и ударил. Тигр опустил голову, но все же ринулся к лодке.

— Назад! Назад! — крикнул мужчина.

Лодка тихо отпрянула. Мужчина целил шестом хищнику в глаз. Тигр опустил голову под воду. Мужчина трижды ударил его шестом. Лодка оказалась рядом с тигром, и тот положил лапы на борт — лодка накренилась.

— Пошел! Пошел! — крикнул мужчина и наотмашь ударил шестом по лапам. Тигр убрал лапы, погрузился на миг в воду, но выплыл вновь и погнался за лодкой. Женщина опять повернула лодку, и опять мужчина вступил в схватку со зверем. Лодка то наступала на него, то отходила назад, двое мерились силами с тигром... И так почти от самого рассвета до заката. Тигр был силен, но, избитый, нахлебавшийся соленой воды, он уже собрался скрыться подальше, а тут подоспели другие лодки, окружили его — и конец...

Старушка передвинула котелок на огне. Прошло больше сорока лет, а кажется, будто это было вчера. Теперешняя молодежь все рассуждает про любовь. Наверно, я тоже любила своего старика. Столько лет с ним прожили вместе, столько бед пережили: были бури и тайфуны, болезни и мор, были французы и японцы. Сколько раз их джонке грозила гибель. Старик добрый и смелый. Старушка взглянула в сторону песчаной косы. Коса не широкая, но белая, а на ней ракушки, добела отмытые волнами морского прибоя. Здесь далеко от устья реки, и на этом скалистом островке нет плодородной почвы, течение не доставляет сюда наносов, и вода остается прозрачной круглый год. В те времена, когда американцы еще не бомбили, сюда часто приезжали купаться и загорать иностранные инженеры из угольного бассейна.

Солнце сияло над песчаной косой. Старушка сняла с огня коте-

лок сваренного риса. Дети разъехались: кто учиться, кто работать, кто сражаться с врагом. Они бы лучше смогли позаботиться о старом отце. Да ему еще и самому хватает сил в бурю и тайфун поставить лодку на якорь. Он не любит, чтобы руки у него были связаны, не любит и связывать руки другим. Так и разлетелись сыновья. Да и мне не хотелось быть кому-то постылой свекровью, вечной помехой в доме. Вас манит куда-то открытое море, мощный ветер, джунгли, подводное царство? В добрый путь...

Старушка еще раз взглянула в сторону песчаной косы: она заметила, что какая-то долговязая фигура направилась прямо к старику. С беспокойством старушка стала приглядываться. Откуда сейчас здесь вдруг взялся турист? Что-то подсказывало ей, что это враг. Она была и доверчива, и подозрительна. Да, все верно, в руках долговязый держал автомат. В войну Сопротивления[1] старик дрался с французами, на своей лодке он вез партизан, которые захватили тогда в плен этого поганого старосту Тхе... Смотри, старик отбросил мотыгу в сторону. Помогите ему, божества и духи предков! Сняться с места и удрать, но разве можно оставить сейчас старика? Нет... Старушка смотрела и смотрела на песчаную косу.

Старик и долговязый верзила двигались к лодке.

У американского летчика огромные ботинки, ноги здоровенные, как у буйвола. Летчик ступил в лодку. Старушка ненавидела тех, у кого походка тяжелая, но сейчас она думала не только о лодке. Этот летчик шагал легко, как шагает человек, замысливший недоброе. Неожиданно для себя старушка испугалась. Но, вспомнив о временах прежней войны, постаралась успокоиться. Летчик пробубнил:

— Моя отчен хочет кушат!

С великим трудом выдавил он из себя эти четыре слова. Вспомнив о ноже с широким лезвием, старая рыбачка проворно шмыгнула под навес, вынесла нож и рыбу. Но летчик резким движением наступил ногой на нож. Старик вынул из кармана и протянул ему другой, тот самый, которым недавно обстругивал лиса. Воздушный бандит схватил нож, стал потрошить рыбу, выбрасывая потроха. На эту поживу тотчас собралась мелкая рыбешка. Летчик как бы невзначай наклонился, подобрал нож с широким лезвием и кинул его в стаю рыбок.

— Пройдите под навес, господин, снимите ботинки,— пригласил его старый рыбак.

Нюан удивленно взглянула на мужа: ведь перед ними не иностранный турист, чтобы разговаривать с ним так церемонно. Летчик не пожелал пройти под навес, тогда старик тихо сказал жене:

— Дай-ка мне сигнальную раковину!

Нюан протянула раковину мужу. Американец, заподозрив неладное, сунул автомат старику в бок. Тот побледнел и опустил раковину. Нюан же, улыбаясь, выкладывала креветки на блюдо. Отец, труби в раковину, чтобы поспешили сюда все рыбацкие лодки. Если он нас убьет, ему ведь все равно не уйти. Старик надел на шею шнур от раковины, но не поднес ее ко рту, а стал раздувать угли в печке. Старушка вздохнула и огляделась вокруг: море было спокойно, далеко-далеко остановились лодки в ожидании ветра, спущены паруса, ослаблены канаты, неподвижны оголенные мачты: лодки казались грибами, разбросанными на сковородке. Вчера внучка, шустрая девочка Нгы принесла из лесу ядовитых грибов: если уметь, ими можно отлично лечить от свинки. Вот они-то и выручат! Нюан молча поставила блюдо с креветками на поднос: эх, отец, на тебя и смотреть-то

[1] Война Сопротивления вьетнамского народа против французского колониального гнета продолжалась с 1946 по 1954 год.

жалко — стоит на коленях, угли в печурке разжигает. А в войну Сопротивления его сравнивали с полководцем Йет Киеу[1], тем самым, что под водой как по суше ходил.

— Дай мне веер, жена,— голос старика прозвучал слабо и растерянно.— Да поставь нам вина.

Американец, видя, что старый рыбак жарит на углях рыбу, вытащил какой-то платок и, тыча пальцем, стал с усилием читать:

— Нью-Йорк, Юнайтед Стейтс будет заплатит вас этот долг.

Старик взглянул на платок[2]: там была надпись по-вьетнамски, он обрадованно принял из рук американца золоченые часы и положил их на лежак. Старушка тем временем поставила сковороду на огонь. Часы тикали возле кучки золы. Старик не спешил сунуть их в карман. За многие годы Нюан успела хорошо узнать его характер: ради золота он не пойдет на неправое дело. Среди всеобщего молчания только часы отбивали свое: тик-так, тик-так...

Поднос с закуской старушка подала на носовую часть лодки. Он ломился от вкусных яств: там были и креветки, и жареная рыба. Нюан принесла вина в сосуде из кожи угря. Старик приподнял лежак. Раньше здесь всегда была граната. Не найдя ее, старик вытащил чашку тонкого фарфора и стакан из чехословацкого стекла. Потом разлил вино, и пилот схватился за большой стакан. Старик, поджав ноги, уселся напротив американца. Глядя на улыбающегося мужа, Нюан нахмурилась: улыбаться можно за дружеской попойкой, а не теперь...

— Вы ешьте как изволите,— жестом показал старый рыбак.— Не умеете палочками, хватайте руками. Я вино смакую, пью маленькими глотками, не пью единым духом.

Нюан подбросила углей в печурку, черты лица ее прояснились: старик хитер, да ведь прежде иначе было и не прожить. Вон он смеется. Бывало, в старину такие рискованные дела делал, власти вокруг пальца обводил. Плавал где хотел, без всяких пропусков и бумаг. А однажды заманил катер с таможенниками прямо на рифы!

Американец поперхнулся, произнес что-то гортанное и поставил стакан с вином обратно на поднос.

— Вино крепкое, господин. Если не можете выпить залпом, пейте, как я, маленькими глотками,— сказал рыбак, попивая вино.— А ты, старая,— просьба его прозвучала словно приказ,— свари-ка нам к креветкам грибков!

Старик велит сварить ядовитых грибов... Он попотчует ими американца... Поистине, смерть ему в вонючем болоте! Он ведь воздушный бандит, сбитый нашими. Нюан вытащила еще вяленую каракатицу, небось старик постарается затянуть трапезу, чтобы нагрянули рыбаки, возвращающиеся с моря.

Старушка опустила грибы в воду и вздохнула: грибы-то все оказались съедобными. Вот тебе и раз! Ох уж эта шустрая Нгы...

— Прошу отведать, господин,— улыбаясь, потчевал старик «гостя».— Сын сказал, что я буду жить так же долго, как черепаха. Да, видно, сегодня мне придется указать вам дорогу в преисподнюю.

Старик взял блюдо с грибами и половину положил прямо в чашку воздушного бандита. Заметив, что тот не решается есть, рыбак поднял свою чарку, отпил несколько глотков и прихватил палочками грибок. Летчик не ел, верно, потому, что руками брать было еще го-

---

[1] Йет Киеу — прославленный командующий армадой вьетнамских боевых лодок во время войны против монгольского нашествия в конце XIII в.

[2] Американских летчиков снабжают специальными нейлоновыми платками, на которых отпечатаны — на нескольких языках — просьбы оказать помощь «гражданину США, которому не повезло»; платок является как бы чеком для оплаты «за услуги».

рячо. На носовую часть лодки повеяло дымком из кухни. Свинцовые грузила на сети начали тихонько стукаться друг о друга. Поднимался ветер. Старый рыбак взглянул на вершину мачты: хвост лиса задергался, лис обернулся мордочкой в сторону Большой земли. Рыбак улыбнулся доброму знаку. Подбитый ас тоже уставился на лиса, потом схватил конец каната и потянул, а старушке сделал жест, чтобы оставалась под навесом.

Расправился парус с рулевой реей, похожий на крыло летучей мыши, под солнечными лучами заиграло его новое светло-коричневое полотнище. Странной казалась в этот миг красота небес и моря. Старый рыбак в мгновение ока прикинул все, что можно было предпринять: поджечь джонку, дать сигнал поющей раковиной, схватиться за нож, накормить «гостя» ядовитыми грибами. Кроме того, оставался еще один выход... Летчик тем временем принялся уплетать грибы. Старик внимательно посмотрел в чашки и не увидел ядовитых. Значит, грибы не «сработали». Старик заулыбался, чтобы скрыть растерянность.

Начался прилив, и джонка отошла от зеленого островка, осталось миновать еще одну-две гряды таких островков, и они окажутся в открытом море, а там подбитого бандита подберет американский катер или вертолет. Правда, как-то раз с вертолета американцы спускали лестницу, но партизаны «сбрили» ее пулями. Старая рыбачка увидела, что впереди небо сливается с морем, и вздохнула. Наверно, пилот попытается убить их со стариком, чтобы остаться одному в джонке.

Солнце поднялось высоко, сияло ясное небо. Вот он — Купеческий проход, так это место зовется у рыбаков. Когда Нюан выдавали замуж, украшенные джонки проходили мимо этого места. Шелковую нить супружества молодые сплели, стоя на носу двух лодок... Родня жениха опустила весла, остановив лодки, и отвечала на песни-загадки родных невесты... Может, подождать, пока он захмелеет и постараться вырвать у него автомат? Поджечь лодку? Мысли старой рыбачки прервались. Парус новехонький, в голодные годы хаживали под рваными, кое-как залатанными парусами. А теперь, после революции, и сын уехал учиться морскому делу. Она взялась за рулевое весло. Летчик махнул рукой. Старик же все сидел и по каплям цедил вино. В стороне, где заканчивались пограничные воды, зарокотал вертолет. Старый рыбак обернулся к жене:

— Подними еще одну рею!

Та растерялась: неужто старик велит ей погубить и его и летчика сразу? Она знала, что в старину один рыбак сбросил реей в море французского таможенника.

— Что мешкаешь?—голос старика прозвучал сердито.— Скорее, слышишь?

Рокот вертолета приближался. От сильного порыва ветра наполнился и напрягся парус. Старая женщина почувствовала, как колотится у нее сердце, она посмотрела на старика, тот с каменным лицом поднял свою чарку и выпил единым духом. Никогда в жизни он не пил так грубо. Чем я отплачу ему за все хорошее? Этим ударом? Есть ли еще какой-нибудь выход? В холодной воде он сразу пойдет ко дну.

— Поднимай рею! — крикнул старый рыбак.— Я отжил свое, довольно!

Американец схватился было за автомат, но мощным ударом реи его вместе со стариком свалило за борт. Автомат тоже полетел в сторону. А джонка пошла вперед, скользя по воде. Лишь поднялись вокруг прозрачные голубые волны. Старая Нюан перед тем перебрала в уме все возможные способы справиться с американцем, оказы-

вается, пришлось прибегнуть к самому простому, но и самому страшному. Пот ручьями тек по ее лицу, она оставила руль и заголосила:

— Вот как ты любишь своего мужа... Ты добрая, ты милая...

Джонку туда-сюда носили волны прилива. В завывании ветра послышалась Нюан песня, которую пела она еще в девичестве:

Золото, минуло тысячи лет,
все остается золотом...

Вода прибывала. Старая рыбачка взглянула на волны: старик отжил свое, и она тоже отжила свое. С моря возвращались джонки рыболовецкой артели. Нюан взялась за рулевое весло: сначала надо известить председателя. Она подумала про автомат и тело старика.

Волны, пенясь, ударяли о борт. Вдруг она заметила старика: он всплыл. Ей показалось, что она бредит. За ним вынырнул американец. Он схватил старика. Нюан тотчас пришла в себя. Подбитый ас своим огромным кулачищем дубасил старого вьетнамского рыбака. Но мешала вода, старик не чувствовал боли. Голова его оставалась ясной, он поднял поющую раковину и ударил ею американца, тот отпустил руку. Старик поплыл, широко взмахивая руками. Летчик вытащил кинжал. И тут Нюан успела повернуть рулевое весло: нос джонки она направила прямо в лицо врагу. Она сделала то же самое, что и больше сорока лет назад. Старик плыл, он поднял поющую раковину: «Тиу-ту, тиу-ту-ту-ту-ту»,— призывный сигнал вдруг огласил все вокруг, а волны разнесли его по необъятным морским далям.

Перевод с вьетнамского Н. НИКУЛИНА

ПИТ ВАН АКЕН

Спящие собаки

РОМАН

Перевод с фламандского В. ОШИСА

Глава I

Лапорт

В центре такого большого города, как Брюссель, почти не чувствовалось, что надвигаются муниципальные выборы. Здесь не было ни глухих стен, ни старых домов с остроконечными фронтонами, ни строительных ограждений, один вид которых действует на расклейщика предвыборных плакатов, как столб или дерево на выведенную погулять собаку. Только на площадях попадались местами деревянные щиты, разделенные — по молчаливому джентльменскому соглашению — на несколько участков, так что уже по цвету афиш можно было узнать, какая партия домогается милости избирателей. Порой в толчее уличного движения вдруг возникал автомобиль с фанерным цилиндром на крыше, оклеенным полосами красных, желтых, зеленых, синих номеров или портретами белозубого мужчины, чья улыбка на круглой поверхности передвижной афишной тумбы выглядела кривой ухмылкой. Жан Абсилис, выйдя из издательства, направился к боковой улочке, где он поставил свою малолитражку; по дороге он на минуту опустил на землю тяжелый черный портфель, набитый проспектами и образцами осенних изданий, размял затекшие пальцы и тут заметил один такой цилиндр, который плыл на противоположной стороне площади, словно гигантская бутылка в ленивом потоке машин. Цилиндр казался ему похожим на высокий тюрбан фокусника — сравнение было не только внешним, но символическим: наступала самая горячая пора иллюзий, когда даже небо делят на участки и обещают в аренду земле; и было во всем этом что-то давно отжившее, что-то от прежней доверчивости толпы, разжаловавшей теперь фокусников в клоуны, которые сменили пестрое одеяние на современный костюм. Пустые мысли, подумал Абсилис, лучше поторопиться и хоть один раз вернуться пораньше домой. Но он медлил, ловя теплые лучи осеннего солнца. В его провинциальном городке царили совсем иные порядки, каждое утро через щель для писем на пол падали газеты и рекламные проспекты; громкоговорители целыми днями обрушивали на жителей музыку и лозунги; резкие и высокие, глухие и низкие голоса—у всех был одинаковый металлический оттенок, и было в них еще что-то общее — какая-то лишенная веры фана-

тичность, будто все ораторы выполняли одну и ту же, побочную и плохо оплачиваемую работу или, может быть, чувствовали себя в роли лавочников, расхваливающих залежалый товар. Совсем по-другому было раньше, в его родном селении, когда он, еще мальчишка, удирал с двумя однокашниками из школы в день Первого мая, чтобы пройти в праздничном шествии, а потом, в классе, остальные целую неделю издевались над ними; несколько лет таких унижений закалили его до фанатизма, приучили к мысли, что из этой ситуации нет выхода, потому что бесполезно плыть против течения, как его отец, который, насколько он помнил, всегда стоял вторым в списке местных вольнодумцев и каждый раз, с трудом пройдя в члены общинного совета, божился, что на следующих выборах ему непременно повезет; ему должно повезти — идея, ради которой он разбивал свой лоб о стену, взывала о справедливости (и действительно, все нежданно-негаданно пошло на лад — после войны, когда кончилась власть местных промышленных воротил и свежий ветер свободы пронесся над каналами; но вскоре старым, обессиленным гребцам сказали «мерси», оттерли их в сторону, а к политическому кормилу пристроилась команда молодых карьеристов; миновала пора тайной отчаянной борьбы). И все же хорошие то были времена. Когда приближались выборы, он чувствовал себя как накануне праздника, это были дни и ночи риска, удали, приключений — он разносил бледно отпечатанные, пахнущие сырой краской листовки в кварталах, где жил противник. Взрослые встречали его презрительной усмешкой, мальчишки не раз пытались отнять ранец с листовками; иногда где-нибудь в пустынном месте его молча поджидала группа юнцов, и тогда, чтобы не побили, приходилось удирать, хотя в такую минуту больше всего в жизни хотелось спокойно пройти мимо, не обращая внимания на эту банду. Самое большое удовольствие получал он, когда его брали с собой на ночь расклейщики плакатов. Они — в грязной, рваной одежде чернорабочих, он — в стареньком пиджаке; они тащили с собой лестницу, везли на тачке рулоны плакатов, ведра холодного клея и кисти, несколько человек несли ведра с известкой. Он чувствовал себя тогда заговорщиком, который прячет бомбу: брось ее — и вспыхнет яркое пламя взрыва, вся улица превратится в развалины. Для других же это была просто приятная ночка; они развлекались неприличными анекдотами и делали свое дело — оклеивали стены плакатами, расправляя их кистью. Иногда они наталкивались на группу из враждебного лагеря, стремянки летели на землю, ведра опрокидывались, в ход шли рулоны плакатов, малярные кисти, известка летела в физиономии, распахивались окна, и голоса жильцов наперебой выкрикивали слова ободрения, неизвестно какой из сторон адресованные. Сырым, тоскливым утром мать старательно выскабливала из его волос и одежды грязь и пятна известки. В классе после такого поражения его встречали градом насмешек, и он целый день переживал горечь своих оплеванных мечтаний; почему-то при этом вспоминалось ощущение, какое возникло у него, когда долговязый костлявый служка двинул его в нижнюю челюсть — что-то похожее на вкус металла (он даже не знал какого и есть ли вообще у металла вкус, он всегда ассоциировался у него с запахом пара, который поднимается от раскаленного железа, когда его опускают в воду; наверное, для этого вкуса есть точное научное определение); этот привкус во рту неприятным образом соединялся с чувством стыда — не за себя, а за отца, который после очередного и неминуемого поражения становился объектом ядовитой писанины, изображавшей его жалким и бессильным простачком, не понимающим, с кем он тягается. Он не помнил тех, кого сам отделал в ночных стычках, они стерлись в его памяти, как град, который сна-

чала больно ударяет по лицу, потом падает и с хрустом лопается под ногами, оставляя лужицы; и эти лужицы он не мог вспомнить даже тогда, когда вдруг приходили на память осенние ливни, с которыми были неразрывно связаны картины его детства. Вспоминались, конечно, и другие вещи, совсем не важные, не имеющие теперь никакого значения,— он сам удивлялся, почему они так прочно засели в его голове: соседская девчонка, вышедшая замуж, когда ему едва стукнуло восемь, казалась ему первой красавицей в мире, слишком красивой для грубого, неуклюжего в своем свадебном костюме землекопа; впоследствии он каждый день видел, как она появлялась из дверей дома, где жила ее мать, с кухонным горшком в руках и бежала с ним по улице, а вдогонку ей неслась брань: вот, мол, безрукая, не умеет даже картошку варить,— но он считал это напраслиной и не осуждал молодую женщину; несколько лет спустя он снова увидел ее и был поражен, до чего же она некрасива — тяжелый зад, грузная, неуклюжая походка, неотесанная речь; слова ее казались грубыми даже тогда, когда в них не было ничего особенного, они словно открыли ему глаза на все убожество сельского диалекта, он как-то сразу понял, что ее безобразие не вызвано естественным увяданием человека, что она всегда была такой. От сбора пожертвований в пользу вдов и детей погибших испанских республиканцев у него в памяти не осталось ничего, кроме ощущения стыда, когда он краснел и потел от застенчивости, с которой ему так и не удалось до конца справиться; он помнил, что такое бывало с ним часто, но не мог, сколько ни силился, представить себе эти длинные улицы, дома, в которые он стучался, протягивал белый конверт, робким голосом говорил о цели визита и о том, когда он вернется за конвертом; и каждый раз, когда он думал об этом длинном «пути сквозь строй», в памяти всплывала одна и та же картина: он видит небольшой дом, наружная дверь открыта, так что можно войти в крохотный, около метра длиною коридор, открывается вторая дверь, затем она закрывается, и он попадает в комнату, замечает маленькую, невзрачную женщину, которая сидит между чугунной печкой и каменной лестницей, ведущей в спальню; она сидит неподвижно, потом медленно поворачивает голову в его сторону, ему на секунду кажется, что высокий узел ее волос сейчас отвалится от черепа и упадет; блестящие, черные, будто искусственные волосы, старое, угрюмое лицо, ястребиный нос, беззубый рот плотно сжат (губы впились в окаменевшие десны) и похож на глубокую морщину, на суровый, горестный рубец; глаза продолжают искоса разглядывать его, пока он, необычно спокойным тоном, излагает свою просьбу; она чуть заметно кивает, и он кладет конверт на край стола. Когда он позже вернулся, ничто не изменилось, но конверт стоял посреди стола, прислоненный к банке из-под сиропа; он взял конверт, пробормотал слова благодарности, почувствовал на ощупь, что мелочи в нем нет, но был уверен, что есть кредитка. Он больше ни разу не видел этой старухи, потому что редко бывал в тех местах, и все же его поразило, что она бесследно исчезла, словно ее и не было. Как-то раз он спросил про нее у отца, который собирал страховые взносы и знал всех в поселке; тот сказал, что старуху эту поместили в больницу, где она вскоре и умерла; родня ее утверждала, что там ей сделали «смертельный» укол. Но не это ужасное подозрение приковало его память к невзрачной маленькой женщине; он только позже осознал, что причиной была ее молчаливость, неподвижность, почти нечеловеческая отрешенность, с какой она отнеслась к его просьбе, на каждом шагу вызывавшей недвусмысленную, пристрастную реакцию. Безразличие часто бывает предательски похоже на нечеловеческую отрешенность, подумал Абсилис, наклонившись и рывком подняв с земли портфель.

— Виктóр, mon vieux![1] Мосье Виктор!

Абсилис застыл на месте, секунду стоял неподвижно, пытаясь подавить ощущение шока, которое вызвал у него этот голос, затем не сразу разглядел — заходящее солнце било прямо в глаза — высокого человека в безупречно сшитом костюме, под руку с молодой женщиной. Высвободив руку и протянув ее, он шел навстречу Абсилису. Прежде чем Абсилис опомнился, он был уже рядом, схватил его руку и отчаянно затряс, портфель прыгал в руке Абсилиса, больно ударяя по ноге.

— Мосье Виктор, long time no see[2]. Сколько времени прошло, merde, mon vieux[3].

Абсилис выпустил портфель, который упал на землю, и уже не сопротивлялся, пока длинные, костлявые пальцы (наверное, пораженные ревматизмом; они всегда вызывали у него отвращение) тискали обе его руки. Он улыбнулся, произнес: «Хенк!» — снова улыбнулся, потом сказал: «Мосье Эктор! Да, давно не виделись, а? Какой случай, quoi[4]». Он тоже включился в эту старую игру: разговор с Хенком Лапортом всегда производил дурацкое впечатление, будто жарился какой-то омлет из слов — годились яйца любой породы кур («On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi, merde, mon vieux»[5]); в этом, кстати, было повинно и его происхождение, и его имя: мать его была голландка, выросшая в Брюсселе, отец переселился в столицу из Льежа. Он был единственным из группы Сопротивления, которого Абсилис знал больше чем только в лицо (кроме Клода, разумеется, и Мади); в начале войны они вместе работали в одной и той же конторе по снабжению продовольствием. Через него он попал в Группу, где и познакомился с Клодом и Мади.

Пока Лапорт тискал его руку уже выше локтя, Абсилис бросил взгляд в сторону его спутницы, которая стояла в нескольких шагах от них и, скучая, играла сумочкой. Лапорт перехватил его взгляд, подмигнул и, повернувшись к женщине, сделал ей знак подойти. Представил ее:

— Да, познакомьтесь, это мадемуазель Вивиана. Viens, chouchou, que je te présente mon vieux copain de la Résistance, monsieur Victor, un authentique héros, tu sais, sans blague, on va boire un verre...[6] Давай, Жан, опрокинем по одной за старые времена, on se sentira rajeuni, quoi[7].

Абсилис учтиво подал даме руку, поднял свой портфель и дал Лапорту увлечь себя; тяжелый портфель мешал ему, но, к счастью, идти пришлось недолго: Лапорт важно поплыл к веранде большого ресторана, отодвинул стулья для дамы и Абсилиса и последним уселся сам. Он оперся локтем о столик и глупо-испытующе посмотрел на Абсилиса.

— Ты выглядишь изысканно, mon vieux. Чем ты сейчас занимаешься?

Абсилис ответил: «Я представляю фирму» и увидел, что Лапорт, подняв палец, зовет официанта; он подумал, что Лапорт даже не слышал его, и почувствовал скорее облегчение.

---

[1] Старина *(франц.)*.

[2] Давно не виделись *(ломаный англ.)*.

[3] Черт возьми, старина *(франц.)*.

[4] Ну и ну *(франц.)*.

[5] Чтобы приготовить омлет, нужно разбить яйца, вот так-то, черт возьми, старина. *(Франц.)*

[6] Подойди сюда, крошка, позволь представить тебе старого товарища по Сопротивлению, мосье Виктора, настоящего героя, понимаешь, кроме шуток, пойдем выпьем по рюмке... *(франц.)*.

[7] Сразу помолодеем, ей-богу *(франц.)*.

— Я возьму аперитив,— сказал Лапорт.— Et pour toi, chouchou, comme d'habitude?[1]

Женщина кивнула, Абсилис сказал:

— Я беру то же, что и вы.

Лапорт сделал заказ, посмотрел на Абсилиса и спросил:

— Что, автомобильную? Тогда это, наверно, дорогие коляски — «бьюик», quoi?

— Книги,— спокойно возразил Абсилис.— Я разъезжаю по делам издательства.

— А-а,— протянул Лапорт. Он скорчил глупую гримасу, стал похож на Сальвадора Дали, только без усов.— Mais oui, évidemment, je suis un con, quoi[2]... Только литература, совсем как раньше. Tu vois, chouchou, mon vieux copain est écrivain; il n'était pas seulement un héros, mais aussi un écrivain, romancier par dessus le marché[3].

Женщина изобразила вежливое удивление, тонкие голубые полоски, оттенявшие уголки глаз, зашевелились, улыбка позволила тускло блеснуть маленьким редким зубкам.

— О, mais c'est dégueulasse![4] — вымолвила она.

— Она хочет сказать, что это magnifique[5],— сказал Лапорт.— Вивиана без ума от книг о жизни, la vie et l'amour et tous les Goncourts[6]; она просто бьет меня наповал, mon vieux, ты же знаешь, что я в литературе ничего не смыслю, лучше просижу вечер в кино. Конечно, я не против книжек, pourvue que ça se lise au lit, et en duo, quoi?[7]— Он подарил Абсилису одну из своих неотразимых улыбок, обнажив крупные белоснежные зубы. (Вся Группа умирала со смеху, когда он рассказывал о своем визите к зубному технику: «Le meilleur de la ville, mais cher, merde, mes copains[8]; он орудовал в моей пасти, как мясник, санитарка держала таз, кровь текла в него без конца, как сок из каучукового дерева, et la fille qui ne parlait que du râtelier tout neuf qu'on allait me procurer, elle avait l'air canaille, elle avait du chien, quoi, merde, mes copains»[9].

С прежним, чуть сентиментальным удивлением Абсилис рассматривал Лапорта, его слегка покрасневшие глаза, прямой и ровный нос, по-настоящему красивый лоб, который стал теперь выше — линия волос чуть отступила (как уровень воды в реке после долгого и засушливого лета), сами волосы поредели, только на висках они были такими же густыми и блестящими, как в доброе старое время. Воротник его белой сорочки был ослепительно чист, костюм превосходно сидел на нем как влитой (когда он наклонялся над столом, воротник пиджака не поднимался, как у Абсилиса), на лацкане аккуратно, одна под другой, были приколоты четыре почетные ленточки — на две больше, чем у остальных членов Группы. Абсилис помнил, с какой торжественностью их тогда вручали. Он не сомневался, что о «припеке» для сына позаботилась мать Лапорта; он видел ее всего два-три раза и всегда чувствовал себя при этом довольно глупо. В первый раз — когда она вторглась в контору, где они с Хенком работали; она оказалась высокой женщиной с худым, сильно накрашенным лицом,

---

[1] А для тебя, крошка, как обычно? *(Франц.)*

[2] Ну да, конечно, ей-богу, я идиот... *(Франц.)*

[3] Видишь ли, крошка, мой старый товарищ — писатель; он не только герой, но и писатель, да к тому же романист *(франц.)*.

[4] Но это же убиться можно! *(Франц.)*

[5] Великолепно *(франц.)*.

[6] Жизнь и любовь и всякие там Гонкуровские премии *(франц.)*.

[7] Таких, которые можно читать в постели и вдвоем, вот так-то *(франц.)*.

[8] Лучший в городе, но дорогой, черт бы его побрал, ребята *(франц.)*.

[9] А девица трещала без умолку о новой челюсти, которую мне вставят, а у самой, канальи, вид такой озорной, с перцем девчонка, ей-богу, ребята *(франц.)*.

в шляпе, похожей на колесо от телеги, посреди которого высилось украшенное лентами гнездо аиста; удивительно, как ей удалось пройти в дверь. Она поздоровалась с Абсилисом и даже поговорила с ним, но так, будто его и не было, будто она декламировала перед темным залом; она видела только своего сына, была поглощена только им: поводила пальцем по краю промокашки на его письменном столе, с отвращением понюхала грязное пятнышко на кончике пальца, быстро подошла к окошку и попыталась посмотреть через матовое стекло во внутренний двор, спросила, где сидит директор, и тут же удалилась; прошло немало времени, прежде чем запах бумаги перебил аромат ее духов. Через два дня всех перевели в помещение, где было просторней и светлей, и сам директор собственной персоной явился узнать, нравится ли им тут. Работа была — не бей лежачего; чаще всего они занимались тем, что до пота перебрасывались бумажными шариками; после обеда Хенк неизменно появлялся пахнущий туалетным мылом и в свежей сорочке, Абсилис же все время чувствовал запах собственного пота.

Кельнер принес бокалы, и они отпили по глотку. Лапорт сказал:

— Иногда я встречаю кого-нибудь из старых приятелей, Вима или Мориса, случайно, разумеется, mais le hasard, c'est comme une poule, il faut marcher à sa rencontre, quoi, et on le trouve le plus souvent dans les boîtes [1], мы, конечно, стареем, merde, mon vieux, но в конце концов лишь настолько, насколько сами это признаем. Ты, конечно, женат, как и вся прочая банда?

— Да,— ответил Абсилис. Он подумал, не стоит ли сказать о Мади, и решил не делать этого.

— Естественно,— сказал Лапорт, одобрительно кивнув.— Хорошее дело le mariage parfait [2], но нужно, чтобы это на роду было написано, или, еще лучше, il te faut un brin d'encouragement, quoi? [3]. Для этого нужна мама с ее советами, en amour je suis un fauve, moi, un chasseur de nuit [4]: как только меня берут на поводок, я его перегрызаю, pas vrai, chouchou?[5]

Женщина надменно улыбнулась, выпрямилась, вышла из-за столика и направилась к двери ресторана. Лапорт прищурил глаз, оценивающе наклонил голову и показал длинным, костлявым пальцем в ее сторону.

— Честно говоря, старина, она славная бабенка, ça ne se voit peut-être pas, mais elle a du chien[6]. Я знаком с нею уже два месяца, а она еще ни разу не приставала ко мне насчет женитьбы; разведенные женщины часто вдвойне требовательны в этом смысле, quoi, mais celle-là est intelligente, elle a l'oeil du faucon, elle a un peu pris la mesure de la maman, tu comprends[7]?

Пока Лапорт продолжал свою болтовню, Абсилис наблюдал в окно ресторана, как женщина, прислонившись к табурету возле бара, беседовала с высоким седым мужчиной. Ему вспомнилось, что Хенк после визита своей матери в контору весь день был в приподнятом настроении и доверительно знакомил его с подробностями своей домашней жизни. Родители еще жили вместе, но каждый сам по себе: отец редко бывал дома; раньше, когда Хенк был мальчишкой, он по-

---

[1] Но случай — он как девка, нужно самому искать его, вот так-то, и чаще всего находишь его в кабаках... *(Франц.)*

[2] Идеальный брак *(франц.)*.

[3] Нужно, чтоб тебя немного подтолкнули, вот так-то. *(Франц.)*

[4] А я в любви — зверь, ночной охотник *(франц.)*.

[5] Не так ли, крошка? *(Франц.)*

[6] Может быть, это не бросается в глаза, но она с перцем *(франц.)*.

[7] Но эта — умница, у нее острый глаз, она как бы приняла на себя обязанности моей мамаши, понимаешь? *(Франц.)*

являлся, как добрый дядюшка, каждый раз приносил новую игрушку и вручал ее сыну, дружески хлопая его по плечу; спустя несколько минут мальчик слышал через дверь спальни голоса родителей, иногда веселые, затем они умолкали, временами раздавалось лишь приглушенное хихиканье; иногда они звучали враждебно, слышались короткие, отрывистые фразы: было ясно, что родители с трудом сдерживались, пытаясь сохранить приличия, но вскоре начинали кричать, перебивая друг друга. Иной раз Хенк подслушивал, приложив ухо к двери: на него это действовало возбуждающе. После таких встреч (его отец опять уходил из дому или исчезал где-то внутри дома, и лишь слабый шум воды в ванной мог навести на след его возможного укрытия) он с тоской и скукой позволял матери прижимать себя к сердцу; он старался успеть просунуть свою руку между ее рукой и своей шеей, потому что после первого же объятия ему чуть не делалось дурно: он боялся, что она его задушит. В такие минуты она становилась истеричной и цеплялась за него, словно дюжина дьяволов пыталась его отнять. В промежутках между визитами отца в доме регулярно появлялись разные мужчины: седые, брюнеты, рыжие, хилые, дюжие — все они были высокие, щеголеватые и врываясь в дом с видом завоевателей («Мне всегда казалось, что кто-нибудь из них вот-вот выхватит из-за пазухи шляпу мушкетера и начнет подметать перьями пол, des conquérants, quoi, des d'Artagnans»[1]) и одобрительно кивали, когда мать отсылала его в кухню или на веранду. Случалось, у него в это время сидели друзья, пришедшие послушать пластинки или посмотреть коллекцию марок, тут уж приходилось сматывать удочки, убирать проигрыватель и альбомы; но его это не особенно печалило, он мог посидеть и на кухне, а если надоедало, то в шкафчиках или в буфете всегда можно было найти что-нибудь вкусненькое. Однажды мать привела низенького толстяка; тот ему совсем не понравился: он вел себя как бродяга, неожиданно попавший в хороший дом,— по-собачьи пялил голодные глаза на возвышавшуюся перед ним женщину и не давал отдыха своим рукам. Выходя из комнаты, Хенк слышал, как они говорили о музыке, и решил про себя, что этот человечек—музыкант или композитор, а мать привела его специально, как жертву, которую она выхватила из-под самого носа у других поклонниц. Это неправда, что у голландских женщин в жилах рыбья кровь, сказал Хенк; во всяком случае, не у всех — его мать была вулканом, который отпугивал трусов и притягивал авантюристов. Один армейский капитан больше полугода приходил к ним по средам после обеда (в дни биржи его отца не бывало дома даже тогда, когда удавалось на время склеить осколки семьи); это был парень что надо, un taureau, quoi[2], с громадными веснушками и рыжими волосами на тыльной стороне ладоней; от него исходил какой-то неприятный запах, типичный запах военной формы, как позже узнал сам Хенк.

И все же мать была болезненно привязана к сыну; позже она поощряла его амурные похождения, обсуждала и взвешивала его победы, молчаливо соглашалась с его слабостью к женщинам худощавым и гибким — des fauves un peu canailles[3]; немедленно и очень решительно вмешивалась, если видела, что жертва собирается взять на себя роль охотника и берет курс на свадьбу: «Tu sais, je la crois un brin jalouse, c'est très drôle, ça fait un tout petit peu antique, quoi, merde, mon vieux»[4].

[1] Завоеватели, ну прямо д'Артаньяны *(франц.)*.

[2] Ну прямо настоящий бык *(франц.)*.

[3] Хищницам *(франц.)*.

[4] Знаешь, по-моему, она чуточку ревнует — как забавно, в этом есть что-то ну прямо допотопное, черт возьми, старина *(франц.)*.

Абсилис стряхнул воспоминания, заставил себя прислушаться к голосу Лапорта, улыбнулся вежливо (лучше бы сердечно, однако — и он сознавал это — прежнего дружелюбия и непринужденности не вернешь). Лапорт продолжал:

— C'était un temps du tonnerre[1]. Мужчина создан для того, чтобы бросать вызов опасности, в мирное время он становится ловеласом, в том случае, конечно, если нападает на верный след. Я не имею ничего против моногамии — du moins pas chez les autres[2]. Иногда с тоской вспоминаешь прошлое: да, вот это были времена, это была жизнь, merde, mon vieux, tromper les boches c'était autre chose que tromper une poule, quoi? Et de garder son air innocent, quoi?[3] — Он помолчал с минуту, затем прибавил: — Ah, merde, mon vieux,— и бросил быстрый, рассеянный взгляд охотника на свою даму, которая по-прежнему стояла у бара и беседовала с седым мужчиной. Он одобрительно кивнул, увидев, как она, перенеся тяжесть тела на одну ногу, выставила округлое бедро, и Абсилис угадал, какой вираж сделали вдруг мысли Лапорта.

— Да, вам тогда чертовски не повезло,— сказал Лапорт.— А мы ударились в панику, и прошло порядочно времени, пока все опять вошли в колею и смогли работать. Ждали, что в любую минуту могут явиться боши и сцапать нас; когда скрипели ступени, я думал, что поднимаются они; звонил кто-нибудь из кавалеров матери, а у меня сердце замирало от страха.— (Куда делись его идиоматика и фразеология, подумал Абсилис. Но его удивление длилось недолго: он понял, что Лапорт печет словесные омлеты, когда говорит о вещах приятных, а сейчас он отдает дань уважения героическому прошлому, в эту минуту он патриот, стоящий прямо, как часовой, перед вечным огнем, настроивший на возвышенное свои мысли, далекие сейчас от эротических завихрений.) — Мы боялись, что кто-нибудь из вас раскололся; не подумай, что мы вам не верили, но ты ведь знаешь: боши умели заставить говорить кого угодно; нам ничего не было известно, кроме того, что вы попались им в когти, мы гурьбой лезли в мышеловку, хотя заранее было ясно, что в нашем деле такой случай не исключен.— Лапорт замолчал, улыбнулся; его большие глаза молили о сочувствии, пока пальцы извлекали из нагрудного кармана зажигалку. Абсилис взял у него сигарету, невольно взглянул на эти пальцы, длинные, костлявые, с уродливыми суставами. Лапорт поднес ему зажигалку.— Кажется, прошла целая вечность, пока мы разузнали, что с вами стряслось: ты в Сен-Жиле, Клод отправлен в Германию, и оба приговорены к смерти. Тогда мы поняли, что никто из вас не проговорился, и перестали паниковать.

Абсилис кивнул. У сигареты был острый, сладковатый вкус, совсем как раньше: Лапорт всю оккупацию курил восточные сигареты— его мать завела интрижку с офицером из Propaganda-Abteilung[4]. Однажды он случайно встретил их; немец был длинный и худой, немного сутулился и, видимо, чувствовал себя непривычно в своем мундире; гигантская шляпа дамы мешала ему идти рядом, и он держался на расстоянии вытянутой руки. («Sortir avec elle c'était comme sortir avec une poule qui s'était travestie en parasol».[5]) Впечатление, которое оставил этот человек, подтвердилось: Хенк рассказал Абсилису, что немец у себя дома заправлял небольшим, но богатым издательством

---

[1] Чудесное было время *(франц.)*.

[2] По крайней мере у других *(франц.)*.

[3] Черт побери, старина, обманывать бошей — не то, что обманывать девочек, верно, а? И еще сохранять при этом невинное лицо, верно? *(Франц.)*

[4] Отдела пропаганды *(нем.)*.

[5] Гулять с ней было все равно что гулять с девкой, одевшейся зонтиком *(франц.)*.

и преподавал в Йеннском университете древние языки. Его мать не станет ходить с каким-нибудь вульгарным бошем, добавил он небрежно, она презирает тевтонцев. Она даже наотрез отказалась учиться немецкому, хотя наверняка ей, голландке, это было бы несложно; профессор изъяснялся с ней на тяжеловесном, однако вполне приличном французском. Он не был нацистом, но занимал большой пост, перед его именем стояло «фон». («Tu sais ce que cela veut dire pour un teuton, même si tu t'appelles «von Hodesack» [1].) Он в два счета устроил Хенку освобождение от принудительной работы на заводе (Абсилису повезло меньше).

— А потом сообщили,— продолжал Лапорт,— что тебе удалось бежать, а Клод Морренс убит.

Абсилис, догадываясь, что за этим последует, снова ощутил неприятный холодок. Он уже не впервые слышал эти слова, и его неудовольствие возрастало с каждым разом, когда он встречал Лапорта (вначале, после своего неожиданного спасения — довольно часто, затем все реже и реже, пока они совсем не потеряли друг друга из виду; сегодняшняя встреча, через семнадцать лет, была поистине удивительной шуткой судьбы); он чувствовал себя вовлеченным в некий ритуал, который уже давно выродился в фарс,— забавный словесный омлет, болтовня о будничной суете, о последних победах над женщинами, а потом, на закуску — торжественный, наводящий скуку посмертный салют чести, трескучий пафос; разговор с Лапортом был похож на езду в автомобиле, который сперва, приятно урча мотором, легко скользит по ровному шоссе, а потом вдруг, испугавшись крутого подъема, толчками начинает разбегаться, но выбивается из сил и, чтобы не скатиться назад, поспешно переходит на первую скорость. Последний раз они виделись на устроенной Лапортом, взявшим на себя всю беготню и переписку, встрече всех членов Группы — всех, кроме Клода, разумеется, и Паульке, который запропастился неизвестно куда,— торжественном съезде кавалеров ленточки «За отвагу». Абсилис, как сейчас, видел их перед собой — вот они стоят вокруг Лапорта с бокалами коктейля в руках: Мади, Мими, Вим, Реф, Сервас; Лапорт шлепал на сковородку свои омлеты, а потом, в заключение, произнес, обращаясь к Абсилису, те же слова, которые почти буквально повторил теперь:

— ...а Клод Морренс убит; сначала мы этому не поверили: воздух был насыщен самыми невероятными слухами; люди, вернувшиеся из плена или концлагеря, были полусумасшедшие, путали без конца правду и вымысел, имена и лица: те, кого убивали на их глазах, через неделю вдруг появлялись живехонькими; тот, кого они видели недавно в поезде, оказывается, умер еще год тому назад. Было от чего сойти с ума. Но вот наконец пришло официальное подтверждение (и тут слово «официальное» не было еще политической побрякушкой, пустым газетным словечком, но имело свое, особое значение, глубокий, лихорадящий смысл) — обезглавлен.

Внешне эти слова никак не задели Абсилиса; его лицо сохраняло прежнюю торжественно-натянутую мину (у него было такое ощущение, точно он утром после бритья слишком обильно смазал кожу квасцами); он внимательно и отрешенно смотрел на Мади, подстерегая ее реакцию. Позже, дома, его словно током ударило: он сам цел и невредим и даже не похож на скелет, как те, кто выбрался из лагеря, только вот разве синяк под левым глазом и не хватает пары зубов, а Клода казнили. Он ясно видел перед собой всю картину, как на

[1] Ты знаешь, что это значит для тевтонца, если даже его имя «фон Мошонка» *(франц.)*.

старых цветных иллюстрациях или в мелодрамах немого кино: холодный, освещенный подвал тюрьмы, сучковатая плаха, палач с громадным топором, небрежно прислоненным к ноге,— и тут же ловил себя на чудовищной ошибке: палач, конечно, не был огромным детиной в красном и в зловещей маске; скорее всего, на нем была обычная, самая банальная форма, которую не жалко запачкать брызгами крови.

Он слышал слова Лапорта:

— Ей-богу, мы на некоторое время потеряли голову, подумали даже — кто-то из наших донес: на том конце трамвайной линии никогда не было ни одного боша, но именно в ту ночь они стояли там и ждали — так мне, по крайней мере, показалось, когда я наблюдал с перекрестка,— несколько выстрелов, и все было кончено.

И вдруг что-то заставило Абсилиса прислушаться. Это «что-то» было совсем новое, оно не имело отношения к сумбурному рассказу о происшедшем, к патетическому скрежету, с каким внезапно остановился механизм риторики; он почувствовал как бы толчок в сознании, словно много раз игранная пластинка, которую он уже знал наизусть, неожиданно пошла крутиться дальше того места, где она обычно, мягко щелкнув, останавливалась.

— Ты не можешь себе представить, насколько это меня встревожило,— сказал Лапорт. Теперь он говорил медленно, спотыкаясь, и Абсилис подумал: «Сейчас конец пластинки — немного самоизлияний, разрядка слабого комплекса вины». Он бросил взгляд на Лапорта, тот улыбнулся кисло, слегка виновато, поднял руку вверх, растопырив безобразные пальцы — беспомощный жест, мольба о пощаде за то, что он не оправдал ожиданий.— Я стоял там и видел, как промчалась машина с облавой; я стоял, пока не рассвело. И Мади. Я подумал: она убьет меня, и я получу все сполна. Но она приняла все; по ней ничего нельзя было заметить.— Он вздохнул, облегчение вышло натужным, беззвучным потоком воздуха из его улыбающегося рта.— А Кеннес приходит и говорит, что видел, как Сервас выходил из здания гестапо. Это было тремя днями раньше, через день после того, как мы запланировали всю эту историю. Ты ведь знаешь, что Вим любил побрюзжать, чувствовал себя счастливым, если находил пищу для своей мнительности. Но он поклялся мне, что это не ошибка; с того дня он избегал Серваса как чумы, и вид у него был такой, будто он готов в любую минуту взорвать все к черту. Я же не мог объясниться с Сервасом, как ты понимаешь. Каждый день я ждал, что нас одного за другим начнут брать, но ничего такого не случалось, и в конце концов Кеннес понял сам, что ошибся: нельзя же донести на двоих и одновременно помогать всей Группе. Во всяком случае, если нет на то серьезной причины. Но ведь ее и не могло быть у него, а?

— У кого? У Серваса? Нет.

— Он изучал право. Мади могла бы послужить серьезной причиной, но он даже не смотрел на нее.

— Что он теперь делает? Занимается частной практикой?

— Нет. Он ударился в политику. Я видел его фамилию в предвыборном списке кандидатов. Он был членом магистрата в Алсте, теперь метит в бургомистры. А ты не знал?

— Я очень редко читаю эту страницу газеты,— сказал Абсилис.— А Вим все еще околачивается в Брюсселе? — Почувствовав облегчение оттого, что ритуал закончен, он снова включился, как положено, в игру, чтобы помочь Лапорту войти в привычную роль словесного кулинара, и уже готовился к последним рукопожатиям и прощальным банальностям.

Лапорт проглотил наживку:

— Toujours le Figaro [1] — он принял в наследство салон своего отца где-то за рыночной площадью. Comme Roef, d'ailleurs, avec une légère différence [2] — у того фабрика в Схаарбеке. Ils ont reussi, quoi, leurs tartines sont beurrées, merde, mon vieux [3].

Женщина отодвинулась от табурета, выпрямилась, потянулась, кивнула седому мужчине, сказала ему что-то, подчеркнув слова жестом; она повернулась, как манекен, немного поспешно, немного заученно, на каблуке одной и носке другой туфли,, показала обоим мужчинам, сидевшим на террасе, свой профиль и затем вышла наружу. Она, видимо, поняла, что ритуал окончен, язвительно подумал Абсилис: за несколько месяцев у нее, без сомнения, было предостаточно возможностей развить свою реакцию до автоматизма. Он быстро взглянул на часы и, пока женщина продвигалась к их столику между пустыми стульями, сказал:

— Мне действительно пора. Рад был повидать тебя после стольких лет.

Лапорт не старался его удерживать: он заплатил свою дань уважения старой дружбе, огонь потух; его мысли опять переключились на женщину, которая уселась напротив.

— Если будешь снова у нас в городе, забегай,— сказал он.— Адрес тот же. Мама будет рада.— Напоследок еще одна маленькая ложь, которая ему, кажется, не помешала; а может, он верит в то, что сказал.

— Обязательно загляну,— сказал Абсилис. Он соврал так же легко.

— Et on les aura [4],— сказал Лапорт.

«On nous a eus» [5],— подумал Абсилис, улыбнулся, кивнул в знак согласия и вслух произнес:

— On les aura.

Глава II

Мади

Из громкоговорителей все еще неслась маршевая музыка, когда Абсилис свернул на слабо освещенную боковую улицу. В лучах фар он увидел раскрытые ворота гаража — значит, Мади долго его ждала и беспокоилась. Она никак не могла привыкнуть к тому, что он приезжает домой в разное время, и напрасно он по утрам предупреждал ее, что может задержаться дотемна и обойдется без горячего ужина; она согласно кивала, но как только наступало время ужина, принималась готовить. Когда ужин остывал, она подогревала его — и так несколько раз, пока ее не охватывало беспокойство; тогда она от волнения принималась бродить по дому, переставлять разные предметы, наконец, выходила во двор и отворяла двери гаража, словно это как-то могло подействовать на его дневной распорядок, на пробки, кото-

[1] По-прежнему в роли Фигаро *(франц.)*.
[2] Как и Реф, хотя есть небольшая разница *(франц.)*.
[3] Им повезло, вот так-то, на их хлебе есть масло, черт возьми, старина *(франц.)*.
[4] И мы им еще покажем *(франц.)*.
[5] Это они нам показали *(франц.)*.

рые случаются на дорогах. Все это Абсилису было давно известно; запаздывая, он начинал нервничать, спешил, иной раз прямо-таки отчаянно вел машину. Редкие размолвки, ненадолго нарушавшие их безмятежное существование (Абсилис не выносил богемных компаний, сами они почти никуда не выходили, вели жизнь голубей-домоседов), начинались обычно из-за его мягких упреков, что-де ей совершенно не нужно было его дожидаться. Мади так же кротко отвечала, что в этом нет ничего ужасного. Но он за нее беспокоится, он не хочет, чтобы она волновалась понапрасну, настаивал он; она, в свою очередь, переживала, что он нервничает из-за нее, торопится и неосторожно ведет машину,— и не успевали они это осознать, как между ними вспыхивала короткая, вздорная перебранка.

Когда Абсилис запирал дверь гаража, маршевая музыка по радио оборвалась и после короткой паузы, сквозь гудки и помехи, чей-то хриплый голос начал читать предвыборную речь. Абсилис уже наизусть помнил эту запись. Когда он слушал ее в первый раз, ему невольно резали слух неуклюжие формулировки, он бессознательно редактировал их про себя, каждый раз заново, так что теперь смог бы без запинки прочитать вслух два варианта. По выложенной плитками дорожке он прошел к черному ходу, в кухне разулся, надел уже приготовленные домашние туфли. Сигнальная лампочка над электропечью светилась, приятно пахло чем-то жареным; на столе он увидел свой прибор и два хлебца. Он вошел в гостиную; Мади сидела возле жужжавшего электрокамина: осень стояла теплая, и они еще не топили печки. Мади подняла глаза, он поцеловал ее.

— Я уже поела,— сказала она и хотела встать, но он удержал ее, положив ей руку на плечо.

— Вот и прекрасно. Я задержался, встретил Хенка.— На ее лице ничего не отразилось, он подумал, что она не поняла, о ком идет речь, и добавил: — Лапорта.

Она сказала:

— Ах, да,— но взгляд ее по-прежнему ничего не выражал.

— На обратном пути я завернул еще в несколько пригородных магазинов. В одном была очередь. Пришлось постоять.

Он подождал, не скажет ли она что-нибудь, и пошел в кухню. Едва он принялся за еду, появилась Мади.

— Хлеба хватит? Хочешь еще кофе?

Он, с полным ртом, покачал головой и сделал знак, чтобы она возвращалась в гостиную; она помедлила в дверях и ушла. Он почувствовал облегчение и благодарность: ему были знакомы ее вспышки, и он понял, что ее беспокойство сейчас заковано в панцирь молчаливой предупредительности. Такой же бывала она и прежде, но тогда это оставляло впечатление замкнутости характера: когда все члены Группы собирались вместе, порой казалось, что Мади намеренно держится в тени. Разумеется, пока рядом не было Клода — тогда ее усилия держаться непроницаемо были тщетны: все замечали, что она от него была без ума, как ни пыталась это скрыть. Впрочем, ее подводила и внешность: наделенная экзотической красотой, с чуть раскосыми глазами, желтоватой кожей, сквозь которую, если рядом оказывался Клод, проступал темный румянец («Une fausse maigre, une carcasse bien roulée, quoi». [1]), с длинными иссиня-черными волосами, Мади была сама противоположность тому типу женщин, которых можно назвать неброскими. Абсилиса всегда удивляло, что другие не обращают на нее внимания: такой бабник, как Лапорт, должен был бы при виде нее пускать слюнки. Но то, что Лапорт сказал насчет Серваса, было

[1] Обманчивая худоба, на костях, ей-богу, достаточно мяса *(франц.)*.

верно и в отношении всех остальных: никто не пытался ухаживать за нею, все молчаливо признавали, что она принадлежит Клоду. Сам Абсилис был уже тогда влюблен в нее, тайно и навеки, но ему не составляло большого труда скрывать свои чувства — обнаружить их было бы равносильно кровосмешению, потому что Клод был ему близок почти как родной брат.

Когда он уже заканчивал ужин, рядом с ним опять неслышно возникла Мади. «Еще чашку кофе?» На что он сказал: «Нет, но немного погодя хорошо бы чаю, а я пока посмотрю газеты» — и пошел в гостиную. Мади стала убирать со стола. Он придвинул свое кресло к электрокамину, напротив кресла Мади; слышал, как шумит вода в посудомоечной машине. На нижней полке книжного шкафа, где стояли его собственные романы возле нескольких тонких поэтических сборников Клода, подаренный ей авторский экземпляр немного высовывался из ряда книжек: Абсилис понял, что она снова читала стихи, а когда он вернулся, поспешно сунула книгу на место. Перелистывание книг было для нее последним средством обуздать беспокойство, когда ворота гаража уже открыты и началось томительное ожидание. Он даже не посмотрел, что это за книжка, он знал, что это первое издание «Исфаганского экспресса» — сборника, в котором Клод объединил свои стихи, публиковавшиеся перед самой войной в молодежном журнале «Слепой всадник» (в подвале, в одном из ящиков, лежали все десять номеров, выпущенные за полтора года существования журнала; их давно собирались да так и не собрались отнести в переплет). У сборника был подзаголовок — «Похвала ранней смерти»; в первый год после освобождения Абсилис невольно отдал дань культу Клода Морренса, созданному авангардистами (они превозносили его до небес, воздвигали для него пьедестал, на котором были не прочь пристроиться и сами): он поместил в их журнале пространную статью о чувстве смерти в поэзии Клода. Его удивляло и даже возмущало, как легко можно исказить смысл стихов, как без всякого труда, с невинным видом, а по сути дела злонамеренно, можно все перетолковать, лишив истинной ценности всю символику стихов и представив их как лирическое завещание кандидата в самоубийцы. Когда он увидел свою статью уже напечатанной, то не мог себе простить, что уступил этим мифотворцам и превратил образ Клода в карикатурный портрет заключенного, объявившего голодовку и предсказавшего собственную смерть; робкое удовлетворение от того, что он помог читателям лучше узнать Клода, было отравлено большой дозой горечи. И еще мучило чувство бессилия против хода вещей, который превращает глупую случайность в Неотвратимый Рок. Ведь достаточно было случаю не вывести немецкий патруль прямо на Клода Морренса, и топор палача не пал бы ему на шею, и «Исфаганский экспресс» остался бы не сокровенным предчувствием самоубийцы, а томиком чертовски хороших стихов. Слишком уж много нагорожено о писателях чепухи по воле случая, играющего на руку ремесленникам; в отношении Клода мифотворцы настолько отпустили удила фантазии, что их восхищение его поэзией приняло вид бессовестной издевки. Абсилис так и не узнал, что подумала об его статье Мади, но у него было смутное впечатление, что она свято блюдет культ Клода не потому, что истинно верит в него, а из чувства подавленной ревности; она держится за этот культ как за свой личный экземпляр «Исфаганского экспресса», с маниакальной близорукостью матери, которая, как реликвии, хранит детские вещи погибшего сына. На ее экземпляре стояло посвящение: «Мади от Клода, con amore [1]».

[1] С любовью *(итал.)*.

Ships that pass in the night
And greet each other in passing,
Only a signal shown
And a distant voice in the darkness[2], —

И эти строки, которые Клод привел, наверное, в порыве восхищения и протеста (английская литература была тогда под запретом, ее чернили как декадентскую), она включила в свой миф, приписала им значение символа безнадежности, быстротечности их любви.

Мади вошла в комнату, села на подлокотник кресла, ласково прильнула к его плечу.

— Устал? — спросила она, и прежнее чувство благодарности и нежности захватило его.

Он ответил:

— Нет, нисколько.

И головой игриво и мягко прижался к ее груди. Абсилису подумалось, что благодарность и нежность с самого начала определяли характер их отношений, с его стороны, во всяком случае; бывали минуты неясной тоски, сожаления о слишком поздно найденном счастье, о том, что так и не суждено было пережить испепеляющую радость первой любви; однако неудовлетворенности он не испытывал. Они были зрелыми людьми, нежность и благодарность надежно оберегали их чувство от случайных вспышек полушутливого раздражения, нападавшего на них зимними вечерами, когда они уютно сидели возле камина, или же летними ночами, когда в открытое окно проникали неясные, далекие звуки,— внезапные, пугающие и все-таки желанные порывы страсти выплескивали их чувство из русла равнодушия (сам Абсилис знал, что он подвержен страсти, с темными, атавистическими ростками похоти, которые, правда, так и не смогли пробиться сквозь скорлупу его провинциальной застенчивости; он развил в себе инстинкт, позволявший ему точно и быстро улавливать мгновение, когда Мади, в собачьей игривости, срывалась с цепи). Их связь началась бурно и несдержанно; в минуты трезвого раздумья Абсилис четко представлял себе, что, наверное, так же все и закончится. Потом эти моменты просветления казались ему такими же несерьезными, как те, что наступают во сне и после пробуждения теряют всякую ясность, а с нею и смысл.

Мади спросила:

— Получил заказы?

На самом деле это не интересовало ее, как и доходы, которые в какой-то мере зависели от этих заказов.

— Осенью спрос всегда больше, перед праздниками даже мелкие лавочки что-нибудь покупают,— ответил Абсилис. Мади знала это так же хорошо, как и он сам, но в разговоре, который с самого начала вращался вокруг невысказанной мысли, такая безопасная тривиальность была кстати.— Продажа идет неплохо,— добавил он; и это были тоже лишние слова, потому что список заказов на литературу уже несколько недель валялся дома. Мади, наверное, бесконечное число раз пробегала глазами все имена и названия подряд (Абсилис по алфавиту шел первым), наспех и без особого интереса, пока не наталкивалась на имя Клода: «Морренс Клод. Собрание стихов 1939—1944 гг.»— Я думаю, дело пойдет еще лучше. Сегодня мне удалось продать несколько экземпляров собственного романа и стихов Клода. У владель-

---

[1] Корабли, что плывут в ночи,
Как привет, посылают друг другу
Только сигнала луч
И гудка отдаленный голос ..— Стихи английской поэтессы Беатрис Харраден.

да магазина среди клиентуры есть, видимо, студенты, которым он все это сбудет. Я собирался поработать еще в нескольких кварталах, да встретил Лапорта.

— Как он выглядит?

Вопрос прозвучал именно в тот момент, когда он его ждал и для ответа успел приготовить очередную безопасную банальность:

— Как и раньше. Постарел, правда, но меньше, чем я,— произнес он тоном добродушной шутки, но, заметив, что Мади вся напряглась и задержала дыхание, быстро добавил: — Он живет по старинке; конечно, у него опять женщина, ты знаешь его нрав.

— Ты ему рассказывал о нас?

— Нет, не нашел нужным. Я предпочел слушать его вздор.— Он помолчал.— Такая встреча, конечно, не безразлична: снова вспомнилось прошлое.

— Он никогда ни на что не годился.— Она сказала это поспешно, будто не слышала или не хотела слышать его последние слова; скрытая враждебность в ее взгляде, задерживавшемся на Лапорте ровно на столько, чтобы этого не заметили другие, бросилась ему в глаза, когда он украдкой следил за ней во время торжественной церемонии вручения ленточек. По такому случаю Лапорт нацепил свою непринужденную ханжескую улыбку, какую можно использовать, например, на похоронах богатого дядюшки, учитывая и ситуацию, и возможность того, что среди охотников за наследством вдруг найдется двое или трое искренне огорченных людей. Матери он, очевидно, заранее прочитал нотацию: она плавала по салону, колыша своим неизменным аистовым гнездом на голове, разливая вокруг аромат духов, снисходя до рукопожатий, но язычок она все-таки прикусила, не ввернула ни одной надменной реплики, ни разу не съязвила. Позже, когда церемония закончилась, ее невозможно было оттащить от Рефа; все вежливые попытки промышленника вырваться из ее когтей она игнорировала: стального цвета, с проседью волосы и широкая грудная клетка старого Рефа действовали на нее, как брачный призыв оленя. Родители и брат Клода не могли оторвать от нее глаз, Абсилис хорошо представлял себе, что творится у них на душе. По их темным поношенным костюмам, по морщинистым лицам стариков родителей и скучной дебильной физиономии брата нетрудно было представить себе, что у них была за жизнь —в тесноте и вечной нужде, жизнь осиротевшей куриной стаи, которая высидела сокола, но по близорукости не заметила его полета. Теперь они явились сюда, подчиняясь крестьянской верности торжественным обрядам, преданные закону, по которому нельзя пропускать ни одной свадьбы, крестин, похорон; они вымылись от макушки до пят, облачились в белое и черное, истратили на дорогу последние деньги, сбереженные на покупку старого «ситроена» (так думал Абсилис, ощущая угрызения совести, вспоминая свое собственное происхождение, родителей, семью в далекой деревне). Когда отцу вручили обтянутую шелком полоску металла, он засиял от гордости, мать растроганно всхлипнула, только брат-дебил выглядел обиженным, словно ожидал вместо всего этого коронации или посвящения в рыцари. После дождя ленточек какое-то время царил непривычный беспорядок: мать Лапорта пожелала Морренсам счастливого пути, но они попятились от дурманящего благовония, будто им в лицо дохнул сам сатана; затем все разбились на группки: Мими и Кеннес, Лапорты с Рефом; мать Лапорта пыталась еще заманить Рефа поужинать, но старый Реф отразил атаку, сославшись на деловой обед; Абсилис, разговаривая с Сервасом, увидел поверх его плеча, как Морренсы, поколебавшись, неохотно отправились восвояси, а Мади, беседовавшая с одним из тех, кто вручал ленточки, смот-

рела им вслед. Абсилис не слышал, что говорил ему Сервас, после чего тот оставил его в одиночестве и перешел к Лапортам и Рефу; он смотрел на Мади, смотрел и не мог понять, почему она не спускает глаз с уходящих Морренсов. Ему вдруг стало невыносимо больно оттого, что он единственный, кому открылась ее красота; он видел, как ее темный румянец вдруг исчез и лицо стало похоже на пожелтевший пергамент; безрассудное вожделение внезапно овладело им, потом прошло, довольно быстро, раньше, чем он успел испугаться этого чувства. Лапорт подошел к нему проститься («On se revoit sans doute, quoi? Tu comprends, il faut aller se remplir le ventre, merde, mon vieux» [1].), и он заколебался было, не зная, что дальше делать, но тут увидел, что к нему идет Мади.

— Мне пора уходить, проводи меня,— сказала она, взяв его за руку; пожатие ее пальцев показалось ему необычайно сильным.

Они разыскали на вешалке свои пальто и вышли, ни с кем не прощаясь; она держала его под руку и влекла за собой, был холодный весенний вечер, сырой рваный ветер пронизывал до костей. Ее шаги были немного короче его шагов, каблуки ее туфель постукивали по асфальту, временами ее пожатие становилось очень крепким, судорожным, как будто она боялась, что он ускользнет из ее рук. Он лихорадочно искал какие-то особенные, неизбитые слова, чтобы прервать ее молчание; он чувствовал, что зябнет, ему захотелось поднять воротник пальто и наклонить голову под ударами ветра. Но Мади, казалось, не замечала ветра — высоко держа голову, она смотрела прямо вперед, на ее лице застыло выражение гнева и отчаяния, сжатые губы большого и красивого рта были сухи и бесцветны. Они обошли закрытый парк, спустились к старому городу; проносившиеся мимо машины бросали им в лицо клочья холодного света. Они сошли по крутым, выщербленным ступеням в узкий проулок, где бешено завывал ветер, и медленно, спотыкаясь, пошли дальше; почувствовав рывок, он решил, что Мади споткнулась, и, поддерживая, обнял ее свободной рукой за плечи, но она прислонилась спиной к стене, ее пальцы вцепились в его руки выше локтей.

— Ты любишь меня,— сказала она твердо и возбужденно.— Ты меня любишь, не говори, что это неправда, я знаю, ты любишь меня.

Ее лицо светилось серо-желтым пятном, глаза горели. Она вдруг отпустила его, решительно направилась на другую сторону улочки, где стояло захудалое кафе, он бросился за ней следом; она открыла дверь и дождалась, пока он войдет. Он огляделся, ища подходящий столик, но Мади прошла прямо к бару, за которым пожилая коренастая хозяйка приветствовала ее взглядом, как старую знакомую. Мади спросила:

— Комната свободна?

Женщина, слегка ошеломленная, бросила взгляд на Абсилиса.

— Да, дверь открыта, но постель не застелена.

Мади кивнула, лицо у нее было напряженное, казалось, она была чем-то разъярена; резко повернувшись, она толкнула боковую дверь. Он торопливо последовал за нею; она показала жестом, чтобы он закрыл за собой дверь, включила свет на лестничной клетке, начала подниматься по крутым узким ступеням. Абсилис подумал: «Сюда она приходила с Клодом; это похоже на паломничество, исповедь отчаявшейся души; она тянет меня с собой, как несовершеннолетнего свидетеля, как невольного адепта»; он увидел ее ноги под развевающимся пальто; страсть снова обожгла его, как острая изжога, он с трудом подавил паническое искушение повернуться и убежать. Под-

[1] Мы еще обязательно увидимся, ей-богу. Понимаешь, нужно идти набивать себе брюхо, черт побери, старина *(франц.)*.

нявшись, она обернулась и посмотрела на него сверху в нетерпеливом ожидании; когда он поравнялся с нею, она быстро прошла по узкому коридору, толкнула дверь — свет вспыхнул прежде, чем он успел войти. Он остановился у двери, заглянул в комнату; она снова сделала ему знак войти и заперла дверь. В комнате пахло сыростью и старым тряпьем, у окна стоял стул, от толчков ветра тихо поскрипывала рама, шевелились грязные шторы, краска на дощатом полу местами стерлась, щели между досок были заткнуты тряпками; на высокой кровати не было ничего, кроме грязного матраса и подушки без наволочки. Мади швырнула свое пальто на стул, пересекла комнату, скинула туфли, навзничь упала на кровать; закрыв глаза, почти не дыша, она лежала недвижно, напряженная. (Абсилис чувствовал себя лишним и смешным, досадным свидетелем жалкого спиритического сеанса; эта мысль подействовала на него гораздо сильнее, чем внезапно открывшийся вид ржавого ночного горшка под кроватью,— она вытесняла нахлынувшую на него страсть.) Невнятное бормотание, сказанное шепотом «ах» прозвучали почти оглушительно, у него вдруг возникло нелепое впечатление, что он попал в комнату, где умер человек и куда вдова регулярно приходит, чтобы облегчить себе душу в истерике. Желтая маска вдруг исчезла, глаза открылись, остановились на нем; губы о чем-то просили (О чем? Иди сюда? Уходи?); он подошел, наклонился к ее лицу, отдался власти бледных, сильных рук... Но ужасно было не то, что произошло, а молчание, погруженность в лютую тишину и затем, когда еще не выровнялось дыхание, бесцветный голос, спокойная настойчивость вопросов: «Что случилось в ту ночь у трамвайной линии?» (Он: «Мы ползли к насыпи, вдруг появились немцы, они закричали, потом открыли огонь».) «Какая была погода, были видны звезды?» («Звезды были видны, но над самой травой лежал холодный слой тумана».) «Были поблизости деревья, кусты?» («Были кусты, где и прятались немцы; вдоль насыпи стояли цепью высокие, голые тополя».) Эти вопросы или, скорее, спокойное упорство, с каким она их роняла, вызывая тени прошлого, внушали самому Абсилису мысль, что в происшедшем сейчас он был всего лишь телом без лица, добычей ее цепких пальцев, чужой кожей на ее коже, зубами на ее губах, вкусом крови у нее во рту. Терпеливо отвечая, он вдруг ясно осознал, почему Мади так долго смотрела вслед уходившим Морренсам: она бы соблазнила, совратила брата Клода, будь он хоть каплю похож на погибшего; теперь же она выбрала его, Абсилиса, за то, что его связывала дружба с Клодом; она насильно присвоила сначала эту дружбу, а потом уже Абсилиса.

Абсилис сказал:

— Лапорт остался самим собой, он обладает маниакальной убежденностью, что при любых обстоятельствах все сойдет ему с рук. Чтобы жить полной жизнью, садисту нужна война, в мирное время его антидобродетель оборачивается преступлением. Лапорт, как и прежде, называет себя зверем.

— Ты слишком хорошо видишь чужие пороки,— сказала Мади.— Этим ты мне нравишься.— Она провела рукой по его волосам. Жест этот не был игривым, скорее рассеянным.— Но разговоры с Лапортом — пустая трата времени.

Абсилис сказал:

— Лапорт выболтал одну странную вещь, о которой я понятия не имел. Оказывается, все эти годы его беспокоила мысль, не была ли причиной нашего ареста измена.

— Лапорт бредит,— резко ответила Мади. Казалось, она сама испугалась этой вспышки и добавила мягким тоном: — Он всегда страдал слабостью к романтике. Он даже придумывал всем прозвища,

будто мы шпионы, разъезжающие с чемоданом маскарадных костюмов.

— Ему кажется, что немцам кто-то намекнул насчет операции или направил их к условному месту, так что мы попались им прямо в лапы.

— Какая жалость, что это неправда.

— Жалость?

— Лапорт бы млел от наслаждения. Позже, разумеется, когда опасность миновала. Было бы чем поразить своих красоток. Уж он бы наплел своим идиотским языком самых жутких небылиц. Может, поэтому он все и выдумал; у него однобокое воображение — такое же, как и в отношении женщин.

— Это не показалось мне выдумкой. Сама идея появилась не у него.

— Кто же донес — уж не он ли сам? — Она рассмеялась; смех ее звучал высокомерно и был похож на икоту — предвестник истерики.

— Кеннес рассказал Лапорту, что видел, как Сервас выходил из гестапо, или, точнее, ему показалось, что это был Сервас. Потом он уже не был так уверен.

— Лапорт все выдумал,— сказала Мади.— После. А тогда за все время он не обмолвился об этом ни словом. Это он выдумал после. А тогда нам грозила опасность, ее хватало и без доносчиков. То, что случилось с тобой и Клодом, доказывает, как все было опасно. Потом этой опасности перестало хватать, одного мертвого Лапорту было мало, и он должен был приукрасить всю историю наподобие плохого фильма. Ты же знаешь Лапорта!

— Он вовсе не настаивал на своем предположении,— сказал Абсилис.— Это у него вырвалось нечаянно. И он тут же дал задний ход.

— Еще бы, ведь он знал, с кем говорит. Тебе каждый день приходится иметь дело с работой воображения, и у тебя чутье на дешевые фантазии.

— Он сам этому не верит.

Мади повторила: «Какая жалость» — и позже, в постели, когда она грела свои холодные ноги об его ноги, Абсилис подумал, каким беспощадно верным был ее взгляд на Лапорта: пожалуй, высокомерие — такое же верное средство раскусить другого человека, как и любовь. Лапорт неплохой парень, но Мади права: его воображение всегда было таким же однобоким, как и его страсть к женщинам; он вполне мог сочинить подобную историю, если решил, что она поможет ему затащить в свои сети случайную жертву. И все-таки... Сам Абсилис действительно ежедневно имел дело с продукцией воображения, он выработал в себе рефлекс все прочитанное или написанное проверять камертоном правдоподобия; сейчас он снова пробовал восстановить в памяти то ощущение шока, то напряжение, которое вызвали у него слова Лапорта. Это ему не удалось — все равно как если бы он захотел вспомнить вкус давно полученного поцелуя. Он попытался ни о чем не думать, сосредоточиться на Мади, которая, ища тепла, прижалась к нему всем телом. Было тихо, громкоговорители снаружи давно молчали,— той ночью, много лет назад, было так же тихо, и, как осторожно ни пытались они передвигаться, шум их шагов был все равно слышен; это беспокоило Абсилиса, пока они не миновали последних домов небольшой деревни. Затем, в открытом поле, они шли по ковру тумана, утопая в нем по колено,— три темные фигуры, затем две, после того как Лапорт отстал у развилки полевых тропинок и укрылся в зарослях ивняка. (Для чего? Хотя они, наверное, так условились, и тогда все было ясно,— теперь же, зараженный предубеждением Мади, он находил сомнительным выход Лапорта из игры, неле-

пым, словно бы того удержало какое-то наитие или от внезапного предчувствия отнялись ноги.) Сам Абсилис нес бикфордов шнур, запалы и острую металлическую лопатку, Клод — только шашки, выглядевшие совсем как плитки шоколада, которые приносил один из друзей матери Лапорта; Клод научился обращению со всеми этими штуками во время своей службы в саперных войсках. Последнюю шашку они укладывали под прикрытием низкого кустарника, окаймлявшего какой-то канал, и, чувствуя себя от этого в безопасности, приглушенно разговаривали — не о своей диверсии, а о литературе, обменивались короткими, разрозненными мыслями о трагедии своего времени, которая, несомненно, уже влияет на голоса писателей (у литературы начинает ломаться голос, как выразился Клод), об этике, которая не оставит места эстетике (ни у кого, кроме стариков, превращающих литературу в приемную салона красоты), о метафоре как стилистическом средстве (метафора хороша даже тогда, когда построена из самых забористых выражений). Абсилиса изумляло, насколько ясно помнил он обрывки этого разговора и как туманно — все, что за ним последовало: вот они взобрались на насыпь, пригнулись к холодным рельсам, затем, выпрямившись, спрыгнули, и тут раздались резкие слова команды. Он сделал усилие, чтобы представить себе, как все было: наверняка они не обратили внимания на команду и попытались бежать; одновременно он услышал треск выстрелов и почувствовал боль в ноге, которую словно подрубили, он зашатался и увидел, что Клод падает тоже, потом он посмотрел вверх, на неуклюжие, угрожающие фигуры, окружившие его; неизгладимым осталось только чувство оцепенения, растерянности, неверия. И позже, в крытой машине, которая тряслась по ночной дороге, все продолжало казаться ему неважным; рана в ноге не причиняла боли, хотя он чувствовал, как кровь стекает в носок и застывает. У одного из полевых жандармов на груди висел горящий фонарик; луч света прыгал по полу кузова, освещал тяжелые сапоги, приклады карабинов; иногда он упирался Абсилису в лицо, потом в другой угол, возле кабины, где, согнувшись, лежал Клод — его лицо было залито кровью.

Все дело в зрелости, думал Абсилис,— зрелость, а не сомнение, семена которого заронила в него предубежденность Мади, заставляла его переосмыслять вещи, когда-то оставленные без внимания. Нужна зрелость, чтобы суметь стать зрителем драмы, в центре которой ты сам находился, зрелость и определенная форма, определенная степень внутреннего недовольства собой. Тогда он не беспокоился о Лапорте, он даже не подумал о нем; ему и в голову не пришло, что нападение на них было совершено слишком быстро, решительно, врасплох. Теперь его удивляло, что немцы были довольно спокойны: не было ругани, побоев, всю дорогу до города на них почти не смотрели, словно они быстро, основательно и равнодушно сделали работу, заранее рассчитанную и расписанную по ролям.

Все это просто игра воображения, подумал Абсилис; в последний год войны некоторые немцы уже устали; самые разумные предвидели, чем дело кончится. Но ведь так вообще было в армии: самые разумные торчали где-нибудь на фронте, делая все, чтобы остаться в живых; они не служили в полевой жандармерии, не жрали реквизированного масла. Тот, кому не нужно было ежеминутно спасать свою шкуру, не мог остаться разумным,— он становился хитрым, а хитрость не исключает жестокости, но лишь дозирует ее. Может быть, равнодушие жандармов было формой такой дозированной жестокости: вогнать пулю в мясо — это их работа, остальное должны сделать допросы.

Абсилис пытался выкинуть эти мысли из головы, прогнать беспо-

койство. Но было уже слишком поздно: он понял, что ночь потеряна для отдыха, и его взяла досада на самого себя. Осторожно, чтобы не разбудить Мади, он отодвинулся от нее, повернулся на спину. Он почувствовал, как Мади зашевелилась, снова прильнула к нему, ища тепла, простонала едва слышно от удовольствия. Это выражение детской привязанности, эти поиски покровительства, днем тщательно скрываемые, каждый раз невольно трогали его. Но сейчас нежное чувство длилось недолго, перейдя в беспричинную досаду на Мади и Лапорта: на Лапорта за то, что он разрушил с таким трудом завоеванное спокойствие; на Мади за то, что она отказалась разделить его беспокойство, за удобную непоколебимость, с какою она замкнулась в своем предубеждении, покончила с прошлым (словно это пруд, настолько плотно заросший ряской, что ничто уже не может всколыхнуть его поверхность). Слыша ее ровное дыхание, он воспринимал это как несправедливость. «Я должен поговорить с Кеннесом»,— подумал он. Повторил эти слова про себя, медленно, с отчаянным упорством, будто они составляли некое заклинание, которое могло разогнать его тревогу.

Глава III

Кеннес

Найти адрес Кеннеса было до смешного просто (достаточно раскрыть телефонную книгу), но Абсилису не хотелось специально тратить время на этот визит. Он ничего не сказал Мади о своем намерении; он посетил вначале несколько книжных магазинов — и очень удачно: ему не хотелось терять такой многообещающий день. Завтра все может сложиться по-другому; все может оказаться против него; книготорговцы со скучной миной будут смотреть, как он распаковывает свои образцы, потом закажут парочку книг, лишь бы отделаться от него,— на такой работе приходилось ковать железо, пока оно горячо. Он раздумывал, не отсрочить ли визит к Кеннесу, твердо зная, что если это дело положить в долгий ящик, то всегда найдутся отговорки, чтобы спрятаться за них и оправдать свою нерешительность. Собственная неуверенность действовала ему на нервы. От возбуждения, в котором он провел бессонную ночь, осталось лишь чувство сомнения, и оно мешало ему (порой, когда он работал над книгой, его фантазия вдруг включалась посреди ночи; ему казалось, что стоит только подняться с кровати, как в один присест он напишет целую главу, но он всякий раз медлил, ворочая в уме фразы так и эдак, чтобы они лучше звучали, и когда, наконец, тихо спускался по лестнице и пробирался к письменному столу, ни одна фраза по-прежнему не удовлетворяла его, все они, как ему представлялось, намного уступали в естественности обычным кускам, которыми он, с большим трудом подчас, заполнял пустоты в своих сочинениях).

Дом, где Кеннес занимал первый и второй этажи, был высоким и узким, так что внизу едва умещались витрина (G. Kennes. Salon de Coiffure. Hommes[1]) и дверь молочно-матового стекла. Но внутри салон удивлял своей вместимостью; повсюду на стенах висели зеркала, между ними рекламные афиши, тут же стояли вешалки, рядом с туалетным столиком три рабочих кресла и напротив, у окна, полдюжины обычных стульев; все это создавало впечатление старо-

[1] Г. Кеннес. Парикмахерская. Мужской салон *(франц.)*.

модного, уютного беспорядка, которое усиливалось от смешанного запаха духов и одеколона. Абсилис задержался секунду на резиновом коврике у дверей — «Merci et au revoir» [1],— пока сам Кеннес не выплыл торжественно из ниши, отделенной от салона гардинами. За все эти годы он ничуть не изменился, как большинство людей,— казался таким же хилым и рано постаревшим; его преждевременная лысина постоянно служила Лапорту неисчерпаемым источником для шуток. («Ça ne te fatigue pas de te laver la gueule jusqu'au derriere, quoi?..» [2] «Ты идеальная модель широкой рекламы любого средства для отращивания волос»... «On prend ta photo et on met dessus «avant» et puis on te flanque une perruque de tapette et on inscrit «après» et il faudra chasser les mouches, quoi? [3]»). Но лучше всех определил его Клод, заметив, что Кеннес похож на того могильщика из «Гамлета», что фигурирует в сцене на кладбище. Он был худым, долговязым парнем с бледным, костлявым лицом; на собраниях Группы он всегда выбирал себе местечко где-нибудь в углу, в тени, и лицо его казалось маской мертвеца.

Кеннес указал рукой на одно из кресел, но его жест оборвался на полпути, профессиональную вежливую улыбку захлестнуло выражение радости, осветившее маску мертвеца.

— Жан, старина! — воскликнул он и заключил Абсилиса в объятья, затем быстро вышел из клинча и принялся его рассматривать. Он был в самом деле явно обрадован.— Ты хорошо выглядишь, ей-богу. Конечно, годы идут, старина, но тебе они только прибавили шарма, немножко седины на висках, которая так нравится женщинам, а мы, Брюннеры, опять вне игры.— Он провел рукой по своему ослепительно сверкавшему черепу, усмехнулся.— Я вижу, ты не гонишься за модой. Как человеку искусства, тебе надо бы носить прическу Калигулы, она бы тебе очень пошла. Ну, а как твои дела в остальном, то есть в смысле личной жизни?

— Не могу пожаловаться.

— Что поделываешь, служишь в конторе? Ведь ты занимался этим когда-то вместе с Лапортом.

— Я представляю книжное издательство.

— А-а, книги. Ну, если этого хватает на жизнь, тогда все в порядке. Давай присядем — ведь у тебя есть время?

— У меня есть,— ответил Абсилис.— А у тебя?

— Хоть отбавляй: у нас по вторникам спокойно. Завтра —другое дело, нахлынут биржевики: им всегда нужно прилизаться перед своими сделками; они не ждут, пока волос на затылке начнет завиваться, следят за головой, как за газоном, подстригают и поливают ее каждую неделю, на этом народе лучше всего можно заработать.— Он вдруг замолчал, вскинул голову и нетерпеливо, умоляюще посмотрел на женщину, которая на мгновенье отодвинула гардину, бросила взгляд в салон и снова исчезла в нише. Кеннес покачал головой.— Всегда ей нужно подсматривать, жить без этого не может,— сказал он; это звучало как извинение.— Женщина делается по-настоящему ревнивой, когда начинает стареть. Ей обязательно надо посмотреть, не заговариваю ли я зубы какой-нибудь девчонке. Она это делает всякий раз, когда приходит первый клиент; как только услышит звонок, сидит будто на иголках. Если много народу, тогда она спокойна. А ты женат?

— Да.

---

[1] Спасибо и до свидания *(франц.)*.

[2] Тебя не утомляет мыть свою рожу до задницы, а? *(Франц.)*

[3] Берут твою фотографию, пишут на ней «до», потом напяливают на тебя парик и пишут «после», и, ей-богу, придется силой отгонять прилипал! *(Франц.)*

— И дети есть?

— Нет.

— Ага. Иногда я спрашиваю себя, что чувствует наш брат, женясь в таком возрасте. Ты же знаешь, как обычно бывает: встречается девчонка, ты за нее хватаешься, и потом дело идет своим порядком, прямо к свадьбе; как бы это выразиться — ну, ты понимаешь, что я имею в виду, я иногда ломаю голову над этим.

Кеннес постоянно ломал себе голову над чем попало, и чаще всего вслух; иногда казалось, что в эту маску мертвеца вмонтирован микрофон, превращающий мысли в звуки. Временами каждому в Группе бывало не по себе, у каждого бывали свои заботы, но вслух говорил о них один Кеннес — просто так, словно беседуя сам с собой; он даже не искал слушателя, его не огорчало, что никто ему не отвечает, ему просто было невдомек, что он сваливает на другого часть своего груза, что своим дыханием, невидимыми каплями слюны он распыляет бациллу сомнения. За все послевоенные годы Абсилис ни разу не бывал у него в салоне, но он без труда мог себе представить, как молодой Кеннес стрижет или бреет клиента и обрушивает беспрерывный поток слов в намыленную физиономию беззащитной жертвы — слов, которые не требуют ни возражений, ни согласия, а являются просто словами, словами, в которых нет ничего, кроме безобидного интриганства, безобидной любви к отечеству, бесконечный монолог, крутящаяся лента магнитофона без единой пессимистической ноты: итоги футбольных матчей, биржевые курсы, положение с продовольствием, война 1914—1918 годов (последняя тема, как подержанный товар, шла на потребу давним клиентам, которые были уже в возрасте, и досталась по наследству от старого Кеннеса, который в трясине у Эйзера стрелял крыс ростом с молодую собаку, проламывал немцам черепа своей лопатой, пережил смертельную газовую атаку под Ипром, после чего у него стало хрипеть в легких и сердце вконец расшаталось). Вся Группа знала Кеннесов как облупленных — треугольник страстей, балансировавший на мине замедленного действия: старого Кеннеса, молодого и худую женщину, которая была замужем за отцом и расставляла сети сыну; к тому же она была посредине между ними и годами, и ростом. Молодой Кеннес буквально заваливал Группу проблемами своей семейной жизни, превратил ее участников в свидетелей всех баталий, стычек на форпостах, временных отступлений, обходных ударов по флангам; способ, которым он облегчал себе душу, высыпая слова, как мешки рубленой соломы, просторечные, летящие прямиком на человека, исключал равнодушное отношение, да и смешной эта трагикомедия не казалась: мертвая маска излучала внутреннюю озабоченность, порой внушая слушателю подавленное чувство, обнажая за бурлескными излияниями невинную душу. («Понимаете, что за жизнь у Эльвиры с этим изношенным стариком, какой ей прок от него, с его испорченными легкими и потрепанным сердцем; а она так хорошо сохранилась, в ней столько страсти, что же вы хотите, она меня раскаляет, как печку, и надо же было случиться, чтобы именно я влюбился в свою мачеху; а такое дело не скроешь, мой отец стал поглядывать на меня как-то странно, раньше у нас было заведено, что он брил меня, а теперь я бреюсь сам, потому что каждый раз сердце в пятки уходит, когда он водит бритвой по моей шее; плох тот парикмахер, который не умеет обращаться с бритвой, а бритва — не помазок, на нее не усядешься верхом и не встанешь с намыленной задницей».) Группа слышала тиканье адской машины, знала, что старый Кеннес совсем сдает: участились визиты докторов, и каждый из медиков начинал с того, что подвергал сомнению опытность предшественника (во всяком случае, по словам Кеннеса),

а старый Кеннес беззаветно ему верил, пока кто-нибудь из клиентов не посылал его к другому врачу, в конце концов он попал к знахарю, который лечил травами и прописал ему холодные ванны, так что старый Кеннес каждое утро ни свет ни заря начал ходить на канал купаться; интересное это было зрелище для шкиперов, ранних рыночных торговцев и всех зевак, живших поблизости от кафе, когда он раздевался и одевался. Сначала Кеннес сопровождал своего отца и не спускал с него глаз: он вряд ли удивился бы, если бы старик как-нибудь нырнул и не вынырнул (хотя в общем-то рано или поздно все всплывают). Он выпивал чашку горячего бульона, пока старик раздевался, тащился за ним к парапету, стоял, дрожа от холода, и смотрел, как старик осторожно спускается по каменным ступеням, пробует пальцами ноги воду; лица не было видно — видна была куриная грудь с жиденькими лоскутками волос, тощие ягодицы, черные плавки на обвисшем животе, светло-серая кожа, покрытая от холода пупырышками, как у ощипанной курицы. Старик делал глубокий вдох и с торжественным отчаянием опускался в воду, а Кеннес стоял наготове, чтобы прыгнуть следом, совершить подвиг, представить неопровержимые доказательства сыновней любви; он видел, как голова отца снова показывается на поверхности, и кивал рассеянно и с облегчением хозяину кафе, который, швырнув в канал окурок сигареты, покачивал головой и ронял: «И чего только не делают люди, чтобы растянуть свою жизнь хоть на пару вершков». Странно, говорил тогда Кеннес, но именно в такие минуты у него возникала мысль об Эльвире: он понимал ее, ибо никогда прежде не видел отца голым и мог теперь вообразить, чего не хватало этой женщине с горячей кровью и в самом соку, когда она лежала в постели рядом с таким партнером. В течение недели он ежедневно совершал свои экспедиции на канал; поскольку всегда собирался еще десяток зрителей, которые в случае необходимости тоже могли нырнуть за стариком, он почувствовал себя лишним среди участников этого глупого спектакля и в такую рань предпочел оставаться в теплой постели, Эльвира горячо его поддержала и все это время хлопотала вокруг него; сначала, стоя за дверью, она окликала его и спрашивала, не нужно ли ему чего-нибудь, пускаясь из хитрости на такие безрассудные уловки, что и вообразить невозможно, потом стала входить в комнату, чтобы не кричать через дверь; первый раз она тут же ушла: они оба одинаково испугались. Но она пришла опять, как мышь приходит к мышеловке, и Кеннес понял, что должно случиться. Эльвира даже не потрудилась набросить что-нибудь на свою ночную рубашку; и в тот же миг сработал взрывной механизм. Эльвира вдруг с визгом вскочила на подушку и прижалась к стенке, будто увидела пробегавшую по комнате мышь, но это была не мышь, это был старик, и Кеннес в пижаме помчался от него вниз по лестнице, без умолку что-то твердя через плечо старику, который с криком его преследовал. Внизу, в салоне, Кеннес продолжал быстро и безостановочно говорить, как будто его жизнь зависела от этого потока слов (да так оно, собственно, и было), но старик уже схватил с туалетного столика бритву, профессиональным жестом раскрыл ее, и Кеннес выскочил на улицу; старик добежал до порога, но тут в нем словно что-то иссякло — не ярость, а сила, которая его гнала. Они стояли на противоположных тротуарах, друг против друга, и старый Кеннес вопил на всю улицу, что сын его подлец и что он не успокоится, пока не вырежет у предателя сердце из груди; он вопил и вопил без конца, собирая вокруг себя ранних прохожих; наконец это надоело полицейскому, и тот по-отечески затолкал старика обратно в дом. И в самый раз, потому что еще несколько минут — и молодой Кеннес схватил бы воспаление легких, это уж как пить дать: не

очень-то полезно бегать потным, в одной пижаме, да еще босиком, по сырому утреннему воздуху. Приступ бешенства для старика закончился полной капитуляцией: он сидел в гостиной на диване, будто сломанный, хватался рукою за сердце и силился успокоить свистящее дыхание. («Его мокрые плавки я нашел потом на пороге своей спальни»,— Кеннес сообщил это подчеркнуто-серьезно, как человек, вспомнивший что-то особенно важное.) Мина треснула, но не взорвалась; сквозь щели Группа часто слышала шипенье и бульканье, как от кипящей лавы, которая еще не достигла края кратера. Впрочем, через какое-то время тлеющий фитиль потух: старый Кеннес умер, для Эльвиры же и для молодого Кеннеса время траура стало медовым месяцем, бархатным сезоном угрызений совести и наслаждения.

Абсилис произнес:

— Я бы не советовал тебе ломать над этим голову.— Слова показались глупыми даже ему самому, он с тем же успехом мог сказать: «Я бы не советовал тебе дышать».— Ничего особенного тут нет. Люди привыкают друг к другу — вот и все; а прочее — телячьи нежности.

— Может быть, ты и прав,— сказал Кеннес.

Слова Абсилиса его явно не убедили, скорее немного разочаровали, и Абсилис, почувствовав это, подумал про себя: «Наверное, мне следовало угостить его порцией псевдопсихологии совершенного брака, в которую он мог бы вцепиться, как собака в кусок тряпки, но мне нужно свертываться, каждую минуту сюда может забрести какой-нибудь клиент». Вслух же он сказал:

— Вчера я натолкнулся на Лапорта.

— А, Лапорт,— сказал Кеннес.— Балованный маменькин сынок. Иногда я его встречаю, чисто случайно; сразу видно, что он изнывает от скуки, особенно когда у него на буксире новая девочка. Здесь он никогда не показывается — еще бы: я для него слишком мелкая сошка, он причесывается в одном из тех шикарных заведений, где больше платят за видимость, чем за работу. Вот Реф — другое дело, этот парень не забывает старых друзей, заезжает сюда регулярно, каждые три недели, в среду, по дороге на биржу. После смерти отца он сам заправляет фабрикой. Гребет деньги лопатой, поверь мне. После войны, когда предпринимателям раздавали субсидии, он был тут как тут. Тогда у каждого с министерством экономики были сложности, но только не у Рефа — он носил свои ленточки и не мелочился, глаз не спускал с тех, кто готов протянуть руку помощи, ты понимаешь, о чем я. Пусть уж лучше Реф, чем один из тех липовых патриотов, которые всю оккупацию флиртовали с немцами. А он действительно занят биржей — девки на нем не заработают. Он бы мог иметь их задаром, но даже не смотрит на них, по крайней мере, я за ним такого не знаю; он женат. А Мими работает у него на фабрике секретаршей. Мими Крейен, ты ее помнишь?

Абсилис кивнул:

— Славная девушка. Лапорт рассказал мне одну странную вещь. Насчет того, что случилось с Клодом Морренсом и мной.

— Мы думали, что больше вас и не увидим,— сказал Кеннес.— Я был твердо уверен, что немцы вас расстреляли, но держал это про себя, я думал, что лучше держать это про себя; а другие, несмотря ни на что, еще надеялись на лучшее. Ты же знаешь, как было у немцев: если кто попадал к ним в лапы, пиши пропало. Когда Лапорт рассказал, что случилось той ночью, мы чуть не умерли со страху, мы только тогда поняли, что связаны все одной веревочкой. Не то чтобы кто-то плакал или чертыхался — нет, все молчали и смотрели на молодую Ренсон, у нее еще, ты же знаешь, с Морренсом была ин-

трижка, но она даже не пикнула, только побледнела вся; ты, наверно, помнишь, какой у нее был цвет лица. Она всегда выглядела как цыганка, но тут кровь отлила от ее лица, и она вдруг стала похожа на самую обыкновенную девчонку, ну прямо бледная немочь. Но она и не вздумала пикнуть; одна Мими Крейен ревела — не то чтобы вслух, нет, молча, только слезы текли по щекам.— Кеннес умолк, покачал головой.

— Она была слишком чувствительна,— сказал Абсилис. От неожиданного волнения Кеннеса ему стало не по себе. Он напряг память, вспоминая эту неприметную, или, скорее, непривлекательную, девушку, которая обычно, как и Кеннес, держалась в тени. Кеннес, в неуклюжей своей манере, проявлял к ней внимание: он искал ее общества, и она прилежно, терпеливо слушала его бесконечные излияния, время от времени спокойно кивая головой. Абсилису вспомнилось теперь, что и на торжестве они были почти непрерывно друг возле друга.

— Я нахожу, что Реф хорошо поступил, устроив Мими к себе в контору,— сказал Кеннес.— Она не из тех, кто умеет нравиться. Нынешние девицы пользуются успехом, если они хорошо одеты и нахально держатся; малышка Крейен погибла бы, если бы ей не помог кто-нибудь вроде Мориса. Я считаю, что Морис поступил замечательно. Мади Ренсон я потерял из виду, ничего не знаю о ней. За нее-то я не беспокоюсь: она была с коготками, умела устраивать свою жизнь. Не то чтобы смерть Морренса была ей безразлична — для нее это было ужаснее, чем для нас всех, ведь она была с ним в связи, наверно, рассчитывала на замужество. Если она и не пикнула, это ни о чем не говорит, по тому, как она изменилась в лице, можно было понять, каково ей было. Видно, она была по уши влюблена в него, но ведь с мертвыми жить нельзя, верно? А она была очень хорошенькая, девка что надо, таким счастье само плывет в руки.

— Лапорт говорил, что ты видел, как Сервас выходил из гестапо. Это было за несколько дней до той ночи.

— Надо же, что именно Лапорт сказал тебе об этом. В то время он мне не поверил, даже пытался доказать, что я ошибся. Будто я не должен верить своим глазам — мне скоро сорок пять, а я пока обхожусь без очков. Считай, что это был Сервас. Неужели я бы его не узнал? Ты ведь сам, наверно, помнишь его походку как у бабы.— Кеннес запнулся, передернул плечами и, подняв кисти рук, прижал локти к бокам.— Не то чтобы он был бабой, но в походке что-то такое замечалось. На улице, конечно, было темно, моросило, он поднял воротник, шел не совсем обычно, не так важно, но это был он, поверь мне. Когда с вами стряслась беда, я прежде всего подумал на Серваса. Он был похож на типа, который может капнуть: не доверяю я парням с хорошими манерами; к тому же он всегда умел отбрехаться, если надо было провернуть рискованное дельце. Язык у него был здорово подвешен — сразу видно, что он учился на адвоката. Тогда я рассказал Лапорту, что видел Серваса, но они с Лапортом одного поля ягода; ты, конечно, можешь обижаться — ты ведь с ним дружил, как и с Морренсом или приблизительно так же, но я говорю только то, что думаю. Он посоветовал выкинуть все это из головы, доказывал, что мне следует держать язык за зубами, что стоит лишь заикнуться об этом — и Группа развалится. Я молчал как могила, рассказал про все одному Морису. Морис часто бывал у немцев — по делам фабрики, понятно,— но мог разнюхать, был ли Сервас в гестапо.

— Реф не был связан с гестапо,— сказал Абсилис.— Может быть, с людьми из управления, но не с гестапо.

— Да, да, конечно,— охотно согласился Кеннес.— Так или иначе,

но тогда он сдрейфил и надолго лишился сна. Эльвира хотела, чтобы я со всем этим покончил, ей мерещилось, что боши, того и гляди, сцапают меня. Вот отец был из другого теста, он был патриот, под Эйзером он им дал прикурить; пока он был жив, он ни разу не сказал ни слова против — наоборот: погонял меня, на его взгляд, мне бы полагалось каждый день убивать по дюжине бошей. Эльвира тоже их ненавидела, правда, на свой манер. Она ненавидела их, потому что не было больше ни настоящего кофе, ни масла, потому что ей приходилось есть серый хлеб, потому что ее шелковое белье износилось, а нового не купишь; но больше всего потому, что немцы имели успех у некоторых женщин; что ни говори, а ведь так оно и было. Ее просто выводило из себя, что я участвую в Группе: через две ночи на третью ей снилось, что я стою с завязанными глазами, прикрученный веревками к столбу, и боши меня расстреливают; даже если ей снилась еще какая-нибудь ерунда, все равно каждый раз выходило то же самое. Мне кажется, она все это сочиняла; ты и представить себе не можешь, на какие хитрости способна женщина во имя любви. Позже, когда я понял, что нас не тронут, я признался себе, что это была ошибка — то есть что я зря подозревал Серваса. Но что я видел именно его, это факт, и никакой Лапорт меня тут не разубедит. Спрашивается: зачем же он ходил в гестапо, если не собирался доносить?

Бессмысленная это была идея — зайти к Кеннесу, думал Абсилис, время от времени кивая в притворном согласии, пока мимо слуха проносилась лента транспортера с рубленой соломой слов; от напряженного ожидания досадное чувство уверенности, что все это пустая затея, не могло исчезнуть. Глупо было надеяться, что стоит только шагнуть в прошлое — и сразу почувствуешь под ногами твердый грунт; даже самые яркие, лично пережитые факты потускнели за долгие годы. Взвинченное ожидание спало, в душе ничего не осталось, кроме сожаления о впустую потерянном времени. Но такое бывало и раньше: внутренний подъем, спасительное озарение всегда переживаешь во время поисков удачного выхода, в момент колебаний, перед самым прыжком в неизвестность; сама же операция превращается в дело привычное. Все это он когда-то уже испытал: вначале была бессонная ночь, ощущение, что ты словно качаешься на волнах мысли, балансируешь на проволоке между безопасностью и авантюрой — последовать приказу немцев или же уйти в подполье и поставить под вопрос не только собственное существование, но и существование всей Группы. За два дня до этого английские самолеты сбросили груз зажигательных бомб на промышленные объекты, в числе которых был и завод запасных частей для авиации; Абсилис, бывший в ночной смене вместе с бригадой рабочих, завербованных по трудовой повинности, сидел в старом подвале, в то время как над его головой завод превращался в груду развалин. Следующим утром на почерневшей от копоти кирпичной стене появился приказ с именами всех завербованных, которых переводили на такой же завод в Валлонию; вместо паспорта им выдали временное удостоверение. Стояла весна 1944 года, всюду все яснее проступали признаки поражения немцев, и это решило выбор Абсилиса. В поезде на Брюссель немецкий патруль сеял панику среди пассажиров; но он, по всей видимости, охотился на мелких контрабандистов и оставил Абсилиса в покое, когда тот предъявил свое Schein[1]. (На вокзале он вышел и сел в трамвай, идущий в старый город, где находилось кафе — явка Группы. Там никого не оказалось; ему пришлось ждать целый день; он невыносимо скучал. Когда, наконец, появились другие, то после приятного возбуждения, взаимных приветствий и со-

[1] Удостоверение личности *(нем.)*.

ставления планов (Лапорт все устроил в один миг: спать он может на верхнем этаже кафе, Лапорт достанет ему фальшивый паспорт) скука и смутное раздражение окончательно завладели им; напряжение той долгой, бессонной ночи никак не вязалось с перспективой легкой жизни, полной безопасного ничегонеделания (разумеется, он не был несправедлив и понимал всю серьезность отдельных заданий, когда надо было ехать по городу с портфелем, набитым листовками, с карманами, полными краденых или фальшивых продовольственных карточек, и в любую минуту можно было попасть в облаву); он видел только долгие дни бесконечного бездействия, чувствовал себя затянутым в трясину, и это чувство не проходило до конца даже на вечерних сборах Группы.

Он поднялся, улыбнулся Кеннесу и стал искать теплые слова, чтобы не создать впечатления, будто он без обиняков обращается в бегство. Мертвая маска задвигалась, Кеннес протянул было руку, чтобы удержать его, но остановился.

— Уже уходишь?

— Нужда гонит,— сказал Абсилис.— Мне тоже надо делать свое дело.— Он попробовал отшутиться: — Я не могу, как ты, спокойно сидеть дома и ждать клиентов, я должен искать их сам. Рискуя при этом нарваться на отказ.

— Это мне как-то не пришло в голову,— сказал Кеннес. Он тоже встал.— Жаль, что у тебя нет больше времени; не каждый день встречаешь старых добрых друзей. Чувствуешь, конечно, при этом, что еще больше постарел, но ведь не отдаешь богу душу, верно? И не отдашь до своего срока. Посмотри на себя: я верил свято, что немцы тебя расстреляли, а ты по-прежнему жив и здоров, по тебе даже не заметно, что ты перенес. Ничего не поделаешь: если Морренс не уцелел, значит, пробил тогда его час; для одного он бьет раньше, для другого позже. Мой отец скрипел как телега, ты знаешь, я думал, он доскрипит до ста, и вдруг все кончено; пока он купался каждое утро в канале, скрипел дальше, а как перестал, то прямо на глазах стал сдавать; его свеча потухла, и никто ничем не поможет, никакое чудо не спасет, если пробил твой час.

В самом деле, думал Абсилис, человек умирает не от старости; умирают его воспоминания, точнее, те из них, от которых он хотел бы избавиться; их разъедает эрозия, и потом, если их нечаянно задеть, они уже не причиняют боли. И не только воспоминания, но и чувства тоже, во всяком случае если они как-то связаны с совестью. Чем мельче эти чувства, тем лучше противостоят они эрозии. От угрызений совести, которые отравляли Кеннесу жизнь неделями, месяцами после смерти отца («Не застукай он тогда нас, так и жил бы до сих пор. Это его сломало, он после того дня больше ни разу не ходил на канал, вообще не выходил за дверь, и если не было клиентов, сидел внизу, уставясь в одну точку; любовь — штука жестокая, она может убить»), не осталось и следа, а старая антипатия к Лапорту, стоило о нем заговорить, вставала на дыбы, как и прежде.

— Остается ждать. К счастью, никто из нас не знает сколько,— произнес Абсилис. Он пошел к двери, но Кеннес его догнал.

Кеннес схватил его за руку и тут же снова отпустил; он принужденно улыбнулся, робко заглянул Абсилису в глаза:

— Жан, ты счастлив?

Вопрос был задан не шепотом, но прозвучал странно приглушенным, каким-то заговорщическим тоном, отвечавшим его робкому взгляду.

— Конечно,— сказал Абсилис.— Насколько я в этом понимаю. Каждый держит счастье в своих руках, не нужно только слишком

многого требовать.— Он снова попробовал отшутиться: — Не следует колоть глаза господу нашему.

Кеннес невесело улыбнулся.

— Это была поговорка Лапорта.— Он открыл перед Абсилисом дверь.— Твоя жена моложе тебя?

— Года на два.

Это как раз тот момент, когда из бумажников извлекаются чаевые, подумал Абсилис; старые товарищи по борьбе расточают друг другу ничего не значащие, благонамеренные комплиментики, мажут мазью утешительных слов больное сознание, горькую истину, что безвозвратно разошлись. Он не мог раскошелиться даже на такой несложный жест и чувствовал себя должником.

— Интересно, каково это быть женатым на женщине, которая моложе тебя,— сказал Кеннес.

Глава IV

Мими

Времени на то, чтобы выбраться из города, понадобилось куда больше, чем на то, чтобы найти фабрику: первый же встречный сразу показал ему дорогу. Сама фабрика представляла собой скопление серых, низких цехов, похожих на бараки, но контора была совсем новенькая — построена из добротного желтого кирпича, оконные рамы — из блестящего алюминия. На просторной стоянке было полдюжины автомобилей. Абсилис поставил свою малолитражку возле сверкавшего лаком нового «ягуара», машинально взял портфель; лишь когда он поднимался по ступеням парадного подъезда, тяжелый портфель напомнил ему о себе. Видимо, сказалась сила привычки, сам вид делового здания, подумал он, задержался было на ступенях, потом решительно стал подниматься дальше. Он толкнул тяжелую дверь и вошел в просторный холл; вокруг журнального столика стояло несколько низких удобных кресел, справа, за длинной и низкой стеклянной перегородкой, сидели трое служащих — двое мужчин и юная симпатичная девушка. Мужчины были погружены в свои бумаги, девушка оторвалась от пишущей машинки, подошла к Абсилису и вопросительно взглянула на него.

— Я хотел бы видеть менеера Рефа,— сказал Абсилис.

— Вы с ним договаривались?

— Нет. А это необходимо?

Девушка бросила взгляд на его портфель.

— Вообще-то да.

— Я его старый друг.

Осторожная, вежливая улыбка могла означать все что угодно.

— Как о вас доложить?

— Абсилис. Жан Абсилис.

— Минуточку.— Она подошла к своему рабочему столу, склонилась над телефоном, набрала номер и тут же начала тихо, почти шепотом, что-то говорить. Абсилис разобрал только свое имя, которое она произнесла отчетливей, несколько раз. Когда она вернулась, ее улыбка была все такой же вежливой, но немного удивленной.— Не угодно ли подняться на второй этаж? Вас ждет юфрау Крейен. Наверху первая дверь налево.

Абсилис кивком поблагодарил ее, повернулся и пошел к лестнице; над первой же ступенькой он увидел дощечку в виде стрелки с над-

писью «Дирекция», указывавшей наверх. Абсилис поднимался медленно, портфель вдруг словно прибавил в весе; поднявшись на последнюю ступеньку, он остановился, чтобы перевести дух. Ему бросилось в глаза широкое окно, через которое открывался вид на внутренний двор фабрики; он увидел небольшой состав из вагонеток, груженных деревянными ящиками, в ворота в глубине двора въезжал дизельный тягач. В углу лестничной площадки, возле окна, стояло в кадке каучуковое дерево, слева были две двери. На первой висела табличка: «Direction. Prière de sonner ici»[1], рядом с дверью на стене было прикреплено сигнальное устройство, состоявшее из белой кнопки звонка и двух пластинок матового стекла, через которое неясно просвечивали слова «Entrez»[2] и «Occupé»[3]. На второй двери не было ничего. Абсилис нажал кнопку звонка, и тотчас же вспыхнул красный свет с надписью «Entrez». Он открыл дверь и увидел Мими Крейен, которая сидела наклонившись к селектору, стоявшему на краю большого письменного стола; он услышал щелчок выключаемого селектора.

Мими Крейен улыбнулась, указала на стул возле стола.

— Входи, присаживайся, Жан. Или я должна называть тебя «менеер Абсилис»?

— Жан меня вполне устраивает,— сказал он. Он подошел к ней, крепко пожал протянутую руку.— При условии, что ты не возражаешь против Мими.

— Конечно.— Она придвинула к нему коробку из черного дерева с сигарами и сигаретами. Она смотрела со спокойным вниманием, как он берет сигарету и закуривает, ничего не сказала, когда Абсилис поймал на себе ее взгляд; она смотрела с уверенностью человека, сознающего свою непривлекательность. После короткой паузы она сказала: — У Мориса важное совещание. Он рассчитывает, что ты вместе с ним поедешь обедать. Учти, что никакие отговорки тебе не помогут.

Абсилис усмехнулся, поднял руки вверх. Он ждал традиционных вопросов, банальных слов, которые могли бы перекинуть мост через годы отчуждения, но поскольку их не последовало, понял, что его визит по-настоящему обрадовал ее, хотя она и оставалась внешне спокойной. Он сказал:

— Я вовсе не набиваюсь на свидание, но должен сказать, что ты выглядишь великолепно.

Мими покраснела:

— Я вовсе не отшиваю тебя, но должна сказать, что это ложь; впрочем, приятная ложь.

Они рассмеялись, затем Абсилис, не отступаясь, серьезно сказал: «В самом деле», а Мими сказала: «Конечно», и Абсилис: «Собственно говоря, я бы все-таки рискнул пригласить тебя в ресторан, если бы Морис уже не пригласил меня», а Мими: «Наверно, я чувствовала бы себя польщенной, но отнюдь не в безопасности», на что Абсилис с шутливой торжественностью поднял руку и произнес клятвенным тоном: «Я чужд гнусных помыслов»,— и они снова прыснули со смеху, на этот раз громче, так что Мими, приставив палец к губам, предостерегающе скосила глаза в сторону кабинета. От оживления ее румянец стал еще ярче, и Абсилису вдруг подумалось, что она действительно выглядит великолепно, в каком-то отношении даже привлекательно; годы мало изменили ее, во всяком случае ее внешность; возможно, изменился его собственный взгляд на нее или, вероятнее всего, прежде он воспринимал ее слишком поверхностно и потому неверно. Тогда она только

---

[1] Дирекция. Просьба звонить здесь *(франц.)*.
[2] Входите *(франц.)*.
[3] Занят *(франц.)*.

что вышла из подросткового возраста, но казалась старше своих лет (точно ее возраст определить было трудно) и выглядела так, словно заранее обрекла себя на участь старой девы. Она постоянно ходила в бесцветных платьях и блузках, наглухо застегнутых до подбородка, в темных чулках и туфлях без каблуков, в пальто, по фасону напоминавших мужские; в ту последнюю весну, когда Клод с Жаном попались в ловушку, она носила пальто из крашеной попоны (впрочем, среди простого люда это не было редкостью, его отец шил себе брюки из того же материала). Волосы она зачесывала назад, собирая в тугой, плотный узел на затылке, так что видны были удивительно маленькие уши; она чем-то напоминала ему девушек из его селения, некрасивых, с землистой кожей, как будто у них было не все в порядке с обменом веществ. Мими носила волосы по-старому, но они не потускнели, сохранили свой блеск и светлый цвет, он шел к ее пухлому лицу, полноватой шее, светло-серой блузке с высоким воротником, застегнутым до самой шеи, на которой висел позолоченный медальон. Это был старинный медальон в форме миниатюрного футляра для часов с оплеткой, похожий на те, в каких раньше солдатские жены хранили фотографии своих мужей (слово «старомодность» первым приходит на ум, если начать описывать Мими Крейен). Наверняка Мими хранила в этом медальоне портреты своих родителей. Странно, как различны бывают вещи, которые заставляют работать память, без труда извлекая из нее воспоминания. У Лапорта это была его манера говорить, у Кеннеса — маска мертвеца, сейчас этот медальон. Мими носила его с тех пор, как он ее помнил, и тут ему вдруг стало ясно, что эта вещь, совершенно очевидно, никогда не служила ей просто украшением; он ни разу не заметил у нее ни одного из тех типичных жестов, которыми любят кокетничать женщины: деланно небрежное прикосновение к ожерелью, рассеянное покручивание браслета, поглаживание брови кончиком пальца (жесты, которые он с нежностью наблюдал у Мади, испытывая такое чувство, будто поймал ее на детской слабости). Как разительно отличались друг от друга эти две девушки: красивая, экзотичная Мади и робкая, непривлекательная Мими; как раз в таком различии и может корениться порой самая прочная, искренняя дружба, но они так и не стали откровенны друг с другом, не зашли дальше предупредительности, легкой, ни к чему не обязывающей приветливости, которая была свойственна и его отношениям с другими (со всеми, кроме Клода). Мими попала в Группу, как это ни странно, через Лапорта. Лапорт познакомился с нею в академии, где он вольнослушателем посещал семинар по дикции — едва ли это было ему необходимо, но служило неким интеллектуальным алиби, формой снобистского времяпрепровождения, к тому же расширяло сферу его охотничьей активности. Он проникся к ней нежным чувством; собственно говоря, это не было подлинной нежностью, трудно было представить себе, чтобы Лапорт мог испытывать чувства, которые поднимались бы выше его пупа, сердце его было мотором, который время от времени работал сильнее и быстрее, местом, к которому он прикладывал свои уродливые пальцы, заклиная очередную жертву, как кладут пальцы на Библию, на голову невинного ребенка; это был импульс. («Tu sais, mon vieux [1], это было моим добрым делом года, il me faut quand même gagner ma part du ciel, quoi, elle avait tellement l'air d'une poule mouillée[2], если бы я не сжалился над нею, то неизвестно, что бы с ней произошло, она уже созрела для монастыря, mon vieux, mais elle est intelligente [3],

[1] Знаешь, старина *(франц.)*.

[2] Мне ведь тоже надо заслужить свое место на небе, вот так-то, а у нее был вид такой мокрой курицы *(франц.)*.

[3] Старина, но она умница *(франц.)*.

и почему это умные женщины всегда безобразны, quoi?») Лапорт выудил из нее все, как из других женщин, которых он знал хотя бы мельком; он принадлежал к типу любовников-исследователей, заполняющих промежутки времени между постелью и улицей расспросами,— этакий Казанова в роли исповедника. Абсилис даже думал, не держит ли Лапорт у себя в голове картотеку фактов и personalia. Мими Крейен была поздним ребенком, ее родителям перевалило за сорок, когда она появилась на свет. Ее отец служил швейцаром в министерстве; он был инвалидом войны, с парализованной рукой и легкими, пораженными ипритом; во время национальных праздников генералы благосклонно смотрели на его грудь, увешанную медалями. («Он был королем снайперов, наводил страх на всю долину Эйзера, il pouvait écraser une mouche à cent mètres [1], его меткие выстрелы принесли ему медали, sauf son dernier coup, qui était le plus beau, mais qui ne lui rapportait rien — rien que la môme Mimi»[2].) Ребенок не отрывался от юбки матери, не слезал с отцовского колена, затем его стали водить в низшую приходскую школу; когда девочка заболела корью, мать хотела послать за священником; если у нее поднималась температура (градусник был всегда под рукой, как рожок для обуви), отец тут же мчался за доктором, иногда посреди ночи; он поднимал доктора с постели, колотя в дверь здоровой рукой, и если эскулап колебался, стоит ли беспокоить себя из-за небольшого повышения температуры у ребенка, отец вводил в бой свою раненую руку, свои медали, свои четыре года, проведенные в трясине и газовых атаках, пока не достигал победы; он продолжал мыслить понятиями военного времени: идя докладывать о посетителе, он ступал по ковровым дорожкам строевым шагом; впуская кого-либо к министру или секретарю, становился во фрунт, готовый сделать «на караул»; он то и дело откидывал голову назад коротким, резким движением, точно играя воображаемым бунчуком на кивере. («C'était un vieux cheval de cirque qui avait le manège dans la peau, qui était plein d'une sorte de nostalgie agressive»[3].) Ребенка воспитывали, держа в одной руке Мехеленский катехизис[4], в другой — Мемориальную книгу ветерана[5]: Злом был Немец, Добром — Отечество, старая королева и Эдит Кейвелл[6] были архангелами с огненным мечом, у ног их лежала, как лом, груда стальных остроконечных шлемов. Позже родители решили рискнуть: послали ребенка, совсем одного, в многолюдный лицей; но это не погубило Мими, не развратило, она даже не нашла там себе друзей; учебный год она оканчивала с отличием за особые успехи в нидерландском языке, хотя и завершила весь курс обучения не в первой пятерке — ее отметки по естественным наукам были слабее. Когда немцы стали надвигаться на страну, отец прикрепил к стене карту, отметил флажками долину Эйзера и сидел, не отрываясь от старого приемника, ожидая сообщения, что шлюзы открыты и тевтонцы остановлены водой (по крайней мере те из них,

---

[1] Он мог со ста метров попасть в муху *(франц.)*.

[2] Если не считать последнего, самого блистательного, который, однако, не принес ему ничего, я хочу сказать: ничего, кроме малышки Мими *(франц.)*.

[3] Это был старый цирковой конь, у которого манеж был в крови, и он полон был какой-то поистине агрессивной ностальгии *(франц.)*.

[4] По Мехеленскому катехизису в католических семьях обучали детей закону божию.

[5] Мемориальная книга ветерана — настольная книга фламандского бюргера, изданная вскоре после первой мировой войны и посвященная павшим в этой войне бельгийским солдатам.

[6] Эдит Кейвелл (1865—1915) — английская медсестра, руководившая первой бельгийской школой сестер милосердия. За тайную медицинскую помощь раненым солдатам армии Антанты была арестована и расстреляна немцами. Во время и после первой мировой войны почиталась в Бельгии как символ патриотического самопожертвования.

которые не утонули, как крысы). Весть о капитуляции ошеломила его и взбесила; потом он с жадностью слушал рассказы солдат, перебравшихся через линию фронта в одолженном или краденом гражданском платье, об офицерах, удравших со своими любовницами и полковой кассой во Францию, предавших короля и народ; с тех пор слово «измена» не сходило с его уст, он всюду вещал сдержанно и торжественно, что нация прогнила, но Старая Гвардия сумеет смыть позор. Однажды он оскорбил немецкого офицера, который раздраженно позвал полицейского; полдня старика продержали в участке, откуда он вернулся спокойный и непоколебленный. Когда Мими училась последний год, она стала членом группы Сопротивления (так ее заверяли, но это была неправда: ее не принимали всерьез, даже не занесли в список членов группы); участники группы использовали школьный ротатор для печатания подпольного листка, который назывался «Черная рука»; группа успела распространить не больше трех номеров и была раскрыта: заканчивался урок нидерландской литературы, когда в класс вошло несколько мужчин в кожаных куртках. Девочка Мими Крейен осталась сидеть на своем месте спокойно и незаметно, в то время как прозвучали три имени (Клаас, Ваутерс, Микиэлс) и трое парней встали и вышли вперед (Ваутерс — худой, бледный юноша — носил очки и был похож на Гарольда Ллойда; ему потом отрубили голову, и когда она прочитала сообщение об этом, то после мгновенного, обжигающего чувства боли она вдруг подумала: а был ли он в очках, когда положил голову на плаху); ее указательный палец так и остался на той строке книги, где был прерван урок, она сидела, отгороженная от всего и застывшая в своем ощущении безопасности; реакция наступила только вечером, когда жаркое пламя страха обожгло ее — страха не перед опасностью, которой она избежала, а перед собственной отрешенностью. Лапорт скоро утратил к ней всякий интерес и вздохнул с облегчением, когда ею занялся Сервас. Сервасу явно не хватало одной работы в Группе; у него была френологическая шишка специально для политики, как он сам выражался; в университете он занимался организацией разных союзов и объединений, кроме того, играл какую-то роль в «Молодой вахте»[1], где использовал в качестве мальчика на побегушках Паульке Мееса. Он дал понять, что имеет отношение к подготовке послевоенного восстановления социалистической партии; он запросто называл по именам крупных лидеров. («Ахилл говорит, что начинается период паритетных учреждений, стихийные забастовки уходят в прошлое, нашему мозговому тресту придется много потрудиться, чтобы применить марксистскую диалектику к новой эволюции социальных отношений; так, во всяком случае, заметил вчера Луи, и я с ним согласился, до известной степени, разумеется, ибо ветер может подуть слева, и мы не имеем права отпугивать старых союзников партии, не должны спешить с признанием той точки зрения, что классовая борьба устарела».) Мими Крейен была в его глазах воинствующей, неряшливой суфражисткой, сухим хворостом, ждавшим лишь искры его красноречия, чтобы вспыхнуть ярким пламенем. Он оттер в сторону Кеннеса и ухватился за Мими с вдохновенным усердием Пигмалиона. Так же, как и Кеннес, он спутал ее терпение с вниманием, ее самоуглубленность с податливостью; так же, как и Лапорт, он бросил ее, когда убедился в своей ошибке; она снова превратилась в идеального, терпеливого слушателя Кеннеса, буфер, громоотвод, принимавший на себя и обезвреживавший навязчивость Кеннеса, так что Группе оставалось выслушивать его лишь в тех случаях, когда в его домашнем треугольнике происходило что-нибудь чрезвычайное.

[1] «Молодая вахта» — подпольная организация молодых социалистов Бельгии.

Мими как секретарше, очевидно, цены нет, думал Абсилис; наверняка и Реф использует ее как Стену плача для надоедливых просителей, как бочку Данаид для ретивых всезнаек и пустозвонов, так что порог его кабинета переступают только миролюбивые посетители. Абсилис с любопытством осмотрелся:

— С фабрикой полный порядок, я вижу?

— Да. После смерти господина Рефа-старшего Морис взял в свои руки все дела. Он повел большую игру — вышвырнул несколько паршивых миллионов, как он сам выразился. Но расходы себя оправдали. Мои родители тоже умерли, ты, наверное, знаешь об этом?

— Нет.— Абсилис пересилил свою антипатию к официальным формулам речи: — Прими мое соболезнование.

— Они прожили свой срок и могли не беспокоиться за мое будущее.— Она улыбнулась.— Мой отец все повторял, что спокойно ляжет в гроб только тогда, когда увидит, что наголову разгромили немцев. Ну, а я все еще не замужем.— Она спокойно взглянула на него.— Скажем так: я чувствую себя в некотором роде вдовой.

Возможно, это была шутка, но по ее тону трудно было определить.

Абсилис поднял руку, показал обручальное кольцо.

— А я женился,— сказал он.— На Мади.

— Я рада за тебя.

— Вскоре после того, как мы получили наши ленточки. Я тогда бросил свое место в министерстве — там царила невероятная суматоха и ажиотаж вокруг постов, которые раньше занимали коллаборационисты. Теперь я представляю одно издательство.— Он показал на портфель, стоявший возле стула.

— Понятно. Я подумала сперва, что ты приехал по делу, но тут же сообразила, что это просто невозможно: ты ведь никогда не был особенно красноречив. Ты ездишь от имени своего издателя?

— Да. Но я не навязываю своих собственных книг.

— В этом и нет нужды. Они достаточно хороши сами по себе.

— Нельзя льстить писателю — я хочу сказать, в его присутствии.

— Я не льщу. Я читала твои книги.

— Ах, да, у тебя всегда была слабость к литературе.

— Да, к литературе.— Она бросила взгляд поверх его плеча в окно. После небольшой паузы промолвила: — Твои книги хороши, но не так, как могли бы быть. Они говорят повышенным тоном, как будто ты все время споришь сам с собой.

Абсилис рассмеялся.

— Лапорт ошибался часто, но не всегда,— сказал он.— Он говорил мне, что ты умна.

— В его устах это нельзя считать комплиментом,— сказала Мими Крейен.— Ему не нравятся умные женщины, потому что у них он не пользуется успехом.

Абсилис обратил внимание, что она говорит в настоящем времени, словно по-прежнему видит Лапорта каждый день, словно не промчалось семнадцати лет с того дня, когда Группа была официально распущена; так или иначе, но это было, видимо, связано с тем фактом, что визит Абсилиса не застал ее врасплох.

— Ты можешь не принимать моих слов всерьез,— сказала она.— Я имею в виду то, что я говорила о твоих книгах. Это всего лишь мое личное мнение. Может быть, у меня узкий взгляд. Но ведь обыкновенный читатель имеет на это право, не так ли?

— Правда бывает обидной только шарлатанам,— сказал Абсилис.— По крайней мере, в нашей профессии. Но ты не относишься к тем, кого бы я назвал обыкновенным читателем. Ты относишься к посвященным. В данном случае это бесспорный факт.

— Возможно. Я ценю в твоих книгах то, что даже когда ты споришь с самим собой, все равно всегда чувствуется, что ты озабочен другими. Тем самым ты избегаешь скуки, которую вызывают созерцатели собственного пупа. Ты делаешь одно: споришь не с самим собой, а с Клодом — ты все еще не примирился до конца с тем, что он погиб, а тебе удалось выскочить из петли. Я не знаю, понятно ли тебе, что я имею в виду.

— Я не предполагал, что все это настолько прозрачно.

— Ты сам только что назвал меня посвященным читателем. Ты неправ. В своем споре, хочу я сказать. Я не собираюсь доказывать, что мертвых должны хоронить мертвые; помнишь это стихотворение из «Исфаганского экспресса», где довольно ясно говорится о том же самом:

кто спрашивает? один голос
кто отвечает? один вздох
дыхательное горло забито пищей
у мертвых жизни нет конца
пройдена граница смерти
они лежат отрешенные от свинства
земля их пахнет хлебом.

— Ты знаешь его наизусть,— сказал Абсилис. Он вспомнил слова Кеннеса о том, что она плакала, когда Лапорт сообщил об их аресте.

Она кивнула:

— Не только эти стихи. И не только Клода. Помню наизусть «Абисагу» Рильке и еще кое-что. Так просто, я даже не прилагала никаких усилий.— Она улыбнулась.

— В наш осенний проспект включено переиздание избранных стихов Клода,— сказал Абсилис. Он наклонился, открыл портфель и выложил один из экземпляров на стол перед Мими. И сразу же вспомнил, как он непринужденно выкладывает книги на прилавок, как начинают суетиться книготорговцы, а он наблюдает это с чувством неловкости. Это был опрометчивый жест.

Мими мгновение смотрела на красивую, наивного вида обложку, клетчатую, как тетради по математике, имя автора и название, тяжело выведенные неловким, словно детским почерком; затем взяла книгу в руки, осторожно открыла ее.

— Ты написал предисловие.

— Да.

— Не такое, как раньше для газеты?

— Нет.

— Я тогда обиделась на тебя.

— Я был сам на себя обижен.

— Ты изобразил дело так, словно он и не желал иной участи, как быть посланным на смерть; во всяком случае, так, будто он в своих стихах предсказывал собственную смерть. Ты унизил его до уровня лицедея; ты отдал дань моде, жонглировал второстепенными элементами, которые не имели отношения к сути его творчества.

— Во всем, в чем ты меня упрекаешь, я себя уже обвинил,— сказал Абсилис.— И еще сильнее, чем ты делаешь это сейчас. У меня были свои мотивы, но я слишком поздно уяснил, что они неубедительны; я и не пытаюсь оправдать себя.

— Ты должен был понять его лучше, чем кто-либо другой,— произнесла Мими. Казалось, она не придала никакого значения его словам, и это удивило его, потому что было не похоже на нее, удивило и немного смутило.— Свои книги ты пишешь из таких же побуждений, твое внимание обращено к другим, а не к самому себе. То, что Клод писал о смерти, никак не связано с жаждой смерти или готовностью

умереть. В своих стихах он писал о миллионах людей, которые умерли. Или над головами которых витала смерть. Он не был ясновидцем, он был больше чем многообещающим, как любят выражаться критики, он был хорошим поэтом, серьезным поэтом, который смотрел на поэзию не как на дешевое средство эпатировать буржуа, а как на профессию, в первую очередь требующую честности. Он тепло относился к нашей скромной литературе, тебе это известно, как никому другому; он был убежден, что период варварства до основания разрушит ее, как это произошло после первой мировой войны, и он хотел, чтобы наши писатели сами становились на ноги, и поскорее, а не после того, как прохромают пятнадцать лет по следам иностранных мэтров. У литературы начал ломаться голос, и он мечтал, чтобы наша литература заговорила наконец собственным голосом, нашла новую интонацию, не дожидаясь, пока зарубежный гобой даст ей нужный тон.— Она заметила удивленное, напряженное внимание в его взгляде и тотчас умолкла; казалось, она была озадачена собственным красноречием.

— Странно,— осторожно сказал Абсилис,— Клод в ту ночь, когда мы пробирались к железной дороге, употребил такой же образ. Что у литературы ломается голос.

Взгляд Мими сверкнул, на миг в нем вспыхнула искра агрессивности, но тут же погасла. Своим ровным, покорным тоном она проговорила:

— Когда ты бывал на задании, мы с ним иногда беседовали. Если он заводил речь о литературе, то немногим отличался от Вима Кеннеса: ему нужен был слушатель, а когда не было тебя, то у него никого не оставалось.— Поняв, что это звучит несправедливо в отношении Мади, она сказала: — То есть никого, кто бы мог проявить достаточно интереса и понимания к его теориям.— Она отодвинула книгу от себя.

Абсилис воспринял этот жест как просьбу перевести разговор на другую тему. Он взял томик, положил его в портфель.

— Сегодня утром, прежде чем заехать сюда, я был у Кеннеса,— сказал он.— Его все еще терзают всякие мысли.

Мими сказала:

— Он хороший парень. Его общество было мне приятно. Я знала, что вы все думали: что я его как бы усыновила. Но и мне это было небесполезно. Он так же мало получал от жизни, как и я. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Я был бы никудышным писателем, если бы так мало разбирался в людях,— сказал Абсилис. Он снова услышал излияния Кеннеса, когда они прощались, вздохи, которые могли бы показаться смешными, но все-таки не были смешны.— Таких, кого жизнь балует, вообще немного; мы все считаем себя обделенными ею — в том или в другом. Я не буду говорить: ограбленными.

— Пожалуй,— сказала Мими.— В том или в другом.

Абсилису послышалась нотка горечи в ее тоне, однако он тут же улыбнулся:

— Я не удивлюсь, если узнаю, что порой даже Лапорт считает себя обиженным судьбой.

— Ну, если только совсем немножко.

Он сам не уловил двусмысленности своих слов; он стал размышлять над тем, как часто в последние два дня задевалось имя Лапорта и как мало симпатии оно встречало. Со стороны Мади такое отношение было неудивительно: одного лишь факта, что Лапорт был той ночью вместе с ними и вышел сухим из воды, было достаточно, чтобы навлечь на себя ее враждебность; у него, Абсилиса, научилась она сдерживаться, и, однако, были моменты, когда по той же причине в ее страсти он ощущал скрытую злобу,— моменты, непреодолимо за-

ставлявшие вспоминать тот вечер в комнатке на втором этаже кафе. Мими же он никогда не мог упрекнуть в предвзятости; ее невозмутимость казалась ему почти сверхъестественной, некоей аберрацией, которую могла выправить только ненависть к немцам; но даже эта ненависть была в каком-то смысле уравновешенной, не такой, как у прочих, как у него, когда любая несправедливость, любая новая репрессия заставляла ярче вспыхивать пламя ненависти. Сам он вовсе не был слеп к недостаткам Лапорта, но не преувеличивал их; он мог терпеть его, несмотря на «манеры» — или как раз благодаря им, даже восхищался Лапортом, порой с оттенком доброжелательной зависти. Пожалуй, он все-таки проявил близорукость, подумалось ему теперь: его ослепила блестящая чешуя легкого шарма, обезоруживающая небрежность, с какою Лапорт облекал в форму словесных омлетов свои воззрения на чужие слабости, его ослепил «феномен Лапорт». Слово способно обезоруживать, но Абсилис хорошо знал, что любое слово заменимо. Стоило заменить слово «обезоруживать» словом «обманывать» — и «феномен Лапорт» приобретал другое лицо, все становилось возможным.

Глава V

Реф

В начале первого из двери, соединяющей кабинет с приемной, вышел Морис Реф, положил на стол перед Мими исписанный лист бумаги, энергично потряс руку Абсилиса, сказал приветливо: «Рад тебя видеть, Жан», повернулся к Мими, быстро проговорил, словно диктуя телеграмму стенографистке: «Контракт с Дюссельдорфом можно составлять, условия обычные, все оговорки здесь помечены; около трех будут люди от Угре, но к тому времени я уже вернусь. подготовьте досье, письмо с их нытьем приложите сверху», взял Абсилиса под руку, проговорил, увлекая его за собой: «Идем, моя жена нас ждет, я звонил ей, предупредил, что приеду с гостем». Абсилис едва успел подхватить свой портфель и беспомощно махнуть рукой Мими.

Когда они вышли, он сказал:

— У меня своя коляска, я могу ехать следом, если ты будешь не очень гнать.

— Ерунда,— сказал Морис.— Ты можешь вернуться со мной и немного приободрить Мими, перед тем как снова исчезнуть на семнадцать лет.

— Тогда я оставлю портфель,— сказал Абсилис. Запирая свою машину, он слышал, как взревел мотор «ягуара».

Морис распахнул перед ним дверцу.

— Это недалеко. У нас так: жена к двенадцати привозит детей из школы, и мы тут же садимся за стол, к половине второго им нужно обратно в школу.

Он подал назад, выехал со стоянки, машина рванула вперед; Абсилис даже не успел заметить, когда Реф переключил скорость.

— Ты не очень изменился,— сказал Реф.— Семнадцать лет, конечно, срок немалый, но и не такой большой, чтобы состариться, упадок начинается как раз в следующие пятнадцать. Мы, как машины, работаем отлично, пока не истекает гарантия.

Он не улыбнулся, внимательно следя за движением.

— Ты сам только слегка поседел,— сказал Абсилис.

— Окисление,— заметил Морис.— Я бы не сказал, что слегка. Прибавил два килограмма. Где ты работаешь? Занимаешься бизнесом?

— Не в вашей сфере,— ответил Абсилис.— Я представляю издательство.

— Единственный вид печатной продукции, который я держу в руках последнее время,— биржевые бюллетени и рекламные проспекты,— сказал Морис. Это прозвучало не как извинение и уж во всяком случае не высокомерно, а ровно и целеустремленно, с той интонацией, с какой он диктовал Мими программу на послеобеденное время.— Моя жена читает романы, в основном французские. Когда Мими доложила о тебе, я думал, ты по делу. Работа денежная?

— Вполне.

— Хорошо. Дети есть?

— Нет.

— Хорошо. Время, когда они радуют нас, быстро проходит. Женщины, правда, думают иначе.

Но не Мади, подумал Абсилис. Она никогда не заговаривала о детях, даже ни разу не спросила, не хочет ли он ребенка. Она следила, чтобы не забеременеть, исключая редкие, стихийные мгновения страсти; но даже тогда с ней ничего не случалось, и она не раскаивалась в легкомыслии, словно была уверена в своей бесплодности. Будь она замужем за Клодом, наверное, все было бы иначе.

— Ну, вот и приехали,— сказал Морис.— Потяни вверх эту ручку, так.

Он стоял уже на тротуаре, пока Абсилис непривычно долго выбирался из машины; через палисадник они прошли к невысокой, просторной вилле. Морис позвонил, им открыла миловидная смуглая женщина, выглядевшая так, словно она нынче утром вернулась из Швейцарии с курорта. Она наспех поцеловала Мориса и, обратившись к Абсилису, сказала, что ей доставляет удовольствие видеть в своем доме старого друга ее мужа; они пошли в столовую, где Абсилису представили двух мальчиков — приблизительно десяти и двенадцати лет. Все уселись за стол. Между блюдами Морис говорил о повседневных вещах, порой вспоминал какой-нибудь случай; Абсилис при любой возможности втягивал в беседу его жену, она подхватывала тему с живой готовностью, свидетельствовавшей о том, что у Мориса часто бывают гости. После кофе хозяйка дома извинилась: ей нужно отвезти детей в школу, а оттуда заехать в город; она еще раз повторила, что ей было приятно познакомиться с Абсилисом лично, муж часто и с уважением рассказывал о нем. Мальчики смело подали ему руку, но по нескрываемому восхищению в их глазах Абсилис понял, что они знают об его аресте и бегстве из плена. Он почувствовал себя немного уцененным.

— У нас еще есть время выпить и выкурить по сигаре,— сказал Морис; он потащил Абсилиса за собой в гостиную, указал на удобное кресло, принес бутылку виски, стаканы и ящик с сигарами. Он подождал, пока Абсилис возьмет сигару, придвинул настольную зажигалку, наполнил стаканы и сел. Затем он поднял стакан, вытянул руку и произнес: — За времена, когда герои еще не были бюргерами.— Отпил из стакана и спросил: — Ну, так что же привело тебя ко мне? Если не особая причина, то едва ли нужно было ждать семнадцать лет.

— Просто так, пришла в голову такая идея. Ты ведь знаешь, это бывает,— сказал Абсилис.

— Идеи так просто в голову не приходят,— сказал Реф.— По крайней мере, в бизнесе, и я полагаю, что это справедливо и для остального.

Они заводятся, когда чертовски долго ломаешь себе голову. Это можно было бы назвать минутой просветления — не всегда, но так бывает.

«Мориса Рефа не проведешь»,— подумал Абсилис; он почувствовал легкое раздражение против самого себя за то, что не начал играть прямо, в открытую. Он взглянул на коротко, по спортивной моде, стриженные волосы, когда-то каштановые, теперь совсем седые, на волевой подбородок, проницательные глаза, жесткую линию рта. Рефа и раньше невозможно было надуть; он схватывал проблему за горло, без экивоков, его часто злила многословная обстоятельность, в которую Лапорт имел обыкновение пеленать существо дела. На гладком лице Лапорта появлялось обиженное, сердитое выражение, когда Реф перебивал его посредине риторического периода (Морис, как Александр, разрубал узел решительным ударом, в то время как Лапорт, словно пес, который собирается помочиться, обнюхивал запутанную в узел веревку); но он не мог просто игнорировать Рефа, как других (Кеннес и Паульке были покорными жертвами, а такой человек, как Сервас, гнул свою линию — ему было все едино, пока он сам не находил возможности развернуться и продемонстрировать свои ораторские способности). Морис был в Группе важной фигурой благодаря деловым связям отца и сумел заполучить небольшую типографию, где печатался их подпольный листок; он же поддерживал контакты с гравером, который был необходим для подделки продовольственных карточек. В глаза Лапорт разговаривал с ним почтительно, однако за его спиной пытался взять реванш, с показной небрежностью или симпатией роняя тень на семью промышленника. Старый промышленник был копией Мориса, он выглядел как бывший атлет, но на этом сходство кончалось («C'était un esprit borné [1], слишком глупый, чтобы знать, что дважды два — четыре; pour lui ça faisait cinq: deux fois deux poules et lui-même; il n'avait même pas le bon sens de se compter pour zéro»[2].), свое самое разумное деяние Морис совершил, заарканив себе жену. Соблазнить ее было несложно («Вот отец ее — тот был орешек потверже»): с того времени, как три года подряд он протрубил в высшей технической школе, он ничем больше не занимался, кроме женщин; он не привередничал и дарил свое расположение фабричным девчонкам, которые даже не знали, что такое гигиена (Лапорт надменно фыркнул при этих словах, изобразив гримасу отвращения,— привередливость была его коньком); ее отцу пришлось порядком раскошелиться, чтобы вытащить старину Рефа из болота. Его жена была худа, бледна, красива, одного с ним роста (метр восемьдесят пять босиком), когда она надевала туфли на высоком каблуке и шляпу, то возвышалась над ним, как башня (старина Реф терпеть не мог шляп и носил свою пышную шевелюру с гордостью подмастерья); пожалуй, из-за своего высокого роста она с первого же взгляда втюрилась в старину Рефа, хотя поклонники бегали за ней косяками, но никто не доставал ей даже до подбородка. Ее отец был настоящей биржевой акулой, вкладывал деньги во все концы света. («Мраморные рудники в Италии, железные дороги в Турции, алмазные копи в Южной Африке, олово в Южной Америке, не говоря уже о золоте в Конго, tu sais, la civilisation, ça mésure par kilomètres des rails, par tonnes de marbre, pas titres boursiers, quoi»[3].) Он сажал и снимал королей и президентов, но не смог перебороть старину Рефа — даже финансовый гений не способен составить партию для дочери, в которой метр восемьдесят пять росту, а голова занята

[1] Ограниченный человек *(франц.)*.

[2] У него получалось пять: дважды две бабенки да он сам; у него даже не хватало здравого смысла сообразить, что он равен нулю *(франц.)*.

[3] Ты же знаешь, цивилизацию измеряют километрами рельсов, тоннами мрамора, биржевыми акциями, вот так-то *(франц.)*.

чемпионом по десятиборью. («Tout le temps que durait la cérémonie du mariage il devait avoir fait grincer ses dents de requin»[1].) Старый Реф (если можно так выразиться — ведь тогда он был еще молодым) мигом обрюхатил свою половину, запер ее в клетку материнских забот, где она могла распевать свои колыбельные, а сам с удвоенным рвением пустился на поиски новых приключений. Когда отец старого Рефа умер от сердечного приступа (Лапорт называл это кризом от сердцеедства, безнаказанным и предумышленным убийством со стороны старины Рефа: быть отцом распутного сына при гипертонии так же опасно, как верхолазу страдать головокружением), он получил в свои руки фабрику и мог беспрепятственно развернуться; он использовал легендарную репутацию тестя как рекомендацию к своей визитной карточке: бросив фабричных девчонок, он продолжал похождения в будуарах. Его вкус не улучшился, он отчетливо развивался в сторону садизма: у него появилась склонность к философствущим, сексуально неудовлетворенным женщинам средних лет, женам директоров, врачей, адвокатов, считавшим себя заброшенными; он доводил их почти до истерики, щеголяя обнаженным торсом и не делая ни шага навстречу их желаниям (все это — в изложении Лапорта; в отношении чужих слабостей Лапорт был всевидящим, недреманным оком, вполне возможно, что эти сплетни сообщила ему шпионская служба матери и ее подруг). Несмотря на капитал, который принесла ему жена, он умудрился довести фабрику чуть не до банкротства; однако всякий раз, перед самым объявлением о несостоятельности, тесть делал очередное вливание крови, спешно перекупая акции на имя дочери; сведущие люди недоумевали, почему он просто не вытолкает взашей старого Рефа из дома, который ему давно уже не принадлежал, но отец и дочь были строгими католиками, брак для них был святым делом, и денежный мешок потакал инстинктам зятя, выдавая большие векселя на будущее в надежде, что внук унаследует от отца только физические качества, все же прочее — от матери.

Абсилис сказал:

— Вчера я случайно встретил Лапорта. Он выболтал одну вещь, которая меня поразила. У него впечатление, что с нашим арестом дело было нечисто.

— Что он имел в виду? Что кто-то донес?

— Похоже, что так. Ты знаешь Лапорта, он говорит не задумываясь, но у меня было ощущение, что он хотел сказать именно это. Я думаю, что если даже он и проговорился, то эта штука действительно стояла у него поперек горла.

— У Лапорта богатая фантазия.

— Моя жена такого же мнения. Но все же он заставил меня задуматься. Было во всей этой истории что-то странное. Похоже, что немцы нас там ждали. Они не были застигнуты врасплох, не были напуганы. Они подцепили нас и увезли, их машина была наготове.

Реф спросил:

— А тебе не показалось странным, что не взяли Лапорта?

— Да, и это — позже, когда я припоминал события той ночи. Все одно к одному, то есть я хочу сказать, это тоже странно. И то и другое вряд ли могло произойти случайно. То, что Лапорт отстал по дороге, само по себе нисколько не странно, вероятно, мы так условились, я сейчас не помню. В том, что немцы были спокойны, тоже, в сущности, нет ничего странного. Но одно с другим вместе — это, пожалуй, уже слишком.

---

[1] Все время, пока длилось бракосочетание, он, наверно, скрежетал своими акульими зубами *(франц.)*.

Реф сказал своим твердым, деловым тоном:

— Двадцать лет — это большой срок.

— Достаточно большой, чтобы забыть то, что хочется забыть, но не настолько большой, чтобы избавиться от того, что тебе мешает. Лапорт говорил также, что Вим Кеннес видел Серваса выходящим из гестапо. Нынче утром я был у Вима. Он многое перезабыл, но не все: по-прежнему не выносит Лапорта и остается при своем мнении, что узнал Серваса.

Реф наклонился к пепельнице, стряхнул сильным пальцем пепел с сигары:

— Чего ты добиваешься, какую цель ты преследуешь, Жан? Хочешь разбудить спящих собак? Двадцать лет — большой срок, но тебя еще могут здорово покусать. Чего ты хочешь? Мести? Справедливости? Уверенности?

— Всего лишь душевного покоя,— сказал Абсилис. Он произнес эти слова кротко, почти извиняющимся тоном.

— Душевный покой зависит от силы воли,— сказал Реф.— Если ты хочешь добиться его, то должен действовать решительно и твердо. Я не уверен, годится ли твердость, когда замешаны другие. Еще меньше я уверен, имеет ли смысл война с тенями. Двадцать лет — чертовски длинный срок.

— Я бы плюнул на все это, если бы речь шла только обо мне,— сказал Абсилис.— Но речь идет и о Клоде. Он был моим другом. В конце концов я остался в живых.

С ноткой нетерпения в голосе Реф сказал:

— И ты будешь искусан собаками, которых разбудишь. Чего ты думал достичь своими визитами, разыскивая нас? Ты думал, что один из нас признает себя виновным и сразу бухнется на колени, лишь бы подарить тебе утраченное спокойствие духа? Что до сих пор тебе удалось услышать? Догадки? Тебе пора бы знать, чего стоят догадки, с их помощью разряжают свою антипатию, больше ничего. Чего добился Кеннес? Что теперь — вместо одного — тебя давят два подозрения: насчет Лапорта и насчет Серваса. Кеннес не любит Лапорта. Он так же не любит Серваса. Тогда он рассказывал мне, что узнал его, он поднял из-за этого много шуму. Я не клюнул на его удочку. После того, что случилось с вами, положение Группы было и так скверным — не стоило подливать масла в огонь: Группу будто заразил микроб страха. Мне это знакомо: если я поддаюсь ему у себя на фабрике, то это обходится мне потерей рабочего времени или стихийной забастовкой, которая вдруг сваливается как снег на голову. Сервас? У меня нет никаких оснований подозревать его; он мне не нравился, но я забыл об этом. Если мне почему-то не нравится кто-нибудь из моих рабочих, я не поддаюсь этому чувству; я пытаюсь его уважать или, по крайней мере, относиться спокойно. Я относился спокойно к Сервасу, поскольку против него не было ничего, кроме сомнительных подозрений. Я знал, что Сервасу нельзя доверять. Я не намекаю на историю с Кеннесом — я не принадлежу к тем, кто строит свое суждение на чужих догадках,— но он был нечист на руку, я в этом убедился, он мошенничал с продовольственными карточками. Позже я услышал, что он занялся политикой. Это меня не удивляет, он всегда хотел есть из всех чашек сразу; его нечестность была такого сорта, что ее не назовешь преступной; она не вела к жертвам; наоборот, есть люди, кому она была выгодна. Когда ты отбывал трудовую повинность, он потерял целую пачку карточек. Он не знал, где и как, клялся, что кто-то в трамвае обчистил ему карманы. Через неделю после вашего ареста он снова прошляпил пачку карточек, которую должен был передать Группе в Схаарбеке. Он рассказывал, что попал в облаву,

спрятался в кафе, заперся там в клозете и спустил все карточки в унитаз.

— Он с таким же успехом мог спрятать их, а потом забрать.

— Разумеется. Кто угодно, только не Сервас. Сервас определенно от них избавился; во всяком случае, он так утверждал. Он умел отбрехаться, в этом он был ровней Лапорту. Так же как и Лапорт, он недооценивал своих слушателей, ставил всех на одну доску с Паульке, которого гипнотизировал своей болтовней.

— Ты слышал что-нибудь о нем? Я имею в виду Паульке.

— Нет. На торжестве его тоже не было — никто не знал, куда он девался. Даже Сервас. Приглашение было послано на адрес его деда и бабки. А что? Не собираешься ли ты навестить его? Если даже он что-нибудь и знает, из него ничего не вытянешь: он не был особенно толковым.

— Да нет, просто так. Интересно, что с ним сталось. Я знаю обо всех, кроме него.

— Ты не умеешь врать,— сказал Реф, и Абсилис еле заметно усмехнулся. Реф был необычным собеседником; он не делал ничего, что обычно делают во время разговора: никогда не качал головой, не кивал, не жестикулировал; он сидел грузно и неподвижно, эта неподвижность производила впечатление агрессивности, подчеркивая его слова решительнее, чем жест.— Ты повстречал Лапорта, ты видел Кеннеса, ты разговаривал с Мими, ты выманил меня из пещеры. Теперь ты отправишься к Сервасу, попытаешься разыскать Пуальке. Я не хочу сказать, что ты гоняешься за призраками,— ты гоняешься за прошлым. Нужно ли повторять, что ты обманываешь себя, надеясь, что кто-то из нас признается? Вряд ли ты настолько наивен.

— Если от меня будут что-то скрывать, я это почувствую,— упрямо сказал Абсилис.

Реф сказал:

— Каждому из нас есть что скрывать, хотя и не обязательно что-то преступное, и каждый делает это по-своему. Когда я ухаживал за своей женой, я всегда узнавал, что она нездорова, по тому, как она душилась.— Он не улыбнулся; его взгляд был жестким и пристальным.— Лапорт был мастер скрывать. Он болтал, отпускал остроты, чаще всего скрывая свою никчемность. С равным успехом он мог бы скрывать и свою трусость. Мими молчала и слушала, таким образом тоже можно что-нибудь скрывать. Кеннес все время выдавал себя своими рассуждениями и все время пытался что-то скрывать, хотя скорее от себя, чем от других, но сути дела это не меняет. Нечестность Серваса еще не делает его преступником: никто не погиб оттого, что он сбыл с рук несколько пачек карточек а денежки прикарманил. Донос — убийство с заранее обдуманным намерением; для него требуется больше смелости, чем для обыкновенной махинации; прежде всего, тут должна быть какая-то движущая пружина. Если Лапорт не пострадал той ночью, это еще не причина для подозрения, пока ты не найдешь движущей пружины; иначе это простая случайность, несправедливая блажь судьбы. Что бы ты сказал, если бы тебя самого заподозрили в двойной игре исключительно на основании того, что ты вернулся живой и невредимый, а Морренсу отрубили голову?

— Мне повезло,— сказал Абсилис.— Если бы Группа Ренара не напала на эшелон с заключенными, я бы наверняка не избежал топора.— Он понимал, что его оправдание звучит неубедительно.

Реф сказал:

— Лапорту тоже повезло. Только немного больше, чем тебе, и намного раньше. Когда ты употребляешь слово «если», ты ставишь все

на зыбкую почву, пока не найдешь движущей пружины, которая все объяснит. Что может быть такой причиной? Честолюбие, ревность, любовь к деньгам? Кто из нас не честолюбив? Я сам, мое честолюбие принесло мне то, что я сейчас имею. Кто из вас троих — Лапорт, Морренс или ты — стоял у меня на пути? Назови имя, и я стану подозреваемым номер один. Серваса честолюбие живьем съедало; он продал бы мать родную, лишь бы стать на шаг ближе к перевязи бургомистра, к депутатскому креслу. Назови мне, кого из нас стоило продать, и у тебя есть еще одна пружина. Сервас становится подозреваемым номер один. Я горожу вздор? Возможно, однако я всего лишь продолжаю игру, начатую тобой; я ищу на твой яд противоядие, я вливаю в тебя столько недоверия, что ты можешь извергнуть его обратно и здоровым вернуться домой. Всегда говорилось, что нужно искать женщину. Кого мы возьмем, Мими или Ренсон? Из них двоих только Ренсон была достаточно красива, чтобы возбудить ревность. Она была в связи с Морренсом; ты можешь называть это иначе, но остановимся на этом слове. Кто же мог так ревновать к Морренсу, что пожертвовал двумя, чтобы одного соперника бросить на съедение волкам? Ренсон была симпатичной девушкой, но я не заметил, чтобы кто-то еще был привязан к ней. А ты?

Абсилис сказал:

— Нет. Я на ней женат.

Реф не мог сдержать удивления.

— На Ренсон?

— Да.

— Это ничего не меняет. Я даже не замечал, что она тебе нравится. Ведь она уже тогда тебе нравилась?

— Да.

— Вот тебе твоя собственная пружина; к сожалению, она оказалась не у того человека — не у Серваса, или Лапорта, или Кеннеса, или меня. Или Мими, если угодно. После того что с вами стряслось, Лапорт затратил, само собой, немало сил на Ренсон, то есть на твою жену: он утешал ее, как только можно утешать вдову. Ничего не могу поделать, если это звучит малоприятно, однако мне казалось именно так. Не знаю, пытался ли он ее соблазнить. Это было бы удивительно: Лапорт не испытывал недостатка в женщинах. Тебе стоило бы самому спросить ее об этом.

— Пожалуй,— сказал Абсилис, но он знал, что никогда не сделает этого. В отношении женщин Лапорт был бессознательно, язычески аморален; может быть, он и в самом деле пытался ее соблазнить, мелькнула вдруг мысль, и здесь-то и крылась причина ее резкой антипатии, которая всегда казалась ему отчасти преувеличенной, отчасти необоснованной. Естественно, сразу после ареста Клода даже самая робкая попытка к сближению должна была казаться ей насилием.

Реф сказал:

— Ты можешь нацелить свое внимание и на Мими Крейен. Тебе это кажется смешным? Мыслящие люди всегда оперируют нормальными понятиями, но в любви и преступлении все иначе, тут следует за норму принимать отклонение. Ты считаешь Мими некрасивой. Можешь не возражать, она не слышит. Ты не в состоянии представить Мими как ставку, ради которой было совершено преступление. Но Лапорт и Сервас бегали за ней вовсю. Что они в ней нашли? Почему через короткое время они бросили ее или она их? Ты бы мог назвать патологической иронией судьбы, если бы Сервас донес, решив отомстить за себя Мими и Лапорту, а Лапорт между тем вышел из ловушки без единой царапины. Тебе даже не смешно — это кажется настолько абсурдным, что не вызывает смеха. И ты прав. По-настоящему

видишь цель своих стремлений только тогда, когда принимаешь ее до конца.

— Ты все время ссылаешься на отклонения. Но отклонение без нормы невозможно, оно неизбежно возвращается к ней. Ненависть — это аберрация любви.

— Порция философии всегда помогала тебе стать на ноги,—нетерпеливо перебил Реф.— Ты сохраняешь за собой правоту благодаря небольшим коррективам; этим приемом пользуются старики и коммивояжеры, но тогда ты его неверно использовал: они уступают свою правоту чуть-чуть в пользу клиента, чтобы выгадать. Всегда будет прав тот, кто достаточно ограничен, чтобы приписать всю вину другим. Но если ненависть — аномалия любви, ты можешь на таком основании спокойно додумать все до конца. Возьми, например, мать Лапорта. Она никогда не ударяла за тобой?

Абсилис неуверенно улыбнулся.

— Я не герой ее романа, в ее глазах я был неотесанным юнцом, она всегда игнорировала меня.

— Она была нимфоманкой, такие извлекают себе жертву со школьной скамьи, даже из колыбели, если приспичит. А когда дело касалось Лапорта, она ни перед чем не отступала. Соедини эти два качества, и ты получишь мозговую кость, которую можешь обсасывать сколько угодно в своем стремлении к нормализации. Ты, наверно, можешь себе представить, что она выделывала ради ленточек для Лапорта. Чтобы обеспечить сыну лавры национального героя, женщина подобного сорта с такой же легкостью пошлет на смерть двух мужчин, с какой она совратила секретаршу премьер-министра. Она имела отношение к тем, кто доставал нам взрывчатку, стало быть, знала об операции; а Морренс был самой подходящей фигурой, чтобы вызвать ее нерасположение, даже оккупационные газеты отзывались о нем с уважением — по всему видно было, что ему предназначено стать большим человеком, чей портрет регулярно печатают в газете, кем-то вроде фламандского Веркора, Камю, Мальро, который упорствует в своей ереси. После церемонии с ленточками мы пошли обедать с Лапортами; мать Лапорта не отставала от нас, моему отцу не удалось ретироваться, он сумел лишь спровадить Серваса, который увязался было с нами. За столом мать Лапорта говорила о Морренсе как о недоучке, достойном только сожаления; зато она превозносила до небес Лапорта, пока ему самому не стало неудобно, ты понимаешь, что это значит. Продолжать или с тебя хватит подозрений?

Абсилис не ответил, и Реф, бросив быстрый взгляд на часы, сказал:

— Идем, пора двигаться, мне еще предстоит разгрызть пару твердых орешков у себя в конторе.

В машине Реф, со сдержанной лихостью прокладывая себе дорогу среди транспорта, сказал:

— Сегодня ночью ты можешь пораскинуть мозгами о том, что я тебе наговорил. Ты увидишь, что приобрел не больше, чем у Лапорта и Кеннеса. В конце концов, это все клевета.

Остаток пути он ехал молча — видимо, его мысли были уже заняты предстоявшей деловой встречей. Когда они выходили из машины, он сказал:

— Хочешь верь, хочешь нет, но мне было приятно видеть тебя. Надеюсь, что и тебе тоже. Ты поднимешься со мной, чтобы проститься с Мими?

— Нет, я еще попытаюсь использовать оставшееся время,— сказал Абсилис.— Пожалуй, загляну как-нибудь *потом*, дорогу я теперь знаю. Надеюсь, Мими не обидится.

— Тогда будь здоров,— сказал Реф. Он пожал Абсилису руку и направился ко входу в контору. Он не оглянулся.

Абсилис отпер свою малолитражку. Подавая назад со стоянки, он увидел в окне приемной Мими Крейен. Она подняла руку, он помахал ей в ответ, хотя и сомневался, увидит ли она. Ему стало неприятно при мысли, что он как бы обманул ее, а она даже не почувствует себя задетой.

Глава VI

Сервас

Земля потела, над шоссе стлалась дымка, от которой асфальт становился похожим на побуревшее, заляпанное грязью стекло, а мостовые делались скользкими; когда Абсилис проезжал мимо луга или перелеска, он всякий раз попадал в предательскую, плотную полосу тумана — ему приходилось замедлять ход и включать фары, но их свет, отраженный туманом, ослеплял его. Он чувствовал себя разбитым, глаза были воспалены, будто он всю ночь кутил. Он опять плохо спал, из головы не выходили слова Рефа; разговоры с Лапортом и Кеннесом казались ему теперь ничего не значащими. Он чувствовал, что Реф по-своему прав, считая все это не больше чем клеветой, но ему не удалось переубедить себя до конца: он упрямо цеплялся за недоказуемое предчувствие, что есть какая-то загвоздка в показаниях его памяти о той трагической ночи и вообще о Группе. Беспокойство усугубляла мысль, что Реф был откровенен с ним из самых добрых побуждений, хотя Абсилису импонировала его манера скрывать свою симпатию за жестким, категорическим тоном,— сентиментальная доброжелательность вызывала у него аллергию.

Там, где пересекались проселочные дороги, вовсю поработали бригады маляров,— асфальт был исписан огромными буквами и номерами: «Против беспорядка в управлении — № 2, № 2, № 2», «Голосуй за союз», «Интересы общины — № 1, № 1, № 1», «Долой растратчиков — № 3, № 3, № 3». Местами это напоминало плохо составленную шараду. Стволы деревьев, посаженных вдоль дороги, были оклеены зелеными, красными, синими, желтыми афишками, на которых из едущего автомобиля можно было заметить одни номера; когда машина Абсилиса прорезала очередную гряду тумана, они вспыхивали в лучах фар яркими цветовыми пятнами. Через открытую решетку обогревателя в кабину проник запах горелой резины: Абсилис проезжал мимо небольшого гаража; неприятный запах мешал ему, пришлось опустить боковое стекло. Наискось через дорогу тряслась телега, груженная свеклой, угрюмый крестьянин плелся рядом с лошадью, опустив вожжи; он даже не обернулся, когда машина промчалась, едва не задев его. В стороне тлела навозная куча; пар от нее застоялся, сгустился в туманное облако. Дальше, на пустыре, лежало выкорчеванное дерево, ожидая, пока порывы ветра и дождь не очистят его корни от комьев земли. Потом Абсилис увидел трех мальчишек, которые бежали вниз по узкой сельской улочке, размахивая школьными сумками; Абсилис непроизвольно взглянул на часы — без четверти девять, они явно опаздывали, но это их, по всей видимости, не беспокоило. На глухой стене хорошо было видно, как группы расклейщиков постарались напортить друг другу: афиши были наклеены одна на другую или сорваны, их цветные обрывки свиса-

ли со стены, как выцветшие, драные вымпелы, как свернувшиеся полоски желатина.

Когда он въезжал в город, было около девяти. Он поставил свою малолитражку на рыночной площади, возле деревянного щита, оклеенного предвыборными плакатами. Под номером три висела громадная фотография Серваса: «С Лео Сервасом за народ и за город!» Если бы не аршинные буквы, Абсилис вряд ли узнал бы Серваса на этом фото: у молодого Лео было худое, фанатичное лицо, стриженные ежиком волосы, а физиономия на фотографии была круглая, с обвисшими щеками и намечающимся двойным подбородком, напомаженные волосы разделял пробор, под короткими щетинистыми усами сияла стереотипная улыбка основного кандидата — недвусмысленно выраженная мольба о безоговорочном доверии, результат не одной репетиции перед объективом, улыбка профессиональных фотомоделей из иллюстрированных журналов; не хватало только ряда белоснежных доброкачественных зубов для полного сходства с рекламой какой-нибудь зубной пасты (или нет, пожалуй, сюда подошел бы текст: «Я храню свои деньги в банке X»): мешали губы, которые недостаточно широко раздвинулись из-за трубки, торчавшей в левом углу рта; Абсилис почему-то с досадой определил, что трубка была пуста. Это лицо человека, нашедшего свое призвание, подумал он, запирая дверцу машины и еще раз внимательно взглянув на плакат. В конце концов, его собственные фотографии, которые иногда появлялись в газете, если там рецензировалась одна из его книг, производили не менее странное впечатление на тех, кто знавал его раньше; все эти люди нашли свое призвание: наводящий тоску Кеннес, невозмутимая Мими, замкнутая Мади, он сам, известный писатель, преуспевающий делец Реф и Лапорт, для которого в году было четыре охотничьих сезона.

Абсилис вошел в вестибюль ратуши. Он спросил у служащего, спускавшегося по лестнице с папкой бумаг, где можно видеть члена муниципалитета Серваса. Его еще нет, ответил тот, обычно он приходит к одиннадцати. Может быть, его удастся найти сейчас в партийном кафе. Служащий проводил Абсилиса до выхода и объяснил, как найти это кафе. Оно было поблизости, Абсилис решил идти пешком.

Спутать это кафе с другим было бы просто невозможно — из всех окон пустая трубка Серваса заклинала вас отдать голос за номер три: «С Лео Сервасом за народ и за город!» Абсилис открыл дверь и вошел. В просторном обеденном зале никого не было. На боковой стене красовалась фотография Серваса, еще большего размера, обрамленная цифрами три. Над ним, почти под самым потолком, были приколоты вырезанные из блестящей красной бумаги буквы неизменного лозунга: «С Лео Сервасом за народ и за город!» (Хватило места и для восклицательного знака; Абсилис подумал о том, какую очередь острот выпустил бы по поводу этого спектакля Лапорт.) Рядом висело увеличенное изображение избирательного бюллетеня; имена под номером три были напечатаны крупным шрифтом, под прочими номерами — всюду заменены словом «противник» (которое, против воли, вызвало в Абсилисе некую атавистическую враждебность); похожий на остро заточенное бревно карандаш указывал на круглый ящичек с номером три. Ниже фотографии Серваса висело объявление: «Суббота, 10 октября. Большие ВЕЧЕРНИЕ ЗОРИ ПОБЕДЫ; оратор ЛЕО СЕРВАС. Все на посты — ЗА НАРОД И ЗА ГОРОД!»

Должно быть, Сервас очень уверен в себе, если собирается на этих «вечерних зорях» делить шкуру неубитого медведя, подумал Абсилис. Сзади послышался какой-то шум, он обернулся. Пожилой,

хмурый человек вышел из кухоньки и встал за стойкой, глядя на одинокого посетителя. Абсилис подошел ближе, и старик спросил:

— Что угодно, приятель?

— Кружку пива,— сказал Абсилис.

Он смотрел, как трактирщик берет с полки кружку, ставит под кран. Пена бежала через край полной кружки, но старик не обращал на это внимания; он поставил кружку перед Абсилисом, не слишком аккуратно— пена выплеснулась через край и образовала лужицу на стойке.

Абсилис заплатил, терпеливо дождался сдачи. Затем сказал:

— Я ищу Серваса. В ратуше мне сказали, что он может быть здесь.

Взгляд старика остался таким же угрюмым; он был похож на одного из тех бесцеремонных старых служак, которые с колыбели заражены партийным фанатизмом и которых Абсилис хорошо знал еще мальчишкой.

— Он на собрании, в верхнем зале.— Старик показал куда-то в потолок.— А ты друг Серваса?

— Не совсем,— осторожно ответил Абсилис.— Я знал его прежде.

— Когда прежде?

В его вопросе звучала откровенная агрессивность, и Абсилис подавил улыбку.

— В войну. С тех пор порядочно времени прошло, лет двадцать.

— Тогда я знаю его дольше тебя, но это не значит, что лучше. Я его терпеть не могу; если ты его друг, то можешь сказать ему про это, мне наплевать, ему давно известно, что я о нем думаю. Мне нужно убираться отсюда, я слишком стар, по мнению Серваса, но имеет-то он в виду другое: что я не очень-то хочу тянуть его телегу, что я нипочем не надену ради него хомут себе на шею. Сидеть в парламенте от имени партии можно, пока тебе не стукнет хоть сотня лет, а содержать для той же партии кафе — тут я, видишь ли, слишком стар, хотя мне еще нет и семидесяти. Сервас поворачивает все дело, понятно, на свой лад: у него выходит, что он обо мне же заботится, оказывает мне честь за большие заслуги. Он и местечко мне подыскал в богадельне. С таким же успехом я бы мог перебраться к дочери, да не хочу: я и дальше сумею себя прокормить. Я держал это кафе, когда их партия еще под стол пешком ходила; тогда на заводах, стоило только рот открыть, сразу же выгоняли за ворота.

Абсилис кивнул; он взял кружку, отпил несколько глотков, поставил ее возле лужицы; старик посмотрел на его руки, презрительно засопел, что можно было одинаково отнести и к чрезмерной аккуратности Абсилиса, и к его собственному высказыванию.

— Вся штука в том, что Сервас посулил мое место одному из своих дружков,— сказал он.— Одному прихвостню, перебежчику из КЁ[1], который сразу же впрягся в телегу Серваса, стоило тому здесь появиться. И главное, никто его сюда не звал, этого Серваса; его просто прислали партийные деляги из Брюсселя; они там не отрывают своих задниц от кресел, а воображают, что им лучше известно, чего нам здесь не хватает. У нас тут была бесконечная грызня между двумя вожаками, всех кандидатов делили на два лагеря, кошек и собак, и мы каждый раз теряли из-за этого несколько мест По правде сказать, нашего вожака недолюбливали в Брюсселе, потому что он не умел держать язык за зубами; он три года просидел в концлагере и когда, наконец, вышел, то на его место уже протолкались трое ловкачей, которых за всю войну даже пальцем не тронули. Он и ходить-то

[1] Kommunistische Jeugd — молодежная коммунистическая организация в Бельгии.

не мог нормально, ковылял с палочкой, но надсмехаться над собой не позволял, сам понимаешь. Тут-то и началась драчка, все сильней — никакого выхода не видать было, и тогда люди из Брюсселя решили нашу банду разогнать и спустили на нас Серваса. Сервас обзавелся дружками и провернул все дельце в один миг. Он выдал себя за героя Сопротивления, он, мол, всю войну сражался с немцами — так, по крайней мере, он заявил.

— Он не соврал,— сказал Абсилис. Ему стало жаль, что пришлось огорчить старика.

Старик опять засопел.

— Сражался, вон как. Он только и умеет сражаться что языком. Он сначала послюнявит и поднимет палец, чтоб узнать, откуда ветер дует и где противник. Я не знаю, что он делал в войну, но сразу после войны он пролез в партию коммунистов — тогда любой помнил, что русские пострадали от немцев и отплатили им за это сполна. Но он попал в список только третьим, один раз его выбрали, а на следующий — прокатили. Тогда он стал писать в газету против партии, немного погодя заделался неофашистом, хоть и называл себя иначе, и вовсю лизал задницу одному американскому генералу в Париже, как его там, фамилия на языке вертится. Он так и сыпал словами насчет моральной обороноспособности, все пел, что и среди немцев еще много хороших людей — надо только постараться и поискать их, особенно среди генералов, а о простых ефрейторов и руки пачкать не хотел. Но и это тянулось недолго — покамест клевала рыбка. Ты слышал о «Левом фронте»?

— Только одно название,— сказал Абсилис. Реф наверняка счел бы болтовню старика клеветой, но Абсилис слушал его с интересом, после торжества с раздачей ленточек он совершенно потерял Серваса из виду, и теперь, как ему представлялось, старик помогал заполнить пробел, отделявший худого, фанатичного студента от круглоголового кандидата в бургомистры с пустой трубкой под щетинкой усов.

— Первое «s» тут лишнее[1], — медленно и ехидно проговорил старик.— Эту газетенку издавала кучка рвачей, которые просто не могли дождаться, когда наступит их черед. Им в партии много чего не нравилось, хотя жаловаться-то должны были бы мы, старые борцы, потому что эти молодые проходимцы были готовы наступить на горло любому из нас. Ну так вот, Сервас вдруг бросает неофашистов и начинает печататься в «Левом фронте»; ему даже не надо было менять тему, ты понимаешь, о чем я. С партией дело обстояло из рук вон плохо, ну он и включился засучив рукава. Может, я не такой образованный, как ты, но в партийных вопросах я все зубы съел, застольные трепачи меня не проведут. Это старый трюк: если повезет, можно допрыгнуть и до министерского портфеля, я не буду приводить примеры, ты, наверно, знаешь их лучше меня. Плюнуть на все и дать понять, что ты ни перед чем не остановишься; поднять как можно больше шуму — когда-нибудь партии это осточертеет, и она придет к тебе домой, постучится и спросит, чего ты хочешь, чтобы замолчать. Сервас действовал именно таким порядком. Люди из «Левого фронта», которые еще ждали, что им заплатят за молчание, конечно, взъелись на него; они объявили бы его изменником и перебежчиком, если бы не боялись разоблачить себя, показать, что они птицы одного полета. У меня сохранилась пачка старых номеров этой газетенки со статьями Серваса. Он выдает себя там за неподкупного реформатора. Послушать его тогда, так все кругом продажные, кроме него; он один чистый и безупречный, он всем жертвует ради своего идеала. Я-то

[1] «Левый фронт» по-фламандски: Linkse Strijd. «Links» — левый, а «link» — хитрый, продувной, коварный.

знаю, что у него за идеал. Он таскает его в нагрудном кармане. А купили его задешево, так что вряд ли ему быть министром, самое большее — депутатом, каких тут пекут десятками, но в министры ему не пролезть. Партия послала его сюда. Сломай он тут себе шею, никому бы, кроме него, не было больно, так ведь? А если ему здесь повезет, то партия выгадала на этом не меньше его. Единственно, кто остался в дураках, так это мы, ветераны, люди старой закалки, верные слуги партии, кому всегда грозили безработицей и кто терпел поношения, но никогда не отступал.

Абсилис подумал, что это звучит как первомайские речи, которые он слышал давным-давно в своем селении, как мелодраматическая экзальтация неграмотных, фанатичных людей, у которых поразительно острое чутье ко всему, что неладно в их жизни, но они не в силах преодолеть свою беспомощность, держат речи перед публикой, а в первую очередь думают о себе, пытаются заглушить собственные сомнения. Он почувствовал неловкость, как прежде, когда его отец заводил спор о политике с каким-нибудь равнодушным поденщиком. Он спросил:

— Долго продлится собрание?

Старик метнул на него взгляд из-под тяжелых седых бровей: он, казалось, рассердился, что его прервали, потеряли к нему интерес.

— У Серваса не поймешь,— сказал он резко.— Бывает, что сидят часами: он любит послушать самого себя. Никаких вопросов он не решает; он говорит и говорит, пока сам и все другие не забудут о них, а потом думает, что все вопросы решены. И это ему удается; он окружил себя одними подхалимами, поэтому и не переваривает меня, он меня с самого начала не переваривал: раз я прав, то не стану держать свое мнение при себе — подмазываться я не умею.

— Может быть, мне лучше зайти через часок,— сказал Абсилис. Он взял кружку, в нерешительности посмотрел на нее. Он мог бы пойти в город и наудачу заглянуть по нескольким адресам, но тогда не исключено, что он упустит Серваса. Он сделал глоток, поставил кружку, повертел ее между большим и указательным пальцами.

— А может, и раньше кончат. Сервасу к одиннадцати нужно в ратушу — он член магистрата, ответственный за просвещение, теперь он, конечно, надеется стать бургомистром. Ну, для этого у него есть все шансы; ему везет, удачлив, как проститутка. И при этом он хорошо соображает, понимаешь? — Старик опять презрительно засопел; откуда-то сверху послышался шум, он сказал отрывисто: — Тебе повезло, идут.— И показал выпяченным подбородком на двустворчатую дверь в глубине обеденного зала.

Дверь распахнулась, и в зал вошли пять-шесть мужчин; все они выглядели чересчур торжественно, чересчур серьезно (как офицеры, получившие приказ отправляться на поле сражения, подумал Абсилис), словно Сервас разделил между ними все будущее города. Сервас шел самым последним; он вполголоса беседовал с каким-то субъектом, явно отмеченным печатью подхалимства.

Старик облокотился о стойку и сказал:

— Сервас, тебя тут ждет один знакомый.

Сервас метнул в сторону старика скучный, недовольный взгляд, мельком взглянул на Абсилиса, повернулся к подхалиму и с важностью произнес:

— Вот чего не следует выпускать из поля зрения...— При этом он размахивал левой рукой, державшей пустую трубку, словно отбивая такт; голос и трубка замерли в одно и то же время, и Сервас снова, на этот раз внимательно, посмотрел на Абсилиса. Он вытаращил глаза, обнажил зубы под щетинкой усов, быстро сказал

подхалиму: — Мы еще увидимся,— и пошел на Абсилиса, протянув обе руки.— Голову даю на отсечение, что это Жан,— сказал он радостным тоном.

Абсилис даже попятился, не сразу сообразив, что ему нечего опасаться за свой костюм: пеплом он обсыпан не будет. Тем не менее он увернулся от руки с трубкой, пожал другую и улыбнулся в ответ Сервасу.

— Идем, присядем,— сказал Сервас, схватил Абсилиса за руку выше локтя и потащил к скамейке, стоявшей у стены прямо под его портретом.

Абсилис украдкой бросил взгляд на старика, который взял полотенце и ожесточенно, до блеска, начал вытирать стойку.

— Какой приятный сюрприз,— сказал Сервас.— Возможно ли, ведь прошло столько времени! Должен сказать, что ты это здорово придумал.

— Мне нужно было в ваш город, по делам,— сказал Абсилис.— Я езжу от имени одного издательства. Увидел твою фотографию и решил, не откладывая, тебя навестить, в память о старом знакомстве.

— Превосходно,— сказал Сервас.— Превосходно. И очень хорошо сделал. Ты все пишешь. Знаешь, а я пошел по твоим стопам: интересуюсь литературой. Ты, вероятно, слышал, что я в магистрате отвечаю за просвещение. Я кое-что сделал в помощь нашим писателям: каждый год присуждается городская премия, поочередно за лучший роман, сборник стихов или пьесу. Так называемая «премия Сервaса», может быть, ты о ней читал. Разумеется, это немного; я бы охотно сделал больше, но можно считать, что начало положено. Да, скромное начало. Прежде здесь не было ничего подобного. Надеюсь, что со временем смогу сделать больше.

— Как только станешь бургомистром,— сказал Абсилис.

— Очевидно,— сказал Сервас. Если он и почувствовал иронию в замечании Абсилиса, то, во всяком случае, не подал виду.— Конечно, местные возможности ограничены, но у меня широкие планы, наша программа по-настоящему прогрессивна и дерзка. Я намереваюсь превратить свой город в образец для всех городов, где наша партия стоит у власти. В общем, культурная программа партии оставляет желать лучшего, но к нам это не относится. Город, управляемый подобным образом, располагает более чем достаточными средствами, чтобы воздать должное и культуре. Премии Серваса — только начало. Именно так их нужно воспринимать.

Он откинул голову, словно смакуя на языке и небе вкус собственного имени; Абсилис подумал, что он похож на гурмана, только что запившего вином кусок камамбера.

Абсилис сказал:

— Ты далеко скакнул, Лео.— Он смягчил резкость выражения улыбкой.— Я имею в виду, со времен Группы.

— Нужно уметь добиваться своего,— сказал Сервас.— И нужно, чтобы идея, которой ты служишь, воодушевляла тебя.— Он зажал трубку в кулаке, выставив чубук наподобие револьверного ствола.— А тогда мы славно поработали. Тогда мы тоже шли на все ради нашего идеала. За него погиб Клод Морренс.

Он повторяет Лапорта, усмехнулся про себя Абсилис; отдает мимоходом обязательный салют чести погибшему; голос народного трибуна зазвучал на полтона ниже, слова исполнились убежденности, идущей из самых глубин души (аллергические нервы Абсилиса улавливали отзвук тремоло, с которым рождались мысли, прежде чем их обуздывал и облекал в форму звуков чисто профессиональный инстинкт оратора); скромность, с какою он отнес этот салют и к самому

себе, казалась вполне натуральной. Когда он говорил, его можно было принять за брата Лапорта, и казалось странным, что Лапорт питал к нему такое искреннее и глубокое отвращение. («Если схватить его за загривок, то не поймешь, что у тебя в руках, il parle trop, il te casse les pieds sans t'apprendre un brin, tu sais?[1] Он с одинаковым успехом способен пойти и в политику и за прилавок, tu le fiche au fond d'un panier de crabes et il se fraye son chemin au sommet à coups de langue, quoi»[2].)

Помолчав с минуту приличия ради, Сервас сказал:

— Ты знаешь, в мои планы входит также учредить большую литературную премию Сопротивления, первая премия будет посмертно присуждена Клоду Морренсу.

Абсилис кивнул (он представил себе Серваса во фраке и с трехцветной перевязью на упитанном брюхе, стоящим на возвышении, услышал первые слова его торжественной речи: «...молодой, многообещающий поэт, который сражался рядом со мной в справедливой борьбе против захватчиков...» — и вдруг почувствовал прилив ненависти к нему, с ослепительной ясностью в один миг понял, почему Мади с таким упорством питала отвращение к тем, кто бы мог поколебать ее право собственности на Клода). Он спросил не церемонясь:

— Лео, а какие дела были у тебя в гестапо?

— А? — сказал Сервас. Его изумление было непритворным, он был похож на человека, которого внезапный испуг излечил от неукротимой икоты; он бессмысленно уставился на Абсилиса — белки его глаз были в пятнах, как будто он страдал печенью. Это были глаза члена магистрата, который никогда не откажется от лишней рюмки, поскольку за нее не надо платить из собственного кармана.

— Тебя заметили, когда ты выходил из гестапо,— сказал Абсилис.— За несколько дней до того, как схватили Клода и меня. На другой день после того, как мы разработали план операции.

Сервас сунул трубку в зубы, начал яростно сосать мундштук, издавая нелепый свистящий звук. Он вынул трубку изо рта, выколотил ее об ладонь; глупо-напряженные черты лица вдруг смягчились.

— Ах, это,— сказал он.

Абсилис держал наготове ответ на вопрос, почему он об этом хочет знать, но такого вопроса не последовало; Сервас улыбнулся, это была улыбка для посвященных, немного двусмысленная, немного высокомерная (последнее по адресу людей, которые без нужды тратят время на пустяки).

— Ты, может быть, помнишь, что я после учебных занятий вел бухгалтерию у одного мелкого предпринимателя? Он работал на немцев, строил аэродромные укрытия. Несколько рабочих пришли в контору жаловаться, что им недоплатили, и я это подтвердил. Они отправились к хозяину и стали требовать что положено; я их поддержал, ты же знаешь, я не терплю несправедливости. Хозяин встал на дыбы, обвинил меня в подстрекательстве и пригрозил доносом. Я не обратил на это внимания, настаивал, что он должен честно платить своим рабочим. Я думал, что он просто хочет нагнать на меня страху, но однажды получил повестку из гестапо. Сначала я думал, что все это из-за нашей нелегальной работы, но ничего подобного: причиной была ссора с моим предпринимателем — поскольку он не сумел положить меня на лопатки, то позвал на помощь немцев. Удовольствия было мало, Жан, можешь мне поверить. Я, как сейчас, вижу этих двух парней в

[1] Слишком много говорит, прямо сбивает с ног каскадом слов, так ничего и не сообщив, понимаешь? *(Франц.)*

[2] Посади его на дно корзины с крабами — он языком проложит себе дорогу наверх, вот так-то *(франц.)*.

черных кожаных куртках. Они сидели напротив меня и спрашивали, не хочется ли мне в один из германских лагерей, там полно коммунистов, но найдется местечко и для подстрекателя. Я прикинулся дурачком; представь себе, они хотели меня только припугнуть — это был их способ внушить мне, что вопросы жалованья решает работодатель, и я с ними согласился. Спустя неделю меня уволили. А кто меня видел?

Абсилис сделал вид, что не слышал этого неожиданного вопроса. Он кивнул:

— Тебе повезло. Больше, чем нам. Во всяком случае, больше, чем Клоду.

Сервас сказал:

— Вероятнее всего, это был Реф. Морис был немцам свой в доску, так сказать, по долгу службы. Конечно, старый Реф тоже сплошь и рядом обращался к помощи гестапо, если рабочие на его фабрике намеревались выступить за свои права. Как ни крути, а предприниматель всегда остается верен себе — я испытал это на своем опыте. Когда разразилась война, старый Реф был накануне банкротства, но война помогла ему снова стать на ноги; уж если ты хоть отдаленно имеешь дело с металлом, то тебя втянут в работу, это факт. Особенно если ты флиртуешь с немцами. Всем известно, что он сотрудничал с ними, но Морис позаботился насчет алиби на тот момент, когда начнется отлив. Если ты не поднаторел в бизнесе, то лучше туда не лезть: после войны тебе заморочили бы голову коллаборационисты, которых не было в черном списке групп Сопротивления. Я не сомневаюсь, что это был Морис; разыграл все, как шахматную партию, он точил свой нож с обеих сторон, служил и нашим и вашим. Лапорт все говорил, что старому Рефу не хватило бы ума сделать прибыльной даже торговлю жареным картофелем — стоило появиться рядом какой-нибудь женщине, и его мысли сразу же уходили под брючный ремень.

— Когда меня допрашивали, один немец сказал, что на нас донесли,— перебил его Абсилис. Он полагал, что это прозвучит убедительно.— И это вовсе не было способом заставить нас признаться; им было все равно, мы их не интересовали. Они время от времени били нас для собственного удовольствия, а потом приговорили к смерти. И все это с полнейшим безразличием. Поэтому я им поверил.

— Ты помнишь тот вечер, когда мы обсуждали план операции? — Сервас прищурил глаза, щеточка его усов зашевелилась, будто он украдкой обгладывал финиковую косточку.— Когда Лапорт выложил карту генерального штаба? Рефу это не понравилось, ты знаешь, и он этого не скрывал. Он находил, что это сумасшедший план. Конечно, можно было без особого риска снабдить своего папашу надежным алиби на случай перемены ветра, получить свидетельство в патриотизме, рассовав несколько листовок по чужим почтовым ящикам, но совсем другое дело — организовать, например, саботаж.— Тут Сервас открыл глаза, покачал головой; он завладел ситуацией, он снова был первым кандидатом, который выдвинул свою программу, разгадал тактику противной партии и взвешивал ход, чтобы объявить мат.

— Как видишь, у Рефа было меньше всего оснований посвящать немцев в наши секреты,— сказал Абсилис.

— Возможно,— сказал Сервас.— И все-таки.— Реф был жертвой, которую ему очень не хотелось упускать.— Мне просто бросилось в глаза, что ему не понравился наш план; обычно при обсуждении всех планов он оставлял за собой последнее слово, а здесь раскрыл рот только для того, чтобы сказать, что он против. Теперь, когда все вспоминаешь, это кажется подозрительным.— Он замолчал, рассеянно постучал трубкой по столу.— Конечно. Кто мог иметь что-либо против

вас? Против Морренса, и тебя, и Лапорта? — При имени Лапорта его взгляд блеснул, он повторил невнятно и едва слышно: «Лапорта», будто закутывал это слово в пеленки побочных мыслей. Постукиванье трубкой замедлилось, приобрело размеренный ритм.— Лапорт остался в стороне, он предоставил вам одним управляться с делом. Лапорт был твоим другом, это так, но он не любил Морренса; он ведь беспрерывно охотился за юбками, а подружка Морренса была лакомым кусочком. Но она не удостаивала Лапорта взглядом, потому что сходила с ума по Морренсу. И Лапорт даже после того, как вас задержали, не добился и намека на успех. Не могу сказать, чтобы он не делал никаких попыток — он так и юлил вокруг нее, ты ведь знаешь, никто не сравнится с Лапортом по части разных маневров и приемов, которые действуют на женщин. Но с ней его номер не прошел; я наблюдал, как он весь покрывался красными пятнами, когда она отворачивалась, не мешая ему болтать сколько вздумается. Предложить такой план, против которого нельзя возразить ни слова,— это как раз в духе Лапорта. В самом деле, от кого пошла эта безумная идея ни с того ни с сего взрывать мосты и железные дороги? Мы целых три года занимались другими вещами, не менее полезными, но менее рискованными. Мы оставили диверсии для тех, кому это было легче организовать. Наша подпольная пресса была точно такой же формой диверсии, только в психологическом плане — нашу работу оценили даже в Лондоне. Но Лапорту это кажется недостаточным, и тогда он предлагает взорвать железную дорогу. Лапорт мог взять на себя заботу о взрывчатке: у одного из любовников его матери была спрятана партия этого добра. Лапорт принес штабную карту; он изобразил все это как рождественское развлечение, небольшую прогулку с фейерверком. Даже вы не были к этому готовы.

— Мы понятия не имели, что надо делать,— сказал Абсилис.

— Лапорт на первый взгляд казался приятным парнем, ты знаешь — ведь вы тогда были близкими друзьями; к тебе он, разумеется, обращался своей лучшей стороной. Но если что-то мешало исполнению его желаний, он тут же становился другим человеком. Он был избалован. Он был маменькиным сынком — мать баловала его беспредельно. Я немного изучил его натуру; он был тверд, как гвоздь, эгоист высшей марки. Я наблюдал, как он пытался соблазнить подружку Морренса, когда мы еще даже не знали, что с вами сталось. Когда я видел, как лицо его наливается кровью, я чувствовал, что в нем творится, он мог бы в тот момент убить ее, эту Ренсон. Спроси Паульке. Паульке знает, как Лапорт вел себя, когда снимал свою маску всеобщего любимца.

— Как я могу спросить Паульке, я даже не знаю, где он теперь.

Сервас слегка откинулся назад, удивленно посмотрел на Абсилиса.

— Паульке здесь,— сказал он.— Он замечательный рядовой боец; сейчас он занимается распространением предвыборных материалов.

— Его не было, когда мы получали свои ленточки. Никто о нем ничего не знал.

— В то время он находился в одном заведении,— сказал Сервас. В его голосе послышалась покровительственная, отеческая интонация.— В психиатрической лечебнице. Он переутомился, нервы не выдержали. Я обнаружил его, когда инспектировал лечебницу вместе с губернатором провинции; я принял его судьбу близко к сердцу, позаботился, чтобы ему выдали заслуженную награду. Когда его выписали, я привез его сюда. Все эти годы он провел здесь, в городе.

— Он не женился?

— Нет. Он живет в комнатке на верхнем этаже одного кафе.

Неподалеку от станции, на улице Меркатора. Номера дома я не помню, а кафе называется «Почтовый рожок», ты его легко найдешь.

— Пожалуй, я прямо отсюда зайду к нему.

— Давай. Только, может быть, он сейчас ходит с плакатами.

— Тогда я подожду его. Не буду больше тебя задерживать, твои обязанности призывают тебя в ратушу.

Абсилис поднялся из-за стола, подождал, пока встанет Сервас.

Сервас продолжал сидеть, он смотрел снизу вверх на Абсилиса, его усы опять зашевелились.

— Понимаешь, я раньше не считал нужным рассказывать про гестапо. Не хотел привлекать к себе интерес, я был доволен своей скромной ролью в Группе. Ты ведь знаешь, я никогда не лез на передний план.

— Знаю,— сказал Абсилис.— И ты правильно сделал, что промолчал. Мы бы все переполошились, если бы узнали, что один из нас был в гестапо.

Он пожал Сервасу руку и, прежде чем повернуться, увидел, как задрожала щетинка его усов, поймал на себе взгляд его пятнистых глаз. Старик смотрел ему вслед из-за стойки бара, пока он не закрыл за собой дверь.

Глава VII

Паульке

Дверь комнаты была на замке, никто не ответил на его стук. Абсилис спустился по лестнице, вошел через боковую дверь в кафе и там узнал от хозяйки, что Паульке Меес разносит предвыборные плакаты; она видела, как он выходил с набитым рюкзаком и еще нес рулон под мышкой. Вряд ли он вернется раньше половины второго, добавила она; видно было, что ей хорошо знакомы привычки квартиранта.

Абсилис не спеша направился в сторону рыночной площади, где оставил машину. Он снова подумал было заглянуть в книжные магазины и снова отказался от этого намерения: бессмысленное поддакиванье какому-нибудь всезнайке сейчас ему особенно претило; он чувствовал, что его беспокоит, взвинчивает перспектива встречи с Паульке, будит в нем надежды, которые он сам считал необоснованными, но от которых все же не мог отказаться. На Паульке его кампания закончится, неосторожно разбуженные собаки прошлого снова погрузятся в сон, и ничего, в сущности, не останется, кроме цепочки случайных встреч, от которых лишь пробежит рябь по поверхности вызванных ими воспоминаний. Сам он без особых усилий постепенно вернет себе душевное равновесие; может быть, даже примирится со смертью Клода и с относительным счастьем, которое он нашел возле Мади. Он снова будет испытывать к ней безудержное желание. Он ей ничего не рассказывал о своих встречах с людьми из Группы (он знал, что ее строптивость привела бы к размолвке), и это беспокоило его; он чувствовал себя виноватым, будто изменил ей с другой женщиной, а то обстоятельство, что ему не в чем было себя винить, лишь усугубляло это чувство. Абсилис знал себя: он был из тех людей, которые с большим трудом выносят даже малую вину, переживают ее физически, как болезнь. Он завидовал таким, как Реф, который умел отбрасывать мелкие заботы и со всей целенаправленной энергией устремляться на большие проблемы, и даже таким, как Лапорт и Сервас, которые с обезоруживающей элегантностью носили свои шоры и затычки в ушах, прикрываясь, как броней, слоновьей кожей само-

мнения. Сам он не имел привычки взвешивать все «за» и «против», питал склонность к сомнениям; сейчас он мог сделать только одно: купить газету и где-нибудь посидеть за чашкой кофе до половины второго; но вместо этого он сел за баранку и начал медленно, наудачу кружить по городу в неосознанной надежде встретить Паульке. Разумеется, это ни к чему не привело, кроме лишнего расхода горючего; несколько раз путь ему пересекал автобус, снабженный громкоговорителем, а на крыше его стояла четырехугольная красная тумба, оклеенная портретами Серваса, так что отовсюду видны были его стереотипная улыбка и пустая трубка в зубах. Из громкоговорителя гремел трескучий, искаженный помехами голос, призывавший население голосовать «За Серваса, за народ и за город, за прогрессивную политику, за умелое управление городом, за Серваса, за народ и за город». Лишь однажды в какой-то боковой улочке Абсилису попался на глаза приткнувшийся к тротуару грузовичок, у которого над кузовом вился светло-зеленый флаг с цифрой один; в этой случайной встрече Абсилис увидел знамение того, что город распахивает свои ворота Сервасу, заранее готовый к сдаче перед мирным вторжением пустой трубки.

Наконец, после того как он принял за Паульке какого-то парня, предлагавшего жителям рекламные брошюры, он сдался и повернул назад. Он поставил машину напротив кафе, вошел, заказал чашку кофе и сел у окна, откуда видна была вся улица. Паульке появился около половины второго; Абсилис сразу же узнал его по своеобразной шаркающей походке и непомерно длинным и широким брюкам, болтавшимся вокруг икр (и в Группе он тоже выпадал из общей картины, хотя до эпохи узких брюк было еще далеко; он питал слабость к чересчур широким штанинам, на манер матросского клеша, напоминавшим перевернутые воронки, обшлага их волочились за каблуками по земле и были постоянно обтрепаны). Он торопливо допил остывший кофе и проскользнул через боковую дверь; Паульке он поймал в тот момент, когда тот входил, и сказал:

— Здравствуй, Паульке.

Паульке застыл на месте как вкопанный — рука на перилах лестницы, нога на нижней ступени,— неуверенно посмотрел на Абсилиса. Абсилиса поразило, как мало он изменился; тогда он выглядел старше своих лет, теперь моложе, годы словно не задели его.

— Ты что, Паульке, не узнаешь старых друзей? Это я, Жан. Жан Абсилис.

Паульке сказал:

— Ну конечно, Жан. Конечно, я узнал тебя, я просто очень удивился.

Он протянул руку, и Жан долго тряс ее; лицо Паульке повеселело, потом вдруг покрылось румянцем смущения (как и прежде, на его лице можно было прочесть всю смену настроения, точно у подростка), кожа лица была покрыта морщинками, крапинами веснушек, похожих на пятна ржавчины; глаза глубоко спрятаны в глазницах под крупным лбом, они непрерывно бегали и вдруг замирали, словно что-то приковывало их внимание; они были тусклые, серо-голубые и такие светлые, что порой казалось, будто глазные яблоки лишены даже влажной пленки роговицы, они создавали впечатление необузданности, дремлющей тяги к насилию, никак не гармонируя с кротким выражением лица.

— Идем ко мне, Жан, выпьем кофе,— предложил он.

— Я бы хотел пригласить тебя куда-нибудь пообедать,— сказал Абсилис.

— Об этом не может быть и речи,— сказал Паульке.— Идем, бу-

дешь есть, что сварит горшочек, у меня мы сможем спокойно поболтать.

С этими словами он начал подниматься по лестнице, и Абсилису осталось только последовать за ним.

— Можешь не задирать носа,— сказал Паульке, остановившись на лестничной площадке и отпирая дверь ключом, который он извлек из кармана брюк.— У тебя, наверно, больше комфорта, но холостяка и эта комната устраивает.— Он вошел, жестом пригласил Абсилиса внутрь, с трудом выпутался из ремней рюкзака и сбросил его на старый кофейный столик в углу комнаты. Затем кивнул на стулья, стоявшие вокруг кухонного стола: — Садись, Жан, и чувствуй себя как дома. Я поставлю чайник.— Он заковылял к газовой плитке, чиркнул спичкой; пыхнув, газ загорелся ярким пламенем.

В комнатке пахло яичницей и окороком, застоялым табачным дымом; рядом с Абсилисом стояла пепельница, полная горелых спичек, смятых окурков, пепла и корочек сыра; сверху лежали сметенные в кучку хлебные крошки. Возле стены стоял диван, служивший также постелью; одеяло, скатанное в трубку, лежало рядом с одним из боковых валиков. Из-под обтрепанных кистей диванного чехла высовывались задники домашних туфель. Над диваном висела металлическая книжная полка, заваленная газетами и журналами; рядом с ней к обоям кнопками был прикреплен портрет Серваса с предвыборным лозунгом: «С Лео Сервасом за народ и за город!» На вешалке возле двери висело поношенное пальто из грубого сукна. На кофейном столике, куда Паульке свалил пустой рюкзак, лежали груды предвыборных плакатов; со своего места Абсилис мог только заметить, что они отпечатаны красной краской: ему неожиданно вспомнилось, что и раньше Паульке обожал, когда ему в руки попадала свежеотпечатанная бумага. Для такого деятеля, как Сервас, он был настоящей находкой. Когда прибывала новая партия листовок, никто из Группы даже пальцем не шевелил; тогда Паульке начинал распутывать веревочные узлы (ни за какие деньги он не стал бы их разрезать. «Il a horreur du gaspillage, où bien il les cuit et les bouffe comme du spaghetti» [1]. Любой узел он распутывал в один миг, его пальцы были так же чувствительны, как у взломщика сейфов к различным комбинациям цифр.), разворачивал упаковку и пересчитывал листовки. Видеть его за работой было одно удовольствие — самый опытный кассир из банка не мог бы с ним потягаться: он приподнимал только уголок пачки, и листовки тотчас же снова опускались веером между кончиками его пальцев; все время, пока он шепотом считал их, он с видимым блаженством вдыхал свежий запах типографской краски, и было просто чудом, что он ни разу не сбивался со счета. Он родился быть подручным, перед самой войной он почти год проработал курьером в конторе одного профсоюза, где мог без стеснения давать волю своей слабости к бумажкам.

Абсилис дружелюбно спросил:

— Как поживаешь, Паульке?

Паульке ответил:

— Прекрасно, Лео помог найти работу, мне хорошо платят; сейчас я разношу афиши и памфлеты к воскресным выборам, нынче вечером пойдем расклеивать и замазывать.— Он открыл шкафчик под плиткой: в одной половине его стоял баллон с газом, другая была поделена на три полки, набитые разной кухонной утварью; он вытащил стеклянную сырницу и масленку, поставил их на стол, сказал: — Лео мне здорово помог,— отошел, вернулся с буханкой хлеба и кофейни-

[1] Он не выносит бесхозяйственности, а вернее, он их варит и заглатывает, как спагетти *(франц.)*.

ком, сказал: — Лео теперь станет бургомистром, может, я получу тогда местечко в городской управе.— Снова повернулся и вынудил из гремящих кастрюль и сковородок фарфоровую сахарницу и молочник.— Лео выиграет выборы, мы должны получить по крайней мере на одно место больше,— говорил он, вытянув ящик стола и доставая хлебный нож, ножик для масла, кофейные ложечки.— Я забыл чашки.— Он принес их, одну поставил перед Абсилисом, другую — рассеянно — куда-то в сторону.

— Тебе не стоило так хлопотать,— сказал Абсилис.

— Где есть на одного, хватит и на двоих,— сказал Паульке.— Ты ведь еще не настолько загордился, чтобы обойтись одним бутербродом? В свое время мы бы много дали за такой стол, а?

Абсилис рассмеялся:

— Да, Паульке, даже на фальшивые карточки мы бы не набрали всего этого.

— Еще бы,— сказал Паульке. Он взял буханку, прижал ее к животу, стал отрезать толстые ломти, складывая их горкой на столе.— Сегодня после обеда я опять иду за памфлетами,— сказал он.— А вечером где-нибудь съем бифштекс с жареной картошкой. Тогда у меня хватит силенок устоять, если наткнемся на противника.

Он засмеялся, его смех, похожий на блеяние, звучал по-прежнему резко и отрывисто, вена сбоку на шее угрожающе набухла, словно готовая в любую минуту лопнуть. Нельзя было угадать, когда он засмеется,— смех его прятался где-то за странными, сухими яблоками глаз, так же как и гнев, который мог прорваться в самый неожиданный момент. Абсилису вдруг припомнился день, когда они вдвоем перевозили партию подпольной литературы; они как раз проходили через квартал, где обычно собирался «черный рынок», когда немцы оцепили улицу; они заскочили в какой-то универмаг и смешались с толпой покупателей; они чувствовали себя в полной безопасности (обыкновенно немцы прочесывали этот район только в поисках спекулянтов и торговцев контрабандой), но тут заметили, что в магазин через толпу протискивается жандарм огромного роста — они как раз стояли возле прилавка с дамским бельем; Паульке схватил розовый бюстгальтер, поднял его вверх за одну из бретелек и с самым серьезным видом начал рассматривать; Абсилис вдруг увидел, как у него на шее набухает вена, и внезапный страх, что сейчас раздастся блеющий смех, ослепляющее сознание нелепости ситуации сковали его ледяной неподвижностью. Но ничего не произошло, немец так же неожиданно исчез, как и появился, а Паульке бросил бюстгальтер на прилавок— его сухие глаза не мигая выдержали тупой, свирепый взгляд продавщицы.

Чайник на плите засвистел, и пока Паульке короткими плевками кипящей воды наполнял кофейник, в памяти Абсилиса всплыли слова, которые накануне он говорил Кеннесу: «Каждый держит счастье в своих руках, не надо только требовать слишком многого»; сейчас он понял, что Паульке, имея несравненно меньше их, вполне счастлив. Каковы бы ни были мотивы Серваса, он предоставил Паульке именно тот образ жизни, какой был ему больше всего по душе. Абсилис спросил себя, не был ли он несправедлив к Сервасу: этот человек мог, не останавливаясь ни перед чем, делать себе карьеру, и в то же время его обращение с Паульке говорило не только о трезвой расчетливости, но, пожалуй, об участии и даже доброте.

Паульке снял с плитки кофейник, издававший сильный аромат кофе, и подсел к столу.

— Если не хочешь сыру, у меня есть еще джем,— сказал он.

Абсилис промолчал; он намазал маслом кусок хлеба, положил

сверху ломтик сыра. Ел он с удовольствием, сам удивляясь своему аппетиту; эта трапеза напомнила ему детство: уютные домашние обеды, хлеб, пахнущий печью, с пригорелой дочерна корочкой, дешевый, крепкий кофе, разговоры с полным ртом, когда торопливо запиваешь и проглатываешь кусок, чтобы другие могли разобрать, о чем ты говоришь. Здесь речь вел Паульке; он взглянул на ленточки Абсилиса, щелкнул пальцем по лацкану своего пиджака:

— Я тоже получил свои украшения — об этом позаботился Лео. Ты ведь знаешь, что я не мог присутствовать на торжестве, да, Жан?— И после утвердительного кивка Абсилиса продолжал: — Тогда я был ПОМом. Тебе известно, что такое ПОМ?—Он пожевал, с нескрываемым триумфом встретил пристальный взгляд Абсилиса, улыбаясь, выдержал его, пока Абсилис не сдался, отрицательно покачав головой.— Тогда я был в одном заведении. Я слишком много занимался, хотел сдавать экзамен, но моя голова не годится для учения: я не выдержал нагрузки и сильно переутомился. В первый же день директор меня спросил, знаю ли я, что означают буквы ПОМ, которые вышиты на наших куртках. Я сразу догадался, я ему тут же ответил, что это мое имя, первые буквы моего имени Поль-Огюст-Мари, ты знаешь это как и я, Жан. Но я не угадал: ПОМ означало «Психиатрическое отделение, мужское».

Когда Абсилис изобразил на своем лице должное выражение, Паульке просиял, отхватил большой кусок-полумесяц от своего бутерброда, запил его основательным глотком кофе, яростно прожевал и проглотил.

— Теперь ты по мне ничего не заметишь, а тогда я выглядел совсем по-другому, волосы начали выпадать.— И он провел свободной рукой по голове.— В конце концов я совсем облысел. Не сразу, нет, волосы выпадали постепенно, каждое утро вся подушка была ими усыпана, меня это прямо поражало, сколько волос умещается на голове. Но когда я стал ПОМом, пришли доктора и профессора...

Абсилис напряженно, чуть не с дрожью, слушал неестественно высокий и монотонный голос, будто спотыкающийся рассказ, прерываемый откусыванием, питьем и прожевыванием: потом пришли доктора и стали с профессиональной бесцеремонностью вырывать у него из головы пучки волос, он не понял зачем; через некоторое время он стал совершенно лысым, и когда гладил свой голый череп, то это вызывало у него чувство чего-то непристойного, греховного. Другие дразнили его плешаком (это были неизлечимые, злостные, настоящие психи, которые находились там временно, транзитом и затем бесследно исчезали куда-то); как-то раз он дал одному хорошего леща, и тот стукнулся головой об раковину умывальника, вся палата поднялась вверх дном, стали кричать, что он нарочно напал на этого психа, но ведь это была неправда, директор ему сразу же поверил и все-таки наказал. Приятного в этом заведении было мало, надо было привыкнуть к целой куче дурацких правил: когда убирали в палате, санитары снимали с тебя штаны, и пока шла уборка, приходилось сидеть на кровати полуголым, скорчившись, как обезьяна, а кругом сидели такие же обезьяны; было худо, но еще хуже было в зале для игр: с одной стороны находились туалеты, у которых не было дверей, и ты на корточках сидишь на толчке, со спущенными до пят штанами, тебе хочется, а сходить не можешь (по крайней мере — сначала, ведь к такому нужно привыкнуть), вид зала с людьми, играющими в карты, шахматы, шашки, как клещами, держал живот, в кишках такое ощущение, будто они забиты резиной; через несколько дней стало легче, когда он понял, что никто и не глядит в твою сторону, если даже повернешься к ним голым задом.

— Ты знаешь, что такое ЭЭС? — спросил Паульке.

Абсилис, продолжая игру, дал себя поймать и с деланной уверенностью произнес:

— Конечно. Это сокращение от Европейского экономического сообщества [1].

Его внезапно как будто ослепило сознание той бездонной робости, которая охватывала Паульке, когда он взбирался на унитаз, как на трон короля дураков; клещи, сжимавшие в ту минуту его живот, теперь сдавили Абсилису сердце.

Ничего подобного — это совсем другое, сказал с триумфом Паульке, это значит «электроэнцефалограф», такой прибор со шпильками и присосками, которыми опутывают тебе голову, как фокусники или парикмахеры в дамском салоне; с их помощью можно делать разные штуки, о которых он и понятия не имел; но это была игрушка по сравнению с пункцией спинного мозга. Когда доктор его спросил, чего он больше всего боится, ему не нужно было долго думать, он сразу ответил: «Когда берут спинной мозг, доктор, тут мне делается так плохо, будто сейчас умру». Тебя даже не усыпляют, надо оставаться в полном сознании, а нервы должны работать на полных оборотах, перед этим полагается хорошо поесть и попить и быть в хорошем настроении; там они спрашивали сначала, кто твой любимый писатель, потом ты должен был читать вслух места, которые особенно нравятся (он был в восторге от Эдгара Уоллеса[2] — он начал читать им те страницы, где одна девушка заблудилась в лабиринте подземных коридоров и насмерть перепугалась, когда эти коридоры стали уходить под воду, а она, по горло в воде, вдруг натолкнулась на какого-то обезьяночеловека; но это не годилось, они велели ему читать Питера Чейни[3] — он понравился больше, чем Уоллес, там встречались красивые женщины; все кругом были довольны, кроме Паульке (ему казалось, что у него напильником сдирают все нервы с костей, он чувствовал себя подопытным кроликом, гигантской лягушкой, которой делают вивисекцию), а они загоняли тебе особый ножик с двойным клинком между позвонками, раздвигали клинки так, чтобы немного мозга вытекло наружу, и потом определяли, сумасшедший ты или нормальный. Он был не сумасшедший, все профессора порешили на этом; самые буйные психи сидели привязанные к кровати, им даже не разрешалось есть вилкой, чтобы они никого не поранили, им давали только ложки, одежда их была сшита из такого материала, который сразу рвался, стоило только сделать резкое движение, рубашка и куртка застегивались вокруг запястий, на спине и под мышками — так, чтобы нельзя было повеситься; вся одежда сразу сваливалась с тела, а псих от страха начинал кричать; врачи боялись как огня, чтобы они с собой чего-нибудь не сотворили. А при трудотерапии разрешалось безо всякого наблюдения пользоваться разными острыми предметами, в переплетной мастерской он работал с двумя психами, у обоих были ножницы, и он всякий раз обмирал от страха, когда санитары отворачивались на минуту. Больше всего унижала больничная форма, этот маскарадный костюм с огромными буквами «ПОМ»; когда тебя вели на процедуру в другое отделение, то сначала включался звонок тревоги, потом везде в коридорах бесшумно закрывались двери, а ты шел между двумя санитарами, в коридорах стояли посетители, они были встревожены тем, что закрылись все двери, и неловко пытались не смотреть на тебя, будто боялись зара-

[1] По-фламандски Европейское экономическое сообщество звучит: «Europese Economishe gemeensch», то есть EEG.

[2] Эдгар Уоллес (1875—1932) — английский писатель, автор детективных романов.

[3] Питер Чейни (1896—1951) — английский писатель.

зиться, если встретятся с тобой взглядом; слышно было, как вокруг шепчут: «ПОМ»; наконец, в глубине коридора бесшумно открывалась дверь, и ты оказывался в другом помещении — гора падала с плеч. Но самым скверным были не мучения от диковинных, таинственных инструментов, не взятие мозга, не лечение электрошоком, а то, что во всем этом проклятом доме не найти было ни одной дверной ручки; стены были гладкие и голые, врачи и санитары носили дверные ручки на цепочке у себя на шее, они открывали двери несколькими точными движениями, в которых было что-то ритуальное и садистское (они были всемогущи, они были похожи на эсэсовцев в белых халатах); когда его, наконец, отпустили домой (это после того, как Лео нашел его и пообещал ему свободу, больше глазами, чем вслух), старший санитар спросил его, что он сделает, когда вернется домой, и он ему ответил: буду целый день играть дверными ручками, рисовать их, откручивать и прикручивать, и тот вытаращил на него глаза, будто грянул гром с ясного неба; он был порядочным человеком, даже кое-чему научил Паульке. Простые санитары тоже не всегда были злыми (не так, как в других заведениях, где нашего брата то и дело мутузят, сажают в ледяную воду или запихивают в смирительную рубашку): если не хватало партнера для игры в карты или шахматы, они охотно присоединялись. Старший санитар был раньше местным чемпионом по пинг-понгу и всех обучил этой игре, но самую большую любовь питал к народным танцам. Паульке сначала не хотел и слышать обо всей этой толкотне; он держался в сторонке, ему казалось смешным и неудобным, когда взрослые и даже пожилые мужчины, с толстыми животами, подняв руки над головой, с выражением крайней серьезности на лицах, семенили, пристукивая воображаемыми каблуками, размахивая воображаемыми музыкальными инструментами; но немного погодя он привык и танцевал в одном хороводе вместе со всеми; если что-то помогало забыть о монотонности их жизни, о дверях без ручек, о гладких стенах — это не могло быть смешным. Еще больше старшего санитара нравился ему высокий, седой психиатр, который усаживал его напротив себя в удобное, мягкое кресло и говорил с ним о разных разностях: нравилось ли ему в школе, когда умерли его родители, хорошо ли ему было у дедушки с бабушкой, которые воспитывали его с десяти лет, как он любил проводить каникулы. Иногда психиатр давал ему карандаш с мягким грифелем, большой лист бумаги и просил порисовать, а сам сидел рядом и молча, внимательно смотрел. Охотней всего Паульке рисовал дверные ручки — трудно даже представить себе, сколько разных сортов дверных ручек есть на свете, и нет ни одной некрасивой, уж это он теперь точно знает. Время от времени психиатр просил его рисовать фигурки, мужские и женские, потом спрашивал у Паульке, как он различает, кто из них мужчина, а кто женщина, и тот отвечал (он был терпелив, он понимал, что врач хочет ему добра и выполняет работу, за которую ему платят; иногда он выглядел таким усталым, что прямо жалость брала): «Вот эти человечки — мужчины, у них длинные брюки и короткие волосы; а это женщины — они носят юбки или платья и волосы у них длинные». (Он рисовал женские волосы то волнистые, то прямые и жесткие, но всегда длинные, до самых плеч.) Все это занятие было, конечно, бессмысленным, как будто он не понимал, в чем разница между мужчиной и женщиной; будто он никогда в жизни не видел голой женщины, как, например, в тот раз, когда он должен был передать Морренсу пачку корректур подпольной газеты, а Морренса в кафе не было, и Лапорт ему сказал, где его легче всего найти: это неподалеку, надо пройти всего один квартал, потом подняться по лестнице, там слева находилось

небольшое кафе, нужно было подняться через первую дверь на второй этаж и войти,— и там он застал Клода Морренса в постели с женщиной.

— Лапорт говорил мне, что я полоумный; он говорил иногда по-французски, так как думал, что я его не понимаю,— сказал Паульке.— Но я сообразил, что он это нарочно подстроил, это была хитрая игра, настолько-то моего ума хватило: он знал, что собирается делать Морренс, и послал меня, чтобы его напугать, может быть, он надеялся, что Морренс придет в ярость и выкинет меня за дверь: он мучил меня с того раза, как ему стало стыдно передо мной, Лапорту то есть. Я тогда повстречал его в одном кафе, он был там с какой-то женщиной, я поздоровался, подошел, а он перед этой женщиной повел себя так, будто я прошу у него милостыню, он дал мне франк и показал рукой, чтобы я убирался, а когда я с ним заговорил, то он покраснел, как свекла, вскочил и пошел в уборную. Я пошел за ним туда же, а он заорал на меня, чтобы я немедленно проваливал, если не хочу получить по морде, Лапорт был обманщик. Я могу понять, что ты относишься к нему лучше и больше уважаешь, но ведь все равно не надо безобразничать, а он замахнулся на меня, будто собирался ударить, ты бы послушал, как он меня ругал,— истинная правда, Жан, такая же правда, как то, что ты здесь сидишь. С того дня он мне проходу не давал и потому послал к Морренсу, чтобы и его и меня помучить. Он нас обоих терпеть не мог, ей-богу. А Морренс лежал там с женщиной. По подушке рассыпались волосы женщины, они были длинные и светлые, а я стоял, как громом ударенный, это длилось целую вечность, потом я повернулся и вышел; я стоял на площадке, и меня била дрожь, как будто я схватил грипп,— стоял и ждал, пока Морренс не вышел и не впустил меня.

— Не светлые,— сказал Абсилис. Он сказал это без выражения, почти робко, словно нехотя исправляя ошибку Паульке, словно бы для себя исправляя деталь образа, вызванного его рассказом.

Паульке смотрел на него, обгладывая корку сыра, которую он срезал слишком толсто. Он спросил:

— Не светлые? Что?

— Волосы женщины,— сказал Абсилис.— Мади Ренсон не блондинка. Она брюнетка.— Он чувствовал, что голос его звучит немного хрипло.

— Это была не Ренсон,— сказал Паульке.— Это была Мими Крейен.

Глава VIII

Абсилис

Возвращаясь в Брюссель, он вел машину отчаянно быстро, слышал, как вибрация загнанного двигателя распространяется на кузов— звук был такой, словно в любую минуту могут лопнуть сварные швы; он обгонял более сильные, скоростные машины, и дорога расстилалась перед ним предательски гладко, лил встречный дождь, шедшие впереди машины разбрызгивали грязь, которая оседала на его ветровом стекле, «дворники» оставляли жирные, грязные полосы. Снова и снова перед глазами Абсилиса вставала сцена, которую нарисовал ему Паульке своим монотонным, спотыкающимся голосом. У него было такое же чувство, как в первые месяцы после свадьбы: он безнадежно и нетерпеливо ждал нового взрыва страсти, которая тогда, в грязной каморке, оторвала их от всего мира, оставив только обжигающее,

ослепляющее сознание, что их тела живут своей жизнью, собственными силами утоляют неистовый голод. Он наблюдал за Мади, ловя то мгновение, когда ее кожа начнет бледнеть, глаза потемнеют; порой словно искра проскакивала на короткий миг, который, однако, проходил раньше, чем он успевал сделать шаг к сближению; позже, в постели, после холодной любовной игры, в раздоре с собой, он снова думал, что оба они — беспомощные наследники, прикованные цепями неписаных законов к памяти Клода: он — законом дружбы, она — любви. Снова вызывал он в своей памяти картину их ареста, допросы, приговор, казнь Клода и свое неожиданное спасение, надеясь, что все эти разрозненные черепки воспоминаний соединятся в нечто целое, составят четкую мозаику и это поможет найти ответ на вопрос, который Абсилис даже не мог сформулировать и лишь чувствовал, что он возникает все настоятельней. Снова и снова воскрешал он перед мысленным взором отпечатки тех роковых минут и часов, каждый раз меняя последовательность кадров, ища, не обнаружится ли случайно какой-то смысл в этом новом порядке,— так режиссер заставляет много раз повторять одну и ту же сцену, стремясь добиться совершенства. Ведь должно же быть что-то — жест ли, слово ли, событие, которое упорно ускользало из памяти, не давая собрать всю картину в фокус. Он по кусочкам еще раз медленно перебирал воспоминания, силой воли обуздывая лихорадочное нетерпение: что сказал Клод, когда они подбирались к железнодорожному полотну? (Он был полон беззаботных мечтаний о будущем, он был ревностным обновителем литературы, умелым творцом, кузнецом метафоры.) А когда раздались выстрелы? (Ничего, он упал молча, издав звук, похожий на кашель; говорили только немцы, когда они их подняли, отняли у него саперную лопатку, обыскали, нашли бикфордов шнур, пакет головых шашек и запалы; головые шашки один из них обнаружил между шпал, куда они упали.) А когда их везли в грузовике в город? (Ничего, он лежал ничком в углу, его лицо было в крови, он молчал.) А в коридоре тюрьмы, когда их провели совсем близко друг мимо друга, прежде чем его самого втолкнули в камеру? (Ничего, Клод даже не посмотрел на него, он мешком висел между двумя жандармами, пытаясь грязной дрожащей рукой вытереть кровь с левого глаза.) А когда им устроили очную ставку? (Он его узнал, назвал его, на лбу у него была повязка, правую щеку пересекал длинный темный шрам, голос его звучал непривычно: Абсилис догадался, что ему выбили несколько зубов; немцы были нетерпеливы и в то же время равнодушны, как конторские крысы, которые спешат избавиться еще от одного скучного дела и разойтись по домам.) А когда его самого вывели из камеры, где ему зачитали смертный приговор, и он встретил Клода в коридоре? (Ничего, тот шел пошатываясь, взгляд у него был мутным, как у дебила, и вот это непрерывно мучило Абсилиса, это последнее впечатление от Клода, который уже ничем не напоминал его друга и единоверца, литературного озорника, с которым они вместе мечтали, а выглядел как покорная скотина, которую собираются использовать в некоем ужасном и удачном кинотрюке, как жертва, полностью смирившаяся перед неотвратимостью казни, перед возложением головы на плаху.) Теперь, когда у него перед глазами стояла потрясающая сцена, свидетелем которой был Паульке, он с болью почувствовал, как смутная догадка, которую он все эти годы отталкивал от себя, неодолимо превращается в уверенность: оказывается, Клода он не знал или, вернее, знал не лучше, чем других участников Группы. Цепь разговоров, начатая случайной встречей с Лапортом, убедила его, как мало были ему знакомы остальные члены Группы, их взаимоотношения; но это не вызывало у него сожаления, он

никогда не чувствовал себя с ними внутренне связанным — ничем, кроме совместно пережитого риска. То, что он вынес из разговоров, затронуло исключительно его интерес к человеческому поведению, все это действительно было похоже на клевету друг на друга (Реф оказался прав), которая, однако, бросила яркий свет на пористость Группы, на его недостаточный контакт с людьми. Что же касается Клода, то с ним все было иначе: Абсилис всегда думал, что проник в его душу, что в Клоде не осталось ничего, сокрытого от его глаз. Теперь же он чувствовал себя сбитым с толку и обманутым не столько в своей безоговорочной дружбе (это должно было случиться и, вероятно, случилось, пока он бывал на заданиях, когда расстояние и время, проводимое на работе, держали его в отдалении от Группы), сколько в своем беззаботном доверии; не столько самим поступком, сколько его невероятностью (ему представлялось нелепицей, почти гротеском, что именно те двое, которые казались ему прозрачными, как стекло, обвели его вокруг пальца); он переживал не столько за себя (Абсилис был человеком чувствительным, даже ранимым, но уравновешивал эту свою слабость постоянным сознанием относительности всех ценностей, прежде всего своих собственных; он испытал на себе, насколько быстрее заживают раны, если сам их зализываешь), сколько за Мади, которая еще продолжала безмерно любить Клода и после его смерти (в нем, Абсилисе, она любила то, что связывало его с Клодом или, вернее, что давало опору ее тоске о прошлом) с беззаветностью, не допускавшей и тени компромисса, такой искренней, что она его обезоруживала. Абсилиса никогда не обижало (не всегда, во всяком случае), если Мади выдавала себя упорными попытками втиснуть действительность в рамки своего ограниченного воображения; она каждый раз повторяла одни и те же вопросы (Как это случилось? Что он сказал? Что он сказал?) в болезненной надежде, что Абсилис когда-нибудь ответит: «Он произнес твое имя» или: «Он прошептал: «Мади»; а он, тронутый ее чувством, читал ее мысли и боролся со своим аллергическим отвращением к бульварному лексикону, со своим бессилием перед действительностью, не будучи в состоянии утаить даже зернышко истины (он стремился к истине в своих книгах, но она их либо не читала, либо читала сквозь искажающие стекла, как стихи Клода); он наталкивался на наготу, жестокую ограниченность фактов и на свою собственную цельность: вымолвить ту маленькую ложь, которой она так страстно желала, у него не поворачивался язык. Порой Абсилиса беспокоила мысль, что его упрямство она понимает ложно, как замаскированную попытку оторвать ее от Клода и приблизить к себе, склонить к тому, что она считала проявлением неверности. Даже теперь, когда была доказана неверность Клода, ее ненависть обратилась бы исключительно против Мими. Абсилис с минуту поиграл мыслью рассказать ей обо всем (как можно было бы поиграть репейником или кактусом) — не для того, чтобы посмотреть, какой эффект это произведет при ее нечеловеческом спокойствии (он не сомневался, что не сделает этого), но из патологической потребности самопознания: а как бы он почувствовал себя в шкуре доносчика. Реф говорил, что для предательства нужна мощная движущая пружина (честолюбие, ревность, стяжательство: все они в скрытом виде присутствовали в его страсти к Мади), но сейчас Абсилис понял, что самой сильной пружины недостаточно, если к этому не предрасположен твой характер, если в тебе нет злого дара намеренно причинить кому-то боль.

Машины Рефа на стоянке не было. Абсилис вошел в холл. Вчерашняя девица тут же подошла к нему и любезно сказала:

— Менеера Рефа сейчас нет.

— Я приехал не к менееру Рефу, я хотел бы поговорить с юфрау Крейен,— сказал Абсилис.

Девица сказала:

— О! — И неуверенно улыбнулась.— Минуточку.— Разговаривая по телефону, она украдкой посматривала на Абсилиса; в ее глазах он выглядел, наверно, так, будто попал со своей машиной в аварию. Она положила трубку и подошла к нему.— Вы, наверное, помните дорогу? Юфрау Крейен ждет вас.

Даже не кивнув в ответ, Абсилис повернулся и стал подниматься по лестнице. Нажал кнопку звонка, увидел вспыхнувший сигнал «Entrez» и толкнул дверь. Мими улыбнулась, указала на стул напротив; на ней было темно-серое облегающее платье. Она сказала:

— Когда ты вчера уехал, даже не поднявшись наверх, я поняла, что ты скоро вернешься.

— Я не собирался этого делать,— сказал Абсилис.

— Чего? Так просто уйти?

— Нет. Возвращаться.

Он вытащил из кармана пачку сигарет; Мими торопливо подвинула к нему ящик с сигарами, но опоздала: он закурил, сильно и нервно затянулся, выдохнул дым в сторону. Затем сказал:

— Я сегодня ездил к Сервасу. Наверное, Морис говорил тебе, для чего?

Она кивнула молча, глядя на него серьезно и внимательно. Он сделал новую затяжку, стряхнул пепел в пепельницу.

— Он достиг, чего хотел: у него огромные шансы стать уже завтра бургомистром. Я его спросил, что он искал тогда в гестапо, и он дал мне вразумительный ответ. Ты же знаешь, что Кеннес его узнал, когда он выходил из гестапо?

— Морис мне рассказал об этом позавчера вечером. Я не знала раньше.— Она говорила тихо, рассеянно, словно погруженная в свои мысли.

— Во всяком случае, он объяснил все очень убедительно. Может быть, даже слишком убедительно. Он подал себя этаким безвестным героем: он молчал якобы из скромности. Порой замечаешь, как плохо все-таки знаешь людей.— Он умолк, выдержав паузу после своего неясного намека. Реакции на него не последовало: взгляд Мими остался таким же ясным, она кивнула в знак согласия.— Час назад я разговаривал с Паульке.

Он сказал это как бы между прочим, не сводя глаз с ее лица, но оно ничего не выразило. Он вдруг заметил, какая воцарилась тишина, и понял, что Мими, как и он сам, сдерживает дыхание; было слышно, как во дворе что-то крикнули, затем раздался лязг железной цепи о бетонную плиту. Молчание длилось недолго.

— С Паульке Меесом? — В ее голосе послышалась заинтересованность, она радостно улыбнулась.— Но ведь никто не знал, куда он делся и что с ним.

Она наморщила лоб — это показалось Абсилису немножко искусственным.

— Сервас принял его судьбу близко к сердцу,— сказал Абсилис.— Он обнаружил Паульке в психиатрической лечебнице и вытащил его оттуда. Он дал ему работу. Так что Морис не единственный человек, для которого солидарность Группы была не просто пустым звуком.

Мими покраснела, на секунду отвела взгляд от его глаз, посмотрела на лист промокательной бумаги, лежавший перед ней.

— Сразу после освобождения у него был нервный срыв. Поэтому его не было на торжестве — ты знаешь, это когда нам вручали по паре ленточек. Сервас получил ленточки Паульке и передал ему.

— Как его дела?

— Превосходно. Он полностью счастлив. Он готов пойти за Серваса в огонь и в воду. Сейчас он распространяет для него предвыборные плакаты.— Ирония его слов снималась серьезностью, с какою он говорил; ему было любопытно, не смутится ли Мими. Но он ничего не заметил: выражение лица у нее стало прежнее, она снова была терпеливой слушательницей. Абсилис тщательно затушил все искорки, раздавил окурок в пепельнице.— Он рассказывал мне жуткие вещи о своем пребывании в больнице. Я не знаю, может быть, он что-то придумал — иногда его речь звучала сбивчиво, но все это было ужасно. Я имею в виду, для несведущего или просто для нормального человека, если можно так выразиться. Но если даже половина из того, что он мне поведал, правда, то ясно как день, что он должен боготворить Серваса. Чувство благодарности и почитание часто вызываются не столько самой помощью, сколько муками, от которых избавила человека эта помощь. Ты, конечно, понимаешь, что я хочу сказать?

— Конечно,— сказала Мими. Но это была неправда; она была явно сбита с толку; она уловила, что он обходит молчанием цель своего визита: к ее вниманию теперь прибавилась бдительность.

— Паульке очень смутно помнит Группу,— сказал Абсилис.— Пребывание в больнице оттеснило на задний план его прежние впечатления. Не забылась только старая антипатия к Лапорту, я раньше даже не предполагал, что он так его ненавидит.— Он покачал головой многозначительно, словно сопоставляя свое представление о Лапорте с враждебностью Паульке, и заметил в глазах Мими облегчение.— Паульке мне рассказывал, как психиатр заставлял его рисовать человечков,— сказал он.— Он должен был рисовать человечков мужского и женского пола, а потом объяснять, как он их различает.— Он улыбнулся, как бы извиняясь за двусмысленность; Мими опять покраснела, но ее взгляд остался доверчиво спокойным.— Паульке почувствовал себя оскорбленным, когда психиатр решил, что он не знает, как выглядит женщина. Он сказал, что знает; он даже видел совершенно голую женщину.— Он внезапно замолчал, увидев, что Мими бледнеет.— Он рассказал мне один глупый случай. Лапорт как-то послал его с пачкой корректур в комнатку над кафе, где он мог найти Клода.

Мими сделала едва заметное движение; Абсилис подумал было, что это жест отвращения, но, обнаружив в ее взгляде мучительную мольбу, узнал инстинктивную охранительную реакцию человека перед болью, которую он еще должен почувствовать (как отдергивают пальцы, задев горячую плиту), и подумал: «Я себя недооценивал, я, пожалуй, действительно в состоянии причинить человеку боль, это очень легко, если жертва тебе безразлична». Ему стало стыдно от жестокой игры, которую он вел с нею.

— Лапорт сделал это умышленно,— сказала Мими.

— Без него я бы никогда не узнал об этом.

— Тебе лучше было бы этого не знать.

— Вы оба это скрывали. Клод во всем доверился мне, кроме этой истории.

— Не всегда можно найти нужное слово. Порой оно вертится на языке, и все же не находишь его. Может быть, он думал, что это будет тебе неприятно. Из-за Мади. Может быть, он хотел рассказать тебе все позже, но лишился такой возможности.

— Может быть, ему было стыдно,— жестко сказал Абсилис.

— Ему нечего было стыдиться,— возразила Мими.

— В общем-то да. Никто из нас не должен стыдиться минутной слабости. Это свойственно человеку.

— О чем это ты? — Вопрос прозвучал резко.

— Я говорю о том, что случилось в тот вечер.

— В тот вечер? — Мими в упор посмотрела на него, словно спрашивая себя, правильно ли она поняла. Помедлив, она сказала: — Я подумала вначале, что ты пошутил, но, вижу, ты говоришь всерьез. Ты решил, что это было небольшое приключение, интрижка, которую стараются как можно скорее забыть. Возможно, ты заподозрил меня в том, что я его соблазнила, как ни странно выглядела бы я в роли соблазнительницы. Не так ли?

Абсилис немного помолчал. Потом сказал, неохотно, упрямо:

— Он любил Мади.— Он пристально следил за нею, стараясь не пропустить жеста отвращения, выражения обиды в ее глазах; его удивила спокойная гордость, с какою она ответила на его взгляд.

— Он ее никогда по-настоящему не любил. Он любил меня. Мы любили друг друга.

Она говорила сдержанно, без нажима; она даже не улыбнулась, видя его растерянность, его уже подточенное сомнениями недоверие, придававшее его лицу детски-наивное выражение. Она подняла руки, неторопливо расстегнула цепочку на шее, открыла ногтем крышку медальона и положила его на стол перед Абсилисом. Абсилис увидел две маленькие карточки, втиснутые в обе половинки медальона, имевшего форму сердечка,— неяркие черты серьезного лица Мими, еще школьного возраста, и смеющееся лицо Клода (он узнал эту фотографию, она была вырезана из той, где они стояли вдвоем, обнявшись, и смеялись какой-то остроте Лапорта, в то время как он щелкнул затвором фотоаппарата; в своем бумажнике Абсилис хранил уже потершийся на краях дубликат этой фотографии).

— Тогда у них с Мади было уже все кончено,— сказала Мими Крейен. Она взяла медальон, осторожно закрыла его, снова застегнула цепочку сзади на шее.— Это случилось, когда ты отбывал трудовую повинность, иначе бы ты знал. Мади, конечно, не оставила его в покое. Она отказывалась примириться с этим, не могла этого постичь. Ее ослепляла собственная страсть. Она не понимала этого, но она любила Клода, а не его стихи; стало быть, она любила только часть его. Я же любила его стихи и, значит, его тоже. Она не понимала, что неизбежно потеряет его: если своя любовь узка, ограниченна, ты в конце проигрываешь, теряешь ее, неизбежно, безвозвратно, а потерянного уже не вернуть. Что бы ни произошло, она обязательно потеряла бы его.— В ее голосе не было ненависти, отвращения, не было даже намека на триумф, который Абсилис признал бы вполне справедливым; она говорила со спокойной убежденностью, без тени самообольщения или невольного искажения уже стершегося в памяти образа, так что никто не мог бы сказать, что она заблуждается; у Абсилиса возникла уверенность, что она говорит правду.— Поскольку Мади любила только часть Клода, она должна была его потерять, рано или поздно, живым или мертвым. Если бы он остался жив, она стала бы свидетельницей его упадка, его превращения в обывателя, она бы никогда не приняла его таким. В моих же глазах он ничего не потерял даже мертвым: то, что я люблю, не может устареть, не забудется. Возможно, его стихи выходят из моды,— ну и что из этого? Старомодное тоже имеет право нравиться; конечно, я любила и его самого, я не была ограниченной в таком смысле, как Мади. Я избавлю тебя от исповеди, не буду рассказывать, что я чувствовала, когда была с ним, тебе хватит воображения. Я же не лесбиянка, у меня есть кожа, нервы, железы. Вчера я тебе сказала, что чувствую себя как бы вдовой. Я даже не пытаюсь представить себе, как чувствовал себя ты,

когда женился на Мади,— может быть, как шекспировский злодей, который завладел женой брата?

Прав Лапорт, подумал Абсилис: она опасно умна. Он сказал:

— Сейчас нет, но раньше, когда я влюбился в нее, то воспринял свое чувство как что-то порочное. Клод был моим лучшим другом.

— Я знаю. Но в этом не было нужды — я хочу сказать, что твои угрызения совести были напрасны. Мади была для Клода всего лишь временным увлечением. Она уже давно ничего не значила для него.

Абсилис покачал головой.

— Но она все еще любит его. Порой мне это кажется нелепым — не так-то просто понять ее. Во всем этом есть какая-то аномалия.

Мими сказала:

— Отчего же? Она просто чувствует себя виноватой.

— Если правда, что Клод порвал с нею, она не могла быть виноватой,— сказал Абсилис.— Скорее, она была жертвой; у нее были все основания чувствовать себя оскорбленной, а не виноватой.

— Она желала ему смерти,— сказала Мими.— Она желала ему смерти, и две недели спустя он умер; по крайней мере, так получилось, когда вас задержали. У нее появилось такое чувство, будто она прокляла его и это проклятие сбылось — не только над ним, но и над ее собственной надеждой когда-нибудь вернуть его.

— Я не понимаю,— сказал Абсилис.— Ты только что говорила, что она не желала сдаваться, что она не оставляла его, а теперь ты уверяешь, что она желала ему смерти.

Мими терпеливо ответила:

— Это все Лапорт. Лапорт знал, что было между мной и Клодом: у него безошибочный нюх на все, что касается человеческих страстей и уязвимых мест влюбленного человека. Он не любил Клода и не любил меня — он считал меня quantité negligeable [1].— Произнося имя Лапорта, она попыталась улыбнуться, но получилось лишь судорожное движение уголков рта; это было похоже на вовремя сдержанную гримасу.— Лапорт сидел в засаде до тех пор, пока не представилась возможность подложить нам свинью. Первый раз он наслал на нас Паульке. Это было унизительно и все же, по сути дела, безобидно: Лапорт дал таким образом выход своему оригинальному чувству юмора. Но ему этого показалось недостаточно. Он, видимо, все рассказал Мади, как бы ненароком, чтобы у нее создалось впечатление, будто он проговорился: Лапорт понимал, что так все будет выглядеть правдоподобней. Мади выследила нас. Это было похуже, чем с Паульке. Она была в истерике, называла меня последними словами и готова была пустить в ход свои когти; Клод едва с ней справился. Она подумала вначале, что это просто интрижка, но когда Клод сказал ей, что он меня любит и что между ними все кончено раз и навсегда, она изменилась так, что стало страшно: она замолчала, побледнела или, точнее, пожелтела, только смотрела и смотрела, а потом вдруг — кажется, через целую вечность — спокойно сказала, что лучше бы ему умереть. И она думала именно так. Поэтому она чувствует себя виноватой, понимаешь, Жан?

— Да,— сказал Абсилис (но это было неправда: на самом деле он спрашивал себя, что же побудило Мими в тот вечер взять его с собой, отдаться ему в комнатке над кафе — угрызения ли совести гнали ее на место преступления или это была безотчетная форма мести, истеричная попытка отплатить собственным предательством за предательство Клода и в то же время заставить себя испытать, что же происходило тогда в душе Клода, перешагнув через границу

---

[1] Незначительной величиной *(франц.)*.

времени и жизни, отнять и присвоить наслаждение супружеской измены). Он поднялся и неожиданно почувствовал, как он устал.— Любовь — штука жестокая, она может убить.

Мими удивленно взглянула на него, и он пояснил:

— Вим Кеннес говорил мне это давным-давно. Он тоже чувствовал себя виноватым.

— Она ничего не могла с собой поделать,— сказала Мими.— Я ее понимаю, она ничего не могла с собой поделать. Когда так сильно любишь, то сам не знаешь, что можешь сказать или сделать, если твою любовь оскорбят или унизят.

Абсилис протянул Мими руку.

— Не буду утверждать, что этот разговор был таким же приятным, как вчера, но ведь мы в конце концов взрослые люди. Или должны быть ими,— сказал он.

— Желаю удачи,— сказала Мими.— Надеюсь, заглянешь к нам, если окажешься в наших краях.

— Обязательно,— сказал Абсилис.

Он вышел из конторы, спустился по лестнице; проходя через холл к выходу, он даже не заметил взгляда, который девица метнула ему вслед поверх пишущей машинки. Садясь в свою малолитражку и выезжая со стоянки, Абсилис думал, что Реф был прав: лучше не будить спящих собак. Он пропустил это предостережение мимо ушей; он разбудил спящих собак, и одна из них укусила его, как предвидел Реф,— сильно и глубоко, так глубоко, что рана тут же начала болеть. Теперь он обрел, наконец, ясность, но все так повернулось, что эта ясность не принесла ему душевного покоя. Если говорить об измене, то он знал теперь, кто мог пойти на нее. Что говорил Морис о движущих пружинах? Что это может быть любовь, ревность, честолюбие (Реф знал все: он никогда не ошибался; Абсилис легко мог себе представить, почему Лапорт недолюбливал его: Лапорт обожал умничать, пока ему не мешали); одной из таких пружин было вполне достаточно, а у Мади их было две (ревность, эта уродливая форма любви, могла быть у Мади такой же необузданной, как и любовь, ее сдержанная угроза таила в себе признание). То, что рассказала Мими, приобрело ужасающее, неумолимое звучание истины: Абсилису вдруг открылось, что Мади была для Клода всего лишь мимолетным, пусть и сильным, увлечением, эфемерным расцветом страсти. Клод написал об этом скорее для себя, чем для Мади, в коротких строчках, которые Мади хранила, как святыню: «Ships that pass in the night...» Абсилис заблуждался относительно смысла стихотворения, но Мади наверняка поняла его сразу же; в тревожные минуты она сидела, держа эту страничку перед собой на коленях, как смертный приговор (чему? кому? своей любви? самому Клоду?), который упрямо отказывалась признать.

Абсилис заметил, что снова пошел дождь, включил «дворники». Он опять ехал слишком быстро: на одном из виражей ему показалось, что машина пошла юзом; он удержал ногу на педали газа — теперь уже ничего больше с ним не могло произойти. Если бы он не встретил Паульке, Мими промолчала бы, как она молчала все двадцать лет; стоило обидеть ее намеком, как она огрызнулась, но, кстати, попыталась на свой манер избавить его от ложной веры в Клода. Она сделала это типично по-женски: она доказала бесправие Мади. Она не могла удержаться, чтобы, разоблачая себя, не выдать заодно и Мади: она сразу, наверное, догадалась, что Мади выполнит свою угрозу, но промолчала; она примирилась со своей утратой, она принадлежала к тем немногим, кто понимает, что местью ничего не исправишь. Как и Реф, Мими желала ему добра, предупреждая, что

мир полон людей, которые относятся к тебе с самыми лучшими намерениями, но на каждом шагу ставят тебе подножку. От этой мысли у Абсилиса испортилось настроение, он знал свою застарелую привычку: тех немногих людей, которые хотели ему помочь в писательской карьере, он сам оттолкнул от себя (по существу, он не очень отличался от Мади, которая встречала в штыки все, что могло поколебать ее память о прошлом и о любви Клода); иногда он оскорблял намеренной грубостью даже людей влиятельных, искавших с ним сближения. В этом не было злого умысла: он понимал, что совершает глупость, но ничего не делал, чтобы исправить ее. Это было чем-то вроде самобичевания (за то, что вместо него погиб Клод, хотя вины его тут не было) и говорило о духовной незрелости. Некоторым людям требуется много времени, чтобы созреть; с Лапортом, наверное, этого никогда не случится, у Кеннеса это произошло слишком быстро, у Серваса все пошло в сторону предприимчивости, Мади задержала процесс роста, Мими своей скрытностью производила впечатление, что она уже родилась взрослой, у Рефа повзросление протекало нормально. Стать зрелым — значит перерасти собственную юность и людей, которые ее населяли, увидеть свое несовершенство и примириться с тем, что имеешь (или, как Мими, с тем, что потерял). В минуты трезвого размышления Абсилис отдавал себе отчет, что он перерос бы Клода, если бы тот остался жив,— Клод был слишком подвижным, это был сокол, опьяняемый размахом собственных крыльев, его незрелость составляла часть его обаяния, он бы неизбежно выдвинулся на передний план как теоретик, вдохновенный знаменосец какой-нибудь шумной группировки поэтов, к сорока стал бы уже одним из éminences grises, la bête sacrée des membres de jury, le pin-up boy des ingénues aux pensionats [1] (как насмешливо пророчил однажды Лапорт), монументом, на который взирали бы снизу вверх студенты, пока им не сведет судорогой шею. Если бы!

Если бы! Это словечко для слабаков, раздраженно подумал Абсилис, увидев справа от себя нелепые ворота своего провинциального городка. Сам он не был слабаком — во всяком случае, по отношению к себе, его мягкосердечие было адресовано тем, кто нуждался в защите. Мади всегда представлялась ему побежденной, прятавшей свою беззащитность под жесткой скорлупой непримиримости, но лишь теперь его осенило горькое сознание того, что она носила все эти годы в себе как раковую опухоль не угрызения совести (их она победила, не в этом была ее слабая струна), а мысль, что она была побеждена, смертельно ранена соперницей, которую считала намного слабее себя; и еще мучительное подозрение, что она потеряла Клода по собственной вине. Его сердце стремилось к ней, он ничего не мог с собой поделать.

Он будет молчать (сам он надолго утратит душевный покой, будет не спать ночами, пытаясь перетолковать неуверенное сознание ее вины в доказательство ее невиновности, прислушиваясь к разбуженным собакам, которые будут рычать все тише и тише, пока снова не впадут в спячку); в конце концов, Мади тоже нашла свое призвание, так же как и Мими. И так же как Сервас, подумал Абсилис, под потоками дождя свернув с шоссе на боковую улицу и услышав громкоговорители. Все члены Группы нашли свое призвание — все, кроме него; разве только неприкаянность и есть его призвание, подумал он.

---

[1] Серых кардиналов, священным тельцом членов жюри, кумиром восторженных воспитанниц пансионов *(франц.)*.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Не будите спящих собак — они могут укусить». Таков примерно смысл нидерландской пословицы, давшей название одному из последних романов Ван Акена. Пит Ван Акен (род. в 1920) прочно зарекомендовал себя перед бельгийским читателем как «завербованный» литератор, в чьем творчестве звучит постоянная тревога о судьбах сегодняшнего мира, протест — открытый или косвенный — против колониальной и милитаристской политики, против возрождения фашистских идей. Семена этих зол, убежден писатель, дружнее всего всходят на почве общественной пассивности, гражданского недомыслия, обывательской слепоты. К чему это может привести, молодой Ван Акен мог хорошо наблюдать в годы гитлеровской оккупации Бельгии.

Перо попало в мозолистые руки бывшего рабочего, сам опыт нелегкой жизни внушил ему радикальную идею классовой солидарности, впоследствии трактуемую в расширительном, абстрактно-гуманистическом смысле. Мотив бесправной и одинокой личности, придавленной враждебным обществом, отчетливо слышится в экзистенциалистской тоске героя «Вожделения» (1952), объясняет романтику молодежной преступности в «Годах безумства» (1958).

В «Спящих собаках» писатель опять выводит на передний план гражданскую тему. «Спящие собаки» — это суд памяти одних и летаргия совести других, когда-то бок о бок стоявших в рядах движения Сопротивления. Молодым участникам Сопротивления, которые чувствуют себя обманутыми в своих ожиданиях, ненужными людьми, «потерянным поколением» в послевоенном буржуазном мире, был посвящен ранний роман Ван Акена «Спасутся только мертвые» (1947). Теперь, двадцать лет спустя, страсти как будто бы улеглись, все устроилось, каждый нашел себе призвание. И блудливый интриган Лапорт, и преуспевающий бизнесмен Реф, и помятый жизнью парикмахер Кеннес, и жовиальный политический бонза Сервас, и даже бедолага Паульке.

Не таков удел Абсилиса, человека, мыслящего критически и честного безусловно. Его призвание — беспокойство и неудовлетворенность, причин для которых более чем достаточно. Всем ходом рассуждений, социальной и психологической проницательностью, беспокойным характером он наиболее близок и симпатичен автору, это видно с первого взгляда. Плывя против течения событий, Абсилис упорно пытается вызвать тени прошлого и в конце концов на себе чувствует правоту упомянутой народной пословицы. Ибо «каждому есть что скрывать», никто не захочет рисковать тем, что имеет, и никому не придет в голову сознаться в подлости. А спокойная совесть — всего лишь функция волевого усилия. Так поучает рассудительный Реф неугомонного правдоискателя и в итоге оказывается прав.

Но только потому, что психология «спящих собак» — далеко не редкость в духовной атмосфере Запада. Иначе вряд ли находились бы там охотники ревизовать историю второй мировой войны или проповедовать всепрощение нацистским палачам. Роман Пита Ван Акена предостерегает против губительной эрозии памяти, утверждает активную общественную позицию: «Человек, будь Гражданином, не будь спящей собакой!»

Этот ратоборческий призыв непосредственно вытекает из авторского отношения к прошлому. Под высоким напряжением грозных лет войны совершалась быстрая и четкая поляризация моральных ценностей, всему миру становилось ясно — человек ты или пресмыкающееся. И не только сюжетно или композиционно, а глубокой внутренней связью соединяет Ван Акен в своем романе обе повествовательные линии — мирной, благополучной жизни шестидесятых годов и волнующих будней Сопротивления начала сороковых. Новый поворот этой неувядающей темы дает право «Спящим собакам» на особое место в бельгийской литературе о Сопротивлении.

Бескорыстные патриоты, героические и самоотверженные люди выходили на борьбу с оккупантами, за освобождение народа, и память о них священна. Однако движение Сопротивления не представляло собою духовно и социально монолитной силы, разные люди приходили туда и разными путями, ибо у всякого великого дела, как известно, бывают попутчики. Подпольные группы вербовались не только из бескорыстных патриотов. К сожалению, среди них могли оказаться и такие, как Реф, искавший морального алиби на случай обвинения в коллаборационизме; и такие, как Сервас, впрок запасавшийся политическим капиталом; наконец, такие, как Лапорт, толкаемый духом авантюризма. А если при этом они еще задавали тон в Группе, то нетрудно вычислить ее эффективность как боевой единицы антифашистского фронта.

Среди персонажей «Спящих собак» мы не встречаем человека, способного всем сердцем, без рефлексии отдать себя исполнению святого долга. Интеллигент Абсилис пренебрежительно отзывается о «безразличных поденщиках», а между тем оружие в их руках было пострашнее листовок Группы — вспомним фламандского кузнеца из опубликованной «Прогрессом» повести Давида Шайнерта «Пир Клок Длинные Уши».

Вполне закономерно, что фактор времени и трезвая послевоенная реальность еще до установления истины, мучившей Абсилиса, лишают прекрасного ореола память о славных днях борьбы, о благородном горении чувств — патриотических, дружеских, любовных. Оттого-то в финале романа звучит нота отчаяния, которую

Абсилис пытается нейтрализовать чисто логически, чтобы можно было как-то жить дальше. Подобно своему герою, автор страдает от внутреннего противоречия между социальным злом и стремлением искоренить его средствами морали.

По-хирургически тонко распутывая узлы внутренних коллизий, вскрывая непроницаемые порой глубины характеров (такой богатой находкой оказалась для Абсилиса малозаметная Мими, таким драматическим открытием — Мади), П. Ван Акен вновь подтверждает свой зрелый опыт мастера психологического реализма. И не только это. Наряду с пытливым, доскональным анализом человеческой души обращает на себя внимание сатирическая интонация автора, особенно резкая, когда речь идет о политической жизни,— взять хотя бы портрет современного демагога, сиречь «народного вождя», Лео Серваса. В почти зримом описании психолечебницы, куда упрятали Паульке Мееса, можно видеть жутковатый гротеск, бросающий отсвет на алогичную механику всего буржуазного строя. Не спасаются от авторской иронии и скепсиса ни неуязвимый в своем рационализме Морис Реф, ни кумир Группы поэт Клод Морренс, ни все понимающий (и, увы, так много прощающий) Жан Абсилис. От опасности превращения в «спящую собаку» никто не застрахован, стоит лишь отступиться,— такой напрашивается вывод из выводов Абсилиса. Вряд ли нужно еще говорить о его актуальности.

В заключение остается только прибавить, что роман П. Ван Акена был с интересом встречен на родине писателя, он переиздавался, в 1966 году был отмечен «Трехгодичной государственной премией за прозу». Автор с живым участием отнесся к известию о готовящемся переводе на русский язык своего произведения, которое, на наш взгляд, достойно может представить бельгийскую прозу истекшего десятилетия.

В. ОШИС

ЭВА ШТРИТТМАТТЕР

С немецкого

Режет мне глаза до боли
Желтый, красный, рыжий цвет.
Померещилось мне, что ли,—
В октябре зеленый свет?
Под зеленым покрывалом
Мир плывет передо мной,
И запахло снегом талым,
Недалекою весной.

Итог

Мы в жизни многое теряли.
И как тут быть? Таков итог.
Для тех, кого мы привечали,
Закрыты двери на замок.
Теряем страсть, теряем хватку.
Бывает, судим, что почем.
Уже не режем правду-матку —
Глаза скорее отведем.
Мы выбираем то, что гладко.
Но часто страшно нам самим,
Что не трясет нас лихорадка,
Что так, как прежде, не горим.

Мечта

Мечталось мне: в утреннем свете
К морю вернуться опять.
Как солнце, как снег, как ветер,
Хочу я любовь испытать.
И, жадно глотая воздух
Соленых морей,
Чувствовать запах жизни
И не знать ничего о ней.

Дождь

Все прошло и миновало·
Только как не вспоминать
Сладкий запах сеновала,
Дождь, который не унять?
Дни летели торопливо,
Не жалея, не щадя.
Снова нас укрыла ива
От зеленого дождя.
Веток нежное сплетенье.
Сочных трав густой покров.
Новизна прикосновенья,
Волшебство обычных слов.
Я с тобой познала горе.
Мне пришлось тебя терять.
В стог бросаемся, как в море,
Не оглядываясь вспять.
От дождя красней рябина.
Сладко пахнет сеновал.
Дождь спаял нас воедино.
И ребенка даровал.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Терн

Смотри, уже в кисточках вся бузина!
Не знаю, когда побелела она.
Сирень отгорела, прощально звеня,
И лилии плачем не мучат меня.
Лишь терн, придорожная пена, чудак,
Цветет — непонятно зачем. Просто так.
Творец его что-то, видать, не учел.
А может, он создан для птиц и для пчел?
Ни слива, ни куст — он мне многих милей.
Бедняжка, подобие жизни моей.

Письмо

В твоей комнате мыши теперь поселились,
Они чем-то шуршат, они что-то грызут.
Как я зла — никогда на тебя так не злились.
Не могу и трех дней без тебя! Дни идут.
Я курю сигареты твои. Да, не надо,
Ты просил меня, помню, об этом не раз.
Но что делать мне, милый, с подобием ада,
С этим летом? Об этом скажи мне сейчас.
Ненавижу широкие наши постели.

Но горят солнцецветы, пылает луна,
И не может печальное чувство потери
Погасить этих красок в квадрате окна.

Перевод РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Вечер

Когда наступит вечер, я услышу.
Ладонью теплой он погладит крышу
И разольет повсюду синий свет.
Мой лоб остудит дуновеньем влажным,
И в этот миг все станет нужным, важным:
Деталь любая и любой ответ.
Деревня вдалеке, над речкой сизый дым,
А все, что было, мне покажется смешным.

■ ■ ■

А мне на месте не сидится,
Будь это день иль будь то ночь,
Туман ли, дождь в окно стучится —
Меня из дома тянет прочь.

И нет пока такого края,
Где долго мне б хотелось жить
И о котором я, скучая,
Смогла бы где-то затужить.

И лишь в одном моя отрада —
Идти без устали вперед.
И мне ограда — не преграда,
Коль жизнь сама меня зовет.

Волны

Как сладостна минута эта,
Когда острее станет слух,
Глаза зажмурены от света,
Когда захватывает дух!

Волной нагрянет вдохновенье,
Но эта жаркая волна
Придет лишь на одно мгновенье...
Я снова в комнате одна.

И будет больно, нестерпимо
Перед молчаньем новых строк.
Вот так волна проходит мимо
И не докатится до ног...

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

ДЖОН О'ХАРА

Дело Локвудов

РОМАН

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

Они отправили своих сыновей в Бостон и теперь могли несколько минут идти рядом, ни от кого не прячась и не вызывая подозрений.

— Вот уж не представляла себе, что у тебя такой красивый сын,— сказала она.

— Ты же видела его.

— Только мельком, и притом он не был так одет. В этом возрасте мальчики неказисты, если их не одеть как следует. Лишь тогда начинаешь угадывать, как они будут выглядеть взрослыми. Брюки у него скроены, как у взрослого. Он будет ловелас.

— А почему бы и нет?

— Я не осуждаю, но у Стерлинга этого еще и в мыслях нет. Джорджу на вид дашь лет двадцать, а Стерлингу — шестнадцать.

— Я бы не хотел, чтобы он развивался слишком быстро.

— Ты не можешь этому помешать. Итак, у нас впереди весь день. Но вдвоем нам нельзя бывать где угодно. Хочешь, поедем к моей двоюродной сестре?

— Хочешь не хочешь, а куда-то ехать надо. В Филадельфии выбор не так велик.

— Это очень необычная родственница. Зовут ее Элис Стерлинг. Стреляная птица. У нее салон. Она уже немолода, но до сих пор — одна из самых интересных женщин, каких я знаю. Ко мне она хорошо относится, потому что я почти так же независима, как она.

— Мне про нее рассказывали. Это та пчела-матка, вокруг которой вьются художники и прочая богема? Я не хочу с ней встречаться.

— И не надо, если не хочешь. Только отвези меня, пожалуйста, к ней. Это моя штаб-квартира на сегодняшний день. Ты вечером ведь куда-то идешь, не так ли!

— Конечно!

— Ну так поедем сейчас к Элис. Мне надо кое о чем поговорить, и я не хочу этого откладывать.

Они взяли извозчика и поехали на площадь Риттенхауз, где стоял дом Элис Стерлинг. Гостиная в этом доме, казавшаяся такой темной снаружи, изнутри была прекрасно освещена благодаря высоким, во

Продолжение. Начало в № 8.

всю стену окнам, сверкавшим чистотой, и производила впечатление веселой комнаты из-за множества статуэток, фарфора, картин в рамах, которые как бы собирали свет и потом отбрасывали его всеми своими полированными поверхностями.

— Веселая комната,— сказал Авраам Локвуд.

— Ей именно такая и нужна. Она несчастная женщина.

— А где она сама?

— У себя в спальне. Она не встает до полудня. А остальное время дня пьет виски — понемногу.

— Отчего же она несчастна?

— Об этом долго рассказывать. Поднимусь наверх, поздороваюсь и сразу вернусь обратно. Хочешь остаться пообедать? Мы будем здесь одни. Она не придет.

— Нет, у меня много дел.

Через пять минут она вернулась.

— Садись, милый. Давай поговорим. Мы избегали этого разговора, но я не могу его больше откладывать. Собираешься ли ты положить на мое имя какие-то деньги? И намерен ли ты положить всю сумму сразу или будешь давать мне поквартально? Мне надо знать.

— Я не думал, что у тебя затруднения с деньгами. Сколько тебе нужно?

— Ты не ответил на мой вопрос, хотя я уверена, что ждал его.

— Я бы предпочел платить поквартально.

— На какую сумму могу я рассчитывать?

— Ну... на тысячи полторы в квартал. По пятьсот в месяц.

— Пятьсот долларов в месяц? И это все?

— Это немалые деньги. Ты не находишь?

— Нет. Я бы согласилась, если бы это шло сверх суммы, необходимой на содержание дома и прислуги. Пятьсот долларов в месяц! Мне детей надо учить, да и другие расходы. Тысяча долларов в месяц меня бы, пожалуй, устроила.

— Я полагал, что ты нашла покупателя на свой дом.

— Нашла, но эти деньги — не от тебя.

— Странно. А мне кажется — от меня. Но я не стану в это вдаваться.

— Отчего же, вдавайся,— возразила она.— Будем беспощадно откровенны.

— Хорошо. Я мог бы вообще отобрать у тебя этот дом. Он был куплен на деньги, украденные у меня.

— Ты же знаешь, что это неправда. Этот дом принадлежит мне уже много лет. Чем ты докажешь, что его купили на твои деньги?

— Думаю, доказал бы, но, поскольку у меня нет таких намерений, нечего и поднимать этот вопрос.

— Но он уже поднят.— Она помолчала.— Понимаю. Ты считаешь дом как бы компенсацией за потери. Но я так не считаю. Гарри перевел его на меня, я же, в свою очередь, дала ему деньги на покупку ценных бумаг. Так что у тебя на него прав, конечно, меньше, чем у меня.

— На этот счет есть законы, в которых мы с тобой не разбираемся. Я так считаю: будь Гарри сейчас жив, ему пришлось бы возместить мне убытки; и если бы я смог доказать, что он передал тебе права владения после того, как нарушил договор со мной, то суд признал бы такую сделку недействительной. Но здесь возникает вопрос этики, который затрагивает и тебя.

— Этики? Сам-то ты считаешь этичным такое отношение к своей любовнице? Что бы там ни было прежде, мой милый, но сейчас я — твоя любовница.

— Это верно. Но ты можешь в любое время перестать быть любовницей, если захочешь.

— Могу. И перестану. Я предупреждала тебя, дорогой, спрашивала, сможешь ли ты содержать меня. Я тогда сказала тебе буквально следующее: «Локи, вы действительно так богаты?» А ты ответил, что не собираешься соблазнять меня деньгами. Кажется, ты употребил тогда такое выражение: «завоюю вниманием», и добавил, что нельзя купить то, чего ты от меня хочешь. Что ты имел в виду? Я так в точности и не поняла.

— Я и сам не знаю.

— Я восприняла это как большой комплимент.

— Так оно и было.

— Тогда что же изменилось? Ты не мог завлечь меня деньгами, и что же, решил, что я задаром стану твоей любовницей? Как ты представлял себе это? Что у тебя будет женщина, которую можно где-то прятать и которая всегда готова будет принять тебя и лечь с тобой в постель? Такие женщины есть. У Гарри была. А скольких денег она ему стоила? Гораздо больше пятисот долларов в месяц. Если бы я располагала твоими деньгами и ты бы мне приглянулся, я платила бы тебе больше, чем пятьсот. Как хорошо, что мы с тобой поговорили на эту тему.

— Ты права. Я думал, мы любим друг друга.

— Конечно, любим, милый Локи. И я считала, что никогда не отдамся другому мужчине. Но очень уж ты прижимист. Если я леди, то это вовсе не значит, что я должна ютиться где-то в бедном квартале, обходиться без прислуги и посылать детей в бесплатную школу. Но ты, видимо, ничего этого не понимаешь. Выходя замуж за Гарри, я не считала, что с любимым и в шалаше рай, а теперь тем более так не считаю. Не тот возраст и не те представления о жизни. Уж лучше буду услаждать какого-нибудь старичка — кое-кто у меня есть на примете. Можешь ты дать мне миллион долларов?

— Нет.

— А я думала — можешь. Всегда думала. И так была счастлива в тот день, в тот первый раз. С мужчиной, побудившим меня отдаться ему и способным создать мне спокойную, обеспеченную жизнь. Ты ввел меня в заблуждение, Локи, но я прощаю тебе. К счастью, я в таком возрасте, что уже не сочту свою жизнь загубленной из-за мужчины. Тем более что от этой связи я и сама получала удовольствие. Меня всегда интересовали мужчины, а их влекло ко мне. Да, я очень рада, что поговорила с тобой.

— Будь осторожна.

— В чем?

— Ну, в своем интересе к мужчинам. Еще нарвешься на неприятность.

— Господи, да я же в трауре!

— При чем тут траур?

— А при том, что вдова может встречаться с мужчинами, сколько хочет, пока не отдаст предпочтение кому-то одному. Вот тогда уже начинаются сплетни... Между прочим, мой друг вернулся из кругосветного путешествия. Я получила от него записку.

— Тот самый врач?

— Я не говорила, что он врач. Ты можешь лишь догадываться. Скажи честно, Локи, разве ты не чувствуешь некоторого облегчения от того, что мы с тобой можем вот так разговаривать? Мы были так близки — ближе два человека не могут быть,— и вот теперь все позади. Разве это не облегчение? Запомни, ты никогда мне не нравился. Я доверяла тебе, любила тебя, но сейчас я впервые поняла, что ты

мне нравишься. Здесь, в Филадельфии, есть двое милых старичков, которых связывает удивительная дружба. Мне рассказывали, что много лет назад у них был страстный роман, который они, во избежание скандала, прекратили и с тех пор остались ближайшими друзьями. Вот и мы с тобой когда-нибудь станем такими же друзьями.

— Я никогда не смогу смотреть на тебя как на друга.

— Ну что ж. Не думаю, чтобы наши пути когда-нибудь пересеклись, после того как я устрою свои дела.

— Какие дела?

— Те самые, которые я рассчитывала устроить с твоей помощью. Ну, я слышу, моя кузина встала. Долг вежливости требует, чтобы я поднялась наверх и поболтала с ней. Прощай, милый Локи. Жаль, что ты не остаешься обедать.

Его так ловко выпроводили, что, оказавшись на тротуаре, он не сразу вспомнил, в какую сторону надо идти; когда же он пришел наконец в себя и повернул на восток, то не мог избавиться от странного ощущения, будто потерял в сделке, хотя разум подсказывал ему, что все было как раз наоборот. Он пообедал в рыбном ресторане, после чего поехал к Моррису Хомстеду, с которым они должны были открыть общий счет.

— А я видел вас на вокзале,— сказал Моррис Хомстед.— Вместе с Мартой и вашими сыновьями. Только мне пришлось проститься с моим мальчиком немного раньше: надо было спешить в контору. Поэтому я и не подошел к вам. Как Марта? Мы давно ее не видели.

— Кажется, ничего. В хорошем настроении.

— Марта всегда такая. А теперь особенно, поскольку в город возвратился один известный врач. Насчет старины Гарри никто уже не заблуждается, однако и Марта не ангел. Как она вела себя этим летом? Она ведь, кажется, жила по соседству с вами?

— Место у нас очень тихое — это не модный курорт. Никакой светской жизни.

— Марта устроит светскую жизнь даже там, где ее нет. Я всегда говорю: где дым, там должен быть и огонь. Не думаю, что Кингсленд Роусон был первым из тех, кто... гм... грелся у ее жарких угольков. Я, например, никогда не ручался за себя.

— В самом деле, Моррис?

— И зацепиться-то вроде не за что, а смотрит она на тебя с этаким лукавым, двусмысленным выражением, причем таким двусмысленным, что трудно даже вспомнить прямой, невинный смысл слов. Не знаю. Когда-нибудь она зайдет слишком далеко и тогда поймет: то, что может позволить себе иная молодая женщина, совсем не к лицу человеку в возрасте Марты. Не будут же родные вечно ее опекать.

— Видимо, я недостаточно хорошо ее знаю, чтобы судить о ней.

— Верно, и ваше счастье. Марта говорит все, что придет в голову, иногда даже вещи жестокие, а когда не жестокие, то нескромные. Лично я никогда бы не поверил Марте никакой тайны. Вот бедняге Гарри и пришлось пойти на связь с той нью-йоркской женщиной. Ему нужна была подруга и собеседница.

— Но ведь там был и другой интерес, а, Моррис?

— Ну, разумеется, был, насколько я могу судить. Вы имеете в виду область наслаждений. Да. Было и это. Но беднягу Гарри толкали на такой путь. Марта никогда не была ему подругой, поэтому он и искал дружеского участия миссис Как-Ее-Там из Нью-Йорка.

— А мне казалось, что у Гарри с Мартой были хорошие товарищеские отношения.

— Если у вас сложилось такое впечатление, то лишь под влиянием Марты.

— Да.

— Но не Гарри.

— Гарри никогда со мной о Марте не говорил.

— Он был слишком хорошо воспитан. Он и со мной не говорил, да я без него это видел. Хотите сигару, Локи?

— Спасибо, с удовольствием.— Авраам взял из предложенной коробки сигару и понюхал.— Не из тех, что стоят две штуки — пятачок.

— О нет, нет. Мистер Мидлтон непрерывно снабжает меня ими. Если позволите, в следующем месяце я пришлю вам коробку. Ну, так к делу, Локи?

— К делу. Речь идет о «Николс шугар». Хочу приобрести несколько акций.

— «Николс шугар»? «Николс шугар»... Ах, да. Знаю. Дайте проверить, что у нас там есть об этом.— Он взялся за серебряный колокольчик, но Авраам Локвуд остановил его:

— Не надо спрашивать. Я и так все знаю. Уже давно слежу. Еще весной хотел этим заняться, но из-за сумятицы, вызванной смертью Гарри, бросил биржевые дела и в результате лишился возможности заработать на акциях «Николс». Теперь я убежден, что...

— Извините, Локи. Разве весной суд не признал Хавемейеров несостоятельными?

— Стало быть, вы знакомы с положением дел в сахарной промышленности?

— Разумеется, меня заинтересовало решение суда, ликвидировавшее целый сахарный трест. Подобные дела весьма важны для всех нас. Как же вы рассчитывали заработать на этих акциях?

— Фирма «Николс шугар» не входила в этот трест, поэтому не подлежала ликвидации.

— Но согласитесь, что такие решения отрезвляют. Суды теперь контролируют всю промышленность и торговлю страны. Вопрос в том, где они остановятся.

— Ну, если бы я мог ответить на этот вопрос, то скоро стал бы очень богат. Так же богат, как вы, Моррис.

— Очень может быть, что в данную минуту вы этого уже достигли,— сказал Моррис.— Между нами говоря — строго между нами,— я ничего не выиграл от манипуляций бедняги Гарри. А вот вы, я уверен, даже кое-что потеряли, Локи, впрочем, я тоже потерял. Никогда нельзя смешивать дружбу с деньгами. Два года назад, когда вы отказали ему в помощи, я его выручил.

— Отказал в помощи? Я никогда ему не отказывал. Были случаи, когда я отклонял его предложения, но в займах не отказывал. Он говорил вам, что я отказался помочь ему?

— Да, говорил, и я принял вашу сторону. А потом все же дал ему изрядную сумму в долг. Во имя дружбы. Я сказал ему, что он не имел права рассчитывать на вас в этом плане. Я все-таки находился в ином положении. Я был его ближайшим и самым старым другом. Вы знали его только по университету, я же — с мальчишеских лет. Теперь я вижу, что он мне лгал.

— Да, он лгал. Так же, как мне, и, вероятно, многим другим.

— Стало быть, мы оказались жертвами обмана. Бедняга Гарри. Очень хороший был финансист, пока не пошел по пагубному пути. А мошенника из него так и не вышло.

— К такому же выводу и я пришел, только окольным путем. Нет, я не отказывал Гарри в займе. Не скажу, что я непременно дал бы ему денег, если бы он обратился ко мне, но он не обращался. Очевидно, знал, что откажу.

— Но почему он солгал мне именно в этом?

— Мне кажется, я знаю ответ, Моррис. Он хотел доказать вам, что старые друзья — самые надежные. Будто он пробовал просить у одного из новых друзей, то есть у меня, а этот новый друг не оправдал надежд.

— Именно так, Локи. Вот дьявол, а? Дьявольски умен, только ум этот ему не впрок пошел. В такую голову всадить пулю!

— Можно поинтересоваться, сколько вы дали ему взаймы?

Хомстед ответил не сразу.

— Только между нами. Семьдесят пять тысяч.— Он назвал эту цифру с таким видом, словно она составляла изрядную долю его многомиллионного состояния.

— Семьдесят пять тысяч! — удивился Локвуд.— Не столь уж велика потеря, а?

— Если говорить о сумме, как таковой,— нет. Если сравнить с тем, что у меня осталось, — тоже нет. Но дело в том, что эти деньги потеряны окончательно, а такого со мной еще не случалось, Локи. И вообще я редко даю в долг, какие бы гарантии мне ни предоставляли, ибо деньги, отданные в долг, так или иначе уходят из-под твоего контроля. А твой должник может распоряжаться твоими деньгами, как ему вздумается. Может даже оказаться, что с помощью этих денег он попытается разорить тебя. Займет у тебя пятьдесят тысяч и купит на них, к примеру, контрольный пакет акций компании, в которой ты заинтересован.

— С вами это бывало?

— О нет. Но могло быть, если бы я сплоховал. Деньги — это сила, Локи. Вы это знаете. Но эта сила может быть обращена и против вас — даже ваши собственные деньги, если вы потеряли над ними контроль. Мы часто жертвуем деньги на благотворительные нужды в виде ценных бумаг, но всегда оставляем за собой право голоса. Без этого любой из попечителей может легко использовать мой капитал в ущерб моим же интересам. А таких попечителей, к сожалению, нашлось бы немало.

Авраам Локвуд проникся новым чувством восхищения и уважения к своему старому знакомому. Рассуждения Морриса Хомстеда о деньгах явились для него приятной и вместе с тем пугающей неожиданностью. Приятной — потому что она выявила общность их взглядов; пугающей — потому что за тридцать лет знакомства с Моррисом Хомстедом он, Авраам Локвуд, мог легко восстановить этого человека против себя, ущемив где-то его финансовые интересы, и тогда были бы невозможны их нынешние отношения и невозможна была бы биржевая спекуляция, которой они собирались совместно заняться.

— А вы — дока по финансовой части, Моррис,— сказал Локвуд.

— Мне не остается ничего другого.

— Не остается ничего другого? Но вы же увлекаетесь спортом, коллекционируете картины, занимаетесь благотворительностью и прочим. У вас видное положение в обществе.

— В сутках-то двадцать четыре часа, Локи. Наиболее широкоизвестные мои увлечения отнимают у меня всего по несколько минут в день. Главное же, чем постоянно заняты мои мысли.... Я никому этого еще не говорил, но вам скажу, раз уж заикнулся. Они заняты нашим капиталом, фамильным капиталом, который я никогда не считал своей собственностью, только своей собственностью. Видите ли, я унаследовал его по обеим родительским линиям. Когда мне было тридцать семь лет, на моем попечении оказалась значительная сумма денег. Мой капитал и прежде-то был солидным, а тут сразу удвоился.

До этого вы могли бы сказать, что я действительно не слишком интересовался коммерческой деятельностью. Денег у меня и так было вдоволь, даже слишком — для человека с моими вкусами и довольно скромными запросами. Но потом я получил второе наследство, и деньги перестали быть для меня тем, чем были прежде, то есть средством жить так, как мне хочется. Новые деньги — этот дополнительный капитал накладывал на меня и новую ответственность: в сочетании с прежним капиталом он заставил меня почувствовать ответственность за состояние в целом, понимаете? Деньги, унаследованные от отца, я считал моими собственными, но когда к ним прибавились еще и деньги матери, образовался один общий капитал, и я почувствовал себя ответственным за все. Я не только перестал считать его лишь источником существования, оплаты счетов. Я вообще перестал смотреть на него как на свою собственность. Я был только его хранителем. Я уже стал думать о детях. Самое меньшее, что я считал себя обязанным сделать,— это сохранить для них в целости весь капитал.— Он улыбнулся.— Первое, что со мной случилось, когда я получил второе наследство,— я сделался скрягой. Всю жизнь я пользовался всеми благами, всегда имел только самое лучшее. Вырос, можно сказать, в роскоши и вдруг, за какие-то несколько дней, превратился в скупца. Так продолжалось года два. Став вдвое богаче, я за эти без малого два года не купил ни одного нового костюма, ни пары обуви, ни шляпы. Дотошно проверял все хозяйственные счета. Почему такой большой счет от мясника за прошлый месяц? Когда это мы успели выпить столько вина? И так далее. Если раньше мы всегда оплачивали счета поквартально, то теперь (и так длилось два года подряд) я тянул до конца года, чтобы получить побольше процентов с капитала. Все это время избегал жертвовать на новые благотворительные цели, ограничиваясь суммами, которые давал прежде и которые всю жизнь давала мать. И не потому, что боялся прослыть простаком, а просто потому, что не в силах был расстаться с деньгами.

Затем я стал понимать, что со мной стряслось. Я боялся этих денег. Не самих денег, а ответственности за них. Боялся какого-нибудь неверного, глупого шага. Но потом понял, что глупость-то, если не ошибку, я уже допускаю. Меня одолевала не только скупость, но и робость, мешавшая мне вкладывать деньги в предприятия. Один из моих адвокатов — у меня их было несколько — в конце концов пришел ко мне и сказал: «Вложите куда-нибудь эти деньги. Капитал, не помещенный ни в какое дело,— мертв». «Мертв, мертв»,— беспрестанно повторял он. И он убедил меня: вместо того чтобы принять на себя ответственность, я на самом деле уклонялся от нее. Он доказал мне, что моя робость, моя осторожность и скупость обошлись мне в несколько сот тысяч долларов. Он понимал, что со мной происходит. Я говорю о Леоне Спруэнсе. Очень неглупый человек. «Моррис,— сказал он (он достаточно близко меня знает, так что зовет меня по имени, еще с моим отцом работал).— Моррис, пора пускать ваши деньги в дело». Он объяснил мне, что, не найдя применения своему капиталу, я не только повредил себе, но и нанес значительный ущерб благосостоянию страны, что я поступаю непатриотично. Непатриотично и рискованно, ибо мои бумажные деньги могут превратиться в ничто. Собственность — вот что мне нужно. Собственность, а не наличные. Пусть это будут ценные бумаги, недвижимость, закладные, но только не наличные деньги.

С тех пор я стал понимать, чего хочу, и более или менее знаю, как этого добиваться. Вкладывать, брать и снова вкладывать. Никаких рискованных спекуляций, но непрестанно вкладывать деньги в предприятия. Я бы не стал покупать с вами эти акции «Николс шугар», Локи.

Я могу обойтись без спекуляций, но знаю, что вы не удовлетворены тем, что имеете, поэтому вынуждены идти на риск. Верно?

— Верно.

— Когда вы будете иметь столько, сколько вам хочется, когда вы достигнете поставленной перед собою цели, я смогу, наверно, подсказать вам другие, менее рискованные возможности, которые время от времени у нас появляются. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что вы этой цели еще не достигли. Сколько же вам хочется иметь? Пять миллионов?

— Угадали,— ответил Локвуд. На самом деле он мечтал лишь о трех, но ему захотелось польстить Моррису Хомстеду.

— Мы будем только рады видеть вас своим клиентом. Я всегда надеялся, что вы когда-нибудь сойдетесь с нами,— сказал Моррис.— А насчет сигар я позабочусь, пришлю.

Обещание прислать сигары потрясло, как пощечина. Моррис Хомстед мог бы предложить многое: партнерство в фирме Хомстедов, членство в Филадельфийском клубе, наконец мог бы пригласить к себе в гости на субботу и воскресенье. Но предложить коробку сигар... Такой подарок Авраам Локвуд посылал на рождество начальнику полиции Шведской Гавани. Но пока он ехал домой, боль от пощечины прошла. Все-таки Моррис Хомстед есть Моррис Хомстед, и то, что он снизошел до таких откровений относительно своих взглядов на деньги, следует считать знаком высокого доверия — коробка сигар здесь ни при чем. Что касается партнерства, членства в клубе и приглашения на субботу и воскресенье, то на это, как теперь стало ясно, нечего и рассчитывать. Осознание этого факта, как ни странно, сыграло свою положительную роль: оно еще больше укрепило Локвуда в мысли держаться за Шведскую Гавань. Обстоятельства случайно сложились так, что ему, немолодому уже человеку, указали на его место в жизни. Его отношения с Моррисом Хомстедом достигли беспрецедентной близости, и скоро он понял, что Хомстеду никогда и в голову бы не пришло, что его друг Локи жаждет приобщиться к филадельфийской жизни.

Авраам Локвуд не переставал удивляться: почему мысли и даже чувства, которые он считал сокровенными, лишь повторяют такие же мысли и чувства Морриса Хомстеда? Правда, Моррису Хомстеду его Дело было нужно лишь для сохранения того, что он уже имел, в то время как для Авраама Локвуда оно означало средство накопления капитала; правда, оба они питали пристрастие к деньгам не ради самих денег. Авраам Локвуд видел в перспективе хотя и не вполне ясные, но различимые черты созданной им династии — сыновей Джорджа и Пенроуза, одержимых тем же чувством ответственности и теми же честолюбивыми планами, которыми руководствуется ныне в своей деятельности Моррис Хомстед. Он даже мог мысленно поставить себя на место своих будущих внуков и взглянуть на себя их глазами, как на признанного архитектора и строителя династии (признанного, по крайней мере, ими самими, если у них хватит на это ума). То, о чем он сегодня мечтает, через два поколения — в этом он был уверен — станет совершившимся фактом. Правда, десять лет назад он не думал, что его план можно осуществить за такой сравнительно короткий срок. То, что он стал смотреть на будущее более оптимистически, объяснялось рядом обстоятельств. Жизнь вообще потекла быстрее, чем когда-либо раньше; сравнивая свое время с тем, когда жил его отец, Авраам Локвуд видел, что перемены происходят с почти невероятной быстротой. При таких темпах развития событий Локвуды через три-четыре поколения займут такое же положение, какое ныне

занимают Хомстеды, только этим последним потребовалось на это более двух столетий.

Итак, Авраам Локвуд снова убедился в том, что придется ему оставаться в Шведской Гавани. Уже не раз Филадельфия искушала его или, точнее, ослабляла его решимость не покидать Шведской Гавани, но постоянно возникали какие-то обстоятельства, удерживавшие его от этого шага. Вот и сейчас: коробка сигар, алчная женщина— и он уже поворачивает домой. Его скромный великодушный поступок привел к тому, что его вежливо выпроводили. Требовательность соблазнительной, но дорогой любовницы на какой-то миг поставила под угрозу его состояние и, следовательно, его Дело,— он сразу же отступил в Шведскую Гавань, как только услышал от нее: «миллион долларов».

Когда сигары прибыли, Авраам Локвуд написал изысканно любезную благодарственную записку, после чего, испытывая редкое для себя желание посмеяться, отдал эти сигары Шисслеру, ночному констеблю. Этим он как бы низвел Морриса Хомстеда до уровня полицейского.

■

— Что-то вас не видно было в последнее время,— сказал Моррис Хомстед.

— Верно, Моррис,— ответила Марта Даунс.— А вы, конечно, скучали. Считали часы, пока меня не видели.

— Ну, это не совсем так,— возразил Моррис Хомстед.— Но вы действительно куда-то пропали.

— Я ведь еще в трауре. Прошло лишь семь месяцев со дня смерти Гарри, остается еще пять.

— Понимаю. Присутствие на сегодняшнем вечере вы в расчет не принимаете?

— Нет. Он чертовски скучен. А вы как думаете? Должно быть, вам тоже скучно, раз вы вынуждены вести со мной этот пустой разговор.

— Этот вечер устроили не для нас, а для наших детей.

— Но он чертовски скучен. И вам, и мне. Тошно смотреть на этих угловатых глупых девчонок и прыщавых нескладных мальчишек. Только вот этот мальчик, Локвуд, и составляет исключение. Вы, конечно, знаете его. Сын Авраама Локвуда. Он здесь самый интересный. Единственный светский юноша.

— Почему вы находите его интересным? — спросил Хомстед.— Он недурен собой, почти даже красив, но интересный?.. Почему?

— Почему вообще некоторых людей считают интересными? Он не такой, как все. Приятной наружности. Хорошо танцует.

— Но это не объяснение.

— Знаю. Во мне говорит просто женщина, которая смотрит на новую поросль. У вас, мужчин, тоже так бывает. Лично у вас, возможно, и нет, но большинство любит глазеть на молоденьких девушек. Ну а я точно так же глазею на мальчиков, и на уме у меня та же мысль.

— И приходите к выводу, что, будь вы тридцатью годами моложе, вы нарядились бы ради Джорджа Локвуда в свой лучший чепец?

— В ночной чепец.

— Очень остроумно, Марта. К счастью, мальчик может вас не опасаться.

— Меня — нет. Но наших дочерей, племянниц и двоюродных сестер ему еще придется поостеречься.

— Почему?

— Потому что он молод и неиспорчен. И способен в порыве чувств совершить благородный поступок. Инстинктивно. Не рассчитывая ни на какое вознаграждение. Что он и сделал в отношении моего Стерлинга.

— Что же он сделал в отношении вашего Стерлинга?

— А разве его отец перед вами еще не похвастался? Я думала, он вам все рассказал.

— Вы не любите Локи?

— Этого я бы не сказала. Просто я достаточно хорошо его знаю. И вы знаете.

— Гм... Положим, да. Но он мне всегда нравился. Так что же сделал его сын?

— Как только он узнал, что случилось с Гарри, то предложил Стерлингу в этом году жить с ним в одной комнате. Другие мальчики тоже, возможно, стремились как-то выразить Стерлингу свое сочувствие. Но Джордж Локвуд сделал конкретное предложение.

— Я этого не знал. Обычно мальчики весьма сдержанны в проявлении чувств друг к другу. Они считают это признаком слабости.

— Верно. Но Джордж Локвуд оказался чуточку выше этого. И не потому, что Стерлинг — один из его ближайших друзей. В том-то и дело, что мой сын относился к Джорджу высокомерно. Но он был настолько тронут, что рассказывал мне об этом со слезами на глазах. Именно от Джорджа Локвуда он меньше всего ожидал такого дружеского жеста.

— А я понятия об этом не имел,— сказал Моррис Хомстед.— Да и вообще не представлял себе, что для вас это так много значит.

— Конечно, не представляли. Вам казалось, что вы уже все обо мне знаете, не так ли, Моррис? Как вы поступаете, когда видите, что человек не помещается в ваши представления о нем?

— Не знаю, Марта. А вы как поступаете?

■

— У вас замечательный мальчик, Локи,— сказал Моррис Хомстед.

Воспользовавшись небольшим перерывом, они вышли из актового зала школы св. Варфоломея и закурили сигары.

— Благодарю вас, Моррис. Он действительно заслуживает похвалы. Я возлагаю на него большие надежды.

— Вы, конечно, хотите, чтобы он вступил в «Зета Пси». Надеюсь, вы не будете против, если мы попробуем поручиться за него.

— Спасибо, Моррис. Но он не будет вступать ни в «Зета Пси», ни в клуб св. Антония.

— Почему вы против студенческих клубов? Я всегда полагал, что вы приверженец «Зета Пси».

— Против них я ничего не имею, но дело в том, что Джордж пойдет учиться не в Пенсильванский университет, а в Принстон.

— В Принстон? Это он сам решил или вы?

— Сначала я, а потом и он этого захотел. Пенсильванский университет — только для своих, Моррис.

— Вот уж не понимаю, с чего вы это взяли. Вы же сами поступали в Пенсильванский, никого там не знали, однако вас приняли и в «Зета Пси», и в «Козыри».

— В «Зета Пси» я попал потому, что меня причисляли к тем, другим Локвудам. А я молчал, позволяя им думать что хотят.

Моррис Хомстед рассмеялся.

— О нет. Это они позволяли вам думать, будто они так думают. Мы-то всегда знали, что вы не из этих самых Локвудов. И в «Зета Пси», должно быть, тоже это знали.

— Вы уверены? Все эти годы?

— В том, что касается нас,— уверен. И почти уверен в отношении «Зета Пси». Это был первый вопрос, возникший у нас тогда: «А он из тех Локвудов?» Все, что от нас требовалось,— это навести справки. Мы навели их... И, кажется, узнали предостаточно.

— О моем отце?

— Да.

— Знали все эти годы и ни разу не сказали?

— Я и сейчас не должен был говорить и не стал бы, если бы вы сами не заговорили. Я никогда не повторял ничего из того, что мне приходилось слышать у нас в «Холле».

— И тем не менее в «Зета Пси» меня приняли. Я очень тронут.

— И в «Козыри» тоже.

— В «Козырях» тоже все знали о моем отце?

— Некоторые — да. Те, кто принадлежал к клубу св. Антония, наверняка знали. И в «Зета Пси», я полагаю — тоже. Ну как, не отпало у вас теперь желание послать сына в Принстон?

— Могло бы отпасть, если б не было слишком поздно. Он решил уже поступать в Принстон, а не в Пенсильванский университет.

— Вы всегда что-то не до конца понимали, Локи. Можно говорить с вами откровенно?

— Именно этого я и хочу. До сих пор мы были откровенны.

— Отлично. Несколько лет назад я сделал две-три попытки прозондировать почву насчет вашего членства в Филадельфийском клубе. Я не очень надеялся на успех, но мне казалось, что вам хочется вступить в этот клуб. Так вот: ответ был отрицательный, поэтому я и не заговаривал с вами на эту тему.

— Скажите, Моррис, а мой сын сможет туда вступить?

— Нет, Локи.— Моррис Хомстед старался говорить мягко.— Пощадите его самолюбие. Я буду рад помочь ему в чем-нибудь другом, но если он задумает вступать в Филадельфийский клуб, отговорите его. Слишком долго люди помнят прошлое. Вот у его сына уже будет больше шансов. К тому времени нынешние старики вымрут. А сейчас вашему сыну будут мешать те самые люди, которые не хотят принимать вас.

— Значит, вы все знали о моем отце, знали все эти годы.

— Да. Это было нетрудно, Локи. Мы все знаем друг о друге, так что, когда среди нас появляется человек, подобный вам, он возбуждает любопытство, и мы сразу собираем нужные сведения. То же самое, несомненно, происходит и в Шведской Гавани, и в Гиббсвилле.

— Разумеется. Благодарю вас, Моррис. В отношении себя лично я никогда, кажется, и не заблуждался. Но Джорджа мог бы поставить в затруднительное положение.

— Мне ваш мальчик очень нравится, Локи, и мне жаль было бы причинять ему огорчение по такому поводу. Слишком много у него достоинств.

— Откуда вам известны его достоинства, Моррис?

— Ну, я мог бы сказать, что сам видел, как он держался сегодня при вручении ему всех этих наград. У него хорошие манеры. Приятная наружность. Но больше всего мне понравилось, как он обошелся со Стерлингом Даунсом.

— Вы меня удивляете своей осведомленностью. Кто вам об этом сказал?

— О, филадельфийские сплетни не всегда только злы, Локи.

— Но Стерлинга Даунса примут в Филадельфийский клуб, не так ли? Его отец был жулик, обманщик и имел в Нью-Йорке любовницу. А мой отец... впрочем, я, кажется, понимаю.

— Гарри был негодяй, но таким он стал позже. Таким он не родился. И если бы ваш отец был одним из *тех*, других Локвудов, то не было бы у нас с вами и этого разговора. Понимаете?

— Да.

— К тому же многие из нас любили Гарри. Он был человеком нашего круга. Нам не нравилось то, что он делал, но к нему лично мы относились хорошо. В этом — одно из преимуществ Филадельфии. Когда-нибудь наши внуки извлекут из него пользу. Тише едешь — дальше будешь, Локи.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что вы были правы. Мы действительно все свои — люди одного круга, и, возможно, Джордж или, во всяком случае, его сын вольет в нас свежую кровь.

— Я не к этому его готовлю, Моррис.

— Вот как! А подробней не скажете?

— Нет.

— Но у вас есть что сказать, и очень много. Я в этом убежден.

— Конечно есть, мой друг. Конечно есть.

— Ну и молодец, Локи. Браво!

У Локвуда было такое ощущение, словно его планы оказались разложенными перед ними на газоне и все его Дело выставлено напоказ, но Моррис Хомстед был слишком деликатен, чтобы допытываться.

— Аделаида хорошо выглядит,— заметил Моррис Хомстед.— Должно быть, она тоже очень гордится Джорджем.

— Да, она выглядит хорошо.

— Чего не могу сказать о Марте. Впрочем, образ жизни Аделаиды и образ жизни Марты не выдерживают никакого сравнения.

— Думаю, да.

Моррис Хомстед улыбнулся.

— Надеюсь, что да. Впрочем, Марте такие дела становятся уже не по годам.

— У нее есть привязанность. Все знают, кто это, но никто его имени не называет.

— Тогда как же это стало известно?

— Уму непостижимо, как люди узнают о подобных вещах. Лично я узнаю по тому, как мужчина и женщина садятся рядом и как избегают друг друга. Неестественность поведения, конечно, дает повод для разговоров. Марта и ее привязанность ни за что вместе не поедут — я имею в виду в одном вагоне. Но я наблюдал за ними. Придя в гости, он никогда не сядет с ней сразу, а сначала посидит с кем-нибудь другим. Потом, когда они наконец усаживаются рядом, то ведут себя слишком официально для людей, знающих друг друга всю жизнь. Сидя бок о бок на каком-нибудь званом вечере, они не находят темы для разговора, но посидеть рядом считают необходимым, иначе посторонние могут подумать, что они нарочно избегают друг друга.

— Я бы тоже не знал, о чем говорить с Мартой.

— Ну, вы-то нашли бы тему. Во всяком случае, завязали бы какой-нибудь разговор. А вот у этих двух не получается, хотя они знакомы уже сорок лет.

— В каком состоянии ее финансовые дела?

— Почему вы спрашиваете? Вы коснулись самого чувствительного места.

— Ради любопытства. А что?

— Дела Марты приняли неожиданный оборот. Именно это и навело меня на мысль о том, что она завела любовника, и подтвердило другие мои наблюдения. Как видно, денег у нее вполне достаточно для оплаты всех ее расходов.

— Сколько, например?

— Могу лишь догадываться, но, судя по ее образу жизни, она тратит что-нибудь около тысячи в месяц.

— Что же, значит, этот господин отвалил ей изрядную сумму? Или, может быть, дал ценные бумаги? Двенадцать тысяч в год — это шесть процентов от двухсот тысяч долларов. Мог он подарить ей столько? Двести тысяч?

— Мог. Но не знаю, подарил ли. В нашем тесном мирке благоразумней было бы поступить именно так, а не платить поквартально или каждые полгода. Солидная дарственная на четверть миллиона лучше, чем выплаты по счетам по несколько раз в год. Нет нужды *напоминать* людям об их подозрениях.

— А если она присвоит эти деньги и пошлет своего любовника к черту?

— О, это исключено. Он это может сделать, а она — не посмеет. Если она на это пойдет, с ней перестанут разговаривать. Ей тогда придется уехать. В Нью-Йорк, например. Гарри был мошенник, но мы его любили и любим до сих пор. Но чтобы Марта смошенничала — это немыслимо. *Немыслимо.* Да и непрактично.

— Это как сказать,— возразил Авраам Локвуд.

— Синица в руках лучше журавля в небе. Нет, Локи. В небе-то может оказаться больше двух птиц. Ведь со временем двести тысяч могут обернуться четырьмястами.

— Не может же он вписать ее в завещание.

— Разумеется, нет. Так далеко он не пойдет. Но если счастливое содружество продлится, то с годами он потихоньку примет ее на свое содержание.

— Он ведь всего лишь врач, как вы сказали.

— Да, но доходы он получает не только за услуги больным. О, имя-то это вам известно. Если немножко подумаете, наверняка догадаетесь.

— Айзик Викершем.

— Какой чудесный весенний день сегодня, почти как летний!

— Я попал прямо в точку, с первой попытки.

— Чудесный весенний день.

— Ну конечно. Доктор Викершем принадлежит ведь к клубу св. Антония.

— Докурили сигару, Локи? Пора нам и к женам возвращаться.

— Хорошо, возвратимся к женам. Значит, вот это кто. Меня знакомили с этим старым хрычом по крайней мере раз в год на протяжении последних тридцати лет. Он смотрел на меня всегда так осуждающе, точно он — доктор богословия.

— Не так уж он стар, этот доктор Викершем. Шестьдесят. Эта семья вообще славится долголетием. Его отец жив до сих пор, чем опровергает теорию старых жен о том, что портвейн укорачивает жизнь мужчины. Приятно сознавать, что это не так.

— Немного секса мужчине тоже не вредит.

— А женщине вредит? Вот идет человек, который мог бы выбрать себе лучшую долю. Артур Фрэнсис Феррис. Интересно, совратил ли он кого-нибудь из наших мальчиков.

— Ну и шуточки вы отмачиваете, Моррис.

— Знаю. Это оттого, наверно, что я отвлекся от дел. Кроме того, я почувствовал себя с вами как-то раскованно.

— Вы — со мной? Это я всегда чувствовал себя с вами скованно.

— Знаю. Жаль, правда? Привет, Артур. Очень хорошее представление вы сегодня устроили.

— Благодарю вас, Моррис. Добрый день, мистер Локвуд.

— Добрый день, ваше преподобие. Наверно, завтра вам тут покажется очень тихо и пустынно.

— О да. Но сентябрь уже не за горами. К тому времени у нас будет Пенроуз. Надеюсь, он не уступит Джорджу в успехах. Хотя задача не из легких.

— На Пенроуза я не слишком рассчитываю.

— Видимо, Пенроуз больше похож на моего отпрыска,— заметил Моррис Хомстед.

— Ваш мальчик не причинял бы нам хлопот, будь он чуточку меньше похож на отца и больше — на мать.

— Каково выслушивать отцу такие комплименты! Если хотите знать, Артур, то я всегда был весьма прилежен и в школе, и в университете. Так что идите вы к черту.

— Уважайте хотя бы мой сан, Моррис. Да и мистер Локвуд может не понять.

— Очень хочется сбить с вас немного спеси, старина. Вы такой невероятный деист. Надеюсь, я кстати употребил это слово.

— Нет, не кстати. Это показывает, каким прилежным учеником вы были. А теперь идите, Моррис, прошу вас. Мне надо поговорить с мистером Локвудом.

— Что же он такое натворил, если сам ректор желает говорить с ним наедине? — И Моррис Хомстед, искренне озадаченный, отошел от них.

— Я решил, мистер Локвуд, что лучше мне сказать вам заранее. Дело вот в чем: у вашей жены произошла ссора с миссис Даунс. Моя сестра, миссис Хэддон, выполняющая сегодня обязанности хозяйки, находилась поблизости и все слышала. Ссора произошла наверху, в жилой части дома. Сестра не пожелала сказать, что они там наговорили друг другу, но, видимо, разговор был неприятный. Собственно, даже не разговор, а перепалка. Я рассказываю вам об этом сейчас, чтобы вы не удивлялись, почему мы переменили ваши места за столом. Предполагалось, что Джордж, Стерлинг Даунс и, соответственно, их родители будут сидеть рядом, но теперь мы вас разъединяем. Я очень сожалею о случившемся, особенно в такой день, как сегодня, но, судя по тому, что говорит моя сестра, рано или поздно это должно было выйти наружу. Так вот, я счел нужным предупредить вас. Мальчики думают, что их посадят вместе, но это не получится, и вы теперь знаете почему.

— Очень жаль,— сказал Авраам Локвуд.

■

В первую же неделю своего пребывания в Принстоне Джордж Бингхем Локвуд обнаружил всю несостоятельность представлений о демократии, которые внушали ему в школе св. Варфоломея. С необычайной легкостью он сбросил одну треть первокурсников со счета за их одежду, но столь же обманчива была и элегантная внешность: среди хорошо одевавшихся новичков были студенты, чье уме-

ние одеваться не могло возместить отрицательных качеств, которые не сразу бросались в глаза. Через несколько дней по приезде Джордж Локвуд подружился с хорошо одевавшимся соседом по комнате, о котором ничего не знал, кроме того, что тот приехал из Нью-Йорка, что у него, несомненно, есть деньги и что он, несмотря на свои голубые глаза, француз по происхождению. Звали этого соседа Эдмунд Оберн. Каково же было изумление Джорджа, когда он обнаружил, что фамилия этого человека пишется О'Берн, что он — выходец из католической ирландской семьи и окончил приготовительную школу в Фордхеме! Джорджу Локвуду не приходилось еще слышать или читать фамилию О'Берн, не приходилось слышать и о приготовительной школе в Фордхеме, и он чувствовал себя немного обманутым, поскольку не сразу распознал ирландского католика. Потом, узнав О'Берна ближе и наслушавшись его достаточно убийственных отзывов о старшекурсниках и преподавателях, Джордж снова поверил в свое умение разбираться в людях. Если бы он знал с самого начала, что у его друга ирландская фамилия, он бы сразу понял, что его злой юмор не может принадлежать человеку того типа, каким показался ему О'Берн. Этот парень был искушен в житейских делах, остроумен, непочтителен и, по-видимому, одинок. Второе поразившее Джорджа открытие, которое он сделал довольно скоро, заключалось в том, что у О'Берна был старший брат, игравший защитником в футбольной команде. В школе св. Варфоломея в футбол не играли, и Джордж Локвуд ни разу не присутствовал на студенческих матчах. Поэтому О'Берн, вопреки предположениям Джорджа Локвуда, оказался не таким уж одиноким. И вообще О'Берн постоянно ломал представления Джорджа Локвуда о себе. Он был совершенной загадкой для Джорджа Локвуда, чье знакомство с американцами ирландского происхождения ограничивалось обитателями глинобитных домиков в ирландском квартале, расположенном на окраине Шведской Гавани, и еще несколькими извозчиками и конюхами. Отец же О'Берна был врачом, получившим образование в Дублине и, по-видимому, преуспевавшим. Эдмунд — иначе говоря, Нед — дважды был за границей. Отношение О'Берна к Принстону и его социальной системе раздражало Джорджа Локвуда, считавшего, что у его друга не такое положение, чтобы он мог критиковать систему, которая может автоматически отвергнуть его. Но когда О'Берн упомянул о том, что его отец путешествовал по Западным штатам в специальном поезде вместе с одним из Вандербильтов, Локвуд снова был озадачен, ибо этот парень положительно отказывался подчиниться его классификационной схеме. О'Берн хорошо играл в карты и откровенно рассчитывал увеличить свой личный бюджет путем выигрышей у студентов старших курсов. (И действительно, уже в первом семестре только у одного Энсона Чэтсуорта он выиграл более пятисот долларов. «Надо все сделать, чтоб помочь ему сдать экзамены,— говорил он Джорджу.— Ты подтянешь его по математике, а я — по латыни. В предстоящие три года этот парень будет возмещать мне то, что я недополучаю из-за скупости моего старика».)

Джордж Локвуд готов был при первой необходимости прекратить дружбу с О'Берном, но, присмотревшись к своей группе (не как к безликому сборищу молодых людей, объединенных одной лишь целью — закончить в 1895 году университет, а как к коллективу, в котором каждый человек — личность), предпочел все же дружить с О'Берном и еще с двумя студентами. На этих троих он и остановил свой выбор. Из них О'Берн оказался самым ему близким, что объяснялось двумя, казалось бы, несовместимыми обстоятельствами: во-первых, с О'Берном он чувствовал себя непринужденнее, и, во-вто-

рых, О'Берн побуждал его лучше учиться. Двух других друзей звали Эзра Дейвенпорт и Джек Харборд.

Дейвенпорт учился на первом курсе второй год. Он прославился тем, что провалился на экзаменах по всем предметам, так что его возмущенные родители, лишенные возможности обратить свой гнев на Принстонский университет, заставили его с февраля по август заниматься у репетиторов. После этого он был зачислен на первый курс вторично. В девятнадцатилетнем возрасте он уже выглядел сластолюбцем, и, чем старше становился, тем больше эта черта бросалась в глаза. Он был неисправимым курильщиком — сигарета свисала у него с губы, даже когда он разговаривал. Он то и дело отбрасывал назад волосы, упрямо падавшие ему на лоб и в глаза,— эта манера придавала ему вид человека, вежливо и в то же время скептически слушающего своего собеседника. Джорджу Локвуду потребовалось по крайней мере года два, прежде чем он понял, что Эзра Дейвенпорт привязался к нему, что он имеет слабость к спиртному и что его победы над особами женского пола в значительной степени, если не полностью,— воображаемые. Хотя Дейвенпорта отчислили с первого курса всего лишь за неуспеваемость, тем не менее это утвердило за ним репутацию одного из университетских повес, а его внешний облик рано опустившегося человека придавал правдоподобие той роли, которую он взялся играть. На самом же деле он был вполне заурядным малым, единственным наследником двух крупных состояний, не оправдывавшим ожиданий отца и матери. При иных обстоятельствах он мог бы стать клерком в отеле или скромным служителем церкви, однако и ему суждено было стать жертвою Дела — только уже своего.

Джек Харборд был настолько же праведным, насколько Эзра Дейвенпорт — грешным. Просто не верилось, что человек, доживший до девятнадцати лет, может быть до такой степени нравственно чистым, как трудно было поверить и тому, что Дейвенпорт оказался в этом возрасте столь испорченным. Харборд был не только богат, благовоспитан и хорошо одет, но ему богатство и образование явно могли пойти на пользу: можно было не сомневаться, что Джек Харборд никогда не воспользуется своими преимуществами в дурных целях. Он был высок, белокур, прекрасно сложен и, когда его выдвинули в старосты группы, был избран единогласно; этому успеху способствовали — едва ли не исключительно — неизменная улыбка и, казалось, неистощимое желание помогать людям.

— Очень хороший человек этот Харборд,— сказал О'Берн.— Хорош с головы до пят. Никаких изъянов, ни пятнышка. Не то что мы с тобой. Наверно, у него даже молочных зубов не было — родился сразу с постоянными, хороший, хороший человек наш Джек.

— Но это так и есть. Почему ты иронизируешь? — сказал Джордж Локвуд.— Разве он не лучше Дейвенпорта?

— Он менее надежен.

— Менее надежен, чем Дейвенпорт? Ты с ума спятил.

— Да как же можно доверять такому хорошему человеку? Дейвенпорту я доверюсь, ибо заранее знаю, что этот паршивец может выкинуть. А за таким чертовым святошей, как Харборд, только смотри да смотри. Будь у него возможность, он бы меня повесил. Но этого тебе не понять.

— Тогда объясни.

— Подожди, сам увидишь. И объяснять не придется. Веревку мне на шею он не нацепит, но и на голос его я рассчитывать не могу. Хотя сам я голосовал за него.

— Почему же?

— Потому что не хотел создавать разнобоя. Харборд знает, ско-

лько студентов в нашей группе, и потеря даже одного голоса может лишить его сна. Из него получится сильный староста, преподаватели будут с ним считаться. Но если он узнает, что его не все любят, это вселит в него неуверенность. В душе он — презренный, несчастный трус. Избави меня боже от таких людей, как он.

Прошло какое-то время, и Харборд предостерег Джорджа Локвуда насчет О'Берна.

— Не бывай с ним слишком часто на людях, Джордж. В клубах считают, что если ты водишь тесную дружбу с тем, кого в клуб не примут, то и сам не будешь полноценным членом.

— Разве О'Берна не примут?

— Если и примут, то, видимо, только в клуб его брата. Но ни в один из тех, куда мы с тобой хотим вступить. Твой отец состоял в «Зета Пси». Теперь таким же стал «Плющ». Так что будь осмотрителен, Джордж. Когда тебя примут, можешь встречаться с ним сколько хочешь, но сейчас послушайся моего совета.

Об этом разговоре Джордж Локвуд ничего О'Берну не сказал; не то чтобы он побоялся огорчить приятеля, а скорее не хотел признать, что мнение О'Берна о Харборде оказалось правильным. Колючая насмешливость — не очень приятная черта, и через несколько недель после разговора с Харбордом Джордж почти прекратил дружбу с О'Берном.

Правда, он виделся с ним довольно часто, но от встреч на людях старался воздерживаться.

— Так что же ты выбрал, Джордж? Уже решил?

— Что решил?

— Как что? Да то единственное, что мы здесь для себя решаем. «Плющ»?

— Об этом не принято говорить.

— Знаю. Только это и слышу. С кем ни заговоришь на эту тему, все отвечают одно и то же.

— Если будешь ходить и говорить, то можешь и в дураках остаться.

— О, для меня это не проблема. У моего брата Кевина спина широкая. Если, сидя на ней, я туда не въеду, значит ничто не поможет. Кевин ведь бешеный. Если мне не предложат вступить в его клуб, он уйдет оттуда. Конечно, не из братской любви ко мне. Нет. Но у нас есть еще младший брат, и Кевин хочет, чтобы он поступил в Принстон. Джерри предпочел бы Йель, но если клуб Кевина меня отвергнет, то он сюда не пойдет. Таким образом, я оказываюсь как бы посредине, и мне беспокоиться нечего. Все зависит от Кевина. А вот у тебя — проблема другого рода.

— Разве у меня есть проблема?

— Конечно. Но если ты не хочешь на эту тему говорить... Я думал, что ты выскажешься, и тебе же станет легче.

— У меня тоже есть младший брат. Он в школе святого Варфоломея.

— Сколько ему лет?

— Он на четыре года младше меня.

— На четыре года. Может, он еще захочет в Йель, или в Гарвард, или в Пенсильванский университет.

— Нет, он пойдет сюда.

— Независимо от того, будешь ты в «Плюще» или не будешь?

— Зависимо.

— Так. Значит, даже назвать клуб не хочешь. Это — признак хорошего тона, Джордж. У Джека Харборда, видно, учился.

— А ну тебя к черту.

— Очень хороший тон. Тебя примут в «Плющ», Джордж. Можешь спокойно на это рассчитывать. Сегодня вечером играем в покер в комнате Чэтсуорта. Ты придешь?

— Нет.

— Поверю в долг.

— Я и сам поверил бы тебе в долг, да заниматься надо. Ты когда-нибудь занимаешься?

— Иногда. По утрам. В школе я занимался только днем, поэтому привык вставать рано. Не скажу, что мне это нравится, а привык... Да, вот что я хотел бы тебе посоветовать.

— Что?

— Ты не очень-то якшайся с Дейвенпортом. Тем более перед выборами в клубы. Он не платит долгов, когда проигрывает. Во всяком случае, мне не платит. Кроме того, ребята намекали, что кое-кому он задолжал еще в прошлом году. Когда начнутся выборы, этот вопрос всплывет, а тебе ни к чему давать людям повод думать, будто вы с ним — закадычные дружки. Дружба со мной — тебе тоже не помощь, Джордж, но меня, по крайней мере, никто не может упрекнуть в том, что я не плачу долгов.

Как это всегда случается в безалаберной среде старшекурсников, результаты выборов оказались неожиданными: Эзра Дейвенпорт и Джек Харборд попали в «Плющ», Джордж Локвуд и Нед О'Берн — в «Оранжерею», а безобидный Энсон Чэтсуорт не попал никуда. Никто не предложил принять Джорджа Локвуда в члены «Плюща» (так же как и Неда О'Берна — в члены клуба его брата), но зато обоих предложили принять в члены еще трех клубов, не считая «Оранжереи». Дейвенпорта предлагали только в члены «Плюща», а Харборда — сразу во все клубы университета.

— Я еще не видел Кевина,— сказал О'Берн.— Надеюсь, он не устроил там скандала.

Когда Джордж Локвуд перешел на предпоследний курс, контингент студентов — выходцев из Восточной Пенсильвании — пополнился новичком по имени Дэвид Фенстермахер из Лебанона. Но впервые Джордж заметил его не в университете, а в поезде, когда оба они ехали домой на рождество. Фенстермахер казался слишком юным для студента (Джордж забыл, что на первом курсе все выглядят очень юными), поэтому Джордж Локвуд и в поезде не обратил бы на него внимания, если бы не заметил на его чемодане наклейки с изображением университетского вымпела— маленькой дани тщеславию; на вещах Джорджа никаких наклеек никогда не было.

Они стояли рядом на перроне вокзала, ожидая, когда откроют ворота. При обычных обстоятельствах Джордж Локвуд игнорировал бы своего более молодого попутчика, но в канун рождества у него было настроение поболтать, поэтому он заговорил первым:

— Я вижу, вы из Принстона.

Дэвид Фенстермахер улыбнулся.

— Да, мистер Локвуд. Еду в Лебанон.

— Понятно. Значит, в Рединге пересадка.

— Да, сэр.

— Кажется, вам надо ехать на поезде, следующем до Форт-Пенна.

— Да, сэр. Я сойду на сортировочной станции, сяду в поезд, идущий в Форт-Пенн, и через час буду дома. Рад, что еду домой.

— Почему? Разве вам не нравится в Принстоне?

— Нравиться-то нравится. Только дома лучше. С сентября ни разу досыта не поел.

— Да, первый год нам всем приходится трудно. Вы ведь на первом курсе?

— Да, сэр.

— А до Принстона где учились?

— Два года в Мерсерсберге, а перед этим окончил среднюю школу в Лебаноне.

— В таком случае, в Принстоне у вас должно быть много друзей. После Мерсерсберга многие поступают в Принстон.

— Да. А вы из Шведской Гавани?

— Да. Откуда вы знаете?

— Мне про вас рассказывал один мой товарищ. Он родом из Гиббсвилла. Олден Стоукс. Мы учились с ним в одном классе в Мерсерсберге. Я поеду к нему погостить на каникулах.

— Пойдете с ним на Ассамблею?

— Собираемся на какой-то бал. Разве это называется Ассамблеей?

— О да. Ассамблеей молодежи. Олден Стоукс — кузен моего кузена.

— Я знаю.

— Откуда?

— Он мне сказал.

— Ну и ну! Как видно, информировал он вас обо мне довольно подробно.

— По-моему, да.

— Черт возьми!

— В основном — в очень лестном для вас духе. Полагаю, долго вы в Шведской Гавани не пробудете.

— Почему же вы так полагаете?

— Вам предстоит провести большую часть каникул в Филадельфии и в Нью-Йорке. Мне так сказали.

— Неверно сказали. Возможно, я побываю на одном-двух званых вечерах в Филадельфии, но эти вечера уже не доставляют мне удовольствия. Рождество надо проводить в домашнем кругу. Друзей навестить тоже можно. Значит, вы поедете в Гиббсвилл. Но он, по-моему, мало чем отличается от Лебанона. Хотя в вашем городе я никогда не был.

— В Гиббсвилле веселее. Там чаще устраивают званые вечера. Наша молодежь в большинстве ездит в Рединг или в Форт-Пенн, где бывают большие балы.

— Я собираюсь быть на балу в Форт-Пенне числа двадцать восьмого или двадцать девятого.

— Вот как. Мой дядя — один из устроителей. Рой Райхелдерфер. Он окончил Йель. Вы его знаете?

— Нет.

— Он мой дядя. А моя фамилия Фенстермахер.

— Понятно... Ну, вот, наконец. Вы едете в пульмане?

— Нет. В пульмане я езжу только с родителями.

— Ну, если не увидимся во время каникул — до встречи в Принстоне.

— До свидания, мистер Локвуд. Рад был познакомиться с вами.

Эта встреча имела последствия. В канун Нового года Джордж Локвуд поехал на гиббсвиллскую Ассамблею. «Дама», приглашенная им на бал, заболела фурункулезом, и он оказался без партнерши, так что мог теперь свободно заполнять свою карточку какими угодно именами (или совсем не заполнять), мог, когда захочется, выйти покурить сигару или выпить пунша. Он стоял со стаканом пунша в ру-

ке, когда к нему подошел Ред Филлипс, один из гиббсвиллских знакомых, и сказал:

— А я повсюду тебя ищу.

— Не там, где нужно.

— Слушай, Джордж. Там одна девушка из Лебанона хочет с тобой познакомиться. Говорит, что ты знаешь не то ее брата, не то еще кого-то из членов семьи. Ты не занят на второй вальс после перерыва?

— Дай проверю. Нет. Как ее зовут?

— Элали Фенстермахер.

— Ее брат у нас на первом курсе. А она хорошенькая?

— Очень. И притом умеет поддержать беседу.

После перерыва, перед началом второго вальса, Джордж Локвуд познакомился с Элали Фенстермахер и закружил ее по залу.

— Вы были очень любезны с моим братом. Благодарю вас.

— А, вы об этом зеленом юнце? Он славный малый.

— Вы говорите, как Мафусаил. Подождите, когда-нибудь еще пожалеете, что уже не молоды.

— Я — нет. Это женщинам, а не мужчинам хочется казаться моложе. Вы уже начали приуменьшать свой возраст, мисс Фенстермахер?

— Нет. И не собираюсь. Просто никому не буду говорить, сколько мне лет.

— Можете и не говорить. Вам девятнадцать-двадцать. Я всегда угадываю с точностью до одного года.

— Вы очень проницательны, мистер Локвуд.

— Что же здесь проницательного? Возраст девушки определить нетрудно. Могу угадать возраст любой женщины, если она моложе тридцати. Позже — труднее, а до тридцати — довольно легко. В какой школе вы учитесь?

— Я уже окончила школу. В июне. Училась в Оук-хилле.

— Так это же недалеко от Принстона. Подумать только — вы учились поблизости от меня... да и Лебанон не так уж далеко. Вы считаете, что мир тесен, мисс Фенстермахер?

— Смотря чей.

— То есть?

— Если вы подразумеваете свой мир, то он действительно тесен. Три месяца вы жили с моим братом на территории одного и того же университета, а заметили его только на прошлой неделе. Это потому, что ваш мир крохотен. Поэтому мир в целом кажется вам бесконечно шире.

— Согласен, хотя я не знал, что попаду на урок высшей математики. Не старайтесь убедить меня, что вы — синий чулок, мисс Фенстермахер.

— И не буду. Разве человека из Принстона можно в чем-нибудь убедить?

— Зачем отчаиваться? Или вы устали просвещать своих друзей?

— По крайней мере, мои друзья хотят учиться.

— Еще бы. Им ведь многое надо наверстать.

— А я считала вас другом Реда Филлипса.

— Что ж, я обязан ему знакомством с вами. Как видите, я признателен ему за этот скромный, простодушный жест человеколюбия. Вы были в прошлый раз на балу в Форт-Пенне?

— Да, а что?

— Как жаль, что я туда не поехал.

— Мой дядя был одним из устроителей.

— Вы игнорируете комплимент? Я сказал: как жаль, что я туда не поехал.

— Я вас слышала, только не знала, хотели вы сделать комплимент или просто подразнить меня.

— И Ред там был?

— Ред Филлипс? Господи, есть же и другие кавалеры, не только Ред.

— И как же их много?

— Как *много?*

— Как много других? Надо же мне выяснить, сколько у меня соперников.

— Не знала, что вы собираетесь с кем-то соперничать.

— Конечно, не знали, но теперь знаете. Можете сразу избавить их от мучений и заодно облегчить мое положение.

— А вы самоуверенны, скажу я вам.

— Разве не было бы более гуманно с вашей стороны избавить их сейчас же от мучений?

— Мистер Локвуд, мне кажется, вы пробовали сегодня пунш.

— Хорошая мысль. Пошли выпьем по стаканчику пунша. Станем за пальмами — и вы пропустите своего следующего партнера.

— Вы отчасти немец, не так ли?

— Моя мать носит фамилию Хоффнер. А что?

— О, Хоффнеров я знаю. В Рихтервилле.

— Это — они. Так что же вы скажете на мое предложение?

— Нет. Если хотите потанцевать со мной еще, спросите Реда. Но в моем списке, кажется, уже все заполнено.

— Ну что ж, я предоставил вам единственную в жизни возможность. Этого вы отрицать не можете.

— Я же не сказала, что вы не можете приехать в Лебанон и навестить меня.

— Верно, не сказали. Это правда? Когда?

— На весенних каникулах. Брат с удовольствием пригласит вас. Места у нас достаточно.

В августе того же года, во время его последних студенческих каникул, они «пришли к согласию». Это означало, что они без официального объявления помолвки решили пожениться и теперь могли следовать определенному кодексу поведения. Элали Фенстермахер сказала своей матери, что Джордж Локвуд хочет с ней обручиться, и та посоветовала:

— Условься с ним — и придите к согласию. Пока Джордж не закончил университет, достаточно будет и этого. Так всегда лучше.

Договоренность такого рода не требовала, чтобы молодой человек шел к отцу девушки просить ее руки, поэтому отец Элали мог до поры до времени оставаться в стороне. Обычай этот был весьма удобен, так как предоставлял немало преимуществ и не был связан с риском широкой огласки в случае расторжения. О такой молодой паре просто сказали бы: «Они уже пришли было к согласию, но передумали»; ни ту, ни другую сторону не сочли бы обманутой. В период действия согласия будущие жених и невеста могли часто бывать вместе, но их знакомые не принимали их специально. Согласие подразумевало главным образом то, что оба они переставали встречаться со своими прежними привязанностями и лишь ждали момента, когда будет сочтено возможным и желательным официально объявить о помолвке.

Джордж Локвуд не был непорочным юношей. Когда он еще учился на первом курсе, отец посоветовал ему посещать одно заведение в Филадельфии. «Здесь ты будешь в безопасности,— сказал Авраам

Локвуд.— Но для гарантии не забывай все же мыться». Джорджу не показалось странным, что отец знаком с такими домами: большинство отцов о них знало, а многие ходили туда заранее договариваться насчет своих сыновей и иногда даже давали им практические советы. Однажды, когда Джордж гостил в доме Эзры Дейвенпорта на севере штата Нью-Джерси, служанка миссис Дейвенпорт, француженка, сняла с себя одежду и, вытолкав Эзру из комнаты, соблазнила Джорджа.

Таким образом, имея столь богатый опыт в дополнение к сведениям, почерпнутым из рассказов товарищей по школе св. Варфоломея и Принстону, Джордж Локвуд не был новичком по части чувственных удовольствий. Кроме того, он знал о впечатлении, производимом им на лиц противоположного пола, хотя нередко были случаи, когда эти последние сами того не сознавали. Смелые, бесстыдные женщины (такие как служанка Дейвенпортов), казалось, угадывали его особый интерес к ним или, во всяком случае, видели в нем партнера в игре. Девушки его круга — сестры и подруги его друзей — были менее откровенны и более строги в обращении, но и они, при всех ограничениях и условностях, тяготели к нему больше, чем к его сверстникам.

В том, что он любит Элали, Джордж не сомневался. Удовлетворив свое любопытство привычными приемами, он пришел к выводу, что его чувство прошло все испытания. Он по-прежнему жаждал быть с ней рядом, испытывал потребность писать ей, с нетерпением ждал писем от нее, ему хотелось делиться с нею своими мыслями, рассказывать о мелочах жизни, защищать ее; он принимал за образец ее женские качества и рисовал в своем воображении безумные наслаждения, которые их ждут и за которыми последует безмерная нежность. Потом произошло нечто, удивившее его самого: он полюбил ее брата, проникшись желанием во всем помогать ему. И начал ревновать Элали к ее подруге Милдред Хейнс, с которой та ежедневно встречалась. Кроме того, у него появилось неистребимое желание говорить о ней.

В поисках собеседника он остановил свой выбор на язвительном Неде О'Берне, менее всего подходившем для роли наперсника. Но О'Берну был знаком не только язык иронии, он умел и посочувствовать (Джордж помнил, как быстро О'Берн понял Эзру Дейвенпорта), и проявить душевность.

— Я хочу, чтобы мой брат Пенроуз был шафером, а ты — дружкой,— сказал Джордж Локвуд. В то время они учились на последнем курсе.

— Не компрометируй себя, Джордж. Пригласишь меня, а потом увидишь, как от тебя нос воротить станут.

— А мне наплевать.

— Ну что ж, раз ты так решил...

— Да, решил. Из школы святого Варфоломея никого не буду звать, за исключением, конечно, брата. Из Филадельфии — тоже никого. И из «Плюща» — тоже.

— Даже Эзру? Он же глаза все выплачет.

— Ну, его, может, позову. Кольцо понесет. И еще, может, позову одного мальчика из школы святого Варфоломея.

— Чэтсуорта.

— Верно. Как это ты догадался?

— Наверно, потому, что надеялся. Ему здесь здорово не повезло. Когда-нибудь они об этом пожалеют, черт побери. Чэтсуорт лучше большинства из них.

— Почему ты так считаешь, Нед? Я согласен с тобой, но ведь мы ничего особенного за ним не замечали.

— Сам не знаю. Достоинство. У Энсона Чэтсуорта больше оснований быть членом клуба, чем у меня. И уж наверняка больше, чем у половины тех, кто попал в лучшие клубы. Я думаю, его обошли случайно. Теперь и ты знаешь, как это бывает. Такие ребята, как Чэтсуорт, ничем особенным не выделяются и тем не менее подходят для любого здешнего клуба. Но ни в одном из них кандидатура его не была названа, так как все считали, что это сделают в другом клубе. И все же он не распустил нюни и не ушел из Принстона. Не то что Эзра. Я уверен, что Эзра обмочился от радости, когда его приняли в «Плющ». Я часто задумывался: что побудило их принять его? Мне кажется, у него есть какой-нибудь прапрадед, подписавший Декларацию Независимости.

— Один из предков Чэтсуорта был президентом Гарварда.

— Вот видишь! Если бы Чэтсуорт пошел учиться в Гарвард, то попал бы там в один из лучших клубов. А здесь остался ни с чем. Надо бы нам протащить его в свой клуб.

— Теперь он и сам не пойдет. Кроме того, у меня сейчас много хлопот с кандидатом, которого я уже выдвинул.

— С твоим будущим шурином. Ну и работку тебе дали. Дэйви — неплохой парнишка, но размазня.

— Это не совсем так. С годами он станет лучше.

— Джордж, он размазня. Законченный тип неудачника. Не лезь из-за него в драку. Ты — единственный в клубе человек, который за него ратует. Возможно, кто-то и выдвинет его кандидатуру в каком-нибудь другом клубе, а здесь все будут считать, что ты его поддерживаешь, так как женишься на его сестре. Прими во внимание и то, что ничего с ним не случится, если его и вовсе не примут в клуб. Пора ему знать, как он котируется.

— Заранее никогда не знаешь, как оно может обернуться, и всегда надеешься.

— Что ж, пусть так. Надейся.— О'Берн засмеялся.— Когда мне перечисляли, какие клубы предлагают мне членство, я на минуту подумал: а вдруг в их числе — «Плющ»?

— А ты пошел бы в «Плющ»?

— Нет. По одной-единственной причине: не переваривaю я Джека Харборда. Сладкоречивый лицемер. На этой планете нам вдвоем всегда будет тесно. Если бы я сейчас услышал, что он на краю гибели, то и пальцем бы не пошевелил, чтобы его спасти.

— Когда мы отсюда уедем, тебе уже не придется с ним встречаться.

— Мне — нет. Это ты будешь встречаться. А я ни на какие встречи однокурсников не поеду. Вот побуду на твоей свадьбе дружкой, и вся моя связь с Принстоном кончится. После этого я исчезну. Поеду прямо в Кимберли и начну богатеть на алмазных копях.

— Тебе здесь было не по душе. Что мешало тебе уйти? Семья?

— Что же еще? Отец. Своего старика я очень люблю. И вполне его понимаю. Мать решительно настаивала, чтобы хоть кто-нибудь из нас пошел в иезуитские священники, а отец столь же решительно возражал. Поэтому он и определил Кевина и меня в Принстон, подальше от иезуитов, а нашего младшего брата — в Йель. Он надеялся, что я, как и Кевин, пойду по медицинской части, но потом понял, что из этого ничего не выйдет.

— Почему он так настроен против иезуитов? Он же католик.

— Католик, но в Ирландии посещал Братьев, Христианских Бра-

тьев. А их иезуиты считали hoi polloi[1]. Может быть, они и правы. Так или иначе, у нас в доме всегда обедает кто-нибудь из иезуитов, а моему отцу они ужасно надоели за все эти годы, надоело смотреть, как моя мать поклоняется им. Иногда я замечал, что ему и мать здорово надоела. Хотя он и старается это скрывать.

— Скажу тебе строго по секрету: мои родители просто ненавидят друг друга. Учти: ты — единственный человек, которому я это сказал.

— О, это не редкость, Джордж. Мужей и жен, ненавидящих друг друга, ужасно, ужасно много. Я видел твоего отца только раз, когда он приезжал навестить тебя. Тогда мне показалось, что вы очень похожи, но по одной короткой встрече трудно судить. Лицом ты, правда, не сильно напоминаешь его, но некоторыми манерами — да.

— Он же бизнесмен до мозга костей.

— Да и ты малый не промах, уж коли на то пошло. Если ты что-то задумал...

— Ты хочешь убедить меня, что я похож на отца? Напрасно. Мы очень неодинаковы — как снаружи, так и внутри.

— Не стану спорить, ибо не знаю, каков ты внутри.

— Странно, что ты это говоришь.

— Почему?

— Мой брат употребил это же выражение относительно отца: «Никто не знает, каков он внутри». Те же слова... Итак, ты едешь в Южную Африку?

— Да, если не успею передумать. В прошлом году я хотел в Оксфорд. Решив стать гражданином мира, я подумал, что Оксфорд придаст мне необходимый лоск, не говоря уже о репутации, которой пользуются те, кто его окончил. Не помню, почему я отказался от этой мысли. Кажется, под влиянием Вийона. Теперь я мечтаю накопить в Кимберли огромное состояние, купить паровую яхту, установить на ней тяжелые орудия и гоняться за английскими судами. Иными словами, сделаться пиратом, грабителем. А потом стать чем-то вроде Патрика Сарсфилда и устроить заваруху в Ирландии. Время от времени мы должны напоминать англичанам, что они слишком много себе позволяют.

— Ты действительно намерен это осуществить, Нед?

— На это потребуются деньги.

— Да нет, я имею в виду — уехать в Южную Африку?

— На это тоже потребуются деньги. Я не собираюсь ехать туда четвертым классом. Возможно, остаток года мне придется посвятить карточной игре с Чэтсуортом и Дейвенпортом.

В конце зимы, после разговора с Элали и ее матерью Джордж решил встретиться с судьей Фенстермахером, чтобы получить у него согласие на брак.

— Хорошее письмо ты написал мне, Джордж. Люблю такие письма. Они говорят о многом, если автор умеет выразить свои мысли, не слишком связывая себя. Но ты-то хочешь связать себя, не так ли?

— Да, сэр. Я хочу просить руки Элали.

— Ясно. Что ж, уговор у вас уже был, и оба вы вели себя все это время благоразумно. Я дам согласие. Я справился о тебе и наблюдал за тобой, когда ты бывал в моем доме. Да, ты можешь жениться на Элали. Надеюсь, вы будете счастливы.

— Благодарю вас, сэр.

— Миссис Фенстермахер мне сообщила, что о помолвке будет объявлено после того, как ты окончишь университет.

— Да, сэр.

---

[1] Чернью *(греч.)*.

— Чем ты намерен зарабатывать себе на жизнь, Джордж? Я знаю, что твои родители живут в достатке, но чем ты предполагаешь заняться?

— Пока не решил. С отцом мы уже говорили, но я еще не решил.

— Это ничего. Не такое у тебя положение, чтобы сразу искать себе место. Семья ваша состоятельна. Думаешь обосноваться в Шведской Гавани?

— О да.

— Одобряю. Мы вот тоже сидим на одном месте, и Дэвид, я полагаю, останется здесь же, когда закончит образование. Я хочу, чтобы он после Принстона отправился в мой колледж в Дикинсоне, изучил там право, а потом вернулся домой. У вас в семье когда-нибудь упоминали имя Уильяма Л. Локвуда?

— Нет, сэр.

— Не упоминали. Уильям Л. Локвуд был одним из основателей моей студенческой общины «Сигма Эта».

— Вот как?

— Жаль, что в Принстоне нет «Сигмы Эты». Раньше она была, но потом Принстон упразднил общины. А я бы хотел, чтобы Дэвид состоял в «Сигме Эте». У вас в Принстоне клубы, а не общины, поэтому я не могу к ним обращаться, как обратился бы в «Сигму Эту». Дэвид же сказал мне, что он едва ли вступит в клуб. Так вот, Джордж: раз уж ты становишься членом нашей семьи, хорошо бы тебе поговорить с ним и объяснить, насколько важны контакты с людьми.

— Очень щекотливое это дело, господин судья.

— Щекотливое дело? Это почему же?

— Я состою в клубе...

— Знаю. Говорят, в одном из лучших.

— Благодарю вас. Но если я стану убеждать Дэвида в необходимости вступить в какой-то клуб, он может подумать, что я пытаюсь вовлечь его в свой собственный.

— Ну и что, если подумает? Было бы совсем неплохо, если бы мой сын состоял в одном клубе с моим зятем. Если вы не можете быть членами «Сигмы Эты».

— Но я не решаю за свой клуб, господин судья. Не в моей власти сделать кого-то членом клуба. Опустить черный шар я могу, а сделать человека членом клуба — нет. Вы же знаете эту систему.

— Конечно знаю. Но организация, в которой ты состоишь,— всего лишь клуб, это не тайное общество вроде «Сигмы Эты» или масонской ложи. Обычный клуб.

— У нас есть свои тайны.

— Значит, я верно понял слова Дэвида: ты не намерен предлагать его кандидатуру в свой клуб. Дело, значит, вовсе не в его *нежелании* вступать в клуб. Понимаешь ли ты, что травмируешь мальчика? Понимаешь ли, что это значит, если трем товарищам по Мерсерсбергу наверняка предложат вступить в клуб, а ему нет?

— Пусть его товарищи не будут так уверены. Они не узнают о решении до последней минуты.

Судья Фенстермахер постучал каблуком по ковру, провел пальцем под воротничком, поднялся со стула и подошел к окну; потом вернулся и встал перед Джорджем Локвудом.

— Давай говорить прямо: ты просишь согласия на брак с моей дочерью, не желая ничем помочь ее младшему брату.

— Господин судья, я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь ему.

— Все, что в твоих силах? А что ты сделал? Сидел сложа руки и смотрел, как эти ублюдки не пускают его в твой собственный клуб?

И ты считаешь, что после этого кто-либо из моей семьи может переступить порог этого заведения? Думаешь, Элали пойдет с тобой в этот клуб? Или я? Или миссис Фенстермахер?

— Извините, господин судья. Я не знаю. Знаю только, что вот уже почти год я пытаюсь добиться приглашения Дэвида в наш клуб. Но не я это решаю. У нас комитет.

— Будь он проклят, этот ваш комитет!

— Ему могут предложить стать членом другого клуба.

— А мне не нужен другой клуб. Я хочу знать, пользуется ли мой будущий зять каким-нибудь авторитетом у своих друзей. Если нет, то мне такой зять не нужен.

— Что ж, видно, так тому и быть.

— То есть как это — «так тому и быть»?

— Придется сказать Лали, что вы отказали мне.

Разговор этот длился дольше, чем предполагали Лали и ее мать, сидевшие в это время в гостиной. Когда Джордж вышел из кабинета судьи, нервные выжидательные улыбки сошли у них с лиц.

— Что случилось? — спросила Лали.

— Наверно, просил дать время подумать,— предположила миссис Фенстермахер.— Да?

— Он считает, что я должен добиться принятия Дэвида в мой клуб.

— О господи. Я-то надеялась, что этот вопрос не всплывет. Дэвид понимает, но судья, я знала, не поймет. О господи.

Лали подошла к Джорджу, и тот обнял ее.

— Не плачь,— сказал он и повернулся к ее матери.— Мне уже больше двадцати одного года, миссис Фенстермахер. И Лали скоро исполнится столько же.

— Это так, но только не будьте опрометчивы.

— При чем тут опрометчивость? — возразил Джордж Локвуд.— Я хорошо обеспечен и могу содержать ее.

— Не в этом дело, Джордж. Я сама поговорю с судьей.

Это было в воскресенье. Все уже вернулись из церкви, но праздничный обед, всегда следовавший за службой в церкви, еще не начинался.

Из кабинета донесся низкий голос судьи:

— Бесси, иди сюда.

— А вы побудьте здесь,— шепнула Бесси Фенстермахер, вставая.

Джордж Локвуд не знал, о чем говорили судья и его жена. С четверть часа просидели они с Лали в гостиной у закрытой двери, которая обычно оставалась открытой, утешая друг друга словами любви и поцелуями и выражая сквозь слезы свой гнев и возмущение. Но вот из кабинета в дверь постучали, она открылась, и Бесси Фенстермахер, слегка улыбаясь, сказала:

— Все уладилось. Вы только помалкивайте. Сделайте вид, что ничего не произошло. Давайте обедать.

— Мама, что ты ему сказала? — спросила Лали.

— Ну, сказала и сказала. Не спрашивай меня больше об этом. Обед готов.— Она коснулась пальцем руки Джорджа.— А ты будь благоразумен, Джордж.

— Хорошо, миссис Фенстермахер.

— Помни, что он судья и привык считать себя во всем правым. Так что не ставь его в положение виноватого. Будь вежлив, как будто ничего не случилось.

— Постараюсь.

Обедали они вчетвером. Судья встал и начал резать жареную курицу. Это занятие избавляло его от необходимости говорить.

— Тебе белого мяса или ножку, Джордж?

— Я люблю белое.

— Я вижу, у тебя в начинке много сладкого майорана, Бесси,— сказал судья.— Может, Джордж этого не любит?

— Нет, сэр, я люблю майоран.

— Это хорошо. Лали, передай Джорджу тарелку. Бери картофельное пюре и фрукты, Джордж. Подливка рядом с тобой. Лали, дать тебе еще крылышко?

Вначале разговор касался еды, этой надежной и неисчерпаемой темы пенсильванских немцев. Обед состоял из весьма внушительного основного блюда и сладкого пирога с мороженым. Джордж и судья запивали еду кофе, а женщины — водой. Но хотя блюд было только два, еды на столе лежала целая гора: мясо, сладкий картофель, картофельное пюре, красная свекла, вареная кукуруза, пюре из репы, луковый соус, петрушка в оливковом масле, клюква и капустный салат. Пока оба мужчины и обе женщины ели, ни о чем другом они не думали и не говорили. У пенсильванских немцев не принято заниматься за столом посторонними разговорами, и молчание никого не смущало. (Расшумевшихся детей спрашивают: «Вы что, есть пришли или языком молоть?» Бывает, что у слишком разговорившегося ребенка отнимают сладкое и отдают более молчаливому соседу. «В другой раз не будешь болтать»,— говорят ему родители.)

После обеда мужчины прошли в кабинет судьи выкурить по сигаре.

— Когда тебе возвращаться в Принстон? — спросил судья.

— Поезд уходит в три десять.

— Пересадка в Рединге, потом в Филадельфии? Во сколько ты там будешь? К ужину?

— Нет, после.

— Тогда мы должны дать тебе чего-нибудь на дорогу.

— Что вы, спасибо. Не надо.

— В воскресные дни с едой плохо, но, конечно, как знаешь. К своим не заедешь повидаться? Правда, все воскресенье мотаться с поезда на поезд — тяжеловато.

— Сегодня дело того стоило.

— Надеюсь. Погорячились мы, но теперь — все.

— Тем не менее мне хотелось бы кое-что сказать вам, господин судья.

— Все о том же? О моем сыне?

— Да, сэр.

— Не надо. Считаю вопрос закрытым и возвращаться к нему не хочу. Никогда. Дал слово.

— Как вам угодно, сэр.

— Когда-нибудь и у тебя будет сын... Нет, больше ничего не скажу. Пусть хоть Лали будет счастлива с тобой — мне и этого достаточно... Ну, Джордж, кажется, едет коляска. Она отвезет тебя на вокзал. Да, она. Чемодан твой уложен? Ах да, ты же без вещей. Весь день в поезде.

— С семи утра. Ну, спасибо вам, господин судья.

— Значит, никаких взаимных обид.

— Никаких, сэр.

Но, возвратившись в Принстон, где он уже не видел перед собой прелестного заплаканного личика Лали, Джордж почувствовал первые уколы сомнения, которые каким-то странным, непонятным образом были связаны с Бесси Фенстермахер. До этого переполненного событиями дня он считал ее тихой, кроткой женщиной, которая во всем послушна мужу, ведет его дом, если и имеет какую-то власть, то лишь

над детьми, да и то — кратковременную. Но в этот день, за какие-то четверть часа, она показала себя в ином свете. Джордж вспомнил, что именно Бесси Фенстермахер предложила «прийти к согласию», а не объявлять о помолвке. В памяти его жила сцена в гостиной и Лали со слезами досады на глазах. Да, это были слезы досады, но чьей досады? Теперь он понимал, почему Лали быстро перевела тогда взгляд на мать и потом не отводила его: она была раздосадована лишь постольку, поскольку была раздосадована мать. В его ушах как бы вновь прозвучали слова Бесси Фенстермахер: «Я-то надеялась, что этот вопрос не всплывет. Дэвид понимает, но судья, я знала, не поймет... Я сама поговорю с судьей». Тихая, кроткая женщина предвидела размолвку. Вероятно, она уже говорила с Дэвидом о его затруднениях со вступлением в клуб и была уверена, что сумеет утихомирить мужа. Тихая, кроткая маленькая женщина, так часто напоминавшая Джорджу Локвуду Лали, верховодит в семье.

Но ведь это же естественно, что мать напоминает дочь, а дочь напоминает мать.

Джордж Локвуд решил пойти прогуляться, однако, выйдя из общежития, понял, что идет не гулять, а проверить, не горит ли в окне Неда О'Берна свет. Как он и ожидал, свет горел.

О'Берн, живший в своей комнате один, сидел в поношенном шерстяном халате в кресле, положив ноги, обутые в домашние ковровые туфли, на подушечку. Он держал перед собой книгу и курил кальян.

— А я тебя вспоминал.

— Что читаешь?

— «Путешествие миссионера по Южной Африке» Дэвида Ливингстона.

— Что же заставило тебя вспомнить обо мне?

— А то, что я был занят своим делом, готовясь к отъезду в Южную Африку, а ты был занят *своим* — в Лебаноне. Итак, ты вернулся. Садись, рассказывай. В верхнем ящике есть сигара. Я приберегал ее себе на утро, но ты бери, кури. Это вынудит меня курить трубку, от которой я тщетно пытаюсь отучить себя.

— Сигара — это хорошо, только спичку дай.

— Коробок справа от тебя, на столе. Что-нибудь не так, старина? По лицу вижу, что не так.

Джордж Локвуд рассказал, как было дело, но о сомнениях, возникших потом, умолчал.

— Ну и хорошо.

— Это все, что ты можешь сказать? — спросил Джордж.

— О нет.

Увы! Я никогда еще не слышал
И не читал — в истории ли, в сказке ль,—
Чтоб гладким был путь истинной любви.
Но — или разница в происхожденье...
Или различье в летах...
Иль выбор близких и друзей...
А если выбор всем хорош — война,
Болезнь иль смерть всегда грозят любви
И делают ее, как звук, мгновенной,
Как тень, летучей и, как сон, короткой.

— Ну и ладно.

— Помолчи...

Как тень, летучей и, как сон, короткой.
Так молния, блеснув во мраке ночи,
Разверзнет гневно небеса и землю,

И раньше, чем воскликнем мы: «Смотри!» —
Ее уже поглотит бездна мрака —
Все яркое так быстро исчезает[1].

Вот теперь я кончил. Прочел тебе весь монолог, а не только процитировал строку насчет истинной любви.

— Весьма тебе благодарен. Очень трогательно.

— Мне кажется, Джордж, что ее мать пользуется в семье большим влиянием. На твоем месте я держался бы ближе к ней. Она может пригодиться. Ясно как день, что она целиком на твоей стороне. Но есть человек, на месте которого я не хотел бы сегодня быть.

— Кто? Судья?

— Девушка. Лали.

— Почему?

— Не знаю, как тебе объяснить.

— Может, у Шекспира и на этот счет что-нибудь сказано?

— Уверен, что сказано, но я не хочу рисоваться. Я просто сочувствую девушке, на чью долю выпал сегодня довольно скверный день. Возможно, тебе захочется дать мне по зубам, Джордж, но, по-моему, ты ее не любишь.

— У меня нет желания бить тебя по зубам.

— Тогда что же ты ей прямо не скажешь, черт побери? Впрочем, нет, не надо.

— Что сказать?

— Это охлаждение, которое ты сегодня испытал,— оно пройдет? Может, тебе лучше переждать день-другой? Ты разговариваешь так, как не разговаривают влюбленные. Будет честнее, если ты положишь этому конец, пока не наделал больших бед. Не надо тебе было приходить ко мне сегодня, право. В таких случаях я почти всегда на стороне женщин, хотя знаю, что они умеют позаботиться сами о себе. Но на этот раз попробую принять твою сторону.

— А ты не становись ни на чью.

— Нет, я все же встану на твою сторону. Душой я с этой девушкой, но женщины в таких вещах мудрее и хитрее нас. Так вот, взгляни на это дело нашими глазами. Предположим, ты порвешь с ней. Если ты ее не любишь, то разрыв будет для нее благом. А если любишь, в чем я сомневаюсь, то сам же в первую очередь и останешься в проигрыше. Почему ты мне не возражаешь, почему не стараешься убедить, что любишь ее? Ты знаешь почему, Джордж. Не можешь заставить себя лгать самому себе.

— Я не знаю, что думать и что предпринять.

— Напиши ей сегодня письмо и положи на ночь себе под подушку. Выскажи все, что думаешь, а утром проверь, сколько в сказанном правды. Знаешь, у нас, католиков, есть способ, от которого я не хотел бы отказываться: исповедь. Сам я после приезда сюда перестал исповедоваться, но знаю, что многим несчастным это помогает жить. Раз в месяц человек выкладывает все священнику и, выйдя из исповедальни, чувствует себя так, словно начал жизнь заново. «Absolvo te»[1],— повторяет этот человек и пятнадцать минут живет в другом мире. До тех пор, пока не наткнется где-нибудь в трамвае на смазливую девчонку. Но теперь уже все его нечистые мысли и желания записываются на новой доске, а не на старой. Очень удобно. И этого мне как раз не хватает.

— Все вы лицемеры.

— Ни секунды в этом не сомневаюсь. Но на пятнадцать минут

---

[1] Шекспир. «Сон в летнюю ночь», акт I, сцена I. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[2] Отпускаю тебе (грехи твои — *лат.*).

мы — самые чистые ангелы. Ни страха, ни забот. Так напишешь письмо, Джордж? Оно поможет тебе узнать кое-что о себе.

— Что именно?

— Не знаю. Сам разберешься. Может оказаться, что твое чувство к этой девушке гораздо глубже, чем ты предполагал. Я считаю себя достаточно умным человеком, но больше всего меня пленяет мой собственный пупок. Между прочим, у Чэтсуорта неприятности. Он тебя искал. Я сказал, что ты уехал на весь день.

— Женщина?

— Девица. В Нью-Брансуике. Он сказал ей, что живет в Рутжерсе, а ее отец выследил его и нашел здесь. Она забеременела. Они требуют тысячу долларов, а Чэт достал лишь около четырехсот. До завтрашнего вечера ему надо собрать всю сумму.

— Так идем к нему. Я могу одолжить ему денег.

— Я дал ему двести — все, что у меня было. Потом отыграю. Сейчас пойдем?

— Конечно.

— Он хотел бы избежать огласки, поэтому решил обратиться к узкому кругу людей. Можешь ты выписать чек на шестьсот — семьсот долларов, чтобы банк выдал по нему наличными?

— Да. Могу и больше, если понадобится.

— Тогда пойдем к Чэту. Холодно на улице?

— Похолодало. Надень пальто. Давно он крутит с этой девицей?

— Говорит, что с осени.

— Я могу сходить в банк утром. И Чэт берет на себя всю ответственность? Откуда он знает, что ребенок от него?

— Мы с ним об этом уже толковали. По его словам, отец не хочет поднимать шума. Девица — не воплощение целомудрия, но она забеременела, а отец ее беден и требует, чтобы Чэт дал денег на воспитание ребенка. Уверяет, что не станет шантажировать.

— Это он говорит, а сам что делает?

— Он знает, что Чэт в июне заканчивает, и боится, что потом только его и видели. Ну, а Чэт берет всю вину на себя. Он ничего не отрицает. Но в Чикаго будет скандал, а если еще и деканат узнает, то ему вообще несдобровать.

— Да. Ну, пошевеливайся.

— Я готов.

В комнате Чэтсуорта горел свет. Они поднялись на второй этаж и постучали. Никто не отозвался.

— Заснул,— предположил О'Берн и осторожно приоткрыл дверь.— Никого нет.

— Погоди,— сказал Джордж Локвуд.— Гардероб.

Дверцы гардероба были настежь открыты, все костюмы и пальто вынуты и кучей лежали на стульях и на кровати. Нед и Джордж вошли и сразу увидели Энсона Чэтсуорта. Шею его перехватывала петля из грязной бельевой веревки, привязанной другим концом к толстой рейке гардероба. На Чэтсуорте были брюки и рубашка без воротничка.

— Матерь божья! — прошептал Нед О'Берн.

— О господи! — воскликнул Джордж.— Как он это сделал?

— Перережь веревку, Джордж,— попросил О'Берн, а сам склонился над корзиной для мусора. Его рвало.

— У меня ножа нет. Он мертв?

— Да, мертв. В этом можно не сомневаться.— О'Берн вытер губы носовым платком.— Не можем же мы вот так его оставить.

— А разве можно его трогать до прихода полиции?

— Э, к черту полицию. Нашел о чем говорить в присутствии... Хочется мне отвязать его, да не могу.— Его снова начало рвать.— Джордж, я пойду за полицией. Ты можешь побыть тут один?

— Иди. Я подожду в холле.

— Ты правда не возражаешь? Если я не выйду сейчас на свежий воздух, у меня опять начнется.

— Иди, Нед. Я побуду в холле. Ты уверен, что он мертв?

— Да, уверен. Мне уже приходилось однажды видеть мертвеца.

О'Берн ушел. Джордж остался ждать в холле и тихо заплакал — уперся локтем в стену, уткнулся лицом в рукав и дал волю слезам.

— Эй, Локвуд! Ты пьян?

Джордж Локвуд стоял в прежней позе.

— Джордж! Что случилось?

Джордж покачал головой. Студент подошел ближе и тронул его за плечо.

— Джордж! Тебе помочь? Что случилось, старина? Ну не плачь, Джордж. Скажи, что с тобой.

— Чэт,— выговорил наконец Джордж Локвуд.

— Что — Чэт?

— Он умер. Не ходи туда,— сказал Джордж Локвуд.

— Чэтсуорт умер? Ты хочешь сказать, что он лежит там мертвый?

Джордж Локвуд перестал плакать.

— Здравствуй, Бендер. Ты видел О'Берна?

— Видел. Внизу. Он куда-то спешил.

— Да. Чэт повесился. Он уже мертв. Мы его обнаружили.

— Чэтсуорт? Я же видел его после ужина. И он мертв? Ты хочешь сказать — он покончил с собой?

— Да. Не ходи туда, Бенсон. То есть Бендер. Я всегда путаю тебя с Бенсоном. Извини.

— Ладно, Джордж. Иди ко мне в комнату и подожди там. Или, если хочешь, я принесу тебе стакан воды. Хочешь?

— Нет, благодарю. Впрочем, хочу. Принеси, а? Пожалуйста. Я и сам не знал, что хочу пить. Стакан воды. А виски не найдется?

— Нет. Я не пью. А я было подумал, что ты пьян.

— Я знаю.

— Пойду принесу воды. Может, тебе станет легче.

— Большое спасибо, Бендер.

Вскоре Бендер вернулся со стаканом воды. С ним вместе пришли О'Берн и полицейский.

— Ну, как ты тут, Джордж? — спросил О'Берн.— Мы еще и врача вызвали, только я уверен, что это бесполезно.

Между тем в холле начали собираться студенты — кто в пижамах, кто в халатах. Полицейский сказал:

— Он безусловно мертв. Где эти двое ребят, что обнаружили его?

— Он хочет с тобой поговорить, Джордж,— сказал Бендер.— С тобой и с О'Берном.

Полицейский был тоже взволнован, но старался не подавать вида.

— Вы оба из этого колледжа, верно? Я встречал вас. Как ваша фамилия?

— О'Берн.

— Локвуд.

— Локвуд и О'Берн. Старший курс?

— Да, сэр,— подтвердил Джордж Локвуд.— Мы оба — с последнего курса.

— А этого беднягу, вы сказали, зовут Чэтсуорт?

— Чэтсуорт. Энсон Чэтсуорт. Он из Чикаго,— сказал Джордж Локвуд.

— Значит, вы оба вошли и увидели, как он тут висит. В котором приблизительно это было часу?

— Меньше часа назад,— ответил Джордж Локвуд.

— Меньше часа назад,— повторил полицейский, не зная, о чем еще спросить.— Вы его соседи по комнате? Хотя нет, здесь только одна кровать. Вы его друзья?

— Да, сэр,— ответил О'Берн.

— Гм. Когда вы его увидели, он не подавал признаков жизни?

— Вот болван. Если бы подавал, так не висел бы здесь,— донесся из толпы чей-то голос.

— Кто это сказал? В участок захотел? — пригрозил полицейский.

— Можем мы вынуть его из петли? — спросил О'Берн.— Или надо, чтобы он продолжал оставаться в таком положении?

Это уже был призыв к действию, и полицейский оживился.

— Я думаю, можно вынуть. Ты, О'Берн! Помоги мне.

— Я не могу!

— Так ведь ты же сам предложил,— сказал полицейский.

— Я не хочу прикасаться к нему.

— Прошу вас, дайте пройти! — потребовал решительным тоном мужчина средних лет, профессор Реймонд Риверкомб с кафедры английского языка.— Идите в свои комнаты, мальчики.— Но, произнеся эти слова, он не стал больше настаивать, так что никто не ушел. — О'Берн, Локвуд. Это вы его обнаружили?

— Да, сэр.

Риверкомб вошел в комнату.

— Боже мой! Давайте вынем его из петли, так же нельзя. Хотя бы приличия ради. Надо же. Какой ужас! Констебль, можете вы перерезать веревку?

— Я это и собирался сделать, но надо, чтобы кто-нибудь подхватил труп.

— Я помогу,— сказал Риверкомб.— Локвуд, вы станьте слева, я — справа. Констебль, режьте веревку, а мы с Локвудом отнесем его на кровать. Боже мой, боже мой!

Джордж Локвуд содрогнулся, прикоснувшись к телу своего друга, но овладел собой, и они вдвоем с профессором положили Чэтсуорта на кровать.

— Прикройте его,— распорядился Риверкомб.— Кого-то здесь тошнило.

— Меня,— сказал О'Берн.

— Ничего удивительного, однако давайте откроем окно. Что нам делать теперь, констебль? Что требуется по закону?

— Я послал за доктором Перри.

— Он может не торопиться,— сказал Риверкомб.— Пользы от него — никакой, как, впрочем, и от любого другого врача.

— Пожалуй, я запишу несколько фамилий свидетелей, а потом извещу морг.

— Запишите О'Берна, меня и Бендера,— сказал Джордж Локвуд.— Мы пришли сюда первыми.

— Насколько *вам* известно,— сказал полицейский.

— Вы только послушайте, что он говорит,— сказал тот же насмешливый голос из толпы.— «Насколько *вам* известно»!

— Я тебя уже предупреждал,— огрызнулся полицейский.— На арест напрашиваешься.

— Замолчите там,— потребовал Риверкомб.— Будьте элементарно вежливы. А вы, констебль, не забывайте, что находитесь на территории университета.

— Я знаю, зачем меня сюда прислали, профессор, и не забываю об этом.

— Ну ладно, ладно,— сказал Риверкомб.— Что нам делать? Запереть комнату до приезда кареты? Вы, ребята, не нашли никакой записки или письма?

— Мне не пришло в голову посмотреть,— ответил Джордж Локвуд.

— И мне тоже,— сказал О'Берн.

— Письмо должно быть,— сказал полицейский.— Обычно оставляют. Хотя не всегда. У женщин это больше принято — у тех, кто умеет читать и писать. Если кто найдет письмо, дайте сразу мне.

— Сейчас искать? — спросил Джордж Локвуд.

— Конечно, сейчас. Я обыщу карманы его брюк, а вы, профессор, осмотрите ящики стола.

Искали вчетвером, но никакого письма не оказалось.

— Локвуд, О'Берн, нет смысла вам здесь околачиваться. Идите к себе и попытайтесь заснуть. Власти известят, если захотят вас видеть. Для дознания, я полагаю. Я побуду здесь до прибытия кареты. Это, кажется, все, что мы можем сегодня сделать.

— Как быть с его семьей, профессор? — спросил О'Берн.

— Об этом я позабочусь. Мы позаботимся. Пошлем телеграмму, как только что-нибудь выясним. Доброй ночи, ребята.

— Доброй ночи, сэр.

Выйдя на холод, друзья Энсона Чэтсуорта побродили бесцельно среди голых вязов, потом О'Берн спросил:

— Хочешь, пойдем ко мне?

— Пойдем,— ответил Джордж Локвуд. Он жил вместе с двумя студентами, Льюисом и Лумисом, но те не были его друзьями: хотя они делили общую комнату, близости между ними не создалось.— Вряд ли мне удастся заснуть сегодня, а тебе?

— Можешь устроиться в кресле с откидной спинкой. Ты должен поспать, Джордж. Чертовски трудный день выпал тебе сегодня.

Войдя к О'Берну в комнату, Джордж спросил:

— Ты, Нед, когда-нибудь пошел бы на это?

— То есть сделал ли бы я то, что Чэт? Я думал об этом. Вешаться не стал бы. Потому, наверно, что Иуда Искариот удавился.

— У меня был друг в школе святого Варфоломея. Его отец дружил с моим отцом. Он покончил с собой выстрелом в голову. Думаю, если я буду кончать с собой, то выстрелом в сердце или приму яд. Вешаться тоже не стану. Особенно после сегодняшнего вечера. Вид у него был ужасный. Нельзя так выглядеть.

— Он же не думал о том, какой у него будет вид.

— А я буду думать. А ты? Говорят, что, когда пуля попадает в мозг...

— Знаю, знаю.

— Нет, мне не безразлично, как я буду выглядеть. Надо, чтобы люди потом не шарахались от меня.

— Наверно, ты прав. Поэтому я и полагаю, что ни ты, ни я этого не сделаем. Да, Чэт оказался слаб.

— Но он был не глуп.

— Конечно. Только он не привык волноваться, не умел относиться к жизни так, как относимся мы с тобой. Не привык к невзгодам, поэтому попал в беду — и сразу сломался.

— Так оно, наверно, и было.

— Слышишь? Часы бьют полночь.

— Ага. Сутки кончились. Наступил понедельник. Начало недели. Но не для Чэта.

— Да, не для Чэта. Для него все кончилось.
— Ну и устал же я, черт возьми.
— Спи. Не борись со сном. Спи, Джордж.
— Попробую.
Когда О'Берн накрывал его одеялом, он уже спал.
На дознании их долго не продержали и вообще обошлись с ними вежливо, поэтому Джордж удивился, когда О'Берн, выходя из ратуши, сказал:
— Черт! Как я рад, что мы оттуда выбрались.
— Это было легче, чем я ожидал.
О'Берн осмотрелся вокруг и сказал:
— Вот что я получил по почте во вторник, уже после смерти Чэта. В конверт были вложены и те двести долларов, что я одолжил ему в субботу. Читай.

> «Нед! Все ни к чему. Даже если я и достану денег, на этом мои беды не кончатся. После позора, который я навлек на своих близких, я не смогу смотреть им в глаза. Спасибо тебе за то, что ты был настоящим и верным другом. Прощай.— *Э. Ч.*»

Они стояли под уличным фонарем. Прочтя записку, Джордж Локвуд вернул ее О'Берну.
— Не знаю, хранить ее или сжечь. В некотором роде это — документ,— сказал О'Берн.
— Да, но они вынесли вердикт, единственно возможный по этому делу. Чэт повесился в состоянии умопомрачения — так, кажется, они это сформулировали. Ты поступил правильно, Нед. Если бы ты показал им записку, они засыпали бы тебя вопросами. Лучше дать этому делу заглохнуть.
— Да, если отец девушки будет молчать.
— Теперь уже нет смысла поднимать шум.
— А родные Чэта?
— Чикаго далеко от Нью-Брансуика. Я не допускаю, что он будет скандалить. Какой смысл? Если даже он приедет в Чикаго, родные Чэта ему не поверят. И в судах такие дела не разбирают.
— Жаль, что я не знаю фамилии этой девицы.
— А что бы ты сделал?
— Может, ничего бы не сделал, а все же нехорошо получилось. Представь себе: мы с тобой — единственные, кто знает, почему Чэт пошел на такой шаг.
— И слава богу. Пусть так и останется.
— Хорошо. Поклянемся? Торжественно клянусь, что я никогда не разглашу того, что знаю о смерти Энсона Чэтсуорта.
— Торжественно клянусь поступить так же,— сказал Джордж Локвуд.
Их верность клятве подверглась проверке на следующий же день: обоих вызвали к профессору Риверкомбу.
— Локвуд, через несколько дней здесь будет мистер Чэтсуорт. Он потребует сведений. Считаете ли вы нужным что-либо мне сообщить?
— Нет, сэр.
— Совсем ничего? Я уверен, что вы знаете больше того, что показали на дознании.
— Почему вы так уверены, сэр?
— Не отвечайте мне вопросом на вопрос. Вы же знаете, почему Энсон покончил с собой.
— Мне нечего сказать, сэр.

— Что ж, угрожать я не собираюсь. Но на дознании вы принесли присягу.

— Они просили меня рассказать лишь то, что я видел.

— И говорить всю правду, только правду и так далее. Вы уклоняетесь от ответа, Локвуд.

— Вы можете иметь свое мнение сэр. Но меня не было здесь все воскресенье. Я уезжал в Лебанон, штат Пенсильвания. Последний раз я видел Чэтсуорта в пятницу.

— Не начинайте доказывать свое алиби, Локвуд. Я ведь хочу лишь знать, можете ли вы сообщить семье Чэтсуорта что-либо утешительное.

— Нет, сэр, не могу.

— Из этого следует, что нечто *неутешительное* вы могли бы сказать. Ну, ладно. Можете идти.

— Благодарю вас, профессор.— Джордж Локвуд встал и направился к выходу.

— Локвуд,— остановил его Риверкомб.

— Сэр?

— На прошлой неделе у меня был один посетитель. Из Нью-Брансуика.

— Да, сэр? Из Рутжерса?

— Вы же знаете, что не из Рутжерса. Очень приличный человек. Рабочий. И приезжал он сюда на свои деньги. Он сказал, что хотел видеть Чэтсуорта. И даже сообщил мне зачем.

— Сообщил?

— Да. Я хочу, чтобы вы и О'Берн знали, что когда сюда приедет мистер Чэтсуорт, я расскажу ему об этом посетителе; все дальнейшее будет зависеть от мистера Чэтсуорта. Никакой официальной позиции мы в этом деле занимать не намерены. Чэтсуорта нет в живых. Но я хочу сказать вам с О'Берном, что лично я — в данном случае я говорю неофициально, от своего имени — не могу не восхищаться вашей верностью другу. Желаю вам оставаться такими и впредь, когда покинете Принстон.

— Попытаюсь, сэр. Благодарю вас.

Джордж Локвуд и Нед О'Берн сопоставили сказанное профессором Риверкомбом. Выяснилось, что обе беседы были почти одинаковы.

— Я спросил у него фамилию того человека из Нью-Брансуика,— сказал О'Берн.

— И что?

— Он ответил, что это не мое дело. По-моему, он прав.

— У меня нет желания ее знать.

— Да и у меня теперь нет.

■

Смерть Энсона Чэтсуорта отвлекла молодых влюбленных от неприятных воспоминаний о размолвке Джорджа с судьей. Лали была исполнена сочувствия и выражала его горячо, даже, пожалуй, чрезмерно: в письмах, которые она присылала ему по три раза в неделю в течение двух недель после самоубийства Чэта, она не упоминала ни об отце, ни о брате, ни о своих переживаниях, вызванных вспышкой отца. Вместе этого она писала о грустных чувствах, навеваемых смертью, о мистике самоубийства, о приближении весны, новой жизни и новых надежд. Первое такое письмо его обрадовало, но остальные показались надуманными, неискренними, продиктованными расчетом, и Джордж целых пять дней не мог заставить себя ответить. ей. Встревоженная его молчанием, она решилась послать ему телеграмму:

«ОБЕСПОКОЕНА ОТСУТСТВИЕМ ПИСЕМ НАДЕЮСЬ ВСЕ ХОРОШО ЦЕЛУЮ».

Он показал телеграмму О'Берну и объяснил ситуацию. О'Берн покрутил головой.

— Извини, Джордж. Я не хочу ничего говорить.

— Я не прошу совета,— сказал Джордж Локвуд.

— Нет просишь. А я не хочу советовать.

— Я просто поговорить хотел.

— Ты хочешь заставить меня высказаться. Лучше не надо. Что бы я ни сказал, все будет не то. Это — твоя проблема. Напиши письмо, несколько писем. Полдюжины. И не показывай мне. Выбери то, которое выражает твои мысли и чувства, и отправь заказной почтой. Несколько лишних пенни не разорят тебя.

— Ты подразумеваешь, что я скуп?

— Не подразумеваю, а намекаю — слово должно быть тебе известно из латыни, которой тебя учили в школе святого Варфоломея.

— Ну хорошо: намекаешь. Ты намекаешь, что я скуп?

— Да уж нельзя сказать, чтобы ты прикуривал свои сигары от десятидолларовых банкнот. В последнее время.

— Так ведь и я что-то не вижу у тебя в руках десятидолларовых бумажек. С тех пор как умер Чэт.

О'Берн вскочил на ноги, но Джордж даже на этот сигнал опасности не отреагировал достаточно быстро, чтобы отвести от себя удар: О'Берн двинул его по верхней губе и носу, так что у него искры из глаз посыпались.

— Только мерзавец способен на такие слова,— сказал О'Берн.— Приготовься к бою.

— Я же побью тебя, О'Берн. Но все равно, мне не следовало этого говорить.

— Ты выше меня, а дерешься не лучше. Я хочу проучить тебя.

— Не выйдет.

Джордж Локвуд, будучи выше ростом и обладая, по крайней мере, такой же силой, обхватил О'Берна, прижал его руки к бокам и швырнул на кровать. Затем вышел из комнаты. Платок, которым он зажал нос, был пропитан кровью.

Час спустя через открытое окно он услышал голос О'Берна:

— Локвуд! Я хочу поговорить с тобой.

— Иди вниз и там разговаривай,— попросил Льюис, один из соседей Джорджа по комнате.— Нам заниматься надо.

О'Берн стоял внизу, в вестибюле, освещенном лампой.

— Принес твою телеграмму. И вместе с ней — свои извинения.

— Мы оба вели себя не лучшим образом,— сказал Джордж Локвуд.

— Ты затронул мое больное место, не зная, что у меня оно есть.

— Тебе нужны деньги?

— Нет. Пошли прогуляемся, я скажу тебе кое-что.— Они направились в сторону Кингстона. Первые несколько минут оба шли молча.— Я ударил тебя, потому что правда глаза колет. Я не разорен. Но я рассчитывал на карты, чтобы поехать в Африку. Следовало бы мне знать, что нельзя на это рассчитывать.

— Но ведь есть еще Дейвенпорт.

— Есть Дейвенпорт и есть богатый студент второго курса, которого перевели к нам из университета штата Огайо. Но я не хочу больше играть. Сегодня как раз будет игра, которая, я уверен, принесла бы мне выигрыш. Можешь назвать меня болтуном, но я в этом уверен. Да только я потерял интерес к картам. С тех пор как умер Чэт, я не хочу

играть. С ним мне нравилось играть. Денег у него было вдоволь, я выигрывал, и мы великолепно проводили время.

— Ты винишь себя за то, что в тот день у него не оказалось достаточно денег?

— Нет. Не в этом дело. У тебя же были в банке деньги, и мы шли к нему предложить свою помощь.

— Верно.

— Нет, за это я не виню себя. Просто карты перестали меня интересовать. Если бы я сейчас сел за стол и увидел колоду карт и стопку фишек, то, боюсь, мне стало бы не по себе. Мне кажется, я никогда не захочу больше играть в карты. В рулетку — другое дело. Я ведь игрок по натуре и отказаться от этого не смогу. Но в карты — не хочу. Беда в том, что из всех азартных игр я хорошо играю только в карты.

— Сколько тебе нужно денег, чтобы поехать в Африку?

О'Берн покачал головой.

— Нет, Джордж, благодарю. Не поеду я в Африку. Тут одно было связано с другим, понимаешь? Чэт. Покер. Африка. Составные части единого плана быстрого обогащения.

— Да, план мне понятен.

— Ты знаешь, мне нравится этот чертов Принстон. После того как я четыре года оплевывал его, я обнаружил, что мне жаль с ним расставаться. Такое же чувство я испытываю и в отношении Ирландии. Разница лишь в том, что туда-то я обязательно поеду снова.

— Ты и сюда приедешь.

— Нет. Но даже если и приеду, что от этого изменится? С Ирландией я связан навсегда. А Принстон — это лишь четыре года моей жизни, и больше ничего. Ирландия — другое дело. Даже если бы я там никогда не был, все равно эта страна что-то значила бы для меня. Ирландия заменяет мне церковь, от которой я отрекся, заменяет мать, которая мне докучает, и песни, которых я не написал, хотя и слагал в уме.

— Жаль, что у меня нет ничего такого возвышенного.

— Может, оно и есть, только ты не отдаешь себе в этом отчета.

— Нет. У отца, возможно, есть какая-то маленькая цель, а у меня — нет.

— Что ж, можно прожить и без нее, только лично я не хотел бы. Но у тебя, по-моему, есть нечто другое.

— Ты действительно так считаешь, Нед?

— Ты плакал, когда умер Чэт. Это я видел и знаю, что бедняга Бендер до сих пор помнит, как ты ревел. Его глаза наполняются слезами, когда он об этом вспоминает.

— О'Берн!

— Что, Локвуд?

— Мой дед убил двух человек. За одно из убийств его судили.

— Впервые об этом слышу.

— Знаю. Так что я не тот, за кого ты меня принимаешь.

— То есть ты не из родовитых?

— Нет.

— Это мне кое-что объясняет.

— Что именно?

— Ну, некоторую неуверенность, что ли.

— Например?

— Трудно иллюстрировать это примерами, но раз уж ты об этом сказал, то могу сознаться: я замечал, что ты не всегда так уверен в себе, как тебе полагалось бы. В большинстве случаев эта уверенность в тебе чувствовалась, но не всегда. Хоть я и не очень люблю Харборда, но он всегда убежден в том, что поступает правильно. Раз

он что-то делает, значит так и надо. Если у тебя родится сын, он, вероятно, будет так же уверен в себе, как и Харборд. Ты сам чувствуешь себя уверенней отца, правда?

— О да. Намного.

— А твой дед? Тот, что убил двух человек?

— Думаю, он был очень уверен в себе.

— Верно. Не сомневаюсь, что ему было безразлично, что о нем думают.

— Абсолютно.

— У вас сильный род, и ты привык к деньгам. Твой сын будет аристократом. Тебе придется женить его на итальянке или на испанке, чтобы избежать брака с родней.

— Может, мне и самому надо жениться на итальянке.

— Пора нам поворачивать, Джордж.

— Пожалуй, да.

Им стало весело, и они засмеялись.

■

Гарвей Фенстермахер, или Гарвей Стоунбрейкер Фенстермахер, если называть его полным именем, гордился двумя своими достоинствами: он был хозяином своего слова и не любил лицемерия. Гордился он еще и тем, что слыл добрым христианином, добрым масоном, добрым членом «Сигмы Эты», выходцем из семейства, много лет проживающего в долине Лебанона, беспристрастным судьей, богобоязненным прихожанином протестантской церкви, недурным стрелком, расчетливым банкиром, любителем чистопородных голландских коров, знатоком рысистых лошадей, обладателем приятного баритона и настоящим семьянином. И вот теперь он вынужден был отступать от своих принципов — верности слову, искренности, приверженности семье,— и это беспокоило Гарвея.

Ему не нравилось, какой оборот принимали отношения его дочери с Джорджем Локвудом. Частенько ему просто трудно было свыкнуться с мыслью, что Лали ничем не отличается от своей матери, что она тоже женщина. В женственности самой Бесси Фенстермахер сомневаться не приходилось: доказательством тому служило не только наличие детей, но и то обстоятельство, что за долгие годы супружеской жизни Бесси проявила себя удивительно требовательной в любви. Когда они только что поженились, Бесси была другой — такой же, как все девушки из хороших семей. Так было сперва, потом она, конечно, быстро освоилась. Гарвей Фенстермахер полагал, что с Лали произойдет такая же перемена, что она женственна и, как только выйдет замуж, наверно, станет похожа на мать. Но Гарвей Фенстермахер не любил об этом размышлять и потому не очень задумывался. Он предпочитал видеть Лали такою, какой она была в пятнадцать лет — с косичками и в матросском костюмчике, когда она не интересовалась еще мальчиками и не интересовала их сама. Впрочем, не в пятнадцать. В двенадцать. В пятнадцать лет, как сообщила ему однажды Бесси, Лали уже достигла зрелости. И зачем только дети так быстро растут и развиваются? Но они растут, такова природа.

Когда Бесси подала Лали и Джорджу Локвуду мысль о том, чтобы ограничиться уговором, не объявляя о помолвке, Гарвей Фенстермахер не очень возражал, думая, что это его мало касается. Уговор может остаться навсегда (хотя Гарвей должен был бы знать, что это не так) или быть расторгнутым через несколько недель. Вреда от таких уговоров не бывает, если родители проявляют должную бдительность, а в этом отношении Гарвей вполне полагался на жену. Но вот кончилось

рождество, и Гарвею Фенстермахеру неожиданно напомнили о том, к чему в конце концов такой уговор должен привести. В своей судебной практике он умел затягивать дела, придумывая для своего помощника-юриста дополнительные задания по выяснению тех или иных обстоятельств, но в семейной жизни это оказалось сложнее. Бесси давила на него, требуя согласия на помолвку. Она желала выдать Лали замуж за сына Локвуда и не хотела, чтобы Гарвей этому мешал.

— Мы же его плохо знаем,— жаловался Гарвей.

— *Мы,* может быть, и плохо знаем, но *я* знаю его достаточно. Я наводила о нем справки. Можешь держать пари на что угодно: он не хуже тех, что живут в Лебаноне, если не лучше. У его отца капитал в несколько миллионов, а мать — из рихтервиллских Хоффнеров. Не вмешивайся, Гарвей, и не ломай счастья Лали.

— Я не имею ничего против этого парня, но к чему такая спешка?

— Какая спешка? — удивилась Бесси.— Спешка была летом, когда я предложила им уговориться и подождать. Теперь срок соглашения истек, пришло время помолвки. Такие парни, как Джордж Локвуд,— не груши, их не стряхнешь с дерева, когда тебе захочется. Ты бы слышал, как о нем отзывается Дэвид. Он говорит, что Лали здорово повезло. Дэвид почитает за честь, если Джордж Локвуд уделяет ему внимание,— вот как высоко он его ценит.

— Если они так дружны, то, может быть, он сделает что-нибудь для Дэвида?

— Не примешивай сюда свою политику, Гарвей. Не фокусничай. Дай Лали обручиться и выйти замуж.

Ну что ж, если Бесси так настроена, он не станет перечить. Временами она бывает очень непримиримой, так что если Лали готова к замужеству, то пусть ее мать и берет на себя всю ответственность. В некотором смысле он уже распрощался с Лали, когда ей было пятнадцать лет. Или двенадцать. Сказать по правде, он не знает эту молодую женщину, утверждающую, что она любит Локвуда. Пусть выходит замуж, уезжает и потом народит ему внуков. Внуки — дело хорошее. Они забавны, эти карапузы.

Так обстояло дело до того дня, когда Джордж Локвуд пришел официально просить руки Лали. Гарвей Фенстермахер старался быть покладистым, старался как только мог, но Локвуд погладил его против шерсти, что неизбежно привело к ссоре из-за Дэвида и его членства в принстонском клубе. Однако ссора могла произойти и по любому другому поводу, и Гарвей, честно признавшись себе в этом, встревожился.

Он сделал вид, что ничего не произошло, но чувствовал себя лицемером, жалким человеком. Дело в том, что Гарвей задался целью помешать Локвуду жениться на Лали.

К концу второй недели после того воскресенья, когда произошла ссора, у Гарвея Фенстермахера были уже все нужные оправдания, а сладость победы над Бесси придала этим оправданиям еще больше силы. Бесси, сама того не сознавая, дала ему в руки оружие — оно оказалось тут, в Лебаноне.

Возвращаясь из суда домой, Гарвей Фенстермахер всегда шел той улицей, где находилась кондитерская и кафе-мороженое Вика Хоффнера. Иногда он заворачивал туда купить брикет мороженого или коробку конфет. Торговля Вика шла хорошо, и хотя он считался добрым масоном и богобоязненным прихожанином протестантской церкви, в доме Фенстермахера не бывал.

— Добрый день, Вик.

— Добрый день, судья. Полфунта миндаля, фунт шоколадной нуги. На день раньше сегодня. В воскресенье гости?

— Угу. Гости. Можешь уделить мне минутку, Вик? — У них вошло в обычай беседовать с глазу на глаз о масонских и церковных делах. Они прошли в глубь лавки и уселись в плетеные кресла.

— Здесь нам никто не помешает,— сказал Хоффнер.

— Ты состоишь в родстве с семейством Локвудов, что живут в округе Лантененго? — спросил Фенстермахер.

— В дальнем. Только в дальнем. Я знаю семейство, которое ты имеешь в виду. Видел я этого парня, что приезжал к Лали. Его мать — из рихтервиллских Хоффнеров. Аделаидой зовут. Ее отец и я — двоюродные братья. Муж ее — Авраам Локвуд. Я был на их свадьбе. Они поженились, точно не помню, лет двадцать пять назад.

— Расскажи мне про них все, что можешь.

— Ну что тебе сказать?.. У Леви Хоффнера, моего двоюродного брата, было шестеро детей, и он был человек состоятельный. Не помню, чтобы он очень радовался, когда Аделаида выходила за Локвуда замуж, как бы тот ни был богат. Ну что еще... Ах, да! Отец Авраама Локвуда был родом... точно не помню откуда. Знал, но забыл. Одним словом, отец Авраама Локвуда убил какого-то парня. Средь бела дня.

— Убил парня?

— Застрелил. И попал под суд. В архивах Гиббсвилла должны быть материалы. Ведь в Гиббсвилле — вся администрация округа Лантененго, так?

— Да. В тех местах можно всего ожидать. И меня это не удивляет.

— Меня тоже. Там в шахтерских поселках убивают после каждой получки. Так вот: Локвуд остался на свободе, но потом убил еще одного человека. Хотя нет! Все наоборот. Когда он убил первого, этого не могли доказать. Кажется, Леви так рассказывал. А после второго убийства его потащили в суд. Но он сумел выкрутиться.

— Это был отец Авраама Локвуда? Дед того парня, что приезжал к Лали?

— Точно, но это еще не все. Было и другое, чего Аделаида до свадьбы не знала. Дай немного подумать... Ну да! Сам-то Авраам Локвуд — ничего, а вот его мать была вроде ненормальной. И сестры тоже. От сестер им пришлось избавляться. Ну да! Теперь вспомнил. Одну из сестер отправили в сумасшедший дом, а другую держали дома, пока не сыграли свадьбу.

— А мать?

— О ней кого-нибудь еще расспроси, Гарвей. Про нее я плохо помню. Знаю только, что она была малость не в себе. Это говорят так, когда у человека с головой не в порядке.

Гарвей Фенстермахер кивнул.

— Жена твоя об этом знает?

— Нет. Тогда я еще не был женат, а потом о Локвудах как-то разговор не заходил.

— Ну, раз до сих пор ничего не знает...

— Я же не сплетник, Гарвей. Так что не волнуйся.

Для того чтобы добыть в судебных архивах округа Лантененго нужные материалы, требовалось много времени. К тому же Гарвею Фенстермахеру не очень-то и хотелось посылать своего доверенного юриста за сведениями о человеке, который собирался стать его зятем. Да и зачем? Официальные документы ему не нужны. Достаточно и того, что ему сообщил Вик Хоффнер. Цель уже достигнута. Он сел в поезд, доехал до Рединга, а оттуда отправился в Шведскую Гавань.

Контора Авраама Локвуда помещалась в небольшом одноэтажном кирпичном здании в деловой части Шведской Гавани. На парадной двери висела медная табличка, окна были занавешены темно-

зелеными шторами на кольцах, которые свободно передвигались по медным карнизам, скрывая от взоров пешеходов внутренность помещения. Надпись на табличке гласила: «Локвуд и К°. Осн. в 1835 году». Вход выглядел весьма внушительно. Посетители, открыв дверь, оказывались перед загородкой из полированного орехового дерева, напоминавшей о том, что без доклада входить не полагается.

— Я хочу видеть мистера Авраама Локвуда,— сказал Гарвей.— Вот моя визитная карточка.

Женщина средних лет в блузке и юбке, с часами в виде броши и в клеенчатых нарукавниках прочла: «Судья Гарвей Фенстермахер, Лебанон, Пенсильвания».

— Будьте любезны присесть, господин судья.

— Благодарю, я постою.

Женщина прошла в кабинет, и Гарвей через открытую дверь увидел за бюро мужчину, который взял карточку, взглянул на нее и поднялся навстречу гостю, приглашая его войти.

— Доброе утро, судья Фенстермахер.

Авраам Локвуд был высокий худой человек франтоватого вида в обычном сюртуке — только светло-серого цвета и с отворотами, отделанными атласом, широкий галстук скрепляла золотая булавка в виде вопросительного знака, а к борту был приколот значок студенческой общины в виде греческой буквы. Локвуд, все еще продолжая держаться за дверную ручку, указал Фенстермахеру на стул. То ли случайно, то ли нарочно он не протянул ему руки.

— Доброе утро, сэр,— ответил Гарвей и стал ждать, когда сядет Локвуд. Он заметил, что Локвуд, перед тем как сесть, откинул полу сюртука.

— Могу я предложить вам сигару, судья?

— Нет, спасибо, так рано я не курю.

— Приехали сегодня на весь день? Я, разумеется, слышал о вас от моего сына Джорджа.

— Именно о Джордже я и хотел с вами говорить.

— Это меня не удивляет, судья. Кажется, отношения у наших молодых людей разворачиваются довольно быстро. Позавчера миссис Локвуд получила от Джорджа письмо.

— О чем?

— О том, что он сделал вашей дочери предложение и получил согласие.

— Вы узнали об этом только из его письма?

— Нет. Что было до того, я тоже знал. Нынешняя молодежь, кажется, смелее берется решать свою судьбу, чем мы когда-то.

— Кто смелее, а кто — нет.

— Возможно, вы правы. Во всяком случае, Джордж — смелее. Я всегда приучал его быть самостоятельным, и он ведет себя соответственно. В некотором смысле это облегчает мое положение: когда я натягиваю вожжи, он уже знает, что не шучу, поэтому не перечит. Мне не часто приходится дважды говорить ему одно и то же.

— Понимаю. Значит, все может обойтись без осложнений. Моя дочь тоже приучена подчиняться, но мы добились этого не таким способом, как вы. Мы каждый день указывали ей, что надо делать.

— Что ж, у вас свой способ, у нас — свой, и оба они себя оправдывают.— Локвуд вдруг наклонился к собеседнику.— Вопрос в том, судья, что вы имели в виду, когда говорили, что все может обойтись без осложнений.

— А вы догадливы, мистер Локвуд.

— У деятеля юстиции не так много свободного времени, чтобы

тратить его на праздные визиты к бизнесмену, живущему в шестидесяти милях от него. Догадлив? Да, мой отец наделил меня здравомыслием.

— А еще чем, если не считать денег?

— Чем еще наделил? Вы это хотели узнать, когда ехали ко мне?

— Отчасти.

Авраам Локвуд поднялся со стула и встал у окна.

— Вы не любите догадливых людей, не так ли, судья?

— Не люблю.

— Очень хорошо. Ну, раз вы назвали меня догадливым, то мне терять нечего. Стало быть, я догадлив. Вы хотите поломать этот брак, потому что копались в прошлом нашей семьи? — Он повернулся лицом к Фенстермахеру.— Хорошо, я его поломаю.

— Как?

— А это уже не ваше собачье дело, судья. Ваше дело — ехать обратно в свой вонючий курятник и кукарекать там.

— Не смей так со мной разговаривать, ты...

— А что ты сделаешь? Оштрафуешь за оскорбление суда? Убирайся отсюда, пока не получил под зад коленом, кретин. Немецкий ублюдок. Не подходи близко, не то раскрою тебе череп.— Локвуд достал из камина кочергу и замахнулся.

— На совести вашей семьи уже есть два убийства,— сказал Гарвей Фенстермахер.— Я узнал то, что хотел.— Он погрозил Локвуду кулаком.— Попробуй покажись теперь в Лебаноне.

С этими словами он вышел.

■

— Ты никогда не добьешься от своего старика правды,— сказал О'Берн.— И Лали от своего — тоже. Но ссору, очевидно, затеял судья Фенстермахер. Ведь это он ездил в Шведскую Гавань, а не твой старик — в Лебанон.

— Мой отец достаточно хитер. При желании он мог бы обвести судью вокруг пальца, да вряд ли у него такое желание было.

— Вот как? Ты полагаешь, что старик сам был против этого брака? Почему?

— О, он хитрый, мой старик,— сказал Джордж Локвуд.— Он ни с кем не делится своими мыслями и никому не объясняет своих поступков.

О'Берн с удивлением взглянул на друга: за четыре года их знакомства это был первый случай, когда Джордж Локвуд говорил о комлибо со столь простодушным восхищением. Он хотел было сыронизировать, но, подумав, промолчал.

■

Агнесса Уинн не принадлежала к основной ветви Уиннов, к которой относился Томас Уинн, но, будучи его двоюродной племянницей и единственной из живых представительниц своего поколения в семье, пользовалась благами и гарантиями, которые выпадали на ее долю благодаря этому родству. Ее отцу всегда было обеспечено в угольной компании Уиннов место, не требовавшее специальных знаний по части угледобычи: на одной из шахт он служил кассиром, на другой — агентом по снабжению, а потом был назначен помощником управляющего наземными службами. Ему не было еще и тридцати лет, когда он понял, что фамилия Уинн, обеспечивая ему работу, в то же время не позволяет пользоваться полным доверием сослуживцев. Конечно,

хозяева угольной компании вовсе не обязательно должны вербовать шпиков из числа своих родственников, и все же люди, с которыми приходилось сталкиваться этому мягкому, добродушному человеку, хоть и не относились к нему враждебно, но не могли забыть, что он — один из Уиннов. Такое отношение к нему еще было понятно, когда он имел дело непосредственно с людьми физического труда, но оно существенно не изменилось и после того, как он стал помощником управляющего. Секретарь любого управляющего знал о делах шахты больше, чем помощник управляющего Терон Б. Уинн, двоюродный брат старика Тома. Но деваться ему было некуда, и он это знал, поэтому он проводил время за рыбной ловлей на дамбе или в каком-нибудь другом месте, где не загрязнена вода, или занимался живописью, изображая на своих полотнах забои и угольные отвалы, а раза два в год ездил в Уилкс-Барре или Гиббсвилл, где устраивал многодневные попойки. Фамилия Уинн давала ему то преимущество, что он мог отлучаться на несколько дней по личным делам, заранее предупредив об этом своего начальника. Его не считали незаменимым работником, поэтому никаких вопросов в таких случаях не задавали. Возвращаясь домой, он всегда привозил жене и дочери Агнессе хорошие подарки, и Бесси Уинн благодарила бога за то, что этот отчаявшийся тщедушный человек, неуклюже старавшийся понравиться людям, оставался цел и невредим. Он признался Бесси, и только ей, что в бытность свою студентом мечтал стать миссионером, однако из этого ничего не получилось, поскольку старший двоюродный брат, дававший ему деньги на образование, хотел, чтобы он служил в угольной компании Уиннов. Но он не оправдал надежд своего брата Тома: еще в колледже врач сказал ему, что он не сможет работать под землей и потому должен отказаться от мысли стать горным инженером.

Агнесса уже достигла шестнадцатилетнего возраста, когда дядя Том хорошенько разглядел ее, как он выразился, и то, что он увидел, пришлось ему по вкусу.

— Ты знаешь, Терон, на кого похожа эта девочка? Она похожа на тетю Агнессу.

— Недаром же мы назвали ее тем же именем.

— Так вот, девочка, ты похожа на свою бабушку. Жаль, что ты никогда ее не видала. Помнишь мать Терона, Бесси?

— Конечно. Но я боялась испортить ее напоминанием о сходстве с бабушкой. Как бы это не вскружило ей голову.

— Не вскружит. Верно, девочка? Я вижу, ты умница. Симпатичная молодая леди. Где она учится, Бесси?

— Здесь. В школе второй ступени в Хиллтопе.

— Понятно. Что ты там изучаешь, барышня?

— В котором классе? У нас четырехлетка. Я в третьем классе.

— Одобряю. А в пансион не предполагаешь ее отдать, Терон?

— Возможно. Когда кончит школу.

— Ты, барышня, так и не сказала, какие предметы изучаешь.

— Обычный четырехлетний курс. В этом году — геометрию. Обычную геометрию. Латынь — то есть Цицерона. Английский. Французский — его мы только в этом году начали. Гражданское право по программе средней школы. И рисование.

— Тяжеловато, а? Успеваешь?

— Да, сэр,— ответила девушка.

— А ты скажи дяде,— обратился Терон Уинн к дочери.— Среди девочек она самая успевающая. А по латыни и французскому впереди всего класса — и мальчиков, и девочек.

— А поведение? Об этом, я думаю, и спрашивать нечего.

— Кажется, все в порядке,— сказала Агнесса.

— Ну скажи, скажи, он хочет знать,— опять вставил отец.— И по поведению у нее самая высокая оценка. За все годы.

— Я так и думал. Видно по ней. Советую тебе, Терон, и тебе, Бесси, не ждать, пока она закончит школу, а отправить ее в пансион. Барышня, извинись и выйди. Я хочу поговорить с твоими родителями. Хорошо?

— Да, сэр. Извините.— Агнесса вышла.

— Вы понимаете, что она — единственная из рода Уиннов в этом возрасте? Я хочу для нее кое-что сделать. Мне нравится ее внешность. Воспитанная. Опрятная, чистенькая. Я и не представлял себе, что она такая умница. Выберите для нее хороший пансион. Счета я оплачу.

— О, Том...— Бесси заплакала.

— Ну, чего там. Учил же я ее отца в колледже Лафайетта, и не так уж он меня огорчал. Меньше, чем некоторые более близкие родственники. Ты знаешь, о ком я говорю. О собственном сыне. Хоть бы день честно поработал. А сколько денег он мне стоил! Теперь хочу, чтобы мои деньги хоть какую-то пользу принесли. Выберите хорошую школу, а потом сядем вместе и прикинем, сколько это будет стоить. Деньги я перечислю в хиллтопский банк на тот случай, если какому-нибудь профсоюзному хулигану вздумается меня пристрелить.

— О, они этого не сделают, Том,— сказала Бесси Уинн.

— Так вот, выберите для Агнессы школу. А ты, Терон, черкни мне.— Он понизил голос до шепота: — Я не хочу, чтобы она увлеклась каким-нибудь мальчишкой. В хиллтопской школе много мальчишек. Закрутят голову, начнется детская любовь. Чего доброго, выйдет за какого-нибудь.

— Это правда,— сказала Бесси Уинн.

— Словом, решайте. Терон, жду от тебя ответа через два-три дня.

— Хорошо, Том,— сказал Терон.— Прямо не знаю, как тебя и...

— Она славная, умная девочка. К тому же и собой недурна. Ну, мне надо идти.

Когда Агнесса закончила учебный год, ее взяли из хиллтопской школы и отправили в Овербрук, в школу мисс Доусон. Большинство воспитанниц этой школы составляли девочки, переведенные, как и Агнесса, из школ обычного типа.

Как ни восхищался дядя Том Уинн способностями Агнессы, он не предложил ей учиться дальше, хотя она и закончила школу мисс Доусон первой ученицей. Она оправдала затраты, и пора ей было возвращаться домой, ждать подходящего жениха. По этому случаю дядя Том устроил в своем доме бал, созвав на него всю местную плутократию: углепромышленников и лесопромышленников, пивоваров и винокуров, адвокатов и врачей.

Джорджа Локвуда на бал не приглашали. Шведская Гавань, несмотря на территориальную близость к Гиббсвиллу, не считалась частью угольного района. Она находилась в самом северном конце округа, населенном пенсильванцами немецкого происхождения, а Гиббсвилл был самым южным городом угольного района. То, что Джордж Локвуд был немцем только наполовину, дела не меняло; главным было то, что он принадлежал к Шведской Гавани, где немецкая речь была слышна чаще, чем английская, в то время как в Гиббсвилле даже семьи немецкого происхождения переставали разговаривать на своем диалекте и подпадали под влияние янки Новой Англии, которые всегда в этом районе преобладали. Джордж Локвуд попал на этот бал потому, что был принстонцем: как раз в это время его пригласили на свадьбу бывшего однокашника, жившего неподалеку от Уиннов.

Это было через год после расторжения помолвки с Лали Фенстер-

махер. Джордж жил дома и начинал входить в дела отца. Авраам Локвуд постепенно знакомил его со своими владениями в городе и в сельской местности, с банком, с винокуренным заводом, с угольными разработками и с портфелем акций отдаленных предприятий. Вместо щедрых разовых субсидий он установил сыну постоянный оклад за счет компании и предоставил ему рабочее место в конторе «Локвуд и К°». Они каждый день вместе ходили на работу и вместе обедали в «Биржевой гостинице». Постепенно Авраам Локвуд передал сыну наблюдение за своими более мелкими предприятиями, а потом и вовсе переписал их на него, и в течение одного года Джордж Локвуд превратился в состоятельного, вполне независимого человека. Не отдавая себе в этом отчета, он все больше и больше втягивался в дела фирмы «Локвуд и К°» и в развитие Дела Локвудов. Он был любимцем отца и весьма радовал его своими успехами. Мать же терпеть его не могла. Он слишком напоминал ей молодого Авраама Локвуда своим простодушным рвением, которое она находила премерзким, словно он нарочно таким прикидывался, чтобы поддразнить ее. Ей мучительно было смотреть, как усваивает ее сын манеры отца и как старается (иногда успешно) превзойти его в хитрости. Авраам Локвуд был просто в восторге и очень гордился сыном, когда Джордж излагал ему свои идеи о том, как сэкономить деньги или провернуть выгодное дельце; он пропускал мимо ушей идеи неудачные и превозносил до небес удачи сына. Оба родителя ежедневно наблюдали (отец — с полным пониманием, мать — со смутной догадкой), как их сын подпадает под чары Дела. Аделаида не в силах была противиться этому процессу, смысла которого ясно себе не представляла. Она уже поставила крест на Джордже и мало надеялась удержать под своим влиянием Пенроуза. Она чувствовала, что ее младший сын, только что поступивший в Принстон, поддастся влиянию Джорджа точно так же, как этот последний поддался влиянию отца. Аделаида стала часто простужаться, одна болезнь сменялась другой, пока тяжелое воспаление легких не переросло в плеврит и не привело к смерти. Перед кончиной, оглядываясь назад, она вспомнила, что лишь однажды ей удалось восторжествовать над Локвудами — это было, когда она заставила своего свекра сломать стену.

Ни один человек в Шведской Гавани не знал, что причиной смерти Аделаиды было не гнойное воспаление в грудной клетке. Ненависть, огорчения, крушение надежд нельзя распознать медицинским путем. У могилы Аделаиды стояли трое высоких мужчин; двое из них, более молодые, выглядели опечаленными и потерянными, третий, старший,— только опечаленным, но ведь людям пожилым свойственно принимать смерть как нечто неизбежное. Спустя некоторое время в одно из окон лютеранской церкви был вставлен — в память об Аделаиде — красивый витраж из цветных стекол. Пастор Боллинджер втайне порадовался, что Авраам Локвуд не пожелал устраивать по этому случаю никаких торжественных церемоний: Боллинджер сомневался, что на эту церемонию пришло бы много народу. И потом — что можно сказать о женщине, по которой никто не скорбит.

Овдовевший отец и осиротевший сын по-прежнему ходили на работу вместе, привлекая своим респектабельным видом всеобщее внимание. После того как Аделаида ушла из жизни, семейство Локвудов, состоявшее теперь из одних мужчин, уже не вызывало той неприязни, какую вызывало прежде. Авраам и его сын Джордж вели довольно замкнутый образ жизни (Локвуды никогда не отличались общительностью), и жители города постепенно перестали смотреть на них как на обычных рядовых граждан: они представляли (вернее,

Джордж представлял) в этом городе третье поколение Локвудов, причем все три поколения располагали солидным капиталом, а два из них — не только капиталом, но и умением со вкусом тратить деньги; к тому же в их активе были высшее образование, военная служба, внушительные связи в Гиббсвилле и Филадельфии, безвыездное пребывание в одном и том же городе и растущая прибыльность их предприятий. Глядя на этих мужчин, отца и сына, шагавших вместе по улице, люди не без уважения называли их «наша аристократия». Прежде считали, что аристократия обитает только в более крупных городах, теперь оказывалось, что она есть и в Шведской Гавани. Обособленность, которая при жизни Аделаиды возбуждала в людях неприязнь, не только стала терпимой, но даже вызывала восхищение этим семейством, состоявшим из одних мужчин. Уход женщины из семьи способствовал тому, что Дело Локвудов начало развиваться ускоренным темпом. Авраам Локвуд почувствовал, что пришло время сделать следующий шаг.

Неприятная история с Фенстермахером, по его мнению, оказалась к счастью. Хотя брачный союз с семейством, возглавляемым судьей, и сулил некоторые выгоды, но Авраам Локвуд по собственному опыту знал, что для Дела будет полезнее, если Джордж подыщет себе невесту из другого круга — не из пенсильванцев немецкого происхождения. Немцы умеют приберечь деньгу и умеют нажиться, а разбогатев, завоевать уважение окружающих, но они тяжелы на подъем. Как всех немцев, их относили к разряду средней буржуазии, и на этом уровне, за редкими исключениями, они оставались из поколения в поколение. Семейство Аделаиды числилось богатым более ста лет, но никто даже в шутку не называл его аристократическим. Оно не проявило склонности спекулировать ни на своем давнем американском прошлом, ни на богатстве, переходившем от предшествующих поколений. Первым членом семьи Аделаиды с признаками аристократизма был ее сын Джордж, но для этого потребовался ее брак с одним из Локвудов. Если бы Джордж взял себе в жены немку, то его дети могли бы оказаться Хоффнерами, и тогда Дело Локвудов растворилось бы в первом же поколении. Авраам Локвуд решил, что в следующий раз он с самого начала проявит больше бдительности в отношении девушки, которой заинтересуется Джордж. Тем временем он постарается укрепить в глазах сына свою репутацию, для чего наладит с ним товарищеские отношения, проявит разумную щедрость и с уважением будет относиться к его суждениям. Затем он будет тщательно следить, кому из молодых женщин Джордж оказывает предпочтение. Отец знал, что сын его похотлив, влюбчив и к тому же сам пользуется успехом у девиц. За ним надо смотреть. Счастье еще, что, учась в университете, он не пристрастился к спиртному.

Авраам Локвуд старался вести себя так, чтобы его дружба с сыном не превращалась в обузу. В конторе он не давал ему ни минуты свободного времени и с восьми тридцати до полудня они обычно не разговаривали, зато обеденный час был для них обоих отдушиной.

— Хочешь пойти на скачки на будущей неделе?

— На будущей неделе? Извини, папа, но на будущей неделе я еду на свадьбу,— сказал Джордж.

— Что же это за свадьба? Кто женится?

— Один парень из моего клуба. Лэсситер. А вот фамилии невесты не помню. Они оба живут недалеко от Хейзлтона.

— Сын Франклина Лэсситера?

— Да. Углепромышленника.

— О, я их знаю. Лэсситеры. Уинны. Ну что ж, тебе у них должно понравиться. Эти угольщики-миллионеры умеют тратить деньги.

— Да. Я сяду в поезд, который остановится на нашей станции только из-за меня. Специальный. Отправится из Филадельфии и заберет всех, кто живет вдоль этой дороги. Спальные вагоны, ресторан, салон-вагон. В дни свадьбы этот поезд будет служить нам отелем.

— В мои годы такой роскоши не было. Жаль, что ты пропустишь скачки, но там, куда ты едешь, будет веселее.

— Вот видишь, как много ты потерял оттого, что не учился в Принстоне.

— Тебе это может показаться странным, но мы сочувствовали тем, кто учился тогда в Принстоне. Учти, что мы-то жили в городе.

— Верно. Держу пари, что ты был изрядным повесой.

— Об этом лучше не распространяться, мой мальчик. Молчание — золото. Я хочу, чтобы ты еще питал кое-какие иллюзии насчет своего отца.

— Ладно. Если и ты будешь их питать насчет меня.

— Насчет тебя — нет. Абсолютно никаких. Желаю тебе весело провести время.

В последнюю минуту Томас Уинн вздумал послать общее приглашение всем молодым джентльменам, приехавшим в город на свадьбу Лэсситера и Пауэлл. Гостей привезли в поместье Уиннов в дилижансах, запряженных мулами. Парк был освещен японскими фонариками, а для танцев построили специальный павильон. Павильон этот, напоминавший китайскую пагоду, был сооружен на косогоре, чуть пониже особняка Уиннов. Оттуда открывался вид на озеро Уинн (собственность компании) и долину Лойер (раньше ее называли Луарой). Это было замечательное место, у гостей оно всегда вызывало восторг. «Знаете, почему здесь так красиво? — спрашивал Том Уинн и сам же отвечал: — Со всех сторон — с востока, запада, юга — нас окружают угольные копи. Каким бы видом транспорта вы сюда ни добирались — поездом или в дилижансе,— вам никак не миновать угольных разработок. И вдруг вы попадаете в этот уголок, где не видно ни забоев, ни угольных стволов. Это поражает своей неожиданностью, и я хочу, чтобы здесь ничто не менялось. Когда-нибудь, после моей смерти, в том месте, где стоит вон та деревушка, тоже выроют шахту и начнут валить лес. Но пока распоряжаюсь я, все останется по-прежнему».

Были сумерки. Танцы еще не начались. Джордж Локвуд, выслушав эти слова старика, заметил:

— Однако дороговато вам этот пейзаж обходится.

Томас Уинн обернулся к нему.

— Да, если оценивать его в долларах и центах, молодой человек. Вы мистер Филлипс?

— Нет, сэр. Вот мистер Филлипс. Моя фамилия Локвуд. Это вот Филлипс, это Маккормик, это...

— Знаю, знаю,— перебил его старик.— Остальных-то я знаю. Только вот Филлипса не знал да вас, Локвуд. Вы занимаетесь бизнесом или еще учитесь?

— Бизнесом. Вместе с отцом.

— Ваш отец — Авраам Локвуд? Из Шведской Гавани?

— Да, сэр.

— Знакомая фамилия,— сказал Том Уинн.— Ну, господа, развлекайтесь.— Оставив эту группу, он присоединился к другой и стал занимать гостей разговорами, пока сервировали ужин.

Джорджу Локвуду пришлось долго дожидаться своей очереди

пригласить на танец виновницу торжества. К этому времени Агнесса начала уставать от разговоров о пустяках, вернее, ей надоело повторять одно и то же стольким незнакомым молодым людям.

— Вы были на свадьбе? — устало спросила она.— Мэри чудесно выглядела в подвенечном платье.

— Вот уж чего нельзя сказать,— возразил Джордж,— но важно то, что она нравится Пейджу.

— Не очень-то мило говорить такие слова о невесте своего друга. О жене.

— Почему же? Если бы вы Пейджа назвали красивым, то и здесь я бы с вами не согласился. Он хороший парень, но сознайтесь, что вам он не кажется Адонисом.

— Я в своих друзьях стараюсь находить больше достоинств,— сказала Агнесса.

— Правильно делаете. К счастью, в вас-то им не пришлось бы выискивать достоинства.

— Это комплимент или вы хотите сказать, что во мне их вообще бесполезно искать?

— Комплимент. На данной стадии игры я не стал бы делать нелестных намеков.

— На данной стадии игры? Почему вы думаете, что будут еще какие-то стадии «игры», как вы выразились?

— Беру свои слова назад, мисс Уинн. Вряд ли я увижусь с вами еще хоть раз после этого вечера. Между прочим, ваш дедушка тоже меня не любит.

— Мой дедушка? Откуда вы знаете моего дедушку? И которого? Они оба умерли.

— А я думал, это ваш дедушка. Тот, что устроил в вашу честь этот бал.

— Это мой дядя. Двоюродный брат отца. За что он вас не любит? Что вы ему такое сказали?

— По правде говоря, не любит-то он моего отца. Как только я назвал свою фамилию, мистер Уинн оборвал разговор. Впрочем, тут могла быть и моя вина. Я не пользуюсь славой льстеца.

— В этом я не сомневаюсь. Хотя я не считаю лесть очень похвальным качеством.

— Я могу нажить себе врага, не сказав даже слова.

— Однако вы не оставляете это на волю случая, правда? Какое-то словечко все же вставите, не так ли? Мне кажется, вы нарочно вызываете у людей неприязнь к себе. То, что вы сказали о Мэри, не надо было говорить. И то, что сказали о Пейдже,— тоже.

— Отчего вы думаете, что я хочу вызывать у людей неприязнь? Например, у вас. Вы — царица этого бала, а не только почетная гостья. Я сделал вам искренний комплимент, который вы против меня же и обернули. Этого не надо было делать.

— Я не люблю касаться личностей с людьми, которых еще мало знаю.

— Покорно прошу извинить меня, мисс Уинн. Надеюсь, вы забудете этот разговор.

Вальс кончился. Агнесса оперлась о руку Джорджа, и он подвел ее к группе молодежи. Весь остаток вечера Джордж замечал, что она то и дело поглядывала в его сторону. На лице ее не было ни улыбки, ни враждебности, но она явно не осталась к нему равнодушна.

На следующий день на озере Уинн состоялся пикник, завершавший свадебные и бальные торжества. Все гости были люди молодые, из старших присутствовали — в качестве номинальных хозяев — только Терон и Бесси Уинн. Вода была очень холодной, поэтому никто

не купался, но большинство приглашенных поочередно каталось на лодках. Вышло так, что Джордж Локвуд остался с Тероном и Бесси за столом один.

— С какой радостью, наверно, вы вернетесь теперь домой и завалитесь спать,— сказал Терон.— Далеко ли вам ехать, мистер Локвуд?

— Мне сходить на второй остановке, в Шведской Гавани. Первая остановка — Гиббсвилл, а потом — Шведская Гавань.

— А, Шведская Гавань. Я там никогда не был. Поездом проезжал много раз, но на станции ни разу не сходил. Не там ли служит мой друг Джейкоб Боллинджер, священник? Это мой друг... Мы уже много лет с ним не встречались, но очень дружили в колледже...

— Пастор лютеранской церкви. Да, он там.

— Я любил его слушать. Когда он приехал в колледж, его трудно было понимать — такой сильный был у него немецкий акцент.

— Сейчас — тоже.

— В последний раз мы встречались с Джейком Боллинджером, когда ему только что предложили принять лютеранскую церковь в Шведской Гавани. Я спросил, много ли грешников он ожидает там найти. Он ответил, что нет, но есть одна семья, глава которой совершил два убийства и не понес за них никакого наказания. Я не знал, что у пенсильванских немцев такие случаи бывают. Они больше характерны для угольных районов.

Джордж Локвуд встал.

— В следующий раз, когда вы встретитесь с преподобным Боллинджером, пусть он назовет вам фамилию этой семьи.

— Значит, это правда? А я думал, что он просто хотел пошутить. У него была странная для пастора манера шутить. Добряк, но шутник.

— Эту семью я очень хорошо знаю. Прошу извинить. Подошла моя очередь кататься на лодке.

Письмо Терона Уинна пришло через неделю.

«Уважаемый м-р Локвуд!

Я пишу Вам, чтобы принести глубочайшие извинения за неуместный разговор, который я затеял с Вами в воскресенье, во время пикника на озере Уинн. Не могу найти слов, чтобы выразить сожаление по поводу обиды, которую я нанес Вам своей грубой оплошностью и бестактностью. Мое положение усугубляется еще и тем, что джентльменская выдержка, которую Вы проявили, несмотря на мою глупую скандальную выходку, послужила мне уроком, хотя Вы моложе меня и я гожусь Вам в отцы. Я отдал бы все, что имею, лишь бы исправить свою оплошность или хотя бы изгладить из Вашей памяти то, что сказал. В заключение могу лишь добавить, что за всю свою жизнь я ни разу не оказывался в столь унизительном положении и не был столь искренен, принося свои извинения и сожаления. Надеюсь, что когда-нибудь Вы найдете в себе достаточно душевных сил, чтобы извинить меня за эту ошибку.

Искренне Ваш

Терон Уинн».

Джордж Локвуд перечитал письмо и бросил его в корзину. Через неделю он получил записку из Хиллтопа, штат Пенсильвания.

«Уважаемый м-р Локвуд!

Беру на себя смелость написать Вам, потому что отец, что бы он Вам ни сказал тогда на пикнике, не хотел Вас

обидеть. Я знаю, что он послал Вам письмо с извинениями и все еще расстроен случившимся. Он не хочет говорить мне, что произошло, поскольку сказанное им, как он выразился, было «ужасно». Моя мама тоже отказывается разговаривать со мной на эту тему, так как отец запретил ей повторять то, что он Вам сказал. Не знаю, что он сказал, но я ни разу еще не видела его таким расстроенным и вижу, что он мучается. Я была бы Вам чрезвычайно благодарна, если бы Вы приняли его извинения (если можете) и написали ему об этом. Вы не знаете моего отца, но я уверяю Вас, что за всю свою жизнь он никогда сознательно не причинял никому зла, он слишком мягок и добр, чтобы обидеть кого-нибудь.

Искренне Ваша

Агнесса Уинн».

Он читал записку в конторе, в это время подошел отец: пора было идти обедать.

— Вижу по конверту, что от женщины,— сказал Авраам Локвуд.— Победа?

— Может быть, да, а может — и нет,— уклончиво ответил Джордж.

Письмо Терона Уинна показалось Джорджу Локвуду еще более неприятным, чем его оплошность. Да, тогда он был раздосадован, раздражен, рассержен, но это начало забываться, письмо же лишь напомнило об обиде и разбередило душу. Кроме того, он считал, что не пристало пожилому человеку признаваться в своем унижении. Джордж Локвуд не ответил Терону Уинну на его письмо, ибо считал, что оно не заслуживает ответа. Но письмо Агнессы Уинн есть письмо Агнессы Уинн. До сих пор не было ни причины, ни повода, ни возможности встретиться с нею. Письмо Агнессы меняло дело.

«Уважаемый м-р Уинн!

Благодарю Вас за письмо. Уверяю Вас, что никакого горького осадка у меня не осталось от того, что было сказано на пикнике, ибо я знаю, что меня не хотели обидеть. Я и сам часто попадаю в подобные затруднительные положения. В ближайшее время я намерен побывать по делам фирмы в Уилкс-Барре и Хиллтопе и надеюсь иметь удовольствие встретиться с миссис Уинн, с Вами и с Вашей очаровательной дочерью.

Искренне Ваш

Джордж Локвуд».

То, что у Джорджа Локвуда не было в Уилкс-Барре и Хиллтопе никаких дел, не имело значения. Через три дня после того, как он отослал письмо, пришел ответ: его настоятельно просили прервать свою деловую поездку и переночевать на озере Уинн, где у Терона Уинна был летний коттедж.

По невзрачному личику Терона Уинна разливалась глупая взволнованная радость прощенного недотепы. Радовалась и Бесси Уинн, видя, как доволен ее муж. Они, очевидно, полагали, что он приехал ради них, поэтому не оставляли его наедине с Агнессой до тех пор, пока не кончился ужин.

— К семи утра мне на шахту,— сказал Терон.— Так что извините, я залягу спать вместе с курами.

— Жить здесь приятно, но одно плохо: мистеру Уинну приходится вставать на час раньше,— сказала миссис Уинн.

Наконец мистер и миссис Уинн отправились на покой.

— Могли бы и мне ответить, не только отцу, — с упреком сказала Агнесса.

— А я все недоумевал, почему вы так холодны ко мне. Вот, оказывается, в чем дело. Хотите знать правду? Если бы не ваше письмо, то меня бы здесь сейчас не было. Вот мой ответ. С вашим отцом я бы не помирился, а с вами — другое дело.

— Я не стала бы просить у вас прощения.

— Не стали бы?

— Нет. У вас не хватило здравого смысла понять, что он сказал эти слова вам не в обиду. Их и я могла бы сказать, и любой другой. Никто не делает такого faux pas[1] сознательно.

— Faux pas никто не делает сознательно. Насколько я знаю французский, faux pas как раз это и подразумевает. Однако люди должны думать, прежде чем говорить, и знать, с кем они говорят.

— Сами-то вы всегда думаете?

— Я был убежден, что вы не знаете, что сказал ваш отец.

— Потом узнала. Он тогда был так расстроен, что в конце концов все рассказал. Можно задать вам нескромный вопрос? Вы своего деда знали когда-нибудь?

— Конечно. Очень даже хорошо знал. Он рассказывал мне про войну. В бою при Булл-Ране его ранили.

— У него что, была такая привычка — стрелять в людей?

— На такой вопрос я могу и обидеться.

— Я не могла удержаться. Уж слишком он непохож на моего отца — единственного мужчину, которого я знаю.

— Ну полно вам, мисс Уинн. Ваш отец — единственный мужчина, которого вы знаете? Не забывайте, что я видел вас на балу.

— Половину из них я знаю не больше, чем вас.

— Еще узнаете.

— Вряд ли мне это будет интересно.

— Вас когда-нибудь целовали?

— Разумеется, нет.

— Что с ними случилось, с местными обожателями?

— Ничего не случилось. Просто они умеют уважать леди. Как вообще подобает джентльменам.

— Если я попрошу разрешения поцеловать вас, вы будете звать на помощь?

— Нет. Но я отвечу отказом.

— А если я без разрешения?

— Вы что, за этим сюда ехали, мистер Локвуд?

— А вы начинаете соображать. Да, за этим.

— Тогда я рада, что вы пробудете у нас недолго. Неприятно все-таки смотреть, как человек напрасно тратит свое драгоценное время. О принстонцах говорят, будто они считают себя непревзойденными сердцеедами. Подумать только, какой чести хотят меня удостоить!

— Вы хотели сказать — лишить ее? Вы говорите таким тоном, словно безобидный поцелуй — почти то же, что совращение.

— Право, мистер Локвуд. Это уж слишком.

— По крайней мере, я вижу, что вы понимаете значение этого слова.

— Можно понимать значение слов без того, чтобы... Я знаю, например, что такое хирургия, но из этого не следует, что я соглашусь подвергнуть себя операции.

— Жаль, что у меня нет с собой хлороформа.

---

[1] Ложного шага *(франц.)*.

— Хлороформа? Не понимаю, что вы хотите этим сказать.

— Вы упомянули про хирургию. Если бы у меня сейчас был хлороформ, я усыпил бы вас и поцеловал.

— Что за гадкая мысль! Надо иметь безнравственный склад ума, чтобы говорить такие вещи.

— Он у меня и есть безнравственный, только я, по крайней мере, этого не скрываю.

— Оно и видно. Достаточно вас послушать.

— Когда вы ляжете в свою кроватку, подумайте, каково мне лежать в своей — ведь нас будет разделять всего лишь тонкая перегородка.

— *Спокойной ночи,* мистер Локвуд.— Она вышла, но немного спустя вернулась. Вид у нее все еще был рассерженный.— Вы не идете спать? Если идете, то я должна потушить лампы.

— Я потушу. Вам не помешает, если я оставлю одну гореть в своей спальне? Сможете вы спать?

— Конечно, смогу. Благодарю вас.

Улегшись в постель, он целый час непрерывно постукивал пальцем по тонкой перегородке из полированного дерева. Утром во время завтрака Бесси Уинн спросила:

— Хорошо спали, мистер Локвуд? Не всякий может легко заснуть в лесу в первую ночь.

— Как убитый. А вы, мисс Уинн, хорошо спали?

— Я? Не очень. Мне все казалось, что кто-то скребется. Не то мышь, не то крыса.

— Ты же их не боишься,— удивилась мать.— Где нам только не приходилось жить, когда мы поженились с мистером Уинном.

— Бояться не боюсь, но они спать мешают.

— Мистер Уинн просил сказать вам «до свидания» и передать, что ему было очень приятно видеть вас у нас в доме. Если вы снова будете в наших краях, то обязательно заезжайте. Мы не позволим вам останавливаться в гостинице, тем более в хиллтопской.

— Что ж, миссис Уинн, возможно, я и воспользуюсь вашим приглашением. В течение лета мне не раз придется бывать в этих местах. Отец мой понемножку стареет, так что разъезжать в основном приходится мне.

— Вы, должно быть, хороший помощник своему отцу,— сказала Бесси Уинн.

— Благодарю вас. Вы пробудете здесь все лето?

— Да, этот коттедж остается за нами до середины сентября, а потом Том Уинн держит его для своих друзей-охотников. Они приезжают из Нью-Йорка и Филадельфии и остаются здесь до тех пор, пока не настреляют по оленю на человека. Лет пять-шесть назад один из них убил медведя.

Агнесса Уинн в свои девятнадцать лет выделялась среди сверстниц хрупким телосложением и не вызывала у Джорджа Локвуда особого влечения. Она была лишена чувственности, поэтому обладание ею сулило ему не столько физическое, сколько моральное удовлетворение: ему хотелось немного сбить с нее спесь. Он навел точные справки о ее положении в династии Уиннов. Сведения, полученные им, могли обескуражить искателя богатых невест, но Джордж видел и другое: она нравилась его ровесникам, они любили бывать в ее обществе и искали ее благосклонности. Так что, хотя ей и было всего девятнадцать лет, в невестах она вряд ли засидится. Что касалось ее положения в семействе Уиннов, то, хотя оно и могло обескуражить тех, кого интересовало прежде всего богатство, Джордж Локвуд знал, что Агнесса — любимица старого Тома Уинна и, следовательно, у нее

есть виды на будущее. С другой стороны, было немало молодых людей, которые — Джордж это видел — относились к Агнессе с подчеркнутым вниманием и не нуждались в браке по расчету. Любой из них мог жениться на ней через год-два, а Джорджу Локвуду не хотелось, чтобы его кто-то опередил. Его вовсе не устраивало, чтобы она влюбилась.

Счастливая случайность дала ему однажды повод и возможность продолжить знакомство с нею, но потом он решил уже не полагаться на волю случая. Да в этом и не было необходимости: второе приглашение в коттедж на берегу озера пришло от Терона и Бесси Уинн само собой. Джордж Локвуд чувствовал, что Агнесса не пойдет против воли родителей. При всей сердечности отношений равенства в семье не существовало, и Агнессе в голову бы не пришло утверждать свою независимость. Джордж Локвуд подозревал, что вся ее самостоятельность сводилась, по сути дела, к некоторой оригинальности мышления. Она казалась ему неглубокой натурой, лишь немногим отличавшейся от других, подобно тому как отличается акцент девушки-южанки, попавшей в среду северян. Ее необычность была источником постоянных размышлений Джорджа: она то привлекала его, то отталкивала, а иногда он вообще отрицал в ней какое-либо обаяние. Но была ли Агнесса глубокой натурой или нет, была ли она необычной, не такой, как все, или нет, он твердо знал одно: его влекло к ней так, как не влекло ни к одной девушке с тех пор, как он расстался с Лали.

Когда он отправился к Уиннам во второй раз, она демонстративно уехала к подругам, жившим на севере штата, близ границы Нью-Йорка. Но он не выдал охватившей его досады и обратил свои чары на ее отца и мать, постаравшись скрасить потерю времени осторожными расспросами об угольных и лесных ресурсах компании Уиннов.

Аренда угольных месторождений и добыча угля требовали специальных знаний и больших финансовых затрат, поэтому Авраам и Джордж Локвуды не намеревались вкладывать в эти предприятия деньги, но фирма «Локвуд и К°» владела двумя небольшими лесопильными заводами, нуждавшимися в сырье, а лесные участки, которые они арендовали, быстро теряли ценность, поскольку иссякали запасы леса. Так что надо было искать новые земли — в противном случае не оставалось ничего иного, как продать заводское оборудование за хорошую цену. Визит Джорджа Локвуда к Уиннам был полезен еще и в смысле получения данных о положении Хофманов и Стоуксов. Авраам Локвуд всячески развивал у своего старшего сына стремление пользоваться любой ситуацией, которая может принести выгоду Локвудам и при этом ударить по Хофманам и Стоуксам. Пока что ничего такого не подворачивалось, но Джордж Локвуд уяснил себе одно: его отец ненавидел своих гиббсвиллских родственников. Сам Джордж не вполне разделял это чувство, но когда Терон Уинн, не подозревая об их родстве, заметил, что молодые Стоуксы уступают в хитрости старику Хофману, то Джордж Локвуд сразу же рассудил, что это ему может когда-нибудь пригодиться.

Свою следующую поездку он решил совершить через месяц, правильно рассчитав, что на этот раз Терон и Бесси заставят Агнессу быть дома, чтобы она не показалась ему невоспитанной. Она действительно была дома, но опять же преднамеренно, как бы желая обезопасить себя, пригласила в гости подругу. Однако Рут Хейгенбек оказалась неподходящей для той миссии, которую возложила на нее Агнесса Уинн. Она сразу же влюбилась в Джорджа Локвуда и всякий раз, когда он заговаривал с нею, смущалась, краснела, а сев со всеми за стол, стала невпопад вставлять реплики в общий разговор. За ужином,

например, когда Терон Уинн сказал: «...а на следующий год мы переехали в Хиллтоп», она неожиданно заявила:

— Я тоже так думаю.

— Простите, Рут? — удивленно посмотрел на нее Терон Уинн.

— О чем вы думали, мисс Хейгенбек? — спросил Джордж Локвуд.

— Ни о чем она не думала,— сказала Агнесса. — Просто решила, что и ей нужно что-то сказать.

— Нехорошо так, Агнесса,— укоризненно заметила мать.

— Ну, пусть говорит, если есть что сказать. Никто же ей не мешает,— возразила Агнесса.— Что ты собиралась сказать, Рут?

— Вот и не скажу,— обиделась Рут Хейгенбек.

Терон Уинн продолжал свой рассказ, а Рут вдруг встала и молча вышла.

— Ты ее обидела, Агнесса. Иди к ней сейчас же и извинись,— потребовала Бесси Уинн.

Агнесса отсутствовала более десяти минут. Возвратившись, она объявила:

— Рут просит извинить ее. У нее голова разболелась.

— Ничего удивительного, она же совсем не ест,— сказал Терон Уинн. — Отнеси ей чего-нибудь на подносе, Агнесса. Куриного бульона, что ли.

— Она хочет, чтобы ее не беспокоили, папа.

— Ну, что делать. Жаль,— вздохнул Терон.

— После ужина я сама к ней схожу,— сказала Бесси.

Так она и сделала, а вернувшись, сообщила, что Рут уже крепко спит и что ей самой, как и ее мужу, тоже пора спать.

И снова, как в предыдущий раз, Агнесса осталась наедине с Джорджем Локвудом.

— Вы никогда не вели бы себя так, как мисс Хейгенбек, правда?

— Если вы собираетесь сказать о ней что-нибудь дурное, то учтите, что она моя лучшая подруга.

— О ней-то я не собираюсь говорить ничего дурного. А вот о вас — да. Вы настолько черствы, что даже не поняли, отчего она так возбуждена.

— Возбуждена? Не знаю, что вы хотите этим сказать. А что касается ваших характеристик, мистер Локвуд, то чем меньше вы будете их давать, тем лучше.

— Мисс Хейгенбек очень мила. Очень молода и не избалована.

— Мы с ней почти ровесницы,— сказала Агнесса. — Если хотите знать, она даже на год старше меня.

— Это я вверг ее в такое возбужденное состояние.

— Ну и ну! Таких эгоцентристов я еще не встречала. Дальше некуда.

— Бросьте. Вы так же возбуждены, как она, только у вас это проявляется в иной форме. Например, удираете в Скрантон, узнав, что я еду сюда.

— Вы, очевидно, имеете в виду мою поездку в Монтроуз? К вам она не имеет никакого отношения.

— А вы поклянетесь в этом на Библии? Вот Библия. Кладите руку и клянитесь.

— Еще чего. Да и что здесь такого, если даже я уехала тогда из-за вас? По-моему, это еще не доказывает, что великий, очаровательный, красивый мистер Локвуд вверг меня в возбужденное состояние. Как раз наоборот. Все эти разговоры о поцелуях без разрешения и еще кое о чем похуже...

— Похуже? Ах, да. О совращении.

— Я только надеюсь, что не все молодые люди в Шведской Гава-

ни такие, как вы. В противном случае мне жаль тех женщин, которым приходится жить в вашем городе.

— Думайте, что вы говорите. Может случиться, что вам самой еще придется там жить.

— Лучше умереть. Лучше умереть. Уж лучше я выйду замуж за какого-нибудь ханки[1], чем за вас.

— Вот поэтому я и заставлю вас выйти за меня.

— Не выйду, даже будь у вас все деньги Пенсильвании. Ни за что на свете.

— У меня нет всех денег Пенсильвании, но я буду ждать, пока вы не выйдете за меня. Сколько бы это ни длилось. И запрещаю вам выходить за другого. Запрещаю отдаваться любому мужчине, кроме меня. Вы будете моей женой — и ничьей больше.

Вернувшись домой и обдумав случившееся, он понял, что в припадке гнева наговорил много такого, чему не верил сам и чего при иных обстоятельствах не сказал бы. Но раз он это сказал, раз это сорвалось у него с языка, он этому поверил. Убедил он себя и в том, что поступил правильно, связав себя, хоть и сгоряча, словом, и в том, что отсутствие любви в данном случае — не помеха, а благо, поскольку всякая сделка становится прочнее, если она зиждется на здравом смысле, а не на эмоциях. В течение нескольких месяцев мысль об Агнессе не покидала его. Временами он замечал, как его кулаки то сжимаются, то разжимаются, и ловил себя на мыслях об Агнессе даже в те минуты, когда ему казалось, что он совсем о ней не думает. Его работа от этого не страдала — напротив: он трудился усерднее прежнего, а Авраам Локвуд недоумевал.

Авраам устал и начинал отходить от дел. Введение Джорджа в детали фамильного достояния было приятным и своевременным занятием, оно как бы возвращало Авраама к активной деятельности и стимулировало интерес к делам компании. Почти ежедневно ему приходилось напрягать память, чтобы вспомнить ту или иную подробность, связанную с историей их фамильных предприятий. И он уже не раз ловил себя на ошибках и упущениях, в которых не признавался Джорджу. Ему легче было примириться с небольшими убытками, коль скоро они неизбежны, или солгать. («Но, папа, ты же говорил так-то и так-то!» — «Нет, Джордж, как раз наоборот. Ты спутал. Мне кажется, ты не поспеваешь за мной. Но это не беда, сынок. Все мы ошибаемся, и нельзя требовать, чтобы ты все усвоил за один день».)

О деньгах Авраам Локвуд не беспокоился: их накопилось столько, что после его смерти оба сына станут миллионерами. Ни одна семья и ни один семейный альянс в Шведской Гавани не могли соперничать с Локвудами. Дело Авраама Локвуда имело теперь под собой прочную финансовую базу. Оглядываясь назад, он видел, с какой завидной легкостью нажил капитал, так много значивший для успеха Дела. Серьезно его начинала тревожить лишь боязнь не дожить до того времени, когда у его сыновей появятся будущие продолжатели Дела. Тем более что в подобных делах (а возможно, и во всех других) Джорджа торопить было нельзя.

Авраам испытал чувство облегчения, узнав, что Джордж заинтересовался молодой особой из семьи Уиннов. Это открытие, как ни странно, он сделал благодаря молчанию Джорджа, совершившего несколько поездок в угольный район, но не объяснившего их цели. Возвращался он оттуда с таким видом, который у молодого человека говорит сам за себя.

---

[1] Презрительная кличка неквалифицированного рабочего-эмигранта.

«Выясни для меня, в кого влюблен твой брат,— писал Авраам Локвуд Пенроузу.— Я убежден, что у него кто-то есть и что его «ухаживания» пока безуспешны. Разумеется, я не хочу, чтобы ты спрашивал его об этом прямо или дал ему понять, кто этим интересуется».

Пенроуз не задумываясь выполнил то, о чем его просили, и быстро прислал отцу ответ.

— Прошлым летом ты затевал разговор насчет аренды леса,— напомнил Авраам Джорджу.

— По-моему, это было осенью.

— Верно, осенью. Получилось что-нибудь? Лесопильное дело сулит большие прибыли. Население растет. В восьмидесятом году, по данным переписи, у нас было пятьдесят миллионов человек, а десять лет спустя — уже шестьдесят. По миллиону в год. Если и дальше так пойдет, Джордж...

— В последнее время я этим не интересовался.

— Пожалуй, надо бы поинтересоваться, пока они не заграбастали все, что есть вокруг.

— Кто это — они?

— Крупные заводы, угольные компании. Спекулянты вроде нас.

— Мы никогда не сможем развернуть это в таких масштабах, как в Миннесоте.

— Да, но валить-то лес мы все-таки можем, пусть в скромных масштабах, и обеспечивать местные нужды, не тратя больших денег на перевозку леса с северо-запада. Мы могли бы конкурировать.

— Что ж, если хочешь, я попробую еще раз.

— Иначе нам скоро придется продавать свои заводы, причем с убытком.

— Что это ты вдруг вспомнил о лесе?

— Всякий раз, когда я присутствую на похоронах, Джордж, я думаю о лесе. С годами-то я не становлюсь моложе.

— Ну, будет тебе, папа. Ты сто лет проживешь.

— Хотелось бы и мне так думать, сынок. Но в прошлом году я похоронил трех своих товарищей по университету. Сразу трех за один год. Быстро стали мы умирать... Так поезжай и посмотри еще раз и узнай, какие сейчас цены на лес. Хочешь, поедем вместе?

— Тебе-то не стоит беспокоиться.

— А если я отсюда наведу справки? Или ты не хочешь, чтобы я ввязывался? Идея твоя, я не хочу тебе мешать.

— Ладно, займусь,— сказал Джордж Локвуд.

У самого отца не было повода вторгаться на территорию Уиннов, но он подыскал предлог для Джорджа. Поспешность, с какою Джордж воспользовался данной ему возможностью, сказала Аврааму то, что он хотел знать: Джорджу хотелось навестить девицу Уинн, он лишь ждал удобного случая.

Джордж Локвуд приехал в Хиллтоп, заказал номер в скверной местной гостинице и нанял извозчика, болтливого ирландца по имени Кейн. (Джордж Локвуд и не подозревал, что отец хитростью толкнул его на тот же маневр — сочетание коммерческих дел с амурными,— который сам когда-то совершил в отношении Аделаиды Хоффнер.)

— Вы, случайно, не приглядеть ли чего приехали? — спросил Кейн.

— Случайно — да,— ответил Джордж.

— Насчет угольных участков? Тогда...

— Нет, не угольных.

— Потому что я хотел сказать... Оно, конечно, лишняя мело-

чишка не помешала бы мне, да совесть не позволит брать с вас деньги за мнимые услуги. Скажу вам правду, мистер Локвуд: не знаю, зачем вам нужна земля, но вы не найдете тут даже акра, на котором старый Том Уинн не закрепил бы за собой право добывать уголь, будь он трижды проклят, убийца, черная душа.

— Убийца?

— Вы новичок в этих краях, поэтому не знаете, что лет двадцать назад здесь произошло великое несчастье — убили семерых невинных людей. Уинны и их подпевалы добились того, что их осудили на виселицу... Слыхали?

— О том, что они были невиновны, не слыхал.

— И не услышите, если будете слушать Уиннов и их подпевал. А вам никто не говорил про отпечаток ладони на стене камеры в окружной тюрьме? Ручаюсь, что нет.

— Нет.

— Нет. Так вот, на стене камеры в тюрьме Моч-Чанк есть отпечаток ладони. А знаете, как он там появился? Утром в день казни один из осужденных приложил ладонь к стене своей камеры и торжественно заявил: «Бог мне судья, но я невиновен, и пусть отпечаток моей ладони на этой стене подтвердит мою невиновность». И вот этот отпечаток там по сей день. По сей день, сколько бы раз его ни соскабливали и ни смывали. Они не могут стереть отпечаток правой ладони невинного человека.

— И вы этот отпечаток видели?

— Я? Нет, не видел. Не приходилось мне бывать в окружной тюрьме, но это хорошо известно как протестантам, так и католикам. Нет, я его не видел, как наверняка не видел и старый Том Уинн. Но уверяю вас, что я сплю спокойнее старика Тома Уинна и всех остальных, кто не может ни смыть, ни соскоблить, ни закрасить доказательство своей вины.

Как Джордж и предвидел, на одной из улиц Хиллтопа он неизбежно натолкнулся на Терона Уинна.

— Что же вы не известили нас о своем приезде? — спросил Терон Уинн.

— Боялся, как бы вы не подумали, что я рассчитываю остановиться у вас. Да и пробуду-то я здесь всего один-два дня.

— И прибыли, конечно, по важному делу. Иначе не представляю себе, что могло привести вас в Хиллтоп в такую стужу.

— Да, я приехал по делу, только не знаю, насколько важному. Надеюсь, миссис Уинн и ваша дочь Агнесса здоровы?

— Миссис Уинн слегла было в постель из-за легкого приступа ревматизма, на который она всегда в это время года жалуется. Но теперь поправилась и опять на ногах, спасибо. Агнесса замещает кого-то в детском саду, и все мы готовимся к праздникам. Агнесса почти все рождество будет в отъезде, но я рад за нее. Скучновато у нас тут в Хиллтопе девушке, которая уже не учится. Не поужинаете ли у нас завтра? Я бы и на сегодня вас пригласил, да миссис Уинн не любит, когда ее застают врасплох.

— К сожалению, завтра мне ехать обратно, но за приглашение спасибо. И, пожалуйста, передайте им обеим привет.

— Ну, тогда на чашку чая. Приходите сегодня после обеда,— предложил Терон Уинн.— Они нередко чаевничают вместе.

— Что ж, если вы убеждены, что это не причинит миссис Уинн лишних хлопот...

— Для нее это будет повод показать вам свой чудесный чайный сервиз.

К своему удивлению, Джордж Локвуд обнаружил в Хиллтопе

цветочный магазин. Дюжина оранжерейных роз, купленная им для миссис Уинн, послужила темой для разговора.

— Должно быть, вы купили их у Джимми Макгрегора,— сказала Бесси Уинн.— Узнаю его розы.

— Разве в Хиллтопе есть и другие цветочные магазины?

— У нас их три,— сказала Агнесса.

— На два больше, чем в Шведской Гавани,—удивился Локвуд.— Целых три цветочных магазина! А я, признаться, не ожидал и одного здесь найти.

— Это вас окружающая местность ввела в заблуждение,— сказала Бесси Уинн.— А между тем весной и летом здесь в каждом дворе цветы. Пусть хоть подсолнух, а цветет. Даже у шахтеров — по крайней мере, у англичан и валлийцев.

— У шотландцев и ирландцев — тоже,— добавил Терон Уинн.

— Да. Ханки редко сажают цветы, но все остальные — сажают. Может, и участки-то у них с этот вот стол, а все равно вечерами видно, как люди копаются в своих садиках. Ну, а овощи стараются выращивать все, даже ханки. Капусту, свеклу и прочее. Правда, в огородах работают в большинстве женщины.

— Удивительно. По-видимому, цветы скрашивают им жизнь,— сказал Локвуд.— Яркий цвет радует. Сам я мало смыслю в цветах. Вот мой дедушка — другое дело. И в цветах, и в деревьях отлично разбирался. С ним бы мне сюда приехать. Я ищу участки для лесоразработок.

— Боюсь, что ни одного продажного участка вы здесь не найдете,— сказал Терон Уинн.

— Все может быть продажным,— возразил Джордж Локвуд.— Вопрос в том, захотите ли вы достаточно хорошо заплатить.

— Да, это так. Но деловой человек не захочет покупать лес в этих местах. Компания моего двоюродного брата не продаст, другие компании — тоже вряд ли. Учтите, что эти пенсильванские немцы из Аллентауна опередили вас и захватили все, что оставалось незанятым.

— Об этом я сегодня уже узнал.

— Вам придется ехать дальше на север, но даже и там вы обнаружите, что все лучшие земли находятся в руках у нескольких семей. Говорят, что некоторые из этих земель были приобретены по два-три доллара за акр. Возможно, это преувеличено.

— А что будет, когда вы выкопаете здесь весь уголь?

— То есть через двести лет?

— Разве его хватит на двести лет?

— Так говорят,— сказал Терон Уинн.— Если у вас есть свободные деньги, вкладывайте их в акции какой-нибудь крупной угольной компании. Сколько бы вы ни заплатили за них сейчас, они непрерывно будут расти в цене. Стране с каждым годом все больше нужно будет угля.

— Да. И через двести лет эти места станут непригодны для жилья,— сказала Агнесса.— Здесь и так уже довольно неприглядно, а представь себе, что будет через двести лет. Сплошные отвалы.

— Через два столетия, Агнесса, отвалы покроются горной растительностью. А вот нас с тобой наверняка занесет угольной пылью. Агнесса не отдает себе отчета в том, что промышленность и процветание не даются даром.

— Я это знаю, папа. Помню, было время, когда у шахты номер двенадцать отвал был высотой всего лишь с наш дом, а теперь он — как гора.

— Ну, не совсем гора, Агнесса,— возразил отец.

— Признаюсь, мне бы не хотелось жить в угольном районе,— сказал Джордж Локвуд.

— Но признайтесь и в том, что вы не прочь были бы заняться таким прибыльным делом, как добыча угля. И если уж сравнивать шахты с лесоразработками, то я не знаю, что хуже — отвалы или пустоши в сотни акров, где ничего, кроме пней, не осталось.— В голосе Терона Уинна появились нетерпеливые нотки.

— Пожалуй, нам лучше переменить тему,— встревожилась Бесси Уинн.

— Согласен,— сказал Джордж Локвуд.— Мистеру Уинну не нравится то, как влияет промышленность на ландшафт. Мисс Уинн это тоже не нравится, как, впрочем, и мне, и любому другому. Но, с другой стороны, никому из нас не нравится, например, слушать визг свиней на бойне, а скоблянку на завтрак мы любим все.

— Вот уж терпеть не могу скоблянку,— сказала Агнесса.

— А бифштексы? Корова не кричит так, как свинья, но если вы хотите кушать бифштекс, то учтите, что сначала надо забить корову ударом по голове. Туфли-то ваши из кожи, мисс Уинн.

— Спасибо за информацию.

— Есть религии, которые запрещают людям носить кожаную обувь и пользоваться пуговицами, сделанными из рогов,— сказал Джордж Локвуд.

— Оставим религию в покое,—предложила Бесси Уинн.—И бизнес — достаточно неприятная тема, а если начать обсуждать еще и религию, то мы испортим себе весь вечер.

— Миссис Уинн имеет в виду мои споры с Агнессой, а не то, что могли бы сказать о религии вы, мистер Локвуд.

— Я думаю, мистер Локвуд так меня и понял, не правда ли? — спросила миссис Уинн.

— Конечно,— подтвердил Джордж.— Мне хотелось бы сказать другое, если вы не сочтете это нескромным с моей стороны. Всякий раз, когда я бываю в вашем семейном кругу, мне хочется вызвать вас на этот разговор. То, что вы сказали о моем дедушке, мистер Уинн...

— О господи! — вздохнул Терон Уинн.

— Была правда,— продолжал Джордж.— И мне кажется, что мы никогда не поймем друг друга, если не посмотрим в лицо фактам. Не я убил двух человек. Меня в то время еще и на свете не было. И моего отца, по-моему,— тоже. Но тогда — этим я не хочу оправдывать своего дедушку — люди жили, если можно так выразиться, более примитивно. Мужчины всегда носили при себе оружие — не могли не носить. У нас и сейчас есть фермеры, чьи деды ни за что не выходили на работу в поле, не прихватив с собой ружья. Это действительно так. Не знаю, как здесь, но у нас, когда мой отец был еще мальчиком, в лесах жили индейцы. Иногда они убивали фермеров, а их жен и детей уводили с собой.

— Они были доведены до отчаяния, эти индейцы,— сказал Терон Уинн, когда-то мечтавший стать миссионером.

— Доведены ли, нет ли, но согласитесь, что я говорю правду, мистер Уинн. Так вот: как я сказал, если мы не посмотрим в лицо фактам, то как же мы поймем друг друга? Взять, к примеру, моего дедушку. Если бы я не знал, как было дело, то и вашего двоюродного брата мог бы принять за ужасного негодяя.

— Тома Уинна? — спросил Терон.

— Не знаю, правда это или нет, но ирландцы считают, что казнь семерых рабочих — дело его рук.

— Ирландцы — известные лгуны, мистер Локвуд,— сказал Те-

рон Уинн.— Какой здравомыслящий человек мог обвинить Тома в том, что он отправил этих головорезов на виселицу? Их судили по закону и признали виновными.

— Не знаю,— сказал Джордж Локвуд.— Но меня это не шокирует. То есть не шокировало бы, если бы ваш кузен в самом деле отправил их на виселицу. Судя по тому, что я слышал, они вполне этого заслуживали. Я уверен, что мой дед тоже воздал бы им по заслугам. Приходится защищать свою собственность, если кто-то посягает на нее.

— Догадываюсь, к чему вы клоните,— сказал Терон Уинн.— Вы находите, что между Томом и вашим дедушкой есть нечто общее. Кто знает, может быть. Насколько я знаю, Том ни в кого не стрелял, но он всегда был вооружен.

— Ты ведь тоже когда-то ходил с оружием, папа,— сказала Агнесса.

— Это когда я работал в отделе оплаты.

— А ты стал бы стрелять в грабителя?

— Чтобы защитить себя.

— А может, деньги? — спросил Локвуд.

Терон Уинн улыбнулся.

— Видите ли, я и сам задавал себе этот вопрос всякий раз, когда вез на шахту жалованье. Не знаю, может быть, я и пристрелил бы налетчика. А теперь отвечу на ваш вопрос: да, чтобы защитить деньги. И себя, и деньги, потому что в этом случае одно связано с другим. Бандит нападал бы не на деньги, а на меня и, убив меня, взял бы деньги. Поэтому кто может сказать: защищал ли бы я себя или ящики с деньгами? И в том, и в другом случае человек был бы убит. Я рад, что меня освободили от работы в отделе оплаты.

— Я тоже,— сказала Бесси Уинн.

— И ты, дорогая? Ты никогда мне этого не говорила.

— Не хотела, чтоб ты знал, как я боялась. Ведь они могли вернуть тебя на эту работу.

— Ну не удивительно ли это? Оказывается, ты тихонько переживала за меня, а я и не знал ничего.

— А я не боялась,— сказала Агнесса.

— Нет?

— Нет. Мне казалось, что ружье ты носил только для профформы. Я ни на минуту не допускала, что тебе придется в кого-то стрелять. И уж конечно, никогда не предполагала, что кому-нибудь вздумается стрелять в тебя.

— Мы тоже выдаем жалованье в нескольких местах,— сказал Джордж.— Правда, больших выплат у нас не бывает, но налетчика я все равно пристрелил бы, если бы он не пристрелил меня первым. У меня и у моего отца в ящике письменного стола лежат револьверы, и я без колебания пристрелю того, кто попытается нас ограбить.— Локвуд криво, с вызовом усмехнулся.— Конечно, вы можете сказать, что у нас это в крови.

— А я не стала бы стрелять в человека из-за каких-то долларов,— сказала Агнесса Уинн.— Я сказала бы ему: бери деньги и убирайся.

— А потом вызвали бы полицию? — спросил Джордж.

— Конечно, вызвала бы.

— Тогда я не вижу, в чем разница. Разве лишь в том, что в одном случае вы убиваете сами, а в другом — принуждаете к этому полицейского. Но если подойти к этому вопросу философски, то разницы нет. Верно, мистер Уинн?

— Философски? Пожалуй, вы правы. Но спорить с прекрасным полом в философском плане нам не следует.

— Ну что ты, Терон, право,— укоризненно посмотрела на него Бесси Уинн.

— Милые дамы, я не думаю ничего плохого о ваших умственных способностях. Если говорить о сообразительности, то в ряде случаев вы не уступаете мужчинам и даже превосходите их,— сказал Терон Уинн.— Однако вы иногда позволяете чувству и настроению запутать дело. Вы согласны, мистер Локвуд?

— Боюсь отвечать на ваш вопрос откровенно после столь приятного вечера. Мне пора уходить и поэтому не хотелось бы оставлять о себе невыгодное впечатление. Большое вам спасибо, миссис Уинн. Мисс Уинн, мистер Уинн сказал мне, что в праздничные дни вас не будет дома. Не предполагаете ли вы по какой-либо счастливой случайности присутствовать на гиббсвиллской Ассамблее?

— Как вы узнали? Да, предполагаю.

— Чудесно. В этом году меня сделали действительным членом Ассамблеи, что позволяет мне считать себя в некотором роде вашим хозяином или одним из хозяев.

Джордж Локвуд остался доволен своим визитом к Уиннам. Разговор был острым, на грани спора, но им всегда удавалось вернуть его на безопасную почву, не доводя до ссоры. Он чувствовал, что Агнесса Уинн осталась о нем лучшего мнения, чем была раньше; уходя, он даже заметил на ее лице намеренно дружелюбную улыбку.

■

Как действительный член гиббсвиллской Ассамблеи, Джордж должен был внести свою долю на покрытие дефицита, если таковой появится, и отработать два года в комиссии по приему гостей. Взнос с каждого члена не превышал двенадцати долларов, обычно же балы приносили небольшой доход, который зачисляли в фонд следующего года. Как член комиссии по приему гостей, он должен был ходить с алой лентой через плечо и смотреть за тем, чтобы ни одна из пожилых дам не оставалась в одиночестве. После ужина члены комиссии уже не относились к своим обязанностям всерьез, и атмосфера бала становилась более непринужденной; это объяснялось отчасти тем, что самые пожилые успевали к этому времени разойтись по домам, а отчасти тем, что джентльмены по традиции выходили в гардероб выпить неразбавленного виски или коньяка. Естественно, кое-кто из джентльменов не ограничивался одним глотком, так что к часу ночи, за час до конца бала, в зале становилось оживленно.

Джордж Локвуд знал в лицо почти всех гиббсвиллских членов Ассамблеи, поэтому приезжие гости сразу же бросались ему в глаза. Агнессу Уинн он заметил, как только она появилась. Поскольку со списком гостей он познакомился заранее, он знал, что она пришла в сопровождении Роберта Лидса. Лидс, избравший горное дело своей профессией, был родом из северной части углепромышленного района (Уилкс-Барре—Скрантон), но на практику приехал в Гиббсвилл, где престиж его семьи не мешал ему проходить обучение. Это был представительный на вид, совершенно лысый, несмотря на свои двадцать восемь лет, человек, воспитанник Эндовера и Йеля. Он так боялся вызвать неодобрение гиббсвиллских мамаш (и папаш), что не решился пригласить на бал местную девушку и предусмотрительно привел иногороднюю. Приглашение молодой женщины на Ассамблею считалось в Гиббсвилле очень серьезным шагом, но если некий Лидс из

Скрантона приглашал некую Уинн из Хиллтопа, то на это смотрели менее серьезно; пока Роберт Лидс не отдавал предпочтения ни одной из местных девушек, жаждущие женихов гиббсвиллские родители могли, по крайней мере, еще на что-то надеяться.

До начала второй половины бала Джордж Локвуд даже не пробовал танцевать с Агнессой. После перерыва разрешалось приглашать партнерш «сверх программы», поскольку заранее составленные списки бывали к этому времени в основном исчерпаны.

— Боб, ты позволишь мне потанцевать с ней через танец? — спросил Джордж.

Лидс взглянул на свою карточку.

— Через танец — нет, только через два.

— Ну, пусть через два.

— Настоящая работорговля,— сказала Агнесса Уинн.— Ничего, еще настанет день, когда джентльмен будет обращаться с этим вопросом к самой даме.

— Никогда,— сказал Лидс.— И знаете почему? Потому что иначе девушки, на которых нет спроса, будут оставаться ни с чем. Они первые не захотят, чтоб их спрашивали. Мужчины будут танцевать только с хорошенькими. Верно, Джордж?

— Кроме членов комиссии по приему гостей. Не знаю, заметил ли ты, как я обхаживал сегодня некоторых дам. Но теперь я, пожалуй, сниму ленту и освобожусь от этой рабской обязанности. Мисс Уинн, не хотите ли получить в подарок эту алую ленту? Она очень пойдет к вашим зелено-голубым глазам. Нет? Боб, хочешь алую ленту? Она даст тебе право потанцевать со старой миссис Стоукс.

— Благодарю. Я уже имел это удовольствие. Не сегодня, а в другие разы... Между прочим, миссис Стоукс — моя хозяйка, она опекает меня, и вовсе не такая уж старая.

— Я хотел лишь подчеркнуть разницу между нею и молодой миссис Стоукс — моей троюродной сестрой,— сказал Джордж.

Позже, когда они пошли танцевать, он сказал Агнессе:

— Мне все время кажется, что мы с вами не то что ссоримся, а расходимся во мнениях.

— Да.

— Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему это происходит?

— Кажется, нет.

— В самом деле?

— Ну вот, опять мы спорим. Вы ставите под сомнение мои слова, считая, что я задавалась этим вопросом.

— Да, я так считаю, Агнесса.— Он почувствовал, как она вся напряглась.— Ваше отношение ко мне настолько определилось, что такая умная девушка, как вы, неизбежно должна задуматься над причиной. Я-то знаю, в чем причина. Я вам не нравлюсь и, по-вашему, не должен нравиться, вы не хотите, чтобы я вам нравился. Однако когда мы вместе, между нами происходит нечто гораздо более значительное, нежели «нравится — не нравится».

— Вы уже были однажды помолвлены, не так ли?

— Нет, не совсем. У нас был уговор — мы пришли к согласию.

— И согласие перешло в несогласие?

— Если хотите, я расскажу вам. Все расскажу.

— Мне говорили, что родители этой девушки рассердились на вас за то, что вы не захотели помочь ее брату вступить в клуб. Если в этом была причина, то я — на вашей стороне. Для разнообразия.

— Я рад, что вы на моей стороне, но справедливости ради должен сказать, что были и другие причины. Главная из них — в том,

что мы не подходили друг другу. Я не сразу это понял. Если бы не это, то все остальные причины ничего бы не значили.

— Я вам верю. Верю от всей души.

— И очень хорошо, что мы разошлись, какова бы ни была причина. Потому что если бы мы поженились, я бы все равно встретил вас. Не прошло бы и года.

— Встретили бы?

— Не прошло бы и года нашей совместной жизни, как она узнала бы, что я по уши влюблен в другую. Говорят, что женщины легко об этом догадываются.

— Вы, Джордж Локвуд, никогда ни в кого по уши не влюбитесь.

— Откуда вы знаете?

— Вы и сами этого не отрицаете, а только спрашиваете, откуда я знаю. Потому что вы никогда не позволите себе влюбиться.

— Боюсь, что вы правы. Вот я с вами соглашаюсь, а сам чувствую, что влюблен. Впервые в жизни. Вы можете это понять?

— Да, могу. Потому что одно это искреннее признание перекрывает все полуправды и недомолвки. Да, мне понятно это состояние.

— Давайте скажем друг другу правду, Агнесса.

— Какой правды вы от меня хотите?

— Что мы влюблены.

— Хорошо, скажу. Мы влюблены.

— Это правда?

— Опять сомневаетесь. Не будем больше ни о чем говорить. Давайте потанцуем. Я люблю танцевать!

■

В сентиментальном порыве, что случалось с ним очень редко, Джордж Локвуд пригласил Роберта Лидса в дружки на свою свадьбу с Агнессой Уинн. Изысканно вежливый отказ Лидса едва не привел к расторжению помолвки.

— Проклятый, грязный сноб! — возмутился Джордж.

— Не надо так говорить,— запротестовала Агнесса.— Роберт — не сноб в твоем понимании этого слова.

— Интересно, долго ли пришлось бы копаться в прошлом самих Лидсов, чтобы найти то, что они предпочли бы скрывать.

— Я и без копания скажу тебе, что у них есть. У Боба есть дядя, который был раньше евангелическим священником, а теперь занимается бог знает чем и живет на Западе. Бросил жену с тремя детьми, бросил богатый приход и исчез. Исчез — и все. Возможно, есть причины, только их скрывают. Нет, Боба назвать снобом нельзя.

— Уж эти мне угольные бароны! Все они одинаковы, все до единого. Твой отец не хочет нашего брака, потому что твой дядя не одобряет Локвудов. А по какому праву? Мой дед убил двух человек, а скольких он убил, сражаясь в рядах северян? Они это ставят ему в вину? Нет. Об этом они даже не упоминают, потому что никто из Уиннов в армию не пошел. Они сидели дома и богатели.

— Джордж, дядю Тома беспокоит не столько то, что наделал твой дедушка.

— Дядю Тома, дядю Тома.

— Выслушай меня, пожалуйста. Ты должен меня выслушать.

— Я слушаю.

— Ты всегда считал, что люди настроены против тебя из-за дедушки. Это правда, такие люди есть. Но дядю Тома тревожит не это. Жаль, что я вынуждена об этом говорить.

— Ну говори же, говори.

— Ты что-нибудь знаешь о двух сестрах твоего отца? О своих тетках?

— Разумеется. Они умерли от туберкулеза, но мой отец здоров, и у меня никогда не было даже признаков этой болезни. У моего брата и всех остальных членов семьи — тоже.

— Они умерли не от туберкулеза, Джордж.

— От туберкулеза, в окружной больнице.

— В окружной больнице, но по другой причине.

— От алкоголя?

— Нет. От менингита.

— От менингита? Это еще кто выдумал? Наглая ложь. Им было всего... Не знаю, сколько им было, только они болели туберкулезом в открытой форме и умерли очень молодыми.

— Спроси своего отца.

— Незачем мне его спрашивать, если он мне сам сказал.

— Спроси еще раз. Заставь его сказать тебе правду. Я не боюсь правды и охотно пойду за тебя. Но это несправедливо, что другие знают, а тебя держат в неведении.

— Охотно пойдешь за меня? Но после такого обвинения я, может быть, сам не захочу на тебе жениться.

Хотя вечер только еще начинался, он покинул ее дом и возвратился в хиллтопскую гостиницу. После того как помолвка стала фактом, нельзя было и думать о ночлеге в доме Уиннов. Поездки к Агнессе, связанные с пересадками с одного поезда на другой в неудобные часы да еще ночевки в грязной гостинице служили серьезным испытанием верности. Он был сердит на Агнессу и на своего родителя, поэтому на следующее же утро, не выспавшись, побрился, разведя мыло в холодной воде, и отправился тихоходным товаропассажирским поездом в Гиббсвилл; там он сделал пересадку и прибыл наконец в Шведскую Гавань, горя нетерпением обрушиться с вопросами на отца.

Утро было уже на исходе, когда Джордж прямо с вокзала приехал в контору компании Локвудов.

— Ну как, приятная была поездка? — спросил Авраам Локвуд.

— Мне надо поговорить с тобой. Сейчас же.— Джордж закрыл за собой дверь отцовского кабинета.

— Выкладывай. Хотя недурно было бы сначала поздороваться. Не люблю, когда ко мне врываются, как быки в магазин фарфора.

Джордж Локвуд опустил дорожную сумку на пол.

— От чего умерли мои тетки? Мои тетки по линии Локвудов.

— Вот оно что. Я вижу, тебе уже что-то нашептали. Очень хорошо, я отвечу. Тетя Рода умерла от ангины. Тетя Дафна умерла от заворота кишок.

— Ты же всегда говорил, что они умерли от туберкулеза.

— О людях, умерших в окружной больнице, часто так говорят. Обе они умерли там.

— Зачем ты лжешь? Как ты можешь спокойно сидеть и говорить мне заведомую ложь, зная, что мне известно другое?

— А что тебе известно?

— Обе были умалишенные и не болели никаким туберкулезом. Их отправили в сумасшедший дом.

— Хорошо. Умалишенные. И что же, Агнесса расторгла помолвку?

— Я бы не обвинил ее, если бы она расторгла. После всего того, что я наговорил ей вчера. Но если бы я знал правду, то ничего такого не сказал бы.

Авраам Локвуд собрался с мыслями и пошел в контрнаступление.

— Сядь, паршивый щенок, и помолчи. Слушай теперь, что я скажу. Кто ты такой, чтобы являться сюда и хамить отцу? Получай свою правду. Четыре года ты считал, что мои сестры, а твои тетки умерли от туберкулеза. От туберкулеза! Неизлечимой болезни. Ничего другого ты о своих тетках не знал и все-таки дважды собирался жениться, делал предложения. А ведь был убежден, что у тебя в роду туберкулезные больные. Ты сказал той девушке в Лебаноне, что твои тетки умерли от туберкулеза? Держу пари, что не сказал. И вот вдруг ты узнаешь, что они не умерли от туберкулеза, а их изолировали. как умалишенных. Что хуже — туберкулез или помешательство? Туберкулез хуже, это подтвердит тебе любой врач. Нервные расстройства излечимы, я мог бы назвать десяток людей в нашем городе, которые избавились от этого недуга. А туберкулез передается по наследству.

— Безумие — тоже.

— Докажи. Докажи, что это — наследственная болезнь. Ты знаешь, отчего люди сходят с ума? Схватят какую-нибудь болезнь и теряют рассудок. Сифилис, например. Иногда это может случиться после скарлатины. Или перегреются на солнце и получают размягчение мозга. Или неправильно идут при родах, а мать, акушерка или врач случайно повредят черепную коробку, пока она еще мягкая. Мало ли причин. По голове чем-нибудь ударят или с лошади уронят. Это всегда связано либо с ушибами, либо с воспалительными процессами.

— Значит, ты хочешь сказать, что твои сестры болели сифилисом? — спросил Джордж.— Или их обеих столкнули с пони?

Аврааму Локвуду снова пришлось прибегнуть к испытанному средству — ко лжи.

— Твои тетки подцепили скарлатину. Сначала заболела Дафна, а от нее заразилась Рода. Ни та, ни другая не смогла одолеть болезнь. Это случилось давно, я тогда не был еще женат на твоей матери. Они едва не умерли, но уж лучше смерть, чем это. За одну ночь они из здоровых, смышленых детей превратились в болезненных и слабоумных. Ничего не ели и чахли на глазах. Мало того, девочки перестали узнавать своих родителей. В конце концов отцу с матерью не оставалось ничего другого, как отправить их в больницу, иначе они сделали бы над собой что-нибудь. Хуже того, что они выстрадали, нельзя и придумать. Я уж не говорю о переживаниях родителей, которые видели их страдания, но не могли ничем помочь. Все доктора говорили одно и то же. Менингит после скарлатины — и никакой надежды на выздоровление. В таком состоянии они прожили несколько лет, пока Рода не заболела еще ангиной, а у Дафны не случилось заворота кишок. Можешь пойти в архив и посмотреть свидетельства об их смерти — о воспалении мозга там не сказано ни слова. Если бы они умерли от менингита или от туберкулеза, то так и было бы написано, но этого там нет. Если семейство Уиннов поднимет этот вопрос, ты не сможешь отрицать, что твои тетки болели менингитом. Но болезнь эта началась после скарлатины, и не она послужила причиной их смерти. Теперь иди домой и подумай. Когда ты все обдумаешь, то поймешь, я надеюсь, что сын должен проявлять к своему родителю больше уважения. Иди, Джордж. Ты глубоко обидел меня, и мне не хочется обедать.

— Извини, папа. Прости.

Джордж Локвуд поехал к Терону Уинну и пересказал ему то, что наврал отец, а тот, как он и рассчитывал, передал все Тому Уин-

ну; и эта искренность Джорджа, как бы отражавшая прямоту характера Авраама Локвуда, обезоружила Тома Уинна. Он не стал противиться браку, а наоборот: проникся к Локвудам еще большим уважением. По его настоянию (и при отсутствии серьезных возражений со стороны Терона и Бесси Уинн) свадьбу решили сыграть на озере Уинн. Это было огромное событие в жизни местного общества. Ни один из тех, кто был связан с угольной промышленностью, от управляющего шахтой и выше, не остался неприглашенным, к какой бы корпорации он ни принадлежал. В списке гостей, составленном Томом Уинном, значились углепромышленники и лесопромышленники, порохозаводчики, финансовые и железнодорожные магнаты, юристы, высшее протестантское духовенство, католический епископ, два прелата, губернатор штата, три члена сената штата и один член сената страны. Все понимали, что им предоставляется, быть может, последняя при жизни Тома Уинна возможность засвидетельствовать почтение этому человеку, и потому приглашение имело для них силу приказа. Вечером, за день до свадьбы, на запасных путях близ озера Уинн стояло девять специально забронированных пульмановских вагонов, а в день свадьбы все рабочие и служащие Уиннов, начиная с забойщиков и кончая управляющими шахтами, получили однодневный отпуск с сохранением содержания. Ничего подобного в этом районе еще не было. Том Уинн хотел быть уверенным в том, что празднество, которое он затевает, послужит образцом для всех будущих событий такого рода. Гостей, хотя они не говорили об этом, несколько смущало то обстоятельство, что их принимал не Терон Уинн, отец невесты, а престарелый господин с квадратной челюстью и с лицом, свидетельствовавшим о железной воле, однако они быстро разобрались, что к чему и кто есть кто. Если такой пир отцу невесты и не по карману, то по крайней мере он или его дочь — на достаточно хорошем счету у богатого родственника, что тоже неплохо.

— Ты не считаешь, что нам лучше было бы обвенчаться в церкви Хиллтопа безо всей этой суеты? — спросил Джордж Агнессу за день до свадьбы.

— Честно говоря, нет. Денег у дяди Тома достаточно, а суета меня не волнует. У меня такое впечатление, точно я собираюсь не на свою свадьбу, а на чужую.

— Ты не чувствуешь себя невестой?

— Нет. Завтра почувствую. Придется играть эту роль, хотя я не очень хорошая актриса. Ему хочется, чтобы я была красива и выглядела скромно, как и подобает невесте. Ну а на все остальное, связанное с этой свадьбой, я смотрю глазами постороннего человека. А ты что чувствуешь?

— Вероятно, то же, что должен чувствовать твой отец. Что надо быть на этом торжестве из вежливости. Не по отношению к тебе, а по отношению к твоему дяде. Если не считать мистера Уинна, больше всех доволен мой отец. У него с мамой тоже была пышная по тем временам свадьба.

— Жаль, что нет твоей мамы.

— Да,— согласился Джордж. В действительности же мысль о матери у него ни разу до сих пор не возникала.

Пресвитериане Уинны и лютеране Локвуды нашли, что ближайшие церкви — методистская, которую посещают валлийцы, и католическая, которую посещают ирландцы,— им не подходят, поэтому, когда Том Уинн предложил совершить обряд венчания у него в доме, никто, в сущности, не возражал. Такое решение влекло за собой необходимость ограничить число присутствующих на церемонии, но Тома Уинна это не огорчало. «Меньше будет слезливых женщин, только и

всего». Однако венчание в доме Уинна вынуждало и жениха сократить свиту молодых людей, что пришлось Аврааму Локвуду не по вкусу.

— Жаль, что у тебя будет мало дружек,— сказал он Джорджу.

— Почему мало? Четверых достаточно. Пятым будет Пэн.

— Больше-то лучше,— настаивал отец, думая об интересах Дела Локвудов.

— Почему же? — недоумевал Джордж.— Если бы венчание происходило в большой церкви — другое дело. Но раз гостей будет немного, то с моей стороны было бы нескромно привести с собой десять—пятнадцать дружек.

— Нескромно. Ты совершенно прав.— Авраам Локвуд радовался: его сын был настолько чуток к правилам хорошего тона, что уже теперь вполне удовлетворял одному из самых существенных требований Дела.

Жених и невеста выполнили все, что требовалось церковным и светским обрядами: торжественно шествовали, стояли, кружились в вальсе, прохаживались среди сотен мужчин и женщин, здороваясь с одними, выслушивая поздравления других, перекидываясь с кем-то словцом, окликая кого-то по имени, улыбаясь тем, кого они не знали или не узнавали в лицо.

Прием приближался к концу, пошел сильный дождь, гости засуетились, забегали между палатками, а Джордж и Агнесса тем временем скрылись в особняке и переоделись в дорожные костюмы. Кто-то вдруг крикнул: «Они уезжают!»; крик этот сразу превратился в хор голосов, толпа повалила в особняк и запрудила парадную лестницу. Агнесса стояла на первой лестничной площадке и испуганно смотрела то на толпу, то на Джорджа.

— Не бойся, они нас выпустят,— заверил он.

— Где твой букет? Ты не бросила нам свой букет? — крикнул ей кто-то.

— Я не знаю, куда он девался,— сказала Агнесса мужу.

— Не имеет значения,— успокоил он ее и громко попросил:— Будьте добры, пропустите нас!

— Букет! Букет! — скандировали гости, и Агнесса впервые почувствовала, что теряет самообладание. Скопление людей, полушутливое (только полушутливое!) требование букета, растерянный вид отца, тщетно пытающегося пробиться сквозь толпу, чтобы попрощаться с дочерью,— все это оказалось ей не под силу.

— Я боюсь,— прошептала она, сжав руку мужа.

— Никто тебя не тронет,— грубо сказал он.— Кинут в нас щепоть риса — и все.

— Я не могу спускаться по этой лестнице. Даже с места не сдвинусь. Выведи меня отсюда черным ходом. Пожалуйста!

— А, черт! Ну, хорошо.

У парадного подъезда стояла пара лошадей, впряженная в брюстеровское ландо, на козлах которого восседал личный кучер Тома Уинна. По мысли Джорджа, это ландо должно было выполнять роль приманки для гостей — усыпить бдительность наиболее рьяных весельчаков и дать возможность молодым незаметно выйти из дома черным ходом и сесть в санитарную повозку.

— Выйдем через кухонную дверь и — бегом к повозке,— предложил Джордж Локвуд.

Хитрость удалась: пока гости толпились и шумели в особняке, у подъезда и на газоне, молодые уже располагались на одеялах в «мясном фургоне», как окрестили повозку шахтеры. Прошла еще минута, и мулы рысцой понесли их по направлению к железнодорожному по-

лотну — примерно в трех милях от особняка,— где стоял наготове паровоз с прицепленным к нему вагоном, чтобы отвезти их в Моч-Чанк. Когда они добрались до железной дороги, Агнесса все еще дрожала и еле переводила дух от волнения.

— Только без истерики,— буркнул Джордж.

— Ее-то я и стараюсь побороть. Извини, но я не могла тогда выговорить ни слова.

— Это ничего. Теперь успокойся.— В вагоне, кроме них, никого не было.— Никто больше не будет к тебе приставать. Мы приедем в Моч-Чанк раньше срока, так что до отправления нью-йоркского поезда у нас еще будет много времени. И никаких знакомых. А в Нью-Йорк прибудем раньше одиннадцати.

Когда они сели в нью-йоркский поезд, Агнесса Уинн-Локвуд облегченно вздохнула.

— Все шло хорошо до самого конца, а потом вдруг что-то со мной стряслось. И все у меня получалось не так, как нужно. Не попрощалась с дядей Томом. Не бросила гостям цветы, хотя Рут Хейгенбек очень на это рассчитывала. И потом — эта толпа и бедный папа. Ты его видел?

— Нет.

— Никогда не забуду его лица. Хочет мне улыбнуться и не может. Его так сжали со всех сторон, так затерли, что он не мог даже шевельнуться. Мама-то со мной была, помогала переодеться, а вот папа... бедняга. Я знаю, что он хотел поцеловать меня на прощание.

— Будет тебе, Агнесса. Я же не собираюсь бросать тебя в Гудзон.

— Бедный Джордж. Я бы не винила тебя, если бы и бросил.

— Не возражаешь, если я выйду покурить?

— Конечно нет. Я и сама бы не прочь. Но ты иди, а я пока прилягу.

В гостинице им был приготовлен номер люкс. Как только они вошли, Агнесса объявила, что хочет есть.

— Да и ты, должно быть, голоден. Весь день почти ничего не ел.

— Выпьем шампанского?

— Может, не будем, а? Неприятно мне это вино. Ничего, кроме яичницы и чая, я не хочу.

— Хорошо. Яичницу на двоих. Чайник. Кофейник. И порцию шампанского.

— Очень хорошо, сэр,— сказал официант.— Минут через двадцать, сэр?

Агнесса распаковала вещи, повесила одежду в платяной шкаф, сложила все остальное в комод, подошла к окну и посмотрела на полуночную жизнь Геральд-сквер. Больше заняться было нечем, а ужин еще не принесли. Она сняла жакет и осталась только в блузке и юбке.

— Ну скажи что-нибудь,— попросила она мужа.

— Что бы ты хотела от меня услышать?

— Обычно мы с тобой болтаем — не остановишь.

— Обычно — да, но сейчас другая обстановка.

— Поэтому я и хочу, чтобы ты поговорил со мной.

— Она ведь и на меня действует, Агнесса. Обстановка-то.

— Ах, да. Об этом я не подумала. Не ставила себя на твое место. Эгоистично с моей стороны. Но я рада, что и ты волнуешься. Кое-что матери объясняют дочерям, но мне еще не приходилось слышать, чтобы они учили, как поддерживать разговор в брачную ночь.

— Для разговоров у нас еще будет достаточно времени.

— Все равно мне хочется поговорить. Хоть пять минут

— Ты уже говоришь. Продолжай.

— Но ты мне не помогаешь. А вот и ужин.

Тактичный официант принес не один, а два бокала шампанского. Когда он вышел, Джордж Локвуд поднял свой бокал.

— За тебя, Агнесса. Надеюсь, ты будешь счастлива.

— Конечно буду, Джордж. Что-то свело же нас с тобой. Что именно, я не совсем понимаю, но оно есть.— Они чокнулись, отпили из бокалов и сели — впервые в их супружеской жизни — за общий стол.

— Не так уж я и голодна, как думала,— вдруг сказала Агнесса. Она встала и ушла в спальню, закрыв за собой дверь.

Минут через пятнадцать—двадцать он тоже встал и открыл дверь. В спальне было темно, Агнесса лежала в постели.

— Ты не спишь? — спросил он.

— Господи, он еще спрашивает. Разве можно заснуть в таком состоянии?

■

Когда умер Том Уинн — это случилось через год после замужества Агнессы Локвуд и через пять месяцев после ее первого выкидыша,—она унаследовала сто тысяч долларов, которыми могла распорядиться в любое время, и пятьдесят тысяч — на воспитание детей, если они у нее будут; если же в течение десяти лет у нее не сохранится ни одного ребенка, то и эти пятьдесят тысяч станут ее собственностью. Деньги небольшие по сравнению с личным состоянием Джорджа и с тем, что сулило ему наследство от отца, но все же это был ее собственный капитал. Деньги на детей лежали в одном из банков Уилкс-Барре, в семидесяти милях от Шведской Гавани, а сто тысяч долларов были вложены в акции и другие ценные бумаги угольной компании Уиннов. Обратить их в деньги она могла, лишь предложив их сначала той же угольной компании.

— А хорошо чувствовать себя независимой, правда? — спросил Джордж.

— О да,— согласилась Агнесса.— Теперь мне не надо постоянно просить у тебя денег.

— Не замечал, чтобы ты просила их у меня постоянно.

— Всякий раз, когда нужны деньги.

— Разве я отказывал тебе когда-нибудь? Или не доверял?

— Нет, ты очень щедр. Но я всегда должна была просить. Ну а теперь у меня есть немного своих, так что если я куплю тебе что-нибудь, то уже не за твой счет. Все-таки приятно сознавать, Джордж, что и сама можешь кому-то что-то дать.

— Да. Но со временем это становится несколько утомительным— все давать и давать. Сама убедишься.

— Ну что ж, отныне ты будешь не только давать, но и получать.

— Можешь поверить, что мне это будет в новинку.

— Что касается меня, то я никогда не могла давать столько, сколько хотела.

— Ты же никогда не жила в бедности, Агнесса.

— В бедности — нет, но денег нам всегда не хватало. За квартиру мы не платили и товары брали оптом в магазине компании. По железной дороге ездили бесплатно. Но у отца всегда было мало наличных денег, а маминым родным приходилось беречь каждый пенни.

— Зато теперь твой отец обеспечен. Как он намерен распорядиться своими ста тысячами долларов?

— Сначала свозит маму в Египет. Потом сядет писать книгу.

— О Египте?

— О нет. Нечто вроде истории семейства Уиннов в Соединенных Штатах, но главным образом о Томе Уинне. Он там расскажет о реках и лесах, по которым любит бродить. Он никогда не собирался сидеть взаперти в конторе.

— Не знаю, найдутся ли желающие купить книгу о Томе Уинне и о лесах. О своем деде я бы почитал книгу, а о Томе Уинне — нет. Если, конечно, твой отец не предполагает раскрыть какие-нибудь семейные тайны. Но зная его, я этого не допускаю.

— Ты всегда почему-то считал, что дядя Том скрывает какие-то преступные тайны.

— Я убежден, что любой человек, у которого больше пяти тысяч долларов, скрывает преступные тайны.

— А на семью Локвудов это распространяется?

— Еще бы. В первую очередь.

— Но ты же честен. И твой отец — тоже.

— Пока не доказано обратное.

— Джордж, почему ты всегда становишься в позу этакого полумошенника?

— Это не поза, Агнесса.

— Мне кажется, ты хочешь быть таким, как твой отец.

— Уж не считаешь ли ты моего отца мошенником или полумошенником?

— Он гораздо больше похож на мошенника, чем ты. Несмотря на свой возраст и на то, что он мой свекор, он иногда смотрит на меня так, что мне кажется, будто он меня раздевает.

— А когда я на тебя смотрю, тебе этого не кажется?

— Ты — другое дело. Стоит тебе лишь попросить... Да и просить не надо. Мы с тобой муж и жена, и значит у нас с тобой есть отношения. Определенные отношения. А твой отец мне свекор, и ему подобные мысли не к лицу.

— Не можешь же ты повесить человека за его мысли.

— Нет. За мысли не могу.

— Ты сказала это таким тоном... Разве у него было что-нибудь, кроме мыслей?

— Со мной не было.

— А тогда с кем-то еще? С кем-нибудь конкретным?

— Возможно, это было только раз.

— Да неужели? Что же именно?

— То, что я видела. В прошлую пятницу. Он сидел в летнем доме, в своей качалке, а рядом с ним — дама, и она ласкала его.

— Что за дама?

— Я ее не знаю. Прежде ни разу не встречала.

— Будь я проклят. Прямо так — сидела и ласкала? А ты где была?

— Стояла в нише окна. На втором этаже. Я не знала, что он ждал гостей, и удивилась, заметив, что у него кто-то есть.

— А он что делал?

— Ничего, сидел — и все. Женщина была немолодая, но элегантно одетая. Возможно, они давние знакомые, только я никогда не видела, чтобы немолодые люди так себя вели.

— Интересно, кто это мог быть. Но вряд ли я узнаю. Если, конечно, она не придет к нам опять. Ты ее признаешь, если встретишь во второй раз?

— Думаю, да.

— Мой отец — старый плут, причем без всяких «*полу*».

— И ты этому ужасно рад. Гордишься им. А я даже и подумать не могла такого — ни о моем отце, ни о твоем... Несолидно это — сидеть в качалке и чтоб какая-то женщина ласкала тебя.

— Может быть, и несолидно, а все же молодец старик, что у него еще есть искра. Хотел бы я быть таким в его возрасте.

— А сколько ему лет?

— Около шестидесяти, по-моему. Родители ведь никогда не говорят, сколько им лет.

— Значит, ты хочешь быть таким же, когда состаришься. Что ж, ты, наверно, таким и будешь, раз тебе этого хочется. И найдешь женщину, которая будет ласкать тебя.

— А ты — не будешь?

— В летнем домике с твоим отцом была ведь не твоя мать. Это женщина из его прошлого.

— Ну, у меня в прошлом не было женщин.

— Не лги мне, Джордж. Это же глупо.

— Во всяком случае, все они забыты, Агнесса.

— От души надеюсь, что это так.

Агнесса Локвуд не стала возражать, когда выяснилось, что Авраам Локвуд намерен жить в одном с ними доме. Дом был большой, со слугами и с просторным двором. На втором этаже было пять спален, гостиная и ванная в конце коридора. Спальню, смежную с его собственной, Авраам перестроил во вторую ванную, предоставив, таким образом, максимальные удобства и себе, и другим. Старик (так он называл себя и так звали его за глаза остальные) пил утренний чай в спальне в семь часов, но потом очень долго брился и одевался, так что Джордж стал ходить на работу один. Бывали дни, когда Авраам появлялся в конторе лишь около полудня, а то и вовсе не приходил. Чем он болеет, никто не знал, потому что врачей он не посещал и ни на какие боли не жаловался. Но он постоянно чувствовал усталость, физическую усталость, поэтому то и дело напоминал Джорджу, что когда Пенроуз закончит Принстон, то ему придется самому посвящать младшего брата в сложности бизнеса. «Мне надо отдохнуть»,— говорил он обычно после обеда, хотя отдыхал уже всю первую половину дня. Джорджу переданы были все бразды правления, и через несколько месяцев после женитьбы его стали признавать в местных деловых кругах фактическим главой фирмы «Локвуд и К°». Более пожилым дельцам он представлялся загадочным, непоследовательным человеком, в котором сочетались замкнутость Мозеса Локвуда с мнимой доступностью Авраама Локвуда. Мнение о доступности последнего было следствием контраста между стилем поведения Мозеса и его сына, однако этот обман, или самообман, превратился в убеждение, приобрел характер реальности. Люди не знали, что Мозес Локвуд был олицетворением простоты по сравнению с изощренной скрытностью своего сына; не знали, что Мозес Локвуд был обречен на изоляцию из-за дурной славы, которую снискал своими необузданными поступками; не знали, что Авраам, отдавший себя служению Делу Локвудов, рассматривал человеческие отношения исключительно под углом зрения их полезности Делу.

Агнесса уже привыкла к тому, что свекор в утренние часы находился дома. В это время она бывала занята домашними делами, но не настолько, чтобы не перемолвиться с ним словцом. Страх, который она испытывала перед ним из-за своей застенчивости, исчезал по мере того, как росла ее уверенность в себе, и уступал место любопытству. То, что Авраам быстро уставал, не вызывало сомнений — физически он действительно ослаб. Но ум его не утратил живости, и слушала она его с интересом, даже если их беседы бывали непродолжительны,—

у нее создавалось впечатление, что он намеренно старался поддержать ей компанию.

Отношения Агнессы Локвуд со свекром продвинулись настолько, что, вступив во второй год замужества и снова забеременев, она не только сблизилась с ним, но и приобщилась к тайне Дела Локвудов. Однажды утром Авраам позволил себе спросить:

— Агнесса, вы опять в положении?

— Я? Да. Разве заметно?

— По животу — нет. По глазам.

— По глазам?

— Да. Такие глаза, как у вас, меняются больше, чем карие. Карие остаются карими, голубые же делаются либо серыми, либо синими. Зависит от того, как человек себя чувствует. Цвет ваших глаз выдает и гнев, и радость. Временами он меняется моментально. Вы не умеете хранить тайны, Агнесса. Что касается этой конкретной тайны, то я и не хотел, чтобы вы ее хранили от меня. Конечно, Джордж уже знает.

— Конечно. И Джордж, и доктор Шваб. Больше пока никто. Родителям я еще не писала. Они могут прервать свое путешествие, а я этого не хочу. Времени у них вполне достаточно, чтобы успеть вернуться домой.

— Он много для меня значит, этот ребенок. Разумеется, и для вас с Джорджем, и для ваших родителей, но для меня, пожалуй, больше всех.

— Вы это уже говорили. До того как я потеряла первого ребенка.

— Ну а сейчас — тем более. Я старею и хотел бы увидеть внука. Но дело не только в этом, Агнесса. Я думаю о более далеком будущем, о том времени, когда меня уже не станет, а у моего внука появятся собственные внучата.

— Этого все хотят, не так ли?

— Сомневаюсь, что другие придают этому столько значения, сколько я. Всю жизнь я загадывал на четыре поколения вперед.

— На четыре поколения? Почему на четыре?

— Внуки моих внуков появятся в пятом поколении.

— Но вы их никогда не увидите. Какое вам до них дело? Это же не королевская семья, так что вам нечего беспокоиться.

— Нечего беспокоиться? Наверно, так.

— И почему вы ограничиваетесь четырьмя поколениями? Почему не шестью?

— Потому что четыре поколения после меня плюс мое поколение и поколение моего отца дают шесть поколений, охватывают два столетия существования нашего рода в этом городе.

— А я не стала бы рассчитывать, что наши потомки через пятьдесят лет захотят жить именно в этом городе. У Пенроуза, например, уже сейчас нет такого желания, а что будет с моими детьми, один бог ведает.

— Заставьте их жить здесь. Если вы мне это обещаете, Агнесса, то я оставлю вам миллион долларов.

— Этого я вам обещать не могу, мистер Локвуд.

— Вы же будете авторитетом для своих детей, Агнесса. Убедите хотя бы одного сына остаться здесь, с меня и этого довольно.

— Не могу обещать. И влиять на них не обещаю. Вот мой отец хотел стать миссионером, а вместо этого всю жизнь проработал в угольной промышленности.

— И был очень счастлив.

— Нет. Человек не может чувствовать себя счастливым, если всю жизнь занимается не тем, чем хотел. Вот почему мой отец не

сумел добиться в компании Уиннов более высокого положения. Мало к этому стремился. Отрабатывал свои часы, получал то, что ему причиталось,— и все. Лишь бы семью прокормить.

— Но миссионерская служба тоже могла ему не понравиться.

— Неизвестно. У него не было шанса испробовать. Вам вот здесь нравится, Джорджу — тоже. Ну а как я могу ручаться за сына, который, может быть, у меня родится? Шведская Гавань — приятный уголок, особенно по сравнению с теми городами, где мне приходилось жить, но ведь Локвуды не относятся даже к числу ее основателей.

— Совершенно верно. Однако именно здесь мой отец положил начало роду, завоевавшему признание. Теперь это — уже наш город, Агнесса. Он весь в наших руках.

— Стало быть, вы все-таки считаете свой род чем-то вроде королевской семьи?

— У нас в стране королевские семьи не в моде.

— Ну, тогда — аристократии. Вы этого хотите, мистер Локвуд?

— Называйте это как угодно, только в ваших устах мой план будет звучать как мелкая честолюбивая мечта. А это не мечта, уверяю вас. Семейство Уиннов стремилось к этой же цели, дело лишь в том, что вашему дяде не хватало воображения. Прошу не принимать этого на свой счет, Агнесса, но вы знаете не хуже меня, что Том Уинн нажил себе богатство тем, что выкапывал из земли уголь и уродовал местность. Лесов не стало. Мы же хотим другого. Конечно, и мы наживаем деньги. Но когда-нибудь — возможно, еще при жизни вашего мужа — мы станем хозяевами всей территории между нашим городом и Рихтервиллом. Аккуратные, чистенькие городки, богатые фермеры, получающие вполне приличный доход, и во главе всего этого — мы. Вы с Джорджем или ваши дети. Здесь, в этом городе, жить будут Локвуды, подобно тому как в Нью-Йорке — Морганы, а в Филадельфии — Дрексели.

— А после Рихтервилла? Очевидно, Гиббсвилл? Ему улучшения тоже не помешали бы.

— За Гиббсвилл браться уже поздно, там хозяйничают Морганы и Дрексели. А в Рихтервилле родилась моя жена, так что ваш муж пользуется там некоторыми правами. Это выглядит грандиозно — завладеть одиннадцатью милями сельскохозяйственных угодий с двумя селениями. Мы могли бы приобрести их уже сейчас, если бы наш капитал не был вложен в более прибыльные предприятия. Когда-нибудь Джордж приберет к рукам рихтервиллский банк, а с ним — и большую часть ферм на пять миль к востоку от Рихтервилла. Поскольку местным банком мы уже овладели, сейчас мы распространяем наше влияние на запад.

— Ну и ну! Настоящее княжество.

— В этом нет ничего необычного, Агнесса. На Западе встречаются поместья с радиусом в сорок — пятьдесят миль. Некоторые старинные испанские семьи владели целыми штатами. На Востоке это исключено. Слишком здесь все застроено и много железных дорог. Лично я не хотел бы здесь расширяться. Все, на что я рассчитываю, это — взять под свой контроль Шведскую Гавань, город моей жены и земли, пролегающие между ними.

— А каковы ваши планы насчет территории к югу и к востоку от нас?

— На юге у нас есть небольшие владения, но в остальной части округа я не заинтересован. Лесами и крупными плотинами там владеет морганов ская компания «Коул энд айрон». Земельные угодья к югу отсюда слишком холмисты, их трудно обрабатывать. Надо уг-

лубиться на двадцать миль южнее, чтобы найти хорошие земли, а это уже территория немцев Рединга и Лебанона.

Воля Авраама Локвуда к жизни, его желание видеть первого внука оказались менее сильными, чем желание Агнессы Локвуд родить ребенка. Когда она была на седьмом месяце беременности, Авраам Локвуд умер от двухстороннего воспаления легких.

Гроб с телом Авраама Локвуда провожал весь город и вся южная часть округа, похороны были торжественными, многолюдными, в Шведской Гавани и в Гиббсвилле были мобилизованы все пригодные для траурного кортежа кэбы. Городские улицы, железнодорожные станции, некоторые частные резиденции и «Биржевая гостиница» были заполнены респектабельной приезжей публикой. Агнесса Локвуд, сильно располневшая в связи с беременностью, несколько удивилась такому скоплению людей, однако в ее памяти это событие запечатлелось благодаря двум другим обстоятельствам: в ту ночь, когда скончался Авраам Локвуд, она увидела — в первый и единственный раз — своего мужа плачущим; а в день похорон, вернувшись домой с кладбища, они встретили в холле нижнего этажа даму, которая подошла к Джорджу и протянула ему руку.

— Вы меня не помните, Джордж, но я вас знала, когда вы были еще мальчиком. Я — мать Стерлинга Даунса.

— Конечно, я помню вас, миссис Даунс. Очень любезно было с вашей стороны приехать.

— Теперь я уже не миссис Даунс, а миссис Викершем.

— Прошу прощения. Позвольте представить вам мою жену. Агнесса, это миссис Викершем. Я учился вместе с ее сыном в школе. Вы помните то лето, что провели на Ране, миссис Викершем?

— Помню и никогда не забуду. Ведь именно тогда я по-настоящему познакомилась с вашим отцом и матерью. Я лишь повидаться с вами зашла, Джордж, я спешу на поезд.

Она выпустила руку Джорджа, улыбнулась ему и Агнессе и торопливо вышла.

— Из самой Филадельфии приехала,— сказал Джордж.

— И была влюблена в твоего отца.

— Не знаю.

— Зато я знаю. Это — та самая дама, что была тогда в летнем доме. Вблизи она даже красивей.

— Боже милостивый! Сколько же лет у них это продолжалось? Ну, тебе надо отдохнуть, Агнесса. Не принимай пока больше никого. Свою часть работы ты уже сделала.

Она улыбнулась.

— Свою часть работы я сделаю месяца через полтора.

■

Признательность, которую почувствовал Джордж Локвуд к Марте Даунс-Викершем, была особого свойства. Это не имело ничего общего с ее приездом отдать последний долг его отцу и, в сущности, почти ничего общего — с ней самой. Все дело в том, что Марта нечаянно, сама об этом не догадываясь, дала ему понять, что у его отца еще при жизни Аделаиды была, по крайней мере, одна любовница, а Джорджу Локвуду как раз этот предлог и требовался для оправдания своего собственного романа с Лали Фенстермахер-Браур.

Брак Лали с Карлом Брауером, адвокатом из Рединга, был устроен с явной поспешностью, так как ее родители хотели, чтобы все как можно скорее забыли о Джордже Локвуде. Фенстермахеры не послали Джорджу даже послесвадебного извещения, но он узнал

о венчании Лали из газеты «Игл», выходившей в Рединге, и еще из двух филадельфийских газет. В «Игл» был указан домашний адрес Карла Брауера, которым Джордж Локвуд и воспользовался однажды утром, когда вернулся из своего свадебного путешествия.

— Мне нужно видеть миссис Брауер,— сказал он прислуге.

— Миссис Брауер или мистера Брауера? Если вы его хотите видеть, то он в конторе на Пенн-стрит.

— Нет, дело, по которому я пришел, касается миссис Брауер.

— Сейчас я ей скажу. Входите.

Через несколько минут к нему вышла Лали.

— Доброе утро, миссис Брауер. Я от фирмы Вонемейкера.— Эти слова предназначались для служанки.

Лали растерялась, но служанка, замешкавшаяся в холле, не видела ее лица.

— Ах, от Вонемейкера. Пройдите сюда, здесь мы можем поговорить.

Он вошел следом за ней в гостиную — длинную узкую комнату с единственной дверью.

— Принесли образцы? — громко спросила она.

— Они у меня в кармане.

Она понизила голос.

— Ты в своем уме? Говори скорее, если тебе нужно что-то сказать, и больше сюда не являйся.

— Долго я не пробуду.

— Ты ведь женат.

— Так же, как и ты. Женат. И жалею об этом. Мне жаль не только себя, но и тебя.

— Какое мне дело до твоих семейных неурядиц?

— Ты отчасти повинна в этих неурядицах. Я не могу без тебя.

— Слишком поздно, Джордж. Я теперь замужем, и у меня хороший муж.

— А у меня хорошая жена, но без тебя я все равно не могу. И теперь я знаю то, что хотел узнать. Что и ты без меня — тоже.

— Нет.

— Да.

— Уходи.

— Еще не время уходить. Я еще должен показать тебе образцы.

— Ты с ума сошел!

— В некотором смысле — да. *Голубой будет несколько дороже зеленого, миссис Брауер.*

— *Голубой дороже? Я этого не знала.* Она пошла в подвал. Но ты уходи, слышишь?

— Уйду, но приду опять.

— Я не пущу. Скажу, чтобы тебя не пускали.

— Перестань, Лали. Мы же не дети. Это серьезно. Я ухожу, но не отступаюсь от тебя. Когда ты будешь готова встретиться со мной, пришли записку в Гиббсвиллский клуб.

— Встретиться с тобой? Где?

— Где угодно. Можно здесь, когда уедет Брауер. Приходится же ему иногда уезжать.

— Здесь? В этом доме? Прислуга живет у нас постоянно, она никуда не ходит.

— Уволь ее и найди другую, которая ночует у себя дома.

— Уходи, Джордж. Ты совсем рехнулся. Карл убьет нас обоих. Он любит меня.

— А я, думаешь, не люблю?

— Нет! Нет! Если бы любил, то оставил бы меня в покое.

— Если через две недели ты не дашь мне ответа, я опять приду.

— Не надо, Джордж. Пожалуйста. Не приходи больше.

Джордж вышел из дома и, ликуя, зашагал по направлению к площади. Через восемь дней Лали прислала ему записку: «*В четверг в девять часов вечера. Калитка в переулке, с другой стороны дома. Со стороны улицы не входи.—Л.*».

В девять часов было еще светло, и он, подходя к ее дому, подумал, что было бы разумней войти с улицы, затененной деревьями, чем с переулка, где нет деревьев; но он решил не нарушать ее инструкций и, смело открыв калитку, пошел по уложенной кирпичом дорожке к заднему крыльцу. Его не удивило, что дверь перед ним распахнулась, как только он ступил на крыльцо. Но то, что он увидел, было сюрпризом: перед ним стояла совсем не робкая растерянная девушка, которую он представлял в воображении. Лали закрыла за ним дверь и обняла его, подставив губы для поцелуя. По тому, как она прильнула к нему, он понял, что теперь уже ничто не будет сдерживать ее страсти. Если она решилась на свидание с ним при таких обстоятельствах, значит, готова на все.

— Пойдем наверх,— были ее первые слова, и она взяла его за руку.

■

За год совместной жизни Джордж Локвуд, несмотря на случайные нарушения супружеской верности, не сделал ни одной ошибки, которая обратила бы на себя внимание Агнессы. Первый год замужества, резко отличавшийся от ее спокойной девичьей жизни в доме родителей, был так насыщен новыми мыслями и ощущениями, что у нее не оставалось времени на подозрения. Это был совсем иной образ жизни, к которому Агнесса не могла подготовиться ни по книгам, ни по рассказам. Надо было испытать все на себе, прежде чем обнаружить в нем какие-то преимущества и определить, насколько она пригодна для роли жены. Ночью она позволяла Джорджу ласкать себя, как он хотел, и научилась извлекать из этих ласк удовольствие; но иногда он по нескольку ночей подряд не прикасался к ней, хотя она ждала ласки, и к этому тоже надо было привыкнуть. Днем она хлопотала по дому, занималась прислугой, меню и счетами, лавочниками и приказчиками, вела кое-какую светскую жизнь (в основном она общалась с гиббсвиллскими семьями). У нее был свекор, которого ей еще предстояло узнать и к которому предстояло привыкнуть. Была беременность, предоставленная целиком ее заботам. Был дом, который называли ее домом, тогда как он почти весь год казался ей всего лишь пристанищем среди холодной пустыни. В период беременности ее одиночество скрашивалось желанием сохранить бившуюся в ней жалкую жизнь, которая была и не была ее жизнью; но то, что она увидела потом на простыне, оказалось всего лишь бесформенным комочком. После этого домашний очаг стал для нее совсем иным, чем прежде, когда она жила с Тероном и Бесси Уинн. Для нее уже не было возврата ни в старое убежище, ни к прежнему образу жизни, она и сама уже не могла стать тем, чем была. Она не оправдала своего назначения, но неудача, которую она потерпела, закалила ее не в меньшей степени, чем мог бы закалить успех. Да, преждевременные роды в известном смысле способствовали ее повзрослению, ибо она узнала конечную правду жизни и смерти. Это был год познания жизни, которое давалось иногда дорогой ценой, но в том, что она узнала (по крайней мере, в том году), было так много нового, что это новое воспринималось ею тогда лишь как запас прак-

тических сведений. Время для проницательности, здравомыслия, мудрости, предубеждений, анализа и обобщений еще не пришло. Агнесса Локвуд руководствовалась в своем поведении услышанным однажды термином: «хорошая жена», поэтому все практические сведения, полученные ею в том году, имели какое-то касательство к этой фразе и к ее горячему желанию соответствовать понятию «хорошая жена». Во время грозы скисает молоко; продуктовая лавка Крафта — лучшая в Шведской Гавани; самый удобный утренний поезд в Филадельфию отправляется из Шведской Гавани в восемь сорок пять; во время воскресных денежных сборов все Локвуды кладут на тарелку по доллару; Авраам Локвуд за завтраком любит намазывать на гренки несоленое масло; Джордж Локвуд не будет ласкать ее, если в спальне недостаточно темно; когда-то территория дома Локвудов была огорожена высокой кирпичной стеной; фермеры-протестанты в католический праздник вознесения не работают; скоблянка с поджаристой корочкой вкуснее; мисс Нелли Шуп — лучшая портниха в Гиббсвилле; Мозес Локвуд потерял нижнюю часть уха в битве на реке Булл-Ран; мистеру Хаймбаху, часовщику, который еще и настраивает рояли, разрешено входить через переднюю дверь, а всем остальным ремесленникам и мастеровым — через кухню; Пенроуз — хороший малый, но не очень способный студент.

Душевные переживания, привыкание к новой семье, домашние хлопоты, запоминание лиц, которые год назад вообще для нее не существовали,— и вот она уже вступила во второй год замужества. Второй год был во многом похож и во многом не похож на первый. Теперь, например, когда она ходила по утрам в лавку Крафта, люди уже не показывали на нее пальцем и не провожали долгими взглядами, она уже заметила в их отношении к себе как к невестке Авраама Локвуда нечто новое: полувраждебная вежливость уступила место непринужденной уважительности. Люди начинали привыкать к ней, а она — к ним. Первый год, казалось, был неповторимым по насыщенности событиями и впечатлениями, и многое она стала делать машинально, по привычке, так что теперь имела больше времени присматриваться к вещам, а более всего к людям, к лицам, к особенностям человеческих характеров. В первую очередь, разумеется, она стала наблюдать за Джорджем Локвудом, и как-то незаметно, безо всякой видимой причины в ее сознании сложилось убеждение в его неверности.

В первый год она смотрела на него как на собирательный образ мужчины, по его поступкам судила о мужчинах вообще. То, что он делает, думала Агнесса, делают и остальные мужчины. Ей потребовался год замужества на то, чтобы отличить Джорджа Локвуда от всех других мужчин, как бы выделить его из окружающей среды. Будучи единственной дочерью в семье и сожалея об этом, она научилась обходиться без наперсниц, когда ей нужно было что-то решить для себя, и хотя такое положение затрудняло ей жизнь, оно вместе с тем развивало у нее склонность к самоанализу и внутренней борьбе. Кроме того, она стала острее и определеннее в своих суждениях, увереннее в своих силах. Что-то ненормальное появилось в поведении Джорджа Локвуда, и поскольку она заподозрила неладное, значит это имело отношение к женщинам.

Однако шли месяцы, а он по-прежнему ничем себя не скомпрометировал. Проблема состояла уже не в том, чтобы поймать его на какой-нибудь оплошности, а в том, чтобы поймать себя на несправедливом обвинении. Не располагая никакими фактами, она чувствовала себя обязанной снять с него подозрения, хотя в душе и не доверяла ему. Потом, с течением времени, она призналась себе, что он слишком

хитер для нее, и стала невольно мириться с преступлением, в котором не сумела его обвинить. И тут она поняла, что боится его и боится возможной ошибки. Эти два чувства переплелись между собой и мешали ей высказать свои подозрения вслух. Она боялась его всегда, с самого начала; и все же, как только она призналась себе в этом, ее страх стал причинять ей меньше страданий. Одиночество, которое она познала, было вызвано, в частности, страхом перед ним. Она задавалась вопросом: не этот ли самый страх привел к тому, что она потеряла своего первого ребенка?

Откуда же этот страх? Если другие женщины могли бояться своих мужей из-за побоев, пьянства, скупости и прочего, то со стороны Джорджа Локвуда ничто подобное ей не угрожало. Лишь потом она обнаружила, что боялась, боится его из-за того самого, что служило причиной ее неуверенности: из-за его неверности, влечения к другим женщинам, из-за того, что он может уйти к другой, а она уже не может без него жить. И она открыла главную, всеобъемлющую истину: она любит его. Это была не любовь в общепринятом смысле слова, не та любовь, на которую Агнесса Локвуд всегда рассчитывала, но поскольку она втайне гордилась своей индивидуальностью, незаурядностью, то считала, что и любовь у нее должна быть не такой, как у других. Были моменты приятной, сладостной любви, но они прошли, а эта любовь осталась. После этого мысль о неверности Джорджа Локвуда перестала терзать ее; и когда ей уже не требовалось никаких новых доказательств, когда он перестал казаться ей слишком хитрым, она готова была рассмеяться ему в лицо. Любовь ли порождена страхом или страх — любовью, не в этом дело. Сладостная, приятная любовь все равно не сохранилась бы у женщины, сумевшей полюбить Джорджа Локвуда. Большую и значительную правду Агнесса Локвуд видела в том, что она оказалась способна полюбить его и действительно полюбила, доказав этим свою самобытность и оригинальность. Она всегда верила, что эти качества у нее есть, и считала себя немножко умнее своих сверстниц, гордясь тем, что рассуждает не так, как они (то есть не повторяет все за родителями и учителями), и что ее вкусы не совпадают с их вкусами. Правда, муж ее относится не к тому типу мужчин, который она выбрала бы для своей сестры (если бы у нее была сестра), но она вышла за него и довольна этим, хотя зачастую жизнь с ним далеко не безоблачна. Она выбрала его себе в постоянные спутники, и если он бывал эгоистичным и равнодушным, то от этого не переставал быть ее спутником. В отношениях с ней он не поступался почти ничем личным, но это открытие она сделала уже после того, как узнала, что точно так же он ведет себя в отношении всех остальных. Иными словами, к ней он был не более жесток, чем к другим. Он со всеми вел себя так. С годами она убедилась, что настоящую жестокость он проявлял в отношении других женщин, кем бы они ни были. А у Агнессы Локвуд выработалось особое чутье, подсказывавшее ей, когда на смену одной женщине приходит другая; при этом она знала, что ни одна из них не занимает в его сердце по-настоящему прочного места. Те женщины приходили и уходили, а она, его жена, оставалась, и настал день, когда она смогла посмотреть ревности в лицо, признаться в ней задним числом, потому что ревность уже прошла.

Она была на седьмом месяце беременности, и врач сказал ей, что будет безопаснее, если она воздержится от половых сношений с мужем.

— Как долго? — спросил Джордж.

— Врач говорит, что три месяца во всяком случае.

— Три месяца!

— Или четыре.

— Через два месяца ты уже родишь.

— Но я не знаю, как пройдут роды. Доктор говорит, что торопиться не следует, если мы предполагаем иметь еще детей. Ты хочешь пойти к другой женщине?

— К какой другой женщине?

— Ну, есть же такие.

— Ты имеешь в виду шлюх?

— Да, но не таких, к каким ходят сельские рабочие. В Рединге и Филадельфии должны быть заведения. Я знаю, что они есть, я же не маленькая.

— А если бы я и вправду пошел в одно из таких заведений? Что бы ты потом сказала?

— Ты мог бы мне об этом не говорить.

— Значит, пока ты не знаешь, не очень будешь против?

— Знать-то я буду, но говорить мне не обязательно.

— Будешь знать? Каким образом?

— По твоему поведению. Ты делаешься не таким нетерпеливым.

— Не таким нетерпеливым? Разве это заметно по мне?

— Да,— ответила Агнесса. Она была уверена, что он сейчас раздумывает, не выдал ли он себя когда-нибудь, став на время менее нетерпеливым, но в темноте она не видела его лица.

— Что же ты ничего больше не говоришь? Ты спишь? — спросил он.

— Я жду, когда ты скажешь что-нибудь.

— Я думал. Значит, ты не возражала бы, если бы я пошел к продажной женщине?

— Возражала бы, но не захотела бы об этом говорить. Сочла бы, что ты, как мужчина, без этого не можешь. Женщины такого сорта потому и существуют, что мужчины слабы.

— Мужчины слабы?

— Да, нравственно слабы. Ими руководят инстинкты. Они готовы унизить себя ради минутного наслаждения. С женщинами такого сорта ты не стал бы показываться на людях. Ты считаешь, что такая женщина — падший человек, сколько бы ты ни платил ей денег. А как ты чувствуешь себя, переспав с нею? Конечно, ты ее не любишь?

— Я?

— Ты же имел дело с такими женщинами. Сам мне говорил.

— А, это ты о студенческих годах.

— Как может мужчина быть близок с женщиной, с которой ему неловко появляться на людях? Как может он вступать с нею в интимнейшую связь, если у нее перебывало в постели бог знает какое количество мужчин! За деньги. Какая мерзость. Если ты не можешь обойтись без такого удовольствия, Джордж,— дело твое. Ты знаешь, что и я не бесчувственна, но если собственный муж не может доставить мне удовольствие, то я проживу и так. Ты пытался возбудить во мне желание еще до того, как мы поженились.

— Тогда ты еще не знала, что это за удовольствие.

— Как ты ошибаешься. Женщина всегда это знает. Гораздо лучше мужчины. У женщины это проходит не так быстро, если она не равнодушна к мужчине. А если равнодушна, то она не лучше какой-нибудь твоей шлюхи. Я никогда не употребляла этого слова, но теперь не прочь его употребить.

— Но я против. Я не хочу, чтобы ты так выражалась. Леди это не к лицу.

— А джентльмену к лицу? Или ты считаешь, что можешь разговаривать и поступать не по-джентльменски, когда тебе заблагорассу-

дится? Мне надо спать, Джордж. Доктор сказал, что я должна как можно больше спать.

— А я вот не засну.

— Жаль, если так. Спокойной ночи.

Этот разговор помог ей убедиться в том, что женщины, с которыми имеет дело ее муж, стоят на низкой общественной ступени; не назвав ни одной из них по имени, она сумела показать их ему в невыгодном свете. В последующие три месяца она не была уверена в его верности, но это уже почти не имело значения. То, что она ему сказала, засело у него в голове, она испортила ему удовольствие хотя бы на то время, пока не имела возможности жить с ним сама.

■

Джордж Локвуд был во всех отношениях хорошо подготовлен к тому, чтобы занять положение главы семьи, управляющего фамильными предприятиями и наследного хозяина Дела Локвудов; сложность заключалась лишь в том, что его отец никогда не давал Делу определения или названия, и это ставило Джорджа в странное положение: он должен был содействовать успеху предприятия, о существовании которого ничего не знал. У этого предприятия не было ни названия, ни марки, ни девиза, ни установившихся принципов. Джордж лишь смутно угадывал какой-то особый умысел в том, как старательно отец посвящал его в дела, доказывая преимущества жизни в Шведской Гавани и объясняя, на каких основах следует строить свои отношения с людьми в светских и деловых кругах. Временами слова Авраама Локвуда о том, что накопление денег — дело сравнительно легкое, озадачивали сына; но потом Джордж, учившийся мыслить самостоятельно, а не просто копировать образ мыслей отца, решил, что старик говорит так для того, чтобы внушить ему побольше уверенности в своих силах. Ибо, если тебя убеждают в том, что накопление денег — не такая уж сложная задача для человека незаурядного ума, то можно действовать не спеша, замедляя или ускоряя шаги по своему желанию...

Но Джордж ошибался в намерениях отца: в действительности Авраам Локвуд хотел лишь привить сыну джентльменское отношение к наживе денег, научить его скрывать эту свою склонность к накоплению. Некоторые проекты Джорджа давали удивительный эффект, и это радовало отца. Приятно было убедиться в том, что у мальчика практический склад ума, однако искусство делать деньги, однажды продемонстрированное, перестало быть главным предметом учебы. Денег и без того накопилось достаточно, и Авраам Локвуд считал, что его капитал будет неуклонно расти по мере того, как растет страна; к тому же гарантией дальнейшего обогащения служило вложение капитала не в одно предприятие, а в самые разные. Авраам видел, что сыну нравится финансовая деятельность, поэтому на него можно положиться: он наживет денег больше, чем потеряет, и будет постоянно наращивать состояние, удерживая тем самым за собой лидирующее положение в местных деловых кругах; и поскольку эта забота теперь снималась, то Авраам мог обратить внимание Джорджа на другие интересы, влиявшие на успех Дела: обзаведение семьей и обретение чувства фамильной гордости. Первую задачу Джордж с готовностью выполнил, женившись на представительнице рода Уиннов, этот брак обещал свои выгоды, когда подрастут его и Агнессы дети. Что касается второго, то имя Мозеса Локвуда, зарекомендовавшего себя человеком отчаянным, скорее помогало, чем мешало Лок-

вудам возвыситься во мнении жителей Шведской Гавани и даже Гиббсвилла.

Главную опасность для фамильной гордости представляли возобновившиеся толки о сестрах Локвуд, Роде и Дафне, и Авраам Локвуд ненавидел их до самой своей смерти, ненавидел за то, что несвоевременное напоминание о них представило его в глазах Джорджа неискренним человеком. Он ждал, чтобы Джордж созрел, и тогда он сам открыл бы ему тайну своих сестер, а также посоветовал бы, как с этой тайной быть. Но у него не оказалось на это времени, и он не успел наладить с сыном прежних добрых отношений, при отсутствии же добрых отношений он не мог выбрать момент, чтобы посвятить Джорджа в безымянную мечту о Деле Локвудов.

И тем не менее Джордж Локвуд действовал в соответствии с требованиями мифического Дела и его покойного строителя. Авраам Локвуд поработал на славу.

— Иногда мне казалось, что отец предпочел бы остаться на военной службе,— сказал однажды вечером Джордж Локвуд Агнессе.

— Не думаю. По-моему, он хотел стать бароном.

— Бароном?

— Феодалом. Вроде английского герцога.

— А, я знаю, что ты имеешь в виду. Мне все это известно. Закупить всю территорию от нас до Рихтервилла? Был у него такой план. Мы с ним вместе его разрабатывали. Но я не думал, что ты о нем тоже знаешь.

— Он сам мне о нем рассказал. В припадке откровенности.

— Вот как? Если так, то, должно быть, уже на закате жизни. Вообще-то он не очень любил на эту тему разговаривать.

— А со мной заговорил. Значит, захотел поделиться.

— Ну, разумеется. Он тебя любил — и не только за то, что ты моя жена.

— Не думаю, чтоб уж очень. Но я — твоя жена и к тому же ждала ребенка. Я перебила тебя. Ты начал говорить о желании отца остаться на военной службе.

— Так вот. Он рассказывал мне о своем прошлом, о том, как много видел интересных людей — иностранцев, послов и их жен. Он был создан для такой жизни и, я уверен, пользовался успехом. И тем не менее решил вернуться в Шведскую Гавань. Время от времени выезжал на какие-нибудь празднества в Филадельфию. Но после стольких лет жизни в столице здесь ему, наверно, было скучно. Возможно, какое-то влияние оказал на него мой дед. Он старел и начал часто болеть. Странно было и то, что вначале мой отец не производил впечатления человека, способного принять на себя ответственность за дела. В университете он слыл повесой. Водил дружбу с очень веселой компанией.

— Обычное дело для молодого человека,— сказала Агнесса.— Но потом перебесился и взялся за ум.

— Наверно, ты права. То же самое, видимо, случилось и со мной. Но меня никогда не покидала мысль вернуться жить сюда. Никогда. Я ненавидел Нью-Йорк и не могу сказать, чтобы Филадельфия мне нравилась намного больше. Мои знакомые и в том, и в другом городе считают, что я живу на окраине цивилизации, но, по правде говоря, я считаю, что они... Когда я еду в большой город, то всегда знаю, зачем: либо делать деньги, либо их тратить.

— Иногда и для того и для другого вместе.

— Да, иногда и для того и для другого вместе. Деньги — в той или иной форме — участвуют всегда. Здесь я хожу в контору пешком, а в кармане у меня — лишь несколько монет на тот случай, если

встретится нищий. В больших же городах деньги у меня всегда на уме... и в бумажнике. Все удовольствия, которые может предложить город,— за деньги, их можно купить, поэтому и мысли возникают невеселые, когда туда приезжаешь. А когда идешь в гости к друзьям, то не думаешь о том, во что это тебе обойдется и сколько брать с собой денег.

— Об этом я как-то не задумывалась, но ты, конечно, совершенно прав.

— О да.

— Ты очень вдумчив, Джордж.

— Ты находишь? Это — от отца. И от деда, если уж на то пошло, хотя дед совсем не был похож на моего отца. Отец часто не показывал посторонним своего истинного лица, но под внешней оболочкой скрывалась очень глубокая натура. Очень. Правда, у него было то преимущество, что он получил хорошее образование и никогда не жил в бедности. Он был лучше воспитан и умел ладить с людьми. И в то же время никогда никому не позволял обмануть себя и не спускал хамства. Он мог быть очень резок с теми, кто переступал границы. Это был замечательный человек, образец элегантности. Кое-кто считал, что в Шведской Гавани такая элегантность ни к чему, но он старался не для Шведской Гавани. Холеный вид, модная одежда, тонкое белье и прочее — все это для себя, для собственного удовольствия. И всегда немножко себе на уме. Приятная наружность ничего, казалось, не скрывала, как будто он весь сейчас перед тобой. Но на самом деле не весь, ибо всегда что-то оставалось при нем, и то, что оставалось, и было его подлинным «я». Так он и умер, не дав никому из нас распознать себя.

— Все, что ты сказал, в равной степени относится и к тебе,— сказала Агнесса.— Ты не представляешь себе, как часто то, что ты рассказывал сейчас о твоем отце, может быть отнесено к тебе самому.

— Вздор,— сказал Джордж.

— Более того, иногда я думаю о тебе, как... Нет, не то. Начну сначала. Иногда, думая о тебе и твоем отце, я начинаю смотреть на тебя, как на его второе издание. Вроде книги, первое издание которой автору почему-то не понравилось, и он спустя несколько лет внес в нее поправки и дополнения, хотя в основе своей книга осталась прежней.

— И кто из нас автор? Я изменил отца или отец изменил меня, когда я стал старше? Ты говоришь чепуху.

— Нет, не чепуху. Беда с этими аналогиями в том, что они слишком далеко нас заводят. То, что мы с чем-то сравниваем, не может быть точной копией оригинала.

— Послушать тебя, так можно подумать даже, что ты пьяна.

— Будь справедлив. Ты не любишь, когда тебя сравнивают с отцом, поэтому нарочно сбиваешь меня. Но я все равно считаю, что вы похожи друг на друга. А различие между вами состоит главным образом в том, что ты смотрел на своего отца, как на модель, требующую улучшений. И изменял ее. Не думаю, чтобы все твои изменения обязательно улучшили модель, хотя сам ты считаешь именно так. Ты — то же, что твой отец, только на поколение старше.

— А мой отец, следовательно, то же, что его отец, только еще на поколение старше? — спросил Джордж.

— Отнюдь нет. Насколько я знаю, твоему деду приходилось бороться, жить сегодняшним днем. Ему не хватало времени ни на что другое. Но он создал твоему отцу условия, позволявшие думать о будущем, о своем общественном положении и положении семьи в целом. Ты продолжаешь начатое им дело, и в этом нет ничего нового. То же самое я наблюдала в угольных районах. Там есть семьи,

которые, подобно вам, Локвудам, уже третье поколение живут в богатстве. Посмотри, что делается в Филадельфии и вообще в Новой Англии: то же самое, ничего нового. Но для тебя это ново, и ново для меня, поскольку я здесь тоже играю какую-то роль.

— Вы подумайте!

— Да, играю. Уверена в этом. Почему ты женился на мне, а не на местной девушке из обеспеченной семьи? Потому что, хотя мой отец и небогат, у меня большие родственные связи. Почему ты не женился на девушке из Гиббсвилла? Там много богатых девушек. Потому что брак с Гиббсвиллом не входил в твои планы.

— Так я же на *тебе* хотел жениться.

— Знаю, что хотел. Но кого бы ты ни выбрал себе в невесты, Джордж, ради самой девушки ты не стал бы жениться. Так же, как и твой отец.

— Ты хочешь сказать, что мой отец не любил мою мать, а я не любил тебя?

— Нет, я этого не хотела сказать, но думаю, что так оно и есть. Я не тот человек, какого ты хотел.

— Скажи тогда, кого я хотел, если ты так много знаешь.

— О, я-то тебе нужна,— сказала Агнесса.— Я леди и очень хорошая хозяйка. Когда ты хочешь произвести на кого-то впечатление и показать, что у тебя за жена, я оправдываю свое назначение. Но в конце концов я догадалась, Джордж, что мою *полезность* ты ценишь больше, чем что-либо другое.

— И когда ты начала об этом догадываться?

— Когда? По-моему, в то самое время, когда стала понимать, что заблуждаюсь насчет тебя.

— В чем?

— Ну, ты красив, опытен. Довольно порочен, как мне вначале казалось. Казалось потому, что впечатление, произведенное тобой, вызывало во мне чувства, которых я либо не понимала, либо скрывала от себя. В общем, вела себя так же, как большинство девушек аналогичного воспитания. Да, я считала тебя довольно порочным молодым человеком, но ведь и порок может быть привлекательным, ибо порочным людям присуща теплота. Теплота и человечность. Самые добродетельные девушки полагают, что они способны обратить зло в добро, не жертвуя теплотой и человечностью. Не забывай, что мой отец хотел стать миссионером.

— Это он так говорил.

— Он верил в это, как верю я в то, что говорю о себе. Но когда мы поженились, я начала понимать, что ты не порочен. Ты хладнокровен, расчетлив, но не порочен. И не знаю почему, но в известном отношении я никогда тебя не удовлетворяла. Конечно, ты предпочел бы не говорить на эту тему, да и я не испытываю желания, но я ожидала, что ты научишь меня любить тебя так, как ты хочешь, чтобы тебя любили. Ты умел все, а я — ничего. У тебя был большой опыт, а у меня — никакого. Но тебе не хватило на меня терпения, и это, в сущности, помогло мне понять, что ты меня не любишь.

Хотя Агнесса была нравственно сильной женщиной и считала (справедливо), что руководствуется в своей жизни сводом простых правил, перенятых от родителей, ее физические ресурсы оказались не на уровне духовных. Однако она была не из тех, кто прибегает к помощи врачей при малейшем недомогании. За годы жизни в Шведской Гавани она не приобрела ни одной близкой подруги. Ее или, точнее, положение ее мужа в обществе не позволяло ей посвящать посторонних людей в подробности своей интимной жизни, которыми делились между собой другие женщины; а эти другие, в

свою очередь, не имели возможности делиться с ней своими тайнами в расчете на взаимную откровенность. Агнесса редко приглашала кого-нибудь к себе домой и лишь изредка бывала с мужем на наиболее важных торжествах в Гиббсвилле — балах, свадьбах, приемах, на которых люди состоятельные считают себя обязанными присутствовать. Что касается приглашений на обед в частные дома местной знати, то они в Гиббсвилле практиковались редко, а в Шведской Гавани и совсем не практиковались. И в том и в другом городе женщины бывали друг у друга только днем, когда собирались поиграть в вист или в «500 очков». Иногда им случалось поговорить где-нибудь в продуктовом магазине или в мясной лавке, но этим разговорам часто мешали продавцы. Светские дамы Гиббсвилла встречались также в магазинах женских товаров и в шляпных салонах, но Агнесса такой возможностью не пользовалась, так как у нее была частная портниха, которая приезжала к ней два-три раза в год на дом, привозя с собой и выкройки, и ткани. Миссис Колби приезжала поездом из Уилкс-Барре и жила у них по два-три дня в свободной задней комнате на втором этаже. Она рассказывала новости и сплетни, привезенные из Уилкс-Барре и Скрантона, но они мало интересовали Агнессу, поскольку касались людей, о которых она почти ничего не знала, кроме фамилий, сохранившихся у нее в памяти с девических лет. По этой причине визиты портнихи носили чисто профессиональный, деловой характер.

Когда бы Агнесса ни появлялась в городе, ее узнавали, люди кланялись ей с той долей учтивости или подобострастия, которая соответствовала скорее характеру отношений ее мужа с мужьями других женщин, чем ее личному авторитету. И так было все годы, пока она жила в Шведской Гавани. Люди настолько привыкли смотреть на нее как на жену Джорджа Локвуда, что в обоих городах нельзя было найти и дюжины женщин (не говоря уж о мужчинах), которые звали бы ее по имени. У нее был большой дом, много прислуги и пара великолепных лошадей, на которых она могла выезжать куда угодно, и была котиковая шуба с шапкой и муфтой из того же меха, так что, когда она входила в какой-нибудь магазин, другие покупатели расступались, давая ей дорогу.

Но когда она умерла, то оказалось, что ее слишком мало знали и ничего сказать не могли. Даже ее дочь Эрнестина была настолько подавлена отсутствием траурного настроения на похоронах, что ее собственная скорбь показалась ей напускной, и она не проронила ни слезинки. Выражение горя, которое видели на ее лице участники похорон, в действительности было вызвано тревогой за брата, не ответившего на ее телеграмму по поводу смерти матери. Когда траурные формальности закончились и последние посетители торопливо разошлись, Эрнестина сказала отцу:

— Боюсь я за Бинга. Не могу понять, почему он молчит.

— Это последняя капля,— сказал Джордж.— Чаша моего терпения переполнилась.

Она заметила, что у отца тоже есть заменитель скорби, и это помогло ей чуточку лучше понять его, как и самое себя.

(Окончание следует)

Литературное наследие

ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ

Перевод с арабского ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Известный арабский поэт и филолог IX века, разработавший категории арабской поэтики, «однодневный халиф» Ибн аль-Мутазз выделяется в блестящей плеяде поэтов-современников и необычностью своей судьбы, и особой яркостью поэтического языка. Внук убитого десятого халифа и сын свергнутого и умершего в темнице тринадцатого халифа аббасидской династии, Ибн аль-Мутазз родился в 861 году в халифской резиденции в Самарре, получил самое изысканное по тому времени образование и, подобно многим другим аббасидским «принцам крови», вынужденным по тем или иным причинам отказаться от притязаний на халифский престол, всецело предался «застольным и любовным радостям». Сравнительно рано Ибн аль-Мутазз начал сочинять стихи и заниматься теорией поэтического искусства.

Некоторое время поэт провел в Багдаде при дворе своего двоюродного брата халифа аль-Мутадида, которого он превозносил как разумного правителя, прекратившего царившие в стране смуты и укрепившего власть Аббасидов. С воцарением следующего халифа, аль-Муктафи, Ибн аль-Мутазз отошел от двора, но в смутное время, наступившее после смерти этого халифа, оказался втянутым в политическую борьбу и на один день (17 декабря 908 года) захватил халифский престол. Однако на следующий день был свергнут придворной гвардией и 29 декабря 908 года казнен.

Излюбленные жанры Ибн аль-Мутазза — застольная поэзия, описания природы и любовные песни (газели). Есть в его диване и касыды, прославляющие деятельность аль-Мутадида, но по манере и тону они значительно отличаются от традиционных касыд-панегириков, так как высокое положение избавляло Ибн аль-Мутазза от необходимости заискивать перед сильными мира сего, как это было принято у придворных панегиристов.

Ибн аль-Мутазз был тонкий знаток древнеарабской поэзии, неутомимо разрабатывавший ее традиционные образы, ставшие в средние века каноничными, и в то же время это был поэт, восприимчивый к новому стилю, привнесенному в арабскую поэзию поэтами VIII—IX веков. Древняя традиция сильнее всего чувствуется у Ибн аль-Мутазза в описаниях природы, изобилующих вариациями старых, разработанных поэтами-бедуинами и веками повторяющихся в арабской поэзии на разные лады образов. Языческая традиция ощущается и в любовной лирике Ибн аль-Мутазза, но лишь в виде некоторых обязательных реалий бедуинской жизни и образов-штампов. Однако по духу любовная поэзия Ибн аль-Мутазза пропитана куртуазной культурой, в которой от былой патриархальной наивности любовных отношений не осталось и следа, и близка к городской лирике с ее культом любовных связей. Влияние «нового стиля» ярче всего сказывается в описании придворных увеселений и в поэзии вина — жанре, сравнительно поздно возникшем и более всего разработанном поэтами «Обновления» (Абу Нувасом и другими).

Поэтическая манера Ибн аль-Мутазза отличается безукоризненным вкусом и изяществом, а его образный язык — богатейшим воображением. Мастерство Ибн аль-Мутазза почиталось современниками и поныне остается одной из вершин арабской поэзии. Русский читатель, несомненно, оценит красочность поэтического языка Ибн аль-Мутазза. Неожиданные сравнения, контрастные сопоставления, зримые метафоры, столь характерные для средневекового арабского поэтического стиля, «играют» в его стихах с удивительной свежестью и непосредственностью.

И. ФИЛЬШТИНСКИЙ

■ ■ ■

Когда на небо обратил я взгляд,
Я не увидел в небесах Плеяд.

Светать на небе начало чуть-чуть,
И вдруг, быстрее чем успел моргнуть,

Я антилоп увидел пред собой,
Что к озеру сошлись на водопой...

Они стремглав промчались в стороне.
Да быстро так, что показались мне

Полоской черною издалека,
Начертанной пером из тростника.

■ ■ ■

Только ночью встречайся с любимой. Когда же с высот
Смотрит солнце, не надо встречаться: оно донесет!

Все влюбленные мира встречаются ведь неспроста
Только ночью, когда все уснут и вокруг темнота.

■ ■ ■

Ночью молнию видел, блеснувшую вдруг из-за гор,
Словно сердца удар, словно быстрый влюбленного взор.

А потом ее ветер смелей подогнал, и тогда
Стала ночь вся сиять, как летящая в небе звезда.

Блещет молния смехом, а полночь грустит, исходя
Бесконечными, злыми слезами дождя.

И потоки дождя как столбы в этом небе ночном.
Словно два шумных спорщика: полночь и гром,

Из которых один все кричит и кричит, а другой
Все рыдает — с терзающей душу тоской.

Полночь, важно явившись, сурово глаза подвела,
Но от слез нескончаемых полночь вдруг стала бела.

В свете молнии полночь нежданно напомнит змею,
Что ползет по бархану и греет утробу свою.

А лишь снова сверкнет среди облачных клубов густых,
Ночь предстанет как груда прекрасных цепей золотых.

Вот и ночь присмирела, звезду кто-то в небе зажег.
Утро, спрятав лицо, собирается сделать прыжок.

Оно встало пред ночью с полоской зари впереди,
Словно конь белоснежный с полоской ремня на груди.

■ ■ ■

Ты, скупец, ради денег себя погубил, но, поверь,
Вон судьба собралась за тобой затворить уже дверь.

Ты собрал много злата. Видишь: близка уже смерть!
Но собрал ли ты дни, чтобы деньги потратить успеть?

■ ■ ■

Люди, вы выполняли приказы, вы слушались, люди, меня,
Возле стремени шли вы, сопровождая коня.

Я скрывался от вас, исчезал, ожидая подчас:
Кто поднимет завесу, да есть ли смельчак среди вас?

Жизнь меня оставляла в покое, но лишь иногда,
Для того лишь, чтоб снова, как пес, меня грызла беда.

Я оставлю в наследство одну лишь большую беду.
Вместе с жизнью, приевшейся мне,— я уйду.

■ ■ ■

Не пугайся греха, я б хотел, чтоб ты в жизни прошел
Не как тот, что, боясь замараться, идет, подбирая подол.

Не чурайся же малого — здание строят из плит,
И из камешков мелких большая гора состоит.

■ ■ ■

Вот я плачу и плачу, и облако плачет со мной.
Я-то плачу от страсти, а облако — пар водяной.

Мы не схожи друг с другом, но внешне как будто одно.
Туча скоро иссякнет, а мне перестать не дано.

Плачешь ты просто так, а меня заставляет беда.
Словно кровь мои слезы, а слезы твои как вода.

Ты пройдешь над страною, поля своей влагой поя,
А моими слезами напьется могила моя.

■ ■ ■

Мы свернули на луг, на лугу же блестела роса,
Вдалеке среди мрака светилась зари полоса.

В полутьме вдруг нарцисс предо мною возник
Как жемчужная трубочка, а посреди — сердолик.

И на этом нарциссе мне показалась роса
Вдруг слезой, увлажнившей подсурмленные глаза.

■ ■ ■

Тоска. Вином излечится она.
Ты свет воды смешай с огнем вина.

Вино старо? Но новых сил полно!
В земле хранилось много лет оно.

Его лишь чище делали года,
В нем тонок вкус, в нем сила молода.

Сейчас в кувшине только чистый свет!
Осела муть и ни соринки нет.

Оно горит средь ночи смоляной,
Как будто Марс средь темноты ночной.

Его бежит, как золото, струя,
Или, точней, как желтая змея.

Вон пробка запечатала сосуд —
Как яблочко она, ее сейчас сорвут!

Об утреннем питье не говори,
Дай кубок мне под вечер, в час зари!

И соглядатай, ум топя в вине,
Друг с другом оставлял наедине

Влюбленных. Душной ночь тогда была.
Сплетались их горячие тела.

Они расстались с проблеском луча,
Стеная, плача, жалуясь, крича...

А нас всю ночь тревожило одно:
Блестевшее в глазах друзей вино!

■ ■ ■

Уязвляет меня, как змея, переменчивый рок.
Изменили мечты. Я мечты растерял, не сберег...

Человек наслаждался, он с жизнью всегда был в ладу.
За ее наслажденье — прощал ей любую беду.

Но в мгновение то, когда пьющий питье смаковал,
Жизнь толкнула его, не жалея, в бездонный провал.

■ ■ ■

С утра играет мелкою резьбою тихий пруд.
Ему покоя ветры не дают.

То с севера, а то подует с юга.
И пруд под солнцем блещет как кольчуга.

■ ■ ■

Вот зрелый апельсин: раскалена
Одна щека, а рядом желтизна,

Как лик у той, что страстно влюблена:
То вдруг красна, то вдруг бледна она.

■ ■ ■

Как тяжек путь туда, откуда нет возврата,
Как тяжко потерять товарища иль брата,

Как тяжко ложе тех, кто одинок,—
На нем шипы, и камни, и песок.

Критика

ЯН КОЗАК

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

31 мая — 1 июня 1972 года в Доброжише под Прагой состоялся учредительный съезд нового Союза чешских писателей. С отчетным докладом от имени Правления Союза выступил Председатель Союза чешских писателей Ян Козак. Доклад был одобрен съездом как программный документ Союза.

Мы печатаем в этом номере доклад с некоторыми сокращениями.

Мы собрались на наш съезд в момент, когда коммунистическая партия — а с ней все наше общество — сознательно и целенаправленно приступила к выполнению важных задач, выдвинутых генеральной линией XIV съезда Коммунистической партии Чехословакии. Их осуществление будет означать дальнейшее развитие нашей социалистической экономики, дальнейший подъем жизненного уровня народа, развитие его культуры, дальнейшее укрепление и сплочение нашего общества, новый расцвет социалистической Чехословакии.

В процессе постепенной ликвидации ущерба и вреда, нанесенных в 1968 и 1969 гг., наиболее трудной представлялась нормализация нашей культурной жизни, прежде всего — в области литературы, где действие оппортунистических, ревизионистских, антисоциалистических и антисоветских контрреволюционных тенденций и сил проявилось наиболее отчетливо. Враги нашего строя пророчили, что осуществить консолидацию в этой области не удастся. Но их надежды вскоре потерпели крах и тут. Творческие союзы, которые были созданы, постепенно сплотили вокруг себя художников, верных социализму.

Для того чтобы мы могли идти вперед, мы должны глубоко задуматься над тем, что же происходило в минувшие годы, когда в рядах писателей дело дошло до открытой атаки на социалистический фундамент нашего государства. Мы хотим взглянуть правде в глаза, осознать причины и корни всех стремлений разложить нашу социалистическую культуру, а также уяснить себе и то, какое участие приняли отдельные писатели, критики, литературоведы и публицисты в попытке осуществления контрреволюции в Чехословакии.

Этот анализ необходим, потому что он будет поучительным для нашего дальнейшего пути. Правильная оценка нашего писательского прошлого содержится в «Уроках кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ». Наш анализ исходит из этой оценки. Он содержит также некоторые специфические моменты, обусловленные крайней агрессивностью и сознательными контрреволю-

ционными действиями некоторых правых руководителей бывшего Союза чехословацких писателей.

I

Прежде всего поставим вопрос: как могло случиться, что в критические годы — 1968-й и 1969-й, когда дело доходило до открытого формирования и выступлений антисоциалистических контрреволюционных сил, до попытки вырвать Чехословакию из социалистического лагеря, руководство Союза чехословацких писателей сыграло столь значительную негативную роль? Как можно было предать то, что было завоевано долгой и самоотверженной борьбой поколений передовых сынов и дочерей наших народов? Предать созидательный героизм рабочего класса, крестьян и трудовой интеллигенции, руководимых КПЧ? Как могло случиться, что руководители писательской организации стали поливать грязью и поносить социализм, период построения которого является одним из самых славных периодов в истории наших народов? Как могло дойти до попыток ликвидировать итоги великих социальных революционных перемен и вновь связать нашу судьбу с капиталистическими государствами Запада? Как случилось, что бывшее руководство СЧСП[1] сыграло роль одного из самых агрессивных идеологических — а позднее и политических — контрреволюционных центров?

При критическом разборе и критике деятельности прошлого писательской организации в анализе, который очертит и наши задачи, нельзя исходить только лишь из литературы. Если мы хотим быть марксистами, мы не можем абстрагироваться от негативных явлений, которые длительное время происходили в нашем обществе скрыто, прежде чем произошел взрыв.

Мы должны осознавать обусловленность литературы объективным общественным процессом; эта обусловленность действовала всегда, и не только в чешской и словацкой литературе. Считать, что дело обстоит наоборот, означало бы допустить ошибку, о которой говорил Карл Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Марксова критика истории французской Второй республики дает в то же время ключ к правильному объяснению исторических событий как результата действия объективных общественных сил, классовой борьбы на той или иной фазе, которая позволяет в одном случае действительно великим людям, а в другом — дюжинным и даже просто смешным личностям играть роль героев.

В исторически решающие периоды всегда находятся личности, которые становятся во главе общественных сил. Естественно поэтому, что и постоянная потребность буржуазии ослаблять, разлагать революционное рабочее движение также всегда вызывала появление соответствующих «вождей», которые пропагандировали оппортунизм всех мастей и всегда использовали тот факт, что рабочего класса в химически чистом состоянии не существует и что он — где в меньшей степени, где в большей — всегда подвержен влиянию мещанства, у нас к тому же, если учесть особенности исторического развития, особенно многочисленного.

Однако ограничиться при характеристике инициаторов раскола социалистической Чехословакии в конце шестидесятых годов лишь едкими и остроумными выпадами — по словам Маркса — означало бы не видеть того, что любое проявление оппортунизма и ликвидаторства в революционной партии есть явление общественное.

Классовая борьба внутри нашего социалистического общества проходила в особых, длительное время скрытых формах, создав возможности для того, чтобы дюжинные и даже просто смешные личности сыграли роль «героев» и «трибунов» реакционного, контрреволюционного переворота, к счастью неудавшегося. Эта роль в то же время была ограничена самим содержанием движения, во главе которого любой ценой стремились встать правые руководители чешских и словацких писателей. Это было реакционное и контрреволюционное движение. И они несут полную ответственность за то, что всячески способствовали его усилению и разжиганию.

В ходе внутренних и международных событий, обусловленных классовой борьбой, они в поте лица *служили* реакционным общественным силам. В этом свете мы видим ныне элитарную теорию «ведущей духовной роли писателя в народе», теорию крайне активную, тщательно продуманную и опасную в ее подлинной, прислужнической сути. Из этого также вытекает, что эмиграцией некоторых литераторов и уходом ряда других во «внутреннюю эмиграцию» дело отнюдь не завершилось. Классовая борьба между двумя мирами, миром социализма и миром капитализма, которая находит свое отражение и у нас, продолжается. Особенно остро идет она в идеологической области, следовательно, и в сфере искусства.

Все значительные, выдающиеся произведения чешской прогрессивной литературы отмечены печатью народности и революционного демократизма; чешская прогрессивная литература всегда служила делу национального и социального освобождения трудящихся. Поэтому наш народ, наш читатель и сегодня любит произведения Божены Немцовой, Карела Гавличека-Боровского, Яна Неруды и других писателей. С того времени, как Великая Октябрьская социалистическая революция стала маяком человечества и открыла перед художниками всего мира новую эпоху и невиданные перспективы, наши крупнейшие художники, писатели, продолжая традиции народного, демократического течения в чешской культуре, поднялись на борьбу за социальное освобождение. Самые лучшие писатели посвятили свое

[1] СЧСП — Союз чехословацких писателей *(прим. перев.)*.

творчество революционной борьбе Коммунистической партии Чехословакии, отдав этому всю свою жизнь.

Наша передовая литература пошла по пути, проторенному такими выдающимися представителями социалистического авангарда в искусстве, как Иржи Волькер и Станислав Костка Нейман, Бедржих Вацлавек, Иван Ольбрахт, Владислав Ванчура, Юлиус Фучик, Зденек Неедлы и другие.

В ходе тяжелых классовых боев в домюнхенской буржуазной республике и позднее, в борьбе против фашизма, конфронтация политики буржуазии и революционного авангарда рабочего класса показала, что рабочий класс, ведомый марксистско-ленинской партией, является исторически единственным вождем наших народов. Патриотизм рабочего класса, руководимого Коммунистической партией Чехословакии, и его роль защитника нации в полной мере проявились в героической борьбе за социальное и национальное освобождение, за прочные гарантии свободы наших народов. Вокруг КПЧ сгруппировалась и плеяда выдающихся писателей. Произведения таких мастеров, как Иржи Волькер, Антонин Мацек, Индржих Горжейши, Иван Ольбрахт, Мария Майерова, Мария Пуйманова, Станислав Костка Нейман, Йозеф Гора, Витезслав Незвал, Владислав Ванчура, Франтишек Галас, Ярослав Кратохвил, Константин Библ, Петер Илемницкий и другие, служили народу; они указывали ясные жизненные перспективы, воспевали силу духа, воспитывали чувство гордости тем, что ведется борьба за новый мир. Их произведения развивали и умножали духовное богатство человека, его моральные, гуманные качества, укрепляли социалистическое сознание, тем самым обогащая национальную культуру.

Естественно поэтому, что после 1945 года, сразу после освобождения нашей страны Советской Армией, в условиях подъема всемирного революционно-демократического и коммунистического движения, в условиях происшедших в мире изменений в соотношении классовых сил в пользу социализма, в нашей культуре, в нашей литературе буквально забил новый сильный родник. Истоки его были в народных корнях нашей культуры. Первые послевоенные годы были кульминационными для тех писателей, которые уже ранее соединили свою жизнь и творчество с судьбами партии и народа; их романы и поэтические сборники вошли в «золотой фонд» нашей национальной литературы. Вместе с ними шли такие художники старшего и среднего поколения, как Антонин Запотоцкий, Вилем Завада, Франтишек Грубин, Ярмила Глазарова, Йозеф Секера, Карел Новый, Йозеф Рыбак, Ян Дрда, Богумил Ржига, Йозеф Томан, Й. В. Плева, К. Ф. Седлачек, Иван Скала, Йозеф Кайнар, Франтишек Бранислав и многие другие.

Это смелое наступление и подъем литературы сопровождались и наступлением марксистско-ленинской литературной теории и критики, которые, однако, были особенно ощутимо ослаблены за годы фашистской оккупации, когда партия потеряла таких выдающихся идеологических и теоретических работников, как Бедржих Вацлавек, Курт Конрад, Ян Крейчи, Эдуард Уркс, Юлиус Фучик и другие. Традиции литературы двадцатых и тридцатых годов, лучшие традиции чешской литературы прошлого и нашей социалистической литературы, основываясь на ленинской, марксистской классовой теории, развивали в своем творчестве Зденек Неедлы, Ладислав Штолл, Иржи Тауфер, Вацлав Пекарек и другие.

После февраля 1948 года — в период окончательной политической победы рабочего класса над буржуазией в Чехословакии, в период, когда в Центральной и Восточной Европе возник и укреплялся социалистический лагерь во главе с Советским Союзом, в период, когда по всему миру прокатилась послевоенная революционная волна,— был основан Союз чехословацких писателей как идеологическая творческая организация. Как организация, задачи которой заключались в том, чтобы помогать развитию социалистической литературы, защите ее интересов. В тот момент казалось, что в идейном отношении писательский фронт един. Наступление писателей с социалистическим мировоззрением и их творческий авторитет были столь сильны, что увлекли за собой и ряд авторов идейно неустойчивых, с неопределившимся мировоззрением.

Сколь прозорливы были ведущие представители революционной социалистической культуры того времени которые предостерегали: «Борьба не закончена». Какая прозорливость заключалась в известном девизе Зденека Неедлы, требовавшем «реалистического подхода к реальности современной социалистической эпохи», к реальности современного состояния классовой борьбы внутри страны и во всем мире. Сколь прозорливо было предупреждение о том, что многие писатели, которые заявили о поддержке победившего рабочего класса и намерены внести вклад в социалистическую культуру, зачастую еще не являются убежденными социалистами.

Да, борьба не закончена ни у нас, ни во всем мире. Уже в середине пятидесятых годов, в период отлива послевоенной революционной волны, когда мощь главных капиталистических государств на Западе вновь укрепилась, в период раздуваемого психоза «холодной войны», развязанной лагерем империализма, в период колоссального антикоммунистического идеологического наступления после смерти И. В. Сталина, вызванного тем, что буржуазные и ревизионистские силы постарались использовать в своих целях критику культа личности, в ряде молодых социалистических стран пришли в движение тенденции, которые стали парализовывать историческое наступление социалистических сил. Они стали тормозить закономерный процесс в революционном

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ,
ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

движении, процесс осознания и ликвидации собственных ошибок, слабостей и непоследовательности. Искусно изобретенный ревизионистский тезис «наведения мостов между капиталистическим Западом и социалистическим Востоком», распространявшийся всеми средствами массовой коммуникации Запада, привел в смятение, сбил с толку людей идеологически неустойчивых и мобилизовал внутри нашей страны враждебные силы, которые были разбиты в Феврале. Чехословацкая, польская и венгерская история тех лет вновь явилась подтверждением того, в какую опасность вырастает мещанство в период революции и сразу после нее, если не уделяется достаточно внимания вопросам систематического воспитания в духе марксистско-ленинской идеологии; если не проводится последовательно политика, учитывающая исторически данную двойственность мелкой буржуазии, которая колеблется между рабочим классом и буржуазией; если подход к поведению средних слоев характеризуется чрезмерными иллюзиями и не проводится бдительная, но в то же время дальновидная политика, которая использовала бы объективное положение средних слоев для того, чтобы помочь им занять надлежащее место союзника рабочего класса, борющегося за социализм, что объективно отвечает и их собственным интересам. Эти-то колебания и шатания средних слоев и использовали ревизионистские группы, для того чтобы вести свою политику разложения, для того чтобы привязать мещанство к реакционным общественным силам.

Рассмотрим в связи с этим прежде всего чешское и словацкое мещанство, которое на протяжении всего периода буржуазной домюнхенской республики питала идеалистическая масариковская идеология «гуманной демократии», национализма и социал-демократизма и которое в течение целых десятилетий в политическом и культурном отношении ориентировалось на Запад. Рассмотрим специфические черты чешского мещанства, метко охарактеризованного С. К. Нейманом в брошюре «Кризис нации» (1930 г.). Приведем хотя бы несколько моментов из этой брошюры: «Его дух ощущается у нас повсюду... Он (мещанин) — расчетлив, корыстен, эгоистичен и в то же время лицемерен... Он сторонится суровых истин, пресмыкаясь перед общепринятыми лжепонятиями, этическими фразами, из которых составляет свои книжки и которыми заполняет свою воскресную печать... Ему импонируют популярные авторитеты, но он с наслаждением прочитает и выслушает все, что унижает и принижает их... Он жаден до нового, но усваивает из него, как правило, лишь то, что лежит на поверхности явлений; охотнее всего обезьянничает — как и вообще все мещанство,— говоря о социальном и духовном господстве... Он не хочет постигать суть вещей путем научного познания, а — в зависимости от степени своей интеллигентности — наслаждается, любуется «глубокими мыслями» заумных поэтов, оккультистов, мистиков или метафизических философов, всевозможными духовными безделками, блестками и наркотиками... И хотя в жизни, которую он ведет, он — грубый материалист, он сторонится исторического материализма... ему нужен идеализм... фраз, чтобы он мог обманывать себя, доказывая свое благородство, а одновременно обманывать в своих интересах и ближних»...

Эту не утратившую своей справедливости и актуальности характеристику мещанина — причем не только чешского — необходимо учитывать, чтобы понять события, которые происходили в Чехословакии на переломе пятидесятых — шестидесятых годов. То обстоятельство, что были поколеблены и потрясены некоторые мещанские истины и иллюзии, нашло отзвук и в рядах интеллигенции, и в тех слоях, которые в истории всегда были носителями и выразителями тенденций шатаний и колебаний в рабочем движении и коммунистических партиях. Уже в 1956 г. появились доказательства того, что революционность, которая не вошла в плоть и кровь, которая не опирается на прочную сомкнутость с рабочим движением, в политически напряженных ситуациях переходит в шатания, в анархистскую нетерпеливость, пресловутый мещанский радикализм. Эти моменты со всей очевидностью проявились уже на II съезде СЧСП в апреле 1956 г. Антонин Запотоцкий, Витезслав Незвал, Ладислав Штолл, Иржи Тауфер и другие по-боевому, принципиально выступили против ревизионистских и либералистических проявлений и настроений и, главным образом, против программного лозунга «писатели — совесть нации», под прикрытием которого кое-кто из ревизионистских и колеблющихся писателей присвоил себе право не соглашаться с политикой коммунистической партии и выступать против политики партии, поливая ее грязью, заявляя о том, что у нее нет морального права руководить обществом. Они выдвинули этот лозунг в качестве конкретного проявления оппозиции. Многие из тех, кто позднее, в годы кризиса, выступили как явные противники социализма, уже тогда самозванно провозгласили себя новоявленными мессиями. Оказалось, что различие здесь лишь в словах: под «совестью нации», точно так же, как позднее под «элитой», подразумеваются избранные интеллигенты, возвышающиеся над всеми остальными слоями народа.

Ревизионистские, либералистские теории на II съезде СЧСП наиболее отчетливо сформулировал поэт Ярослав Сейферт, интересный и своеобразный художник, который, однако, почти во всех критических для нашего народа ситуациях выступал против его революционных, исторически прогрессивных сил. Можно сказать, что в ревизионистских и либералистских теориях и настроениях, проявившихся на этом съезде, и берет начало предыстория IV съезда СЧСП, который состоялся в 1967 г.

Выступление венгерской контрреволюции осенью 1956 г., ее открытая программа возврата к капитализму и кровавый террор,

объединение сил реакции внутри страны и за рубежом, с одной стороны, и помощь Советского Союза, оказанная венгерским революционным силам, с другой,— все это было весьма поучительно и существенно повлияло и на ситуацию в Чехословакии.

На конференции писателей в 1959 г. партия оказала поддержку писательской организации и усилила ее, вновь произошло углубление связей руководства Союза писателей с партией и партийным руководством. Однако осуществлено это было административным путем — без идеологической борьбы, без анализа и критики взглядов и воззрений, чуждых и даже враждебных партии.

Классовая борьба между миром капитализма и социализма, однако, продолжалась с неумолимой логикой. Империалистические центры на Западе, занимающиеся организацией диверсий в социалистических странах, извлекли для себя урок и сделали выводы из венгерской контрреволюции. Они разрабатывали новую глобальную стратегию и новую долговременную тактику для достижения аналогичных целей в других социалистических странах. Они ориентировались на постепенное разложение структуры управления этих стран, на постепенное ослабление ведущей роли партии. (В этом также скрыты корни той ползучей тактики, которая нашла применение в чехословацком случае. Здесь снова подтвердилась правильность мысли Ленина о том, что в то время, как пролетариат борется за власть, буржуазия крадется к власти.) Идеологическое антидемократическое оружие «элиты», теория «конвергенции между Западом и Востоком» и тесно связанная с ней политика «наведения мостов между Западом и Востоком», которая должна была создать возможности для открытой идеологической диверсии, для эрозии ключевых принципов социалистического строя и, в конечном итоге, для их полного разложения,— все это было весьма заманчивой приманкой.

Чем была чревата для писателей и самой литературы эта программа идеологической диверсии, которую поддерживала из-за рубежа и чехословацкая буржуазная эмиграция (эмиграция после февраля 1948 г.), и прежде всего Павел Тигрид и его журнал «Сведецтви» [1]?

Наряду с выдающимися художественными произведениями наших замечательных писателей, которые сыграли большую роль при рождении нового социалистического общества, наряду с произведениями, составляющими подлинный «золотой фонд» чешской национальной литературы, естественно, появлялись и менее удачные литературные опыты. Перед писателями встали совершенно новые проблемы, конфликты, формирование характеров в новых условиях, что находило свое проявление в процессе сознательного, целеустремленного построения общества; писатели открывали нового героя, героя великих строек, плотин, героя деревни, в которой происходили революционные изменения. Глубокое овладение столь новой, большой темой требовало напряженных творческих усилий, исканий, борьбы, познавания. Одним из недостатков литературы того времени, ослаблявшим силу ее художественного воздействия, было узкоограниченное понимание социалистического реализма. И при этом отнюдь не случайно, что самыми упорными догматиками, которые в пятидесятые годы ограничивали творческий простор и инициативу художников и поэтому лично несут большую долю ответственности за искажение понятия социалистического реализма, были мещанские попутчики революции, которые после отлива революционной волны буквально в один момент превратились в «догматиков наоборот». Сначала они переиначивали, искажали культурную линию политики КПЧ, а потом принялись обвинять партию в своих собственных грехах. С таким же мещанским радикализмом, с которым они прежде навязывали писателям узкоограниченное толкование социалистического реализма, ныне они принялись либо отрицать социалистический реализм, либо — чтобы не скомпрометировать себя открытой атакой на социалистический реализм — пропагандировали его, так сказать, в измененном, «разбавленном» виде — в духе «реализма без берегов» Р. Гароди.

Многие писатели, которые не были удовлетворены своим творчеством и собственные недостатки стали представлять как слабость социалистического реализма, также начали выступать против социалистического реализма, так и не поняв его методологической и мировоззренческой сущности.

Носители всевозможных ревизионистских теорий и тенденций использовали искаженное и ложное толкование социалистического реализма как предлог для попытки перерезать артерии, соединявшие литературу с народными, демократическими и реалистическими традициями, со всем, что составляло фундамент нашей новой, социалистической культуры, литературы, ее теории и критики; как предлог для того, чтобы попытаться нарушить органическую связь нашей литературы с теми импульсами, которые она получила от лучших произведений советской литературы и всего прогрессивного, гуманистического, демократического и социалистического искусства. При этом с необычайной легкостью вместе с нашими национальными классиками социалистической литературы выбрасывались на свалку заветы мировой революционной литературы, произведения Максима Горького, Михаила Шолохова, Ромена Роллана, Анри Барбюса, Мартина Андерсена-Нексе и других.

---

[1] Журнал чехословацкой послефевральской эмиграции, ориентирующийся на идеологическую и политическую диверсию в ЧССР *(прим. перев.)*.

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Носители ревизионистских теорий стремились заразить нашу национальную литературу чуждыми, антинародными, антисоциалистическими тенденциями, протащить чуждое идеологическое оружие.

Вспомним нападки на произведения Станислава Костки Неймана, Витезслава Незвала, Зденека Неедлы, Алоиса Ирасека, насмешки по их адресу; вспомним дискуссию о литературе тридцатых годов на страницах «Литерарних новин» в 1964 г., с которыми тогда полемизировала «Руде право». Вспомним искажение наших эстетических традиций в работе Хватика о Бедржихе Вацлавеке, вспомним, как Милан Кундера отрицал значение произведений Владислава Ванчуры, чтобы подтвердить фальшивую ревизионистскую концепцию, согласно которой искусство — это сугубо субъективное дело, а отнюдь не общественное; эта концепция нападала и на ленинскую теорию отражения. Вспомним, как сразу же после выхода книги М. Кундеры «Искусство романа», тотчас же увенчанной лаврами, началось новое наступление нашего чешского структурализма, который стремился доказать теоретически и выдавать на практике искусство за автономную область, имеющую лишь сугубо эстетическую функцию. Подлинным пристанищем структуралистов стал Институт чешской литературы Чехословацкой Академии наук. В результате деятельности этого института наш структурализм, основывающийся на старой чешской школе апологетики формализма, провозглашающий главенство, примат формы над содержанием, стал модной, можно сказать, монопольной отправной точкой художественной теории и критики. Он идеологически разоружал марксистскую критику и стал нашей, специфически чешской формой ликвидации социалистического реализма. Многие из тех, кто открывал дверь ревизионистским течениям в литературоведении и литературе, носили в кармане партийный билет. Вследствие этого им легче было маскировать проникновение чуждой идеологии, легче рядить ее в социалистические одежды и даже прикрывать марксистской терминологией.

Реализм? Ну что ж, если уж реализм — то без берегов! С сознанием, что они — «духовная элита», с сознанием, что они — организаторы и творцы «интеграции духовных сил мира», мещанские писатели и особенно критики, а также всевозможные «окололитературные работники» ухватились за предложенный им Западом модный литературный культ — культ творчества Франца Кафки.

На конференции по творчеству Франца Кафки в 1963 г. в Либлицах, сознательно организованной в широком «международном масштабе», где главное слово, вместе с отечественными «кафкологами», возглавляемыми Эдуардом Гольдштюкером, было предоставлено и ряду известных западных философов, писателей и литературоведов, не было и речи об оценке творчества и личности Франца Кафки по существу—конференция была политическим актом. Это был акт, пропагандирующий философскую категорию «отчуждения» как постоянный и неизменный продукт противоречий между отдельной личностью и обществом, противоречий, которые в социалистическом обществе будто бы даже возрастают. Чтобы не было никаких сомнений, Гольдштюкер заявил на конференции: «Кафка актуален и у нас, он имеет отношение не только к капиталистическому миру». А австрийский философ Эрнст Фишер добавляет: «Дайте ему постоянную, не ограниченную временем визу».

Кафкианство — как программа социалистической литературы!

Независимо от того, сознательно ли действовали некоторые из организаторов конференции или нет, объективно они выполняли чуждый и враждебный социальный заказ. Там, откуда шла эта идеологическая диверсия, великолепно понимали, в чем тут суть, и были достаточно дальновидны, чтобы оценить значение конференции. Отнюдь не случайно тогда впервые появился знаменательный термин «пражская весна» — «Prager Frühling», «Le Printemps de Prague».

II

В атмосфере наступления новой волны ревизионизма весьма негативную роль сыграл журнал «Пламен». Он служил трибуной для философских, критических и литературных произведений, распространявших взгляды и воззрения, направленные на ликвидацию классовой точки зрения. Он организовывал международные конференции и симпозиумы с участием западных буржуазных философов, где проповедовалось ложное понимание мирного сосуществования, пацифизм, новая теория «ведущей роли» интеллигенции в обществе. И все это — под предлогом творческого развития марксизма. Ведя борьбу против так называемого «консерватизма» и за «таяние льда», «Пламен» открывал дорогу идеологической диверсии, в сущности играя роль первого пражского «Гайд-парка» [1] в области философии, критики и литературного творчества.

В самый разгар наступления ревизионистской волны шестидесятых годов, в 1963 г., состоялся III съезд СЧСП, на котором ключевые позиции в руководстве писательской организацией захватила компактная, хорошо организованная группа людей, которая первоначально формировалась вокруг журнала «Кветен», «Литерарних новин» и брненского журнала «Гост до дому». (Наиболее выразительными представителями этой группы стали Иржи Брабец, Мирослав Голуб, Милан Кундера. А. Й. Лим, Арношт Люстиг, Карел Птачник, Карел Шиктанц, Иржи Шотола, Иван Клима, Олег Сус и другие.)

Эта группа вместе с теми, кто примыкал к ней, добилась большинства в руководящих органах Союза писателей и усилила свои стремления, направленные на то, чтобы *ликвидировать влияние писательских*

[1] Пражским «Гайд-парком» летом 1968 г. называли сквер в центре Праги, ставший местом постоянных контрреволюционных сборищ *(прим. перев.)*.

пленумов, влияние партии на Союз писателей. При этом она злоупотребляла средствами и возможностями, которые партия предоставила писателям, так что в конечном итоге ей удалось овладеть руководящими инструментами культурной политики, которыми располагал Союз, такими как издательства, печать, журналы; она подчинила своему влиянию Чешский литературный фонд, «Дилию»[1] и т. п. Постепенно издательства и редакции журналов, издаваемых Союзом, стали средоточием интересов всевозможных разношерстных группировок людей, насквозь пропитанных духом мещанства,— писателей, философов, социологов, экономистов, историков, публицистов, редакторов и критиков, причем единственным связующим их моментом стал либерализм. Впрочем, либерализм — лишь как *лозунг*. Либерализм, «современной» отличительной чертой которого является, с одной стороны, снисходительность и терпимость по отношению ко всем буржуазным и мелкобуржуазным идейным тенденциям и стремлениям, по отношению к антикоммунизму, к его пропаганде и проведению в жизнь, а с другой стороны — враждебная, нетерпимая позиция по отношению ко всему социалистическому, коммунистическому.

«Свобода слова», «свобода проявления», «свобода критики», «духовная элита», «свободное сотрудничество самых выдающихся духовных сил мира»! Эти абстрактные, лишенные классового содержания, «возвышенные» лозунги, прикрывающие классовую сущность проходящей общественной борьбы, лозунги, импортированные из идейного арсенала капиталистического Запада, на деле, в сущности, подразумевали *свободу критики социализма, свободу организации антисоциалистических сил*.

Надо сказать, что некоторые писатели ошибочно полагали, что они проводят национальную, патриотическую политику, в то время как другие отнюдь не заблуждались на этот счет и за свою службу мировой буржуазной реакции получали хорошую плату от буржуазных газет и издательств «*свободного*» мира как в виде популярности, создаваемой им на Западе, так и в «твердой» валюте.

В области культурной политики и особенно в области литературы «либерализация» вела к яростному отрицанию социалистического реализма и социалистического искусства и в то же время к превознесению и прославлению всех модных направлений и теорий буржуазной литературы. Едва члены упомянутой группировки завладели издательствами и редакциями журналов, как тотчас же настежь раскрыли двери пропаганде абсурдизма, отчуждения и беспомощности человека в обществе, а также и иному литературному ширпотребу, удовлетворявшему мещанским вкусам,— такому, как проповедь цинизма, жестокости и кровавых убийств, порнография. Наступила эра массового эпигонства, которая не имеет себе равных в истории чешской литературы. Вспомним лишь, сколько новых Кафок появилось на книжном рынке! Излишне называть эти эфемерные произведения и авторов, для которых эпигонство было самым легким путем к воображаемой мировой известности. А впрочем, в этом опять-таки не было ничего нового. Когда в период между двумя мировыми войнами на чешском языке вышла книга Пруста «В поисках утраченного времени» и «Улисс» Джойса, издательство «Мелантрих» объявило конкурс, в жюри которого входил Ф. Шальда, впоследствии жаловавшийся в своем «Дневнике» на то, сколько чешских Прустов и Джойсов прислало на конкурс свои творения. Ни один из них, однако, не завоевал признания жюри. Премию получил Иван Ольбрахт.

А что произошло в новой ситуации с марксистской критикой? Едва завладев издательствами и редакциями, мещанская «элита» тотчас же стала замалчивать ее, так же как она замалчивала социалистические, реалистические произведения. Она подавляла голос марксистского литературоведения и литературной критики, лишая их каких бы то ни было возможностей издания и публикации. Всюду, где было возможно, «элита» высмеивала марксистскую критику как сторонницу и защитницу догматизма и консерватизма.

■

В двадцатые и тридцатые годы марксистская литературная критика и эстетика в нашей стране достигли высокого уровня как в методологическом отношении, так и в отношении объема и важности исследуемой проблематики. Важным фактором явилась тут и солидная, постоянно растущая теоретическая подготовка критиков — Бедржиха Вацлавека, Эдуарда Уркса, Курта Конрада, Юлиуса Фучика; огромное значение имели теоретические работы поэта С. К. Неймана, статьи и исследования Зд. Неедлы.

Весьма важной чертой марксистской критики межвоенного периода было то, что она не ограничивалась лишь отрицанием буржуазного понимания искусства, но выдвигала собственную концепцию, комплекс собственных позитивных ценностей и критериев. Эта концепция имела большое значение и с точки зрения идеологической, поскольку нарушила имевшую до тех пор место монополию буржуазной идеологии и философии в вопросах эстетики, искусства и литературы.

Марксистская литературная критика межвоенного периода понимала литературу как неотъемлемую составную часть конкретно-исторического общественного процесса и указывала на ее классовый характер. Она уделяла особое внимание последствиям решающих исторических событий для искусства и литературы, и в первую очередь зна-

[1] «Дилия» — организация, занимающаяся распространением и пропагандой чешской литературы за рубежом, в ее функции входит и охрана авторских прав *(прим. перев.)*.

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

чению Великой Октябрьской социалистической революции для развития нового искусства. Проблематика этого нового искусства была основополагающей в произведениях марксистских критиков, ведь в связи с ней решалось и большинство дальнейших вопросов.

Прежде всего — вопрос о том, какова сущность этого нового искусства Марксистская критика отвечала: это такое искусство, которое сознательно служит социальной революции, которое служит освобождению пролетариата, освобождению труда и, следовательно, всего человечества. Социальной революции служит прогрессивное искусство. Марксистская критика подчеркивает поэтому классовость прогрессивного искусства и значение фактора сознательности, или, иными словами,— партийности писателей и критиков.

Как обстоит дело с нашей критикой и литературоведением шестидесятых годов, если мы посмотрим на них под марксистским углом зрения?

Надо сказать, что марксистско-ленинское литературоведение и критика в шестидесятые годы почти исчезли или сектантски замалчивались самозванными «владельцами» литературных журналов и редакциями, которые служили политическим целям тогдашнего руководства Союза и литературной группировки, сложившейся вокруг него. Ведь эта критика была направлена против них. Поэтому и надо было подавлять, отрицать принципиальное партийное литературоведение и критику, которые вместе с лучшими образцами народной реалистической, социалистической литературы были источником творческой силы и творческих импульсов нашего социалистического искусства.

Литературная критика того периода действовала «на своем поприще» в основном в том же духе, что и все мещанское течение, которое «уносилось» значительно более сильным объективным течением событий,— то есть она служила всем модам буржуазной литературы. Литературоведение и критика тех лет стали необычайно действенной *составной частью клещей*, в которых оказались зажатыми преданные социализму художники. При этом кризис ценностей зачастую шел рука об руку с кризисом характеров. Многие из теоретиков и критиков прошли через все периоды, и их «курс» никогда не падал.

Мы уже упоминали тех воинственных догматиков, которые после 1945 г. сужали, ограничивали творческий простор художника, классифицируя произведения в духе самого грубого сектантства, а потом моментально превратились в «догматиков наоборот» Множество критиков — типа Владимира Блажека, Мирослава Червенки, Иржи Халупецкого, Кветослава Хватика, Милана Юнгманна, Владимира Карфика, Олега Суса, Милана Сухомела, Милана Шульца, Яна Трефулки — наводнили литературные редакции и, отрицая все марксистско-ленинские критерии оценок, открыли двери ревизионистским критериям, которые в условиях современной классовой борьбы служат буржуазии. Они воспевали «опусы» об отчуждении, «эксперименты» абсурдной литературы, книги о бессилии и беспомощности человека в социалистическом обществе. Некоторые из них защищали культ секса, выдавая его за единственное проявление самоутверждения человека, оживляли мистику. Вновь ожило и стало распространяться католическое течение. В полном соответствии с духом критицизма, нападок на самые основы социализма наша литературная критика прославляла и превозносила Солженицына. И по тем же причинам прямо-таки взывала к чешским его последователям, к чешским Солженицыным. Поэтому она сразу создала ореол вокруг таких авторов, как Иржи Муха, Карел Пецка, и им подобных.

Вероятно, нет необходимости подчеркивать, что из советской литературы признавались лишь авторы, которые подвергались критике в Советском Союзе; в то же время не прекращались сетования на «слишком медленное» «таяние льда» в Советском Союзе и других социалистических странах. «Таяние льда» в Чехословакии выдавалось за эталон. Вспомним лишь, сколько однодневок, преходящих, посредственных и даже более чем посредственных литературных произведений, сколько кафковских эпигонов и литературных «открытий» было тогда раздуто до масштабов едва ли не мировых величин.

■

Махинации «элитарной» группы в руководстве Союза, использовавшей власть, естественно, опирались на основательный теоретический «тыл». Его обеспечивали прежде всего Роберт Каливода, Карел Косик, Иван Свитак и другие идеологи, которые пытались скрещивать марксизм с буржуазными философскими направлениями. Они пытались разбавить его, лишив революционной сущности, расшатать и подорвать изнутри. Если мы, однако, хотим нарисовать полную картину второй половины шестидесятых годов в области искусства, то необходимо напомнить, что одновременно с процессом отхода литературы от народа и демократических традиций происходил и другой процесс — сфера действия литературы сужалась, а в то же время менялась и ее социальная направленность, социальная и классовая функция. Литература постепенно стала ориентироваться на все более узкий слой читателей, в большой своей части отклонялась в область псевдоаристократической исключительности. Тем самым она — опять-таки с тем же мещанским высокомерием—способствовала развитию чуждых социалистическому искусству, импортированных теорий политической, общественной «элиты», в то же время эпигонски пропагандируя их. Какова была их сущность? Точнее всего ее сформулировал Эрнст Фишер, один из «отцов» кафковской конференции, взгляды которого были изложены в его большой статье, опубликованной в «Литерарних новинах». Согласно Фишеру, «ведущей силой общества является не рабо-

чий класс, руководимый марксистско-ленинской партией, а лишь небольшая часть интеллигенции, состоящая из творческих работников науки и искусства, задачей которых является создание «духовного единства мира». Итак — самозваная духовная каста.

Составной частью этой ненаучной теории стал тезис о единой, неделимой культуре, об интеграции культуры в европейском и мировом масштабе.

Руководство СЧСП делало все для того, чтобы создать из писательской организации политический штаб «элиты общества» в качестве полюса, противопоставляемого руководящей роли КПЧ и рабочего класса, штаба, который будет инициативно служить планам мировой буржуазии, направленным на расшатывание основ социалистических государств. Что было необходимо для этого? Дальнейшее более тесное *идеологическое сближение с буржуазной культурой Запада.* Все было разыграно как по нотам.

Уже в 1967 г. вышло всего 125 переводов из книжной продукции социалистических стран, в то же время из продукции капиталистических государств — 253 названия. В 1968 г. количество переводов литературы социалистических стран снизилось до 92 названий, в 1969 г.— до 55 названий, в то время как число переводов литературы капиталистических стран возросло до 342 названий. Тут необходимо учесть еще то обстоятельство, что из литературы социалистических стран переводилась преимущественно классика, детская литература, а также книги спорные и даже книги авторов, эмигрировавших из социалистических стран.

В области *теоретической* литературы практически вообще перестали издаваться переводы авторов из социалистических стран. Книжный рынок буквально наводнила низкопробная буржуазная литература, а также произведения авторов, ревизовавших марксизм-ленинизм.

В том же ключе, в духе проповеди необходимости дальнейшего философского, идейного и культурного сближения с буржуазным Западом прозвучал вступительный доклад Милана Кундеры, открывший дискуссию на IV съезде СЧСП в июне 1967 г. Мещанским интеллектуалам казалось, что пришло время раздуть воинственный психоз. Милан Кундера поэтому с большим пафосом попытался внушить съезду, а вместе с тем и всей общественности мнение, что период после 1948 г., то есть период власти рабочего класса в Чехословакии, был черным периодом, периодом мракобесия!

Исторический период, когда под руководством рабочего класса и КПЧ был заложен фундамент самого прогрессивного общественного строя — социалистического, когда трудящийся народ взял всю власть в свои руки, когда была закончена борьба за национализацию промышленности, осуществлена коллективизация деревни, когда была ликвидирована эксплуатация человека человеком! Единственным руководящим элементом всей нашей истории — естественно, полностью в духе импортированной теории Эрнста Фишера о «власти элиты» — Кундера объявил интеллектуалов. По его мнению, уже деятели чешского Возрождения ставили вопрос самого существования нации в зависимость от культурных ценностей, которые должна создать нация. Причем эти ценности они якобы предлагали мерить отнюдь не критерием полезности для нации, а лишь всечеловеческими критериями. И вот теперь их последователи тоже хотят быть частью мира, частью Европы. А поскольку ныне в нашей собственной стране они видят лишь убожество, вандализм и ограниченность, поскольку в то же время «существует железная преемственность, непрерывность европейского мышления, которая устояла, прошла через все революции идей», они ратуют за возврат к Западной Европе. Лишь таким путем якобы мы можем вновь стать культурным народом. Эта концепция, которую провозглашал с трибуны съезда писателей оратор с билетом члена коммунистической партии в кармане, была программой отколa от семьи социалистических стран во главе с Советским Союзом. Эта концепция до последней буквы совпадала с директивами Тигрида, конкретизировавшими для чехословацкой ситуации агрессивную империалистическую стратегию и тактику разложения социалистических стран изнутри, разработанную после краха венгерской контрреволюции.

В унисон с этой концепцией прозвучало и анархистское выступление Людвика Вацулика, полное клеветнических нападок, обвинявшее социалистический строй в том, что за двадцать лет он не смог решить ни одной человеческой проблемы, и содержавшее первый призыв к игнорированию общественной дисциплины. В своем выступлении он развивал и нападки Ивана Климы на контроль над средствами коммуникации и печатью и требовал свободы распространения любых воззрений и взглядов — следовательно, и свободы атак на основы социалистического общества. Это была не только атака на конституцию, но и требование свободы и безнаказанности для попыток изменить государственное устройство.

Почти все остальные выступления компактной, хотя и крайне разношерстной группы «элиты» — такие, как выступление Люмира Чиврного, Душана Гамшика, Иржи Ганзелки, Вацлава Гавела, Милана Юнгманна, Александра Климента, Павла Когоута, Карла Косика, А. Й. Лима, Яна Скацела, Иржи Шотолы и, до недавнего времени столь презираемого ими, Яна Прохазки,— были выдержаны в едином, ревизионистском, антипартийном духе. В зависимости от степени интеллигентности и темперамента они в тщательно отрежиссированной обстановке развивали и конкретизировали основные идеи выступления Милана Кун-

---

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

деры. Эдуард Гольдштюкер дал следующую оценку этому выступлению: «Я думаю, что в нем было выдающимся образом обрисовано и указано направление наших усилий». Да, ныне «представители элиты» видели будущее уже не там, где несколько лет назад. Один из бывших ведущих догматиков-сектантов, который, следовательно, согласно Кундере, нес ответственность за «период тьмы», А. Й. Лим, раскрыл козыри, провозгласив: «Возможно, я допускаю, что это будут именно Соединенные Штаты, которые с позиции самой богатой страны в мире когда-то будут формировать культурную политику, какая нам лишь снится». (А. Й. Лим вполне закономерно кончил в Америке как эмигрант и прямой империалистический агент. Руководство послеавгустовской эмиграции поручило ему работу среди эмигрантов в США, где он одновременно с этим проходит обучение в одном из антикоммунистических центров, в том самом, который подготовил Тигрида для его идеологической диверсионной деятельности в качестве главного редактора журнала «Сведецтви».)

На IV съезде СЧСП вообще уже не было речи о литературе. Некоторые отрицательные явления, объективно существовавшие в нашем обществе, некоторые накопившиеся и неразрешенные проблемы, которые сопровождали историческое революционное изменение общества, о которых говорится в партийном документе «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ», были демагогически использованы для публичной, организованной и массовой атаки против партии и ее руководства и вообще против социализма. То, что до тех пор делалось более или менее скрыто, появляясь на страницах печатных органов Союза в закамуфлированном виде, здесь получило *широко разработанную, тщательно продуманную форму организованной публичной атаки против партии*, против основных принципов, на которые опирается наша дружба и союз с социалистическими странами, прежде всего — с Советским Союзом.

Составной частью этих атак, открытого конфликта с партией и политикой правительства ЧССР по отношению к Советскому Союзу и другим социалистическим странам был и ряд выступлений, прежде всего — Арношта Люстига и Павла Когоута, нападавших на внешнюю политику социалистических стран. Воинственно и вполне в духе империалистических интересов, в духе агрессивного сионизма они поддерживали израильское правительство и его вооруженную агрессию против арабского национально-освободительного движения.

IV съезд СЧСП сыграл, таким образом, весьма негативную роль, активизировав оппозиционные и антипартийные силы, а некоторые из его актеров стали также заметными актерами и протагонистами печального развития событий в 1968 и 1969 гг. Это была программа, опиравшаяся на импортированную теорию о ведущей роли интеллектуальной элиты, программа ревизии и отрицания марксизма, открытого сближения с буржуазной идеологией и политикой. Да, не было и речи о литературе, дело было лишь в политике антисоциалистической, реакционной направленности, для вида приукрашенной философско-эстетическим красноречием. Это подтвердил и один из главных актеров — Людвик Вацулик. В 1969 г. он пишет в избирательную комиссию съезда писателей: «Как известно, я являюсь членом Союза всего два года; впрочем, и тогда это было весьма удивительно — ведь у меня вышла всего лишь одна книжка. Но тогда я ничего не мог говорить, я чувствовал, что *меня влечет куда-то* логика моего собственного поведения; сказав «а», надо было сказать и «б», *причины были политические...*» Это — существенное, важное признание. Оно доказывает, что трибуной организации Союза чехословацких писателей злоупотребляли в целях духовной и политической подготовки контрреволюции.

III

События, развернувшиеся на IV съезде СЧСП, явились результатом стремления группы интеллектуальной элиты играть для нужд заграничного ангажемента крайне активную и воинственную политическую роль — независимо от партии и против партии. Превращение «элиты влияния» в «элиту власти» стало рационально холодной и продуманной попыткой контрреволюции, попыткой, которая оказывала сильное влияние на общественную и политическую жизнь в нашей стране до декабря 1969 г. включительно, до того момента, когда прекратил свое существование самозваный Союз чешских писателей.

В январе 1968 г. на заседании ЦК КПЧ произошли изменения в руководстве партии. Значение январского пленума ярко характеризуется в документе «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ». Там говорится:

«Пленум принял политическую резолюцию, в которой выражалась единодушная поддержка решений XIII съезда и вновь подчеркивалась наша принадлежность к мировой социалистической системе и прочное единство с Советским Союзом. Резолюция подчеркнула необходимость усиления единства партии, устранения ошибок и недостатков, укрепления ее ведущей роли, выдвинула требование соблюдения ленинских норм, укрепления союза чехов и словаков в результате последовательного осуществления ленинских принципов в национальной политике, необходимость решения вопросов народного хозяйства и других задач по обеспечению реализации решений XIII съезда.

На январском пленуме, однако, проявились и серьезные противоречивые тенденции. Силы, которые исходили из принци-

пов марксизма-ленинизма и опирались на решения XIII съезда, защищая необходимость непрерывности осуществления намеченной линии, стремились найти ответ на актуальные вопросы, устранить ошибки прошлого, мобилизовать всю партию на активную работу, соответствующую назревшим проблемам. С другой стороны, однако,— как это подтвердило дальнейшее развитие — уже на январском пленуме стала формироваться группа правых ревизионистов, которая, прикрываясь фразами об исправлении ошибок, добивалась ревизии генеральной линии партии, стремилась подорвать идеологические и организационные принципы строительства партии, расшатать политическую структуру социалистического общества с целью усиления мелкобуржуазной стихийности и изменения внешнеполитической ориентации ЧССР».

Этим силам немедленно оказала поддержку правая группа, в руках которой было руководство писательской организацией. Она тотчас же выступила со своей ревизионистской и антисоциалистической платформой. Руководящие органы Союза, его секретариат, редакции его журналов и руководство писательской партийной организацией тотчас же превратились в политический аппарат, занимающийся организацией политических акций, направленных на разложение социалистического строя. При этом они весьма действенно использовали свое влияние в Союзе журналистов и в массовых средствах коммуникации, на радио и телевидении. Однако больше всего они пользовались тем, что могли поддерживать прямую связь и осуществлять тесное идейное и практическое сотрудничество с представителями ревизионистского течения в руководстве партии и правительства. Ревизионистская теория «власти элиты» начинала находить конкретное осуществление.

Руководство СЧСП смогло добиться — что было совсем нетрудно в период, когда правое крыло в руководстве партии находило обоснования для ликвидации принципов управления всех общественных организаций партией — того, что Союз писателей перестал входить в компетенцию министерства культуры, и всячески стала подчеркиваться его роль как организации, входящей в Народный фронт на равных основаниях с коммунистической партией и с другими политическими организациями. И, кстати, так обстояло дело не только с Союзом писателей. Это касалось всех творческих союзов!

Их представители реформистского толка создали так называемый Координационный комитет, тесно сомкнутый идеологическо-пропагандистский орган, своего рода мозговой трест контрреволюционного наступления, интеллектуальный «картель элиты», который должен был обеспечивать взаимную поддержку и совместные политические акции всех культурных организаций, оказавшихся в руках ревизионистов. Через посредство печати, радио, телевидения, кино и театра он мог манипулировать общественным мнением. (Официальными представителями Союза писателей, который пользовался в Координационном комитете решающим влиянием, были Иржи Брабец, Ладислав Фикар, Александр Климент, Франтишек Врба.)

Правые представители Союза писателей — все еще с партийным билетом в кармане — сделали возможным, что в Союз писателей вновь были приняты антисоциалистически настроенные писатели, такие как Вацлав Черный, Йозеф Гиршал, А. Ц. Нор, Вацлав Ренч, Ян Владислав. Правые тесно сотрудничали с Кружком независимых писателей (в сущности, это был писательский КАН [1]), который вскоре после своего основания имел около 80 членов. (Его деятелями стали Гана Белоградска, Бедржих Фучик, Вацлав Гавел, Йозеф Гиршал, Александр Климент, Петр Копта, Павел Науман, Ян Владислав.)

Правое крыло, в руках которого находились все руководящие посты Союза писателей, стало одним из главных идейно-пропагандистских и политических центров контрреволюции, готовившейся к захвату власти, выступавшей за превращение ЧССР, руководимой Коммунистической партией Чехословакии, в плюралистическое государство, за создание модели «социализма с человеческим лицом». Социализм без руководящей роли коммунистической партии, без ведущей роли рабочего класса! Сколько обличий, сколько «лиц» предательства и разложения, ослабления революционного рабочего движения умеет найти буржуазия! И как близок, похож был при этом «социализм с человеческим лицом» на пресловутое, столь знакомое и близкое чешскому мещанину обличье масариковской «гуманной демократии», за которым скрывался дух классовой непримиримости, весьма близкий фашизму.

Самые активные члены руководства Союза писателей организовывали политические митинги и травлю непреклонных, сознательных коммунистов. Они организовывали всевозможные акции, добиваясь отзыва их с партийных и общественных постов, увольнения с работы. Они составили список членов ЦК КПЧ, которых обвинили в консерватизме и добивались их смещения; выдвигали требования созыва чрезвычайного съезда партии и оказывали влияние на выборы делегатов съезда. После ухода Антонина Новотного с поста президента они даже выдвинули кандидатуру председателя Союза чехословацких писателей Эдуарда Гольдштюкера на пост президента. Они развязали кампанию против народной милиции, за разрешение деятель-

[1] КАН (Клуб беспартийных активистов) — одна из контрреволюционных организаций, возникших в Чехословакии в 1968 г. *(прим. перев.).*

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ности нескольких политических партий, прежде всего социал-демократической партии. В то же время они выступали со статьями, в которых заявляли, что КПЧ не имеет морального права быть ведущей силой нации и государства. Некоторые из них даже публиковали дружеские беседы, интервью с представителями эмиграции, покинувшими Чехословакию после февраля 1948 г., во главе с Тигридом. Эта претенциозная воинственная политическая группировка на решающем этапе начавшейся борьбы за свержение социалистического строя через посредство реформистских деятелей тогдашнего руководства профсоюзов стала налаживать связи с предприятиями и с правыми деятелями студенческих организаций.

В «Литерарних листах», редакцию которых возглавлял публицист Душан Гамшик, был разыгран прямо-таки «возрожденческий» спектакль ревизионистских атак против основ социалистического общества. Наряду с известными авторами писательских публицистических «боевиков» в нем приняли участие и весьма усилили его тон наиболее известные ревизионистские политики, социологи, историки, философы и экономисты (Бартошек, Будин, Гюбл, Иодл, Лебл, Млынарик, Селуцкий, Сохор, Славик, Свитак, Шабата, Шамалик и другие).

Аналогичную «возрожденческую» роль выполняли брненский журнал «Гост до дому» (Кожмин, Блажек, Кршиж, Скацел, Сухомел, Сус, Уде, Трефулка), журналы «Тварж», «Сешиты», «Ориентаце» и другие, которые по составу своих редакций и редакционных советов представляли собой своего рода «сообщающиеся сосуды». Впрочем, существенной составной частью этой деятельности, направленной на поддержку «процесса возрождения», был яростный антисоветизм, питаемый взбесившимся национализмом. Подумать только, каков парадокс! Недавние проповедники космополитических взглядов, превратившиеся в воинствующих сионистов, вдруг принимаются разжигать и всячески распространять чешский национализм! Почему? Потому, что его острие направлено против Советского Союза, который является опорой, оплотом безопасности мирового социалистического лагеря.

Руководство СЧСП под всевозможными предлогами прервало всякие отношения с писательскими организациями социалистических стран и в то же время организовывало частые поездки своих руководителей и делегаций на Запад, прежде всего в Федеративную Республику Германии и в Израиль. В секретариате Союза чехословацких писателей правые встречались с десятками политически активных буржуазных писателей, журналистов и философов Запада; в ходе этих встреч разрабатывались методы совместных выступлений нашей и буржуазной печати, которая прославляла представителей нашей писательской элиты как «национальных героев».

В разгар этой антисоциалистической, националистической и антисоветской кампании, которая велась с помощью проверенных средств психологической войны и приводила в смятение общественное мнение, вызывая истерию и создавая атмосферу страха, «Литерарни листы» опубликовали специальным, небывалым тиражом — 300 000 экземпляров — контрреволюционную платформу «2000 слов». Помимо всего прочего она содержала призыв парализовать органы власти в стране и создать новые органы власти. Из рядов членов Союза писателей первыми поддержали эту политическую платформу (автором которой был Людвик Вацулик) Иржи Ганзелка, Мирослав Голуб, Карел Косик, Ярослав Сейферт, Иржи Сухи, Йозеф Топол, Ян Верих.

После Варшавского письма руководящих деятелей пяти коммунистических партий социалистических стран, адресованного руководству КПЧ и предупреждавшего о серьезной опасности ревизионизма и угрозе социализму в Чехословакии, редакция «Литерарних листов» выпускает *специальный номер*, в котором ряд авторов (среди них Ашкенази, Чиврный, Данек, Фикар, Голуб, Крибел, Путик, Сметанова, Шиктанц, Воланска и ряд других), брызжа ненавистью к Советскому Союзу и другим социалистическим странам, начинает раздувать одну из самых разнузданных в истории нашего народа националистических и антисоветских кампаний травли и клеветы, поддержанную другими органами печати и средствами массовой коммуникации, телевидением и радио.

Не случайно профессор Бжезинский, один из ведущих антикоммунистических идеологов Запада, смог заявить в середине 1968 г.: «Наше мнение таково, что сегодня, через двадцать лет после окончания войны, вновь получают слово политические структуры, которые некогда уже были здесь!» Поэтому западный буржуазный мир ликовал. Долговременные принципы идеологической диверсии — «новой восточной политики», разработанные после венгерских событий и получившие в западной печати после «кафковской конференции» 1963 г. столь знаменательное название «пражская весна», ориентация на постепенное внутреннее расшатывание ведущей роли партии, на «власть элиты», ориентация, которая под лозунгом «социализма с человеческим лицом» разбивала лагерь социализма и должна была поставить в арсенал мирового империализма новую модель предательства в Чехословакии, казалось, должны были расцвести пышным цветом.

Отсюда — та дикая ярость, угрозы и клевета, когда 21 августа 1968 г. союзные войска стран Варшавского договора выполнили свой интернациональный долг и помогли всему рабочему классу, всему трудящемуся народу Чехословакии под руководством здоровых, марксистско-ленинских сил внутри КПЧ остановить контрреволюцию без кровопролития и покончить с ней, открыв таким образом путь к политической и экономической консолидации страны, к работе на благо ее дальнейшего социалистического будущего.

■

Сторонники власти самозваной «элиты» в руководстве Союза писателей, связанные с ревизионистами типа Смрковского и всячески поддерживаемые ими, не отказались от своих надежд и после августа 1968 г. На что они делали ставку? На националистические, мелкобуржуазные страсти, которые им удалось пробудить в народе под флагом «демократии», на идейный хаос и психический террор, в результате которого пришли в смятение и многие честные, преданные социализму люди. Но больше всего они надеялись на тесные связи со своими идейными импресарио. Надеялись на поддержку буржуазного Запада. На заседании президиума чешской части СЧСП 15.10.1968 г. они решили, что в своей дальнейшей политике будут «исходить из наличия *интеллектуального единства*, которое сейчас существует в мире, а в будущем будет еще более значительным». Уже ранее они составили комиссию, задачей которой было поддерживать связи и оказывать финансовую поддержку эмигрировавшим писателям (членами комиссии были Бранал, Чиврный, Когоут, Пуйман, Воланска, Врба).

В то же время они вместе с остальными «активистами» контрреволюционного мятежа продолжали развивать деятельность Координационного комитета творческих союзов. 21.I.1969 г. были сформулированы его основные задачи. В качестве первой была выдвинута следующая: «Продумать и сформулировать основную политическую проблематику и на основании этого анализа определить свое конкретное отношение». Затем было решено «вступать в ежедневную политическую борьбу и координировать свою деятельность с остальными организациями, прежде всего со *студенческим профсоюзным* движением». Так что же это было, как не политический штаб «власти элиты»? Конкретные политические акции, организованные Координационным комитетом с тем, чтобы препятствовать осуществляющейся консолидации, подтвердили это.

В духе противодействия политической консолидации страны был также в июне 1969 г. организован съезд чешской части СЧСП. Его миссией было учредить — в связи с федерализацией — чешские писательские органы и принять новый устав. Попытка удержать, организационно поддержать и еще более усилить влияние «элиты» проявилась в проекте устава, который характеризовал Союз как «содружество писателей без различия мировоззрения, политических убеждений или художественной направленности»: эта формулировка допускала принятие в писательскую организацию и открытых врагов социалистического строя — *как послефевральских, так и новых эмигрантов*. (Оставили свою родину и свой народ, имя которого они столь трогательно склоняли, и эмигрировали в страны, буржуазии которых они служили, следующие бывшие члены чешской части Союза писателей: Л. Ашкенази, Я. Бенеш, В. Блажек, А. Броусек, К. Михал-Букса, И. Дивиш, И. Флейшманн, Э. Гольдштюкер, И. Едличка, А. Й. Лим, И. Гайек, В. Лингартова, А. Люстиг, Р. Селуцкий, М. Шульц, Й. Шкворецкий, Л. Шнепп, Л. Веселый.)

Организованная заранее машина голосования съезда отвергла какое бы то ни было упоминание о социализме. Главными организаторами и деятелями съезда были И. Брабец, Я. Сейферт, В. Гавел, М. Юнгманн, Я. С. Купка, В. Маршичек, Я. Прохазка, К. Птачник, М. Удэ, Ф. Врба. Главной тактической задачей съезда было удержаться на прежних экстремистских политических позициях, сохранить власть в руководстве Союзом и «пережить» консолидацию.

Съезд чешской части СЧСП был, таким образом, попыткой законсервировать политические антипартийные позиции — тем самым он ликвидировал себя в день своего зарождения. Далее последовал эпилог продолжительностью в несколько месяцев; правление этого временного и практически несуществующего Союза полагалось на поддержку ревизионистских сил, продолжавших держаться в тени. Поскольку правление не желало сбросить перед общественностью маску «совести нации», оно отказывалось принять социалистические принципы, которые были условием членства в Народном фронте. (Членами правления были: И. Брабец, И. Ганзелка, Л. Градский, М. Юнгманн, И. Кршиж, К. Птачник, Я. Сейферт, И. Шотола.) Переговоры органов Народного фронта с руководством этого так и не узаконенного кружка являются доказательством такого великодушия социалистического государства, какого, вероятно, история не знает!

Но разве могли интеллектуалы, которые зашли в своем тщеславии столь далеко, отступить и ликвидировать самих себя? Разве могли они в своей мещанской самовлюбленности понять, что с исторической точки зрения — несмотря на всю свою энергию и «творческую политическую изобретательность» — они играли гротескную, прислужническую, а для нации — и трагическую роль эмиссаров мировой реакции? Они попали в тупик — столь тесный и узкий, что уже не могли выбраться оттуда, не могли дать задний ход. Еще в мае 1970 г., когда новое руководство партии стало укреплять порядок в общественных органах и вело идеологическую борьбу за разгром всех ревизионистских, оппортунистических и антисоветских сил в Чехословакии, этот неузаконенный и, следовательно, несуществующий Союз чешских писателей рассылал во все стороны протесты против ограничения своей деятельности, которую он вдруг стал выдавать за заботы...— «об интересах литературы»! Точно так же, как Координационный комитет прикрывался «заботами о культуре». Удивительно трогательная забота! Чтобы не оставалось сомнений в ее сути, мы процитируем протокол заседания Коор-

---

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ,
ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

динационного комитета от 22.5.1969 г., на котором О. Крейча следующим образом сформулировал дальнейшую тактику: «Искусство реализуется окольным путем. Наша реальность, наша действительность — это образ и метафора. Пусть наш поединок с властью проходит посредством наших произведений...» Что делать? Не поддаться и подготавливать процесс возрождения»(?!). А член правления несуществующего Союза чешских писателей Иржи Шотола добавляет: «Мы должны действовать осторожно, чтобы не нарваться на нож».

Эти голоса звучат серьезным предостережением. Они поучительны в той же мере, как и потрясающая своим цинизмом «оценка», которую дал в 1969 г. один из главных «героев» той поры, Людвик Вацулик, своей деятельности и деятельности своих соратников: «Если уж говорить по правде, то в общем-то помимо всего это делалось и для смеха...»! Ну кто другой смог бы так сорвать личину с мещанского «героя» того времени? Разве кто-нибудь еще — кто, в отличие от Вацулика, осознавал трагедию, перед которой стояли наши народы, осознавал личные человеческие трагедии, которыми с начала 1968 г. сопровождался «процесс возрождения», а также и закономерные последствия происшедшего — мог бы более цинично охарактеризовать деятельность этих руководителей «духовной элиты нации»?..

IV

Мы уже подчеркивали, что мы должны помнить об обусловленности литературы объективными общественными процессами, что любой вид оппортунизма и ликвидаторства в революционной партии есть явление общественное.

Вспомним, что во время оккупации партия лишилась тысяч и тысяч своих лучших членов, коммунистов, воспитанных в период большевизации партии и организации антифашистского Сопротивления. Людей, которые стали бы после 1948 г. опытными, твердыми, сознательными и теоретически образованными руководящими партийными и общественными работниками на идеологическом и теоретическом фронте.

В насильственном нарушении этой человеческой, или, как принято говорить, «кадровой», *преемственности* закаленной, сплоченной партии, уходившей в подполье, и партии, которая, будучи ослаблена главным образом именно в этой сфере, была вынуждена после 1945 и 1948 гг. «ускоренным методом» пополнить свои кадры и прежде всего кадры теоретических и идеологических работников,— в этом можно видеть *одну* из важнейших причин тех затруднений, которые возникли позже в ходе социалистической революции.

Никогда в прошлом чехословацкая культура, искусство и наука не получали от государства и общества такой материальной поддержки, как в минувшем двадцатилетии. Эта поддержка, которую оказывало государство, руководимое КПЧ и рабочим классом, однако, использовалась и против интересов этого государства.

Особенно большой вред наносило то, что вместо честных и верных партии писателей, отстаивающих марксистско-ленинскую политику, на ответственных постах нередко оказывались колеблющиеся, о которых говорилось, что надо «привлекать их на свою сторону» и «давать им возможности», хотя во многих случаях то, что в их деятельности выдавалось за непреднамеренные ошибки и заблуждения, было сознательно проводимой линией, нередко прямо антипартийной. Эта подыгрывавшая ревизионизму беспринципность вела к тому, что постепенно ослаблялось партийное ядро, с каждым годом уменьшалось число коммунистов в рядах писателей, которые готовы были публично и по-боевому выступить против негативных явлений и их носителей. К примеру, после III съезда СЧСП в 1963 г., когда начала подыматься ревизионистская волна шестидесятых годов, руководящие органы в области культуры не поддержали главного редактора «Литерарних новин», преданного коммуниста, поэта Йозефа Рыбака и пожертвовали им под давлением ревизионистской группы.

С этой минуты еженедельник «Литерарни новины» постепенно превратился в главный печатный орган агрессивных ревизионистских и антисоциалистических сил, организовывал их и проводил широкую идеологическую диверсию. Поэтому в 1967 г. (после IV съезда СЧСП) его выпуск был прекращен. После января 1968 г., в атмосфере открытого наступления контрреволюционных сил, газета, однако, стала выходить вновь под названием «Литерарни листы», на сей раз уже открыто выполняя функцию самой агрессивной политической, антисоциалистической и антисоветской трибуны.

Тогдашнее руководство отменило также партийные взыскания П. Когоуту и возвратило партийные билеты И. Климе, А. Й. Лиму, Л. Вацулику. Так были публично реабилитированы ведущие ораторы и организаторы правых, исключенные из партии после IV съезда СЧСП.

Спад активности писателей, преданных социализму, был вызван также тем обстоятельством, что долгое время искренняя критика, стремившаяся к исправлению ошибок и недостатков в жизни нашей страны, в области культуры встречалась подозрительно и недоверчиво, что вело одних писателей к пассивности, а других, кто не распознал вовремя антипартийной сущности элитарного течения, к принятию и поддержке его. Кроме того, писатели, преданные социализму, подвергались систематическому, непрестанному давлению, нажиму со стороны редакций, издательств и критики. Их произведения не издавались, они либо сознательно замалчивались, либо на них наклеивался ярлык «несовременных», «устаревших». Это было время великих испытаний характера. Некоторых писателей подхватила волна антикоммунистической конъюнктуры, других — мода «модернизации» марксизма, и они отказались от своего прошлого,

когда они были партийными активистами, как от грехов молодости, и стали писать в совершенно противоположном духе, перешли на другую сторону баррикады. Весной 1968 г. активные враги социализма и крикуны в среде писателей (В. Гавел, Й. Гиршал, И. Коларж, П. Копта, А. Ц. Нор, И. Выскочил) развязали кампанию против ряда писателей-коммунистов, травили их за партийность и занимаемую ими позицию, компрометировали их. Требовали, чтобы эти писатели сами возвратили или чтоб у них были отобраны государственные награды и почетные звания, требовали исключения их из Союза, а некоторые (например, Эд. Валента, Р. Мертлик) даже не постыдились писать этим писателям частные письма с угрозами и оскорблениями. Но работники, ответственные за идеологическую работу, не вступились за этих писателей. Таким образом, они не получили поддержки со стороны партии, и некоторые из них, сломленные и утратившие внутреннюю уверенность, в послеавгустовской атмосфере поддались панике.

Среди причин, которые привели к антисоциалистической политике СЧСП, немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что существенно изменился и самый состав членов Союза. Вместо влияния выдающихся, преданных партии писателей, которые ушли из чешской литературы — таких, как Неедлы, Майерова, Незвал и другие,— в организации усиливалось влияние личностей мелкотравчатых, с мелкобуржуазными устремлениями. В Союз приходили новые авторы, которые вступали в литературу через посредничество находившихся в руках ревизионистов редакций журналов и издательств, авторы, чье эпигонское творчество и мышление ориентировались на абсурдность, отчуждение и конъюнктурный мещанский «литературный ширпотреб». В политических, антикоммунистических целях в члены Союза нередко вербовались личности, которые не имели ничего общего с литературой, с писательской работой.

Лишь на протяжении двух лет, до июня 1969 г., было принято 79 новых членов — из них более половины переводчиков. Из кандидатов перешли в члены 60 человек. Итого, 139 «новых душ», подобранных в соответствии с критериями и мерками, которые устраивали клику, правившую Союзом. При этом многие кандидаты в члены Союза, известные своей левой ориентацией, были вычеркнуты.

И все же, несмотря на это, ядро писателей, преданных социализму, преданных нации, народу своей страны, сохранилось, хотя и очутилось в тяжкие годы кризиса — в 1968 и 1969 гг.— в условиях ужасающего психологического давления и без партийного руководства, оказалось изолированным и практически не имело возможности организованного выступления. Тогда уже не только президиум Союза, но и партийная организация при СЧСП полностью находились в руках самых крайних правых.

Прямым следствием полной идейной и политической измены части писателей-коммунистов, их предательства по отношению к партии и рабочему классу является тот факт, что съезд чешской части СЧСП в 1969 г. они подготавливали в самом тесном сотрудничестве с антикоммунистическим «Кружком независимых писателей». И тем не менее, невзирая на разнузданную психологическую кампанию, в работе съезда приняло участие лишь 58% членов; многие из них, главным образом подлинные писатели, потом покинули съезд в знак протеста. Из общего числа 590 членов в выборах приняло участие лишь 262 члена — менее половины. Причем почти 100 членов не голосовало ни за Вацлава Черного, ни за Вацлава Гавела, ни за Павла Когоута. Значит, на съезде была оппозиция, хотя и не объединенная, никем не организованная.

Этот факт свидетельствовал о том, что в среде писателей остались силы, способные постепенно изменить ненормальную, позорную ситуацию в чешской культурной жизни. В конце 1970 г. из числа значительных чешских писателей, идущих с партией, преданных социализму, образовался Подготовительный комитет Союза чешских писателей, который выработал новый устав, одобренный 1 декабря 1970 г. На этом окончилась постыдная глава в истории нашей литературы, которую отличало то, что руководство нашей писательской организацией захватила в свои руки клика политических авантюристов, многие из которых даже не были писателями, и превратила эту общественную организацию в орудие реакции, в один из самых воинствующих центров антипартийной, антисоветской политики. Позорный период, который нанес чешской литературе, прозе, поэзии, драматургии, литературоведению, критике и эстетике неисчислимый ущерб и завел нашу литературу, в первую очередь молодое творческое поколение, на путь, противоречащий целям, духу и миссии гуманной, обогащающей жизнь людей социалистической литературы.

V

В том, что руководство нового Союза чешских писателей, делая первые шаги, а также и в предложенном анализе было вынуждено заниматься, в сущности, *политикой* бывшего руководства Союза, ее негативными и просто катастрофическими последствиями, а не непосредственно вопросами художественного творчества,— отнюдь не наша вина. На политическую практику мы должны давать политический ответ. Перейдем теперь, однако, к вопросам литературы, очертим нашу программу, перспективное направление наших творческих усилий. Тем самым мы, естественно, вновь вернемся в область политики, в область борьбы идей во всемирном масштабе. Будучи марксистами, мы исходим из того, что нельзя строить нашу программу в отрыве от современного состояния нашего общест-

---

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ва и его перспектив, без учета объективного процесса общественного развития, конкретной фазы классовой борьбы в нашей стране и во всем мире. Реальный взгляд на наши перспективы должен быть связан с объективным состоянием и процессом общественного развития точно так же, как не мог быть оторван от общественного развития наш ретроспективный взгляд на писательские дела в прошлые годы. Давайте же реалистически подойдем к современной социалистической эпохе, к современной расстановке сил в классовой борьбе.

Наш Союз возник как организация писателей, преданных идее социализма и полных решимости своим творчеством внести вклад в дело обогащения социалистической литературы. Его ядро составляют писатели-коммунисты, объединенные единством марксистско-ленинского мировоззрения. Сюда входят и те беспартийные писатели, которых характеризует активное творческое отношение к нашему социалистическому строю и его классовой власти. Наш Союз возник в результате острой дифференциации, которая произошла среди писателей в недавние кризисные годы развития нашего общества. Основной задачей Союза является поддержка социалистического творчества, социалистической литературы. Эта задача не должна ослабляться ни терпимостью в вопросе взглядов, мировоззрения, ни снисходительностью в оценке литературных произведений. В противном случае мы вновь вернулись бы во всепринимающие объятия старого Союза, который под кажущимся единением *вновь скрыл бы классовую сущность* двух культур, двух литератур, что вновь затруднило бы, а потом и сделало бы невозможным сознательную поддержку социалистического творчества и, может быть, способствовало бы возникновению новых политических авантюр.

Среди членов нашего Союза — выдающиеся и известные писатели, такие, как народный художник Вилем Завада, заслуженные художники Йозеф Секера, Богумил Ржига, Сватоплук Турек, Честмир Йержабек, Й. В. Плева, Йозеф и Мирослава Томановы, Ладислав Стеглик, Вацлав Каплицкий, Милош В. Кратохвил, Норберт Фрид, Иржи Марек, Яромир Томечек, Ян Пиларж, такие талантливые и известные авторы, как Павел Бойяр, Войтех Цах, Вацлав Чтвртек, Милослав Фабера, Мирослав Флориан, Йозеф Ганзлик, Рудольф Калчик, Франтишек Кожик, Иржи Кршенек, Владимир Пазоурек, Алексей Плудек, Зденек Плугарж, Йозеф Рыбак, Иван Скала, Донат Шайнер, Иржи Тауфер, Алена Врбова и десятки других. Мы считаем, что уже ныне это база прочная и солидная, база, которая постепенно будет расширяться.

Как же мы собираемся работать, какие критерии хотим создать в нашей борьбе за постепенное формирование фронта социалистического искусства, в стремлении к тому, чтобы наша литературная жатва была как можно богаче?

В программном заявлении в ноябре 1971 г. мы говорили о том, что гордимся народными, демократическими и социалистическими ценностями, которые создала наша литература, что мы будем продолжать прогрессивные традиции чешской национальной культуры.

Мы имеем в виду произведения, которые открывают ясные жизненные перспективы, расширяют духовное богатство человека, воспитывают его моральные качества, ими определяется сила человеческого духа, они способствуют культурному расцвету нации. Формирование социалистического человека немыслимо без всестороннего воздействия искусства. Мы подчеркиваем слово «всестороннее» и имеем под этим в виду и воздействие рациональное, влияние искусства на разум человека, на формирование его мировоззрения, на понимание идейной преемственности, непрерывности всего мирового гуманистического и социалистического искусства. Мы подчеркиваем этот аспект потому, что во всевозможных рассуждениях и сочинениях сплошь и рядом переоценивается и односторонне выпячивается воздействие искусства исключительно на эмоциональную сторону человеческого существа.

Если искусство необходимо для формирования социалистического человека, то литературе принадлежит в ней исключительно важное место, и именно с идейной точки зрения. Кино, радио, телевидение, театр зависят от литературного творчества, а их идейный и художественный уровень в большей или меньшей мере связан с положением и уровнем самой литературы. Поэтому необходимость тесного и целенаправленного сотрудничества этих видов искусства представляется нам весьма настоятельной.

Из какого наследия мы собираемся исходить, из каких источников будем черпать вдохновение, чтобы — в духе генеральной линии XIV съезда КПЧ — поддерживать и развивать идейную, социалистическую литературу во всей полноте ее художественного разнообразия, жанрового богатства?

Что означает для социалистического художника нашего времени реалистическое отношение к сегодняшней действительности? Как он должен создавать художественные произведения, чтобы сознательно помогать своим творчеством в построении действительности завтрашнего дня, чтобы участвовать в определении процесса общественного развития, сущность и реальность которого состоит в революционном переходе общества от капитализма к социализму? Это означает, что художник сознательно становится на позицию рабочего класса, его политики, направленной на всестороннее развитие нашего социалистического общества, на усиление мировых сил социализма в его борьбе с капитализмом. Это означает, что художник — в полном соответствии со своеобразием своего таланта — будет связывать свое творчество с нашей действительностью, что его художественные произведения будут понятны тем, к

кому он обращается, кто является творцом нового мира, решающим субъектом всех ис исторических перемен — трудящемуся народу.

Марксистско-ленинскую концепцию художественного творчества мы принимаем как свою концепцию. Социалистический реализм для нас есть способ, которым литература отзывается на находящуюся в постоянном развитии жизнь социалистического общества, обогащает ее. При этом сам социалистический реализм с развитием жизни изменяется, обогащается и развивается. Если мы будем понимать его таким образом, наша новая социалистическая литература, ее содержание и форма всегда будут отмечены печатью современности.

Если мы принимаем эту концепцию, это живое понимание социалистического реализма как творческого метода, то тем самым мы как писатели заявляем о праве и *обязанности* стать активной составной частью нации и всего международного прогрессивного социалистического фронта, во главе которого стоит СССР. Необходимо, чтобы писатель в своем творчестве искал правду жизни и боролся за нее, чтобы он раскрывал и изображал современного человека в его внутренней сущности. Тем самым мы в то же время говорим, что мы не хотим и *не имеем права* закрывать глаза на противоречия, которые возникают в мире, разделенном на классы, что мы не имеем права скрывать основные конфликты, которые возникают в нашу эпоху, что мы не хотим смазывать сложности развития жизни и современного человека и проходить мимо них.

У социализма немало врагов как внешних, так и внутренних — недавнее прошлое доказало нам это слишком очевидно. Да и гражданин социалистического общества не ангел. Все мы зависим от жизненных условий, на нас влияет окружающая среда. Всевозможные мещанские и буржуазные идеи, которые зачастую маскируются под социалистические, очень живучи в сознании людей и постоянно распространяются.

Поэтому творчество писателя-коммуниста, как и каждого прогрессивного писателя, неизбежно должно включать изрядную толику критической отваги писатель должен сознавать право и обязанность вскрывать противоречия и разоблачать отрицательные явления нашей жизни. И в то же время он должен вставать на сторону нового против старого и принципиально выступать за все, что способствует развитию социалистического общества, а тем самым помогает и человеку, его всестороннему, полному развитию. Человеку, который является главной темой социалистической литературы.

Социалистический художник должен понимать трудности борьбы за революционное изменение общества, за победу социализма и коммунизма. Он должен с максимальным пониманием отнестись к этой борьбе, к трудностям, которые преодолевает рабочий класс, партия и общество, отождествить себя с конкретной политикой партии, считать ее своей политикой и всячески способствовать ее проведению своим творчеством, своей гражданской активностью. В этом — суть партийности художника.

Высокая идейная зрелость является для социалистического писателя первым условием правдивости, а тем самым и силы воздействия его творчества. Социалистические идеи, следовательно, должны быть кровно близки писателю и тождественны целям его творчества. Лишь тогда писатель сможет распознать и отмести всевозможные «модные» литературные направления, под прикрытием которых ему подсовывается буржуазная и мелкобуржуазная идеология, философия и политика.

Все мы слишком хорошо знаем, что одного таланта недостаточно, что для истинного художника творчество — это постоянные, напряженные искания, отражающие развитие самого художника, его индивидуальную судьбу, которую иногда сопровождают ошибки и неудачи. Подлинное не является каким-то привеском к творческому труду художника, но становится составной частью его творческих возможностей, его видения мира.

Наш Союз как идеологически-творческая организация будет поэтому искать способы и осуществлять ряд неформальных действенных мер для постоянного, систематического идейного воспитания писателей, направленных прежде всего на более глубокое понимание социалистического патриотизма и интернационализма, на более глубокое понимание классовости искусства и негативной роли мещанских влияний в нашем обществе.

Большое значение мы придаем изданию «Литерарного мнесичника», первый номер которого выйдет в сентябре. Журнал станет трибуной нового социалистического литературного творчества и марксистско-ленинской критики и эстетики.

■

Мы уже говорили о том, что главной темой социалистической литературы является человек и полное, гармоническое развитие его качеств и способностей. Это — огромная тема. Однако сама по себе она литературное произведение не создаст.

Неотъемлемой составной частью нашего понимания социалистического реализма является подчеркивание единства содержания и формы, единства передовых идей и художественного воплощения.

Мы сознательно принимаем этот принцип в самом начале деятельности нашего Союза, миссией которого является создание условий для возникновения значительных в художественном отношении социалистических произведений.

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ,
ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Всем читателям знакомы минуты, когда художественное произведение пробуждает в человеке чувства, которые он сам до этого не мог определить, быть может, даже скрытые способности, а также радость и волнение, вызванные этим открытием, сознанием возможности их выражения и развития. Необходимо, однако, чтобы мы уяснили себе — вместе с теми, кто уполномочен руководить культурной жизнью и всем ее процессом,— что произведения искусства (если не считать нескольких исторических исключений) не влекут за собой непосредственных конкретных действий. Зачастую этот процесс длительное время остается скрытым даже для людей, в которых он происходит. Искусство воздействует на всю психику человека, укрепляет его волю и высекает в нем искры новых жизненных сил. К созданию именно такой литературы мы и будем стремиться.

■

Конечно, социалистическое искусство, продолжающее наши прогрессивные традиции и изображающее жизнь и борьбу человека в нашем национальном коллективе, не вырастает, да и не может вырасти из национальной замкнутости. Этот момент является для нашей литературы особенно животрепещущим. О нем нам непрестанно напоминает и тот факт, что мы живем в государстве, которое является родиной двух братских народов — чехов и словаков. Сосуществование двух национальных культур, их активное взаимодействие — это необычайно важное обстоятельство, которое способствует умножению сил, взаимообогащению национальных культур, прежде всего потому, что идейно-художественные цели одинаковы, а национальные корни обеих культур — несмотря на национальное своеобразие — близки и представляют взаимно одна для другой неиссякаемый источник творческих импульсов.

Мы высоко ценим успехи словацкой социалистической литературы и будем всесторонне поддерживать тесное сотрудничество с новым руководством Союза словацких писателей. Мы будем усиливать интернациональную роль социалистической литературы, укреплять интернациональное понимание классовой борьбы, происходящей во всем мире. Мнения наших Союзов по всем основным вопросам анализа прошлого периода и рассмотрения перспектив сходятся и, основываясь на взаимном понимании, мы осуждаем все стремления к национализму и сепаратизму, к какой-либо изолированности. При решении всех задач, стоящих перед нашими Союзами, мы будем взаимно поддерживать друг друга и совместно решать большую часть задач и проблем. Организационно это сотрудничество выльется в форму единого федерального руководящего органа, который будет координировать деятельность обоих Союзов, обеспечивать общее движение, умножать силы единой чехословацкой социалистической литературы, явится ее общегосударственным представителем как внутри страны, так и за рубежом.

Исходя из самых сокровенных национальных интересов, из самой сущности социалистической литературы, мы подчеркнули также в своем предсъездовском заявлении, что будем стоять в едином фронте борьбы против империализма с писателями стран социалистического лагеря, возглавляемыми советскими писателями и передовыми художниками всей мировой литературы.

Мы все знаем, какой возрождающей и вдохновляющей силой являлось для нашего искусства советское искусство, какую роль оно играло при формировании политических и моральных качеств нашего человека, как велико было влияние лучших его произведений в тридцатые годы и после второй мировой войны. Оно сыграло огромную мобилизующую роль в деле объединения патриотических сил наших народов вокруг КПЧ в борьбе за социализм, главным образом в решающие периоды, например, во время кооперирования нашей деревни. Взаимовлияние всей мировой социалистической литературы закономерно; ручейки и источники вдохновения вливаются в единый поток «живой воды».

Одной из первых забот нового Союза поэтому было возобновление и укрепление связей с писательскими организациями социалистических стран, связей, которые прервало бывшее руководство.

То, что в нашем анализе подвергается критике влияние буржуазной западной литературы, которая в прошлые годы навязывалась нашим читателям, отнюдь не означает, что мы собираемся отгородиться китайской стеной от всей западной литературы. Мы не страдаем такой неосведомленностью, чтоб не понимать, что та разновидность западной литературы, которая у нас пропагандировалась, не является единственной на Западе. Мы не столь недальновидны, чтобы не признавать прогрессивную, демократическую, гуманистическую и социалистическую мировую литературу, которая выступает за общественный прогресс, за национальное и социальное освобождение, против эксплуатации и угнетения человека. Эта литература и впредь будет находить подобающее место в планах наших издательств. Наш Союз наладит связи с прогрессивными писателями Запада. Мы хотим также интенсивно развивать связи с прогрессивной писательской общественностью так называемого «третьего мира». Наш Союз будет принимать активное участие и вносить свой вклад в создание условий для организации всевозможных международных акций и писательских встреч, поддерживающих великую советскую политику мира.

Международные связи Союза чешских писателей будут служить взаимному сотрудничеству, взаимному познанию и взаимному творческому влиянию социалистических литератур, тому, чтобы переводилось как можно больше произведений из

братских литератур. В этой связи необходимо упомянуть и о литературных работниках, которым принадлежит особое место в международной взаимосвязанности культуры,— о переводчиках. Мы не недооцениваем работу переводчиков — ведь это они приближают к нам и знакомят нас с художественными ценностями других народов. Нам не безразлично, что они переводят и как переводят, тем более что добрую половину издаваемой беллетристики сегодня составляют переводы.

Мы убеждены, что осуществление основных принципов социалистического реализма будет способствовать тому, что наша литература вновь станет действенным и по-своему незаменимым помощником в современной общественной борьбе за новый социалистический мир.

Резолюция XIV съезда КПЧ отмечает, что «длительное нарастание несоциалистических, мелкобуржуазных тенденций, прежде всего в идейно-творческой сфере, вело к постепенному отклонению значительной части художественного творчества и культуры от их социалистической миссии; апогеем этого явилось использование искусства и культуры самозваными группами элиты для политических целей правых». Необходимо учесть, что период восстановления ослабевшего организма не будет кратковременным, и это тем более очевидно, если мы осознаем, что все происходившее в нашей литературе в минувшие годы было отражением активно действовавших общественных сил. Но борьба между социализмом и капитализмом продолжается и в данной конкретной ситуации, причем в чрезвычайно сложных условиях. Оздоровление нашей литературы, непрестанно заражаемой антинациональными, антинародными и антисоциалистическими бациллами,— процесс не легкий.

Борьба с антисоциалистическими силами, которая проходила у нас в области идеологической, философской и политической, была решающим образом выиграна на политической арене. В области идеологии и философии реакционные силы до сих пор еще не разбиты полностью. Ревизионистские корни остались, враждебная идеология и впредь будет пытаться проникать в искусство. Еще и поэтому XIV съезд КПЧ столь настойчиво предостерегает нас, указывая, что нельзя «упускать из виду тот факт, что невозможен мир с буржуазными и мелкобуржуазными идеологиями и влияниями...», что мы будем последовательно бороться против внесения их в область культуры и искусства. Мы так и действуем под руководством партии.

Принципы социалистического реализма, метод которого является нашим методом, требуют непримиримой борьбы с этими идеологиями.

■

В минувшие годы поднялась небывалая волна коммерциализации искусства и массового распространения литературного брака. Эта волна была неизбежным и закономерным дополнением снобизма «элиты»; она явилась продуктом мещанской психологии. Издательства, находившиеся в руках ведущих деятелей «духовной элиты», стотысячными тиражами извергали бросовую литературу, книжки об убийствах и детективы, уровень которых был ниже среднего, порнографию и другие «произведения», которые, как зараза, заполонили книжный рынок, тем самым, в сущности, сужая возможности подлинной литературы, ограничивая ее сферу; бросовая «литература» портила вкус читателя и в то же время вела к деморализации широких читательских масс.

Напомним названия детективов одного горе-писателя, изданных у нас в последние годы: «Близость смерти», «Смерть в стиле барокко», «Эта горькая смерть», «Ветреная смерть», «Ухарская смерть», «Убийство, колдовство, козни». В издании литературы царили воистину законы джунглей.

Нам предстоит, следовательно, нелегкая, но необходимая для общества борьба с последствиями правления «духовной элиты» в нашей культуре, длившегося несколько лет. Перед новым Союзом, перед марксистской критикой, искусствоведением и эстетикой стоит серьезная задача — дать оценку книжной продукции минувших лет с точки зрения ее полезности для общества.

Социалистическая литература сегодняшнего дня должна сначала завоевать ведущее место, которое ей надлежит занимать по праву. Слишком долгим было господство критериев, которые принижали эту литературу. И при этом колоссальное количество литературного брака ощутимо испортило читательские вкусы.

Мы должны уяснить себе, что и здесь мы начинаем не на пустом месте, что связи с великими произведениями наших социалистических классиков не были прерваны полностью. Даже в шестидесятые годы удалось добиться издания некоторых выдающихся произведений, которые помогли сохранить в контексте творчества и в памяти читателя ценности социалистической литературы.

В этой атмосфере, отнюдь не благоприятной для социалистической литературы, многие современные авторы остались верны ей в своем творчестве и составляют сегодня ее передовой отряд.

Мы знаем, что социалистическая литература — это литература для народа, и тем не менее трудящийся человек, главным образом рабочий и член сельскохозяйственного кооператива, его жизнь, эмоциональный и идейный мир, его труд, можно сказать, полностью исчезли из литературы. Наш социальный заказ должен стать одним из самых важных и самых действенных импуль-

---

ЯН КОЗАК
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ, ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

сов нового творчества, которое должно ориентироваться на великие идейные темы социализма, на великие революционные традиции борьбы нашего рабочего класса и традиции интернационализма, должно посвятить себя изображению *человека*, пластично показывать *его полнокровную, эмоциональную и идейную жизнь в борьбе за общественный прогресс, за подлинно человеческую жизнь.*

Союз как идеологическая творческая писательская организация будет осуществлять свое влияние и на планы издания всех издательств, выпускающих оригинальную литературу. Для этого он пошлет своих членов в редакционные советы этих издательств, будет оценивать всю деятельность издательств по изданию литературы и оказывать влияние на нее. Союз наладит самые тесные связи с печатью, радио, телевидением и кино. Это сотрудничество должно быть закреплено в форме двусторонних соглашений. В этом направлении уже были сделаны первые успешные шаги, особенно в деле сотрудничества с радио.

Ряд произведений членов нашего Союза был отмечен различными премиями. Звания лауреата Государственной премии имени Клемента Готвальда был удостоен народный художник Вилем Завада за поэтический сборник «На пороге», Ян Козак за роман «Святой Михал», академик Ладислав Штолл за теоретический труд по литературоведению «За форму и структуру в искусстве слова». Премиями Союза чешских писателей за 1971 г. были отмечены Йозеф Кайнар (посмертно) за поэтическое творчество, Зденек Плугарж за роман «Конечная станция» и Богумил Ржига за роман «Встань передо мной на колени». На конкурсе к 50-летию КПЧ премии получили Мирослава Томанова за роман «Серебряная долина», Иржи Кршенек за роман «Дички», Йозеф Елен за книгу стихов; Й. В. Плева удостоен премии Марии Майеровой, премии издательства «Альбатрос» — Йозеф Стрнадел за книгу «Замерзший колодец». Премией Чехословацкого радио отмечена пьеса Доната Шайнера «Изба № 17», а также пьеса Франтишека Кожика и Владимира Пршибского, который одновременно получил и премию Чехословацкого телевидения. Разными премиями был отмечен и ряд других авторов и произведений.

Союзу следовало бы также — совместно с государственными органами — принимать деятельное участие в деле пропаганды нашей социалистической литературы за границей, наладить издание бюллетеня на нескольких языках, сотрудничать в журналах, издаваемых для заграницы, и т. п. И в этой области руководством Союза также сделаны первые шаги. Была организована встреча с богемистами социалистических стран, проведен ряд бесед в наших заграничных культурных центрах. При переговорах с руководителями писательских Союзов социалистических стран руководство нашего Союза обращало внимание товарищей из братских Союзов на односторонний характер переводческой практики в прошлом, вследствие чего искажалась картина чешской литературы; была достигнута договоренность о совместных действиях по взаимной пропаганде как классической, так и — прежде всего — современной, социалистической литературы. Эту концепцию после съезда Союз будет разрабатывать более конкретно — главным образом под углом зрения пропаганды нашей социалистической литературы в западных странах.

Новым, чрезвычайно вдохновляющим импульсом и в то же время призывом, прямым обращением к нашей литературной критике и литературоведению является постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» от 28.1.1972 г. Все его принципы в полной мере относятся и к нашему литературоведению и критике. Они должны с предельной требовательностью и творчески применять эти принципы в своей практике и проводить их в жизнь.

Литературная критика и литературоведение должны были бы обратить внимание на тот абсурдный факт, что из наших школьных учебников чешского языка и литературы молодое поколение социалистической Чехословакии может почерпнуть искаженное представление о таких авторах, как Вацлав Гавел, Иван Выскочил, Иржи Коларж, Ян Заградничек, выдаваемых за ведущих представителей нашей литературы. Ученики, однако, узнают очень мало или даже вовсе ничего о таких писателях, как Йозеф Томан, Йозеф Секера, Карел Новый, Богумил Ржига, Иван Скала, Франтишек Бранислав, Иржи Тауфер и другие. В книге Витезслава Махачека «50 чешских авторов последних пятидесяти лет», которая практически стала школьным учебником чешской литературы, в сущности, популяризуются те же авторы (типа Вацлава Гавела и т. п.). Имена ряда ведущих деятелей литературы, в том числе и Юлиуса Фучика, в этом «избранном» мы, естественно, не найдем. Необходимо, чтобы марксистская критика помогла основательным анализом вскрыть сущность искусственно созданного и на протяжении многих лет сознательно и систематически поддерживаемого ореола вокруг авторов этой квазиэлиты и дала справедливую оценку подлинно социалистическому искусству.

Истинным «хлебом насущным» нашей марксистской критики и эстетики должна стать постоянная и своевременная оценка новых литературных произведений. Критика должна рассматривать, взвешивать, изучать прежде всего общественно значимую современную литературу; это особенно важно после преднамеренного смещения ценностей и критериев, после волны эпигонской «элитарной» литературы, рука об руку с которой шло и потребительское бросовое чтиво. Необходимо, чтобы, вооружившись марксистской точкой зрения, критика вошла в ритм эпохи и ее задач; чтобы в центре ее внимания — точно так же, как и в центре внимания писателей — было современное общество.

Мы сделали лишь первые шаги. Мы знаем, что нужно систематически и терпеливо создавать условия для активного наступления, для активизации социалистической культуры и искусства, их идейности и партийности. Органической составной частью нашего активного наступления будет как постепенное внутреннее идейное укрепление нашего Союза, так и постепенное расширение его состава. Уже в своем предсъездовском заявлении в ноябре прошлого года мы сказали: мы протягиваем руку всем, кто своими новыми произведениями, своим социалистическим творчеством и гражданской позицией хочет служить целям, которые являются целями нашего трудового народа.

Что означает этот принцип? При приеме новых членов мы будем обращать внимание на литературное творчество писателей и их гражданскую позицию в настоящее время. На то, до какой степени в прошлом они были близки социалистическому искусству и *с какими литературными итогами возвращаются на путь социалистической литературы.* Вполне естественно, что закономерным следствием этого должен быть вдумчивый индивидуальный подход к отдельным писателям, следовательно, и к тем, кто был временно дезориентирован, но понял ошибочность своей позиции и своими новыми произведениями и отчетливой политической, гражданской позицией продемонстрирует активное творческое отношение к нашему социалистическому строю и к его классовой власти.

Членами Союза, однако, не могут стать те писатели, которые были организаторами ревизионистских антисоциалистических акций, которые своими произведениями, политической деятельностью в руководстве бывшего Союза и в публичных выступлениях развязывали антипартийные и антисоветские кампании. Членами нашего Союза точно так же не могут стать писатели, выступающие против социалистического искусства.

Главное — чтобы все писатели чувствовали, что новый Союз становится важным культурным форумом и что на почве Союза они сами будут, каждый в меру своих способностей, содействовать развитию социалистической литературы и влиять на нее. Предпосылками к этому будет последовательное осуществление принципов культурной политики, выдвинутых генеральной линией XIV съезда КПЧ, и мы претворим их в жизнь, если вся наша работа будет пронизана подлинным, творческим духом марксизма-ленинизма.

У нас вновь есть все основные предпосылки для обновления социалистического характера нашей литературы. Тема социалистической литературы — человек. Человек и его место в обществе, в мире; человек и его стремления, человек-творец, борьба за его духовное идейное богатство. Горьковская активная любовь к человеку и человеческая мечта, стремление быть лучше и жить лучше и сегодня остаются тем, что должно составлять основу нашего творчества. Социализм — это путь борьбы, борьбы за человека, социалистическое искусство — это его песня. Если наш нелегкий, ответственный творческий труд увенчается успехом, то мы сможем сказать вслед за Горьким: литература — это сердце мира, окрыленное всеми его радостями и печалями.

Перевод с чешского Л. И. ВАСИЛЬЕВОЙ

Критика

В. ЧЕРНЫШЕВ

ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К СОВРЕМЕННОСТИ

В Индии вечер подкрадывается незаметно: едва багровый диск солнца скрывается за горизонтом, как сразу же, почти без перехода, на землю опускается плотный покров темноты. В бесчисленных деревнях и на городских окраинах, где ютится рабочий люд, жители собираются кучками, усаживаются в кружок и при свете фонаря ведут неторопливую беседу. Вслушиваясь в их речь, всякий, кому доводилось бывать в деревнях Раджастхана или Бихара, предгорий Гималаев или восточной части штата Уттар-Прадеш, вдруг с удивлением обнаруживал, что, даже зная литературный хинди, с трудом улавливает, а нередко вообще не может понять, о чем говорят его собеседники.

Языковая проблема в Индии необычайно сложна.

Когда рассматриваешь выполненную в цветах лингвистическую карту Индии, она предстает как некий диковинный цветник, созданный, казалось, с единственной целью — показать богатство красок на случайно оказавшейся под рукой палитре.

Современная Индия — это страна, населенная многими крупными народами и народностями, мелкими этническими группами и племенами, которые придерживаются различных обычаев и привычек и говорят на различных языках. По данным наиболее авторитетных научных изданий, в Индии зафиксировано 179 языков и 544 диалекта.

Подавляющее большинство (свыше 87%) населения страны говорит на 15 основных языках, перечисленных в конституции Индии.

В языковом плане Индия представляет собой два огромных лингвистических ареала: это Северная Индия, население которой говорит на индоарийских языках (ассамском, бенгальском, маратхском, хинди и др.), и Южная Индия — область распространения дравидийских языков (тамильского, телугу, каннада и малаялам). На каждом из них имеется развитая литература.

Официальным языком страны по конституции провозглашен хинди. Попытки внедрять хинди путем принуждения нередко вызывают серьезные трения, порождая взаимное недоверие и отчужденность. В этих условиях многие представители интеллигенции, прежде всего дравидоязычной, требуют сохранения английского языка, который признан вторым официальным языком страны. Являясь родным языком для 220 тысяч жителей Индии, английский занимает в этой стране важные позиции: это язык науки, высшего образования, общеиндийской прессы и администрации, а также привычное средство общения деловых кругов, людей науки и культуры. В той или иной мере английским владеет около 3% населения страны.

Район распространения хинди — это огромная область Северной Индии, которая, наряду со столичным округом Дели, охватывает штаты Хариана, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Бихар, Раджастхан и Химачал-Прадеш — огромные территории густонаселенной долины Ганга, изрезанной невысокими хребтами Центральной Индии, малолюдных предгорий Гималаев и выжженных солнцем пустынь Раджастхана. Здесь хинди принят в качестве языка администрации и официального делопроизводства, школы и основных средств массовой коммуникации. Наравне с хинди здесь широко ис-

пользуются урду и, конечно, английский язык.

Однако в деревнях и на городских окраинах люди общаются не на хинди — официальном языке Индии, не на урду, который вместе с четырнадцатью другими признан одним из региональных языков страны, и, уж конечно, не на английском. Песни, стихи, сказания и пьесы, звучащие с импровизированной сцены или из радиоприемника, исполняются на тех языках и диалектах, которые значительно отличаются от официально принятого литературного стандарта. Маршрут по Северной Индии, если идти с востока на запад или с севера на юг, будет представлять собой непрерывную лингвистическую цепь, соседние звенья которой почти не отличаются, весьма же удаленные значительно разнятся между собой. Диалекты хиндиязычного ареала распадаются на пять групп: пачханха (западный хинди), пурби (восточный хинди), бихари, раджастхани и пахари.

Те формы речи, которые по традиции, идущей еще со времен английского господства, именуют «диалектами»,— это, по существу, зональные языки, во многих случаях существенно отличающиеся от принятого литературного стандарта — хинди, обслуживающие многомиллионные массы населения, находящие применение в средствах массовой коммуникации, однако не получившие официального признания.

Мощный толчок развитию зональных литератур дало «джанапада-андолан» («движение за народный язык»), истоки которого восходят к началу 30-х годов, когда волны национально-освободительного движения стали, наконец, докатываться до индийской деревни. Зарождение и оформление «джанапада-андолан» связано с именами известного общественного деятеля Банарсидаса Чатурведи (род. в 1892 г.) и ученого Васудэвшарана Агравала (1904—1966). Они призывали изучать народную культуру и язык, собирать и издавать словари и произведения фольклора с целью пополнить и обогатить лексический состав и выразительные возможности литературного хинди, что объективно было направлено на сближение литературного языка с народно-разговорными формами.

К середине 40-х годов внутри «джанапада-андолан» сложилось другое, более радикальное течение. Во главе его стоял общественный деятель и ученый Рахул Санкритьяян (1893—1962). Р. Санкритьяян выдвигал требование — перевести преподавание в школе на местные диалекты и всемерно способствовать их развитию, чтобы в будущем они могли функционировать во всех сферах жизни.

Идеи Р. Санкритьяяна встретили горячую поддержку среди радикально настроенной интеллигенции. Стала утверждаться литература, создаваемая на зональных языках.

Эту литературу создают главным образом представители местной разночинной интеллигенции, преимущественно преподаватели школ и колледжей, однако, в силу специфики исторического развития Индии, вплоть до второй половины XX столетия в Митхиле, в княжествах Раджастхана, Бунделькханда, Чхаттисгарха и Гархваля литературным творчеством на местном наречии в основном занимались придворные поэты и развитию зональных литератур способствовали индийские феодалы: раджи и махараджи, которые проявляют к этому повышенный интерес и в настоящее время.

Вопрос о характере литературного процесса в каждой из областей должен рассматриваться конкретно-исторически, с учетом того, насколько он отвечает интересам широких народных масс.

В «движении за народный язык» участвуют и демократические силы. В частности, этой проблеме было посвящено специальное заседание совета Ассоциации прогрессивных писателей Соединенных провинций (ныне штат Уттар-Прадеш), состоявшееся в первых числах ноября 1944 года.

На необходимость развития диалектов и их использования для нужд просвещения и для обогащения хинди указывали участники дискуссии, прошедшей в 1953 году на страницах издававшегося КПИ журнала «Индийская литература», а также Ш. С. Нарула — автор книги «Научная история языка хинди» (1955), которая в известном смысле явилась подведением итогов дискуссии.

Владея литературным хинди и в то же время не желая отказываться от родной речи, многие поэты и писатели в своем творчестве используют и литературный хинди, и диалект, с легкостью переключаясь с одного на другой. Можно без преувеличения сказать, что отличительной чертой создателей диалектной литературы является их «двудиалектность», в некоторых случаях — даже двуязычие. Наиболее яркий пример такого двуязычия представляет собой творчество Нагарджуна (род. в 1910 г.) — автора ряда популярных романов и многочисленных стихов на хинди. Вайдьянатх Мишра (таково настоящее имя этого писателя) одновременно является одним из ведущих прозаиков и поэтов майтхильской литературы. Балкришна Шарма Навин (1897—1960) известен как поэт хинди, однако ряд произведений, в том числе и последнюю поэму «Урмила», он написал на своем родном диалекте — брадже. С одинаковой легкостью владеет стихом на хинди и на раджастхани джайпурский поэт Мегхарадж Мукуль (род. в 1923 г.). То же самое относится и к бихарскому поэту Рамнарешу Патхаку (род. в 1929 г.), который пишет стихи на хинди и на магахи, и т. д.

Диалектная литература вырастает непосредственно из фольклора. Сюжеты и образы, размеры и ритмы, разнообразные средства художественной выразительности речи, зародившиеся в народном творчестве,— вот что составляет ту почву, которая питала и во многом продолжает питать литературу, складывающуюся на диалектах. Знаменитые «бирха» («расставальные») бходжпурских

В. ЧЕРНЫШЕВ

ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К СОВРЕМЕННОСТИ

народных поэтов ведут свое начало от песенного творчества касты ахиров (пастухов) Бихара. Темы, сюжеты и герои мальвийской драматургии взяты из богатейшего фольклорного наследия этой области. Современная поэзия на авадхи унаследовала также излюбленные размеры фольклора, бытующего в народе. Фольклор проникает и в современные жанры. Рассказы раджастханских писателей Лакшмикумари Чундават и Виджаядана Детхи представляют собой переложения в прозе народных сказаний Раджастхана. Героем одного из первых романов на брадже стал Мансукха — персонаж, давным-давно известный в устном народном творчестве Браджбхуми.

Поэтому, хотя в развитие современных зональных литератур определенный, а на первых порах — весьма значительный вклад внесли переводы с других языков: с санскрита, с английского или бенгальского, а в последние десятилетия также с хинди,— самыми первыми произведениями, которые появились на диалектах, были не романы и рассказы, а произведения индийского эпоса: «Рамаяна» и «Махабхарата». Именно с них начинается современный период в развитии некоторых зональных литератур. Переводы на диалекты произведений эпоса были не только попыткой приобщить свой народ к общеиндийским культурным ценностям, но и, самое главное, выражали стремление к национально-языковому самоутверждению.

Массовая неграмотность, достигающая в хиндиязычном ареале 83—85%, обусловила жанровое своеобразие зональных литератур: в стране с очень низким процентом грамотности наиболее доступными для масс жанрами являются те, которые предназначены для пения или театрализованного представления.

Литература, создаваемая на диалектах, близка и понятна народу. Она сыграла значительную роль в подъеме масс на борьбу за освобождение страны от колониального ига, и эта борьба нашла в ней яркое отражение. Население, говорящее на бходжпури, в годы подъема национально-освободительного движения распевало песню «Чужестранец», автором которой был бходжпурский поэт Маноранджан Прасад Синха. Стихотворение «Чужестранец», принесшее его автору прижизненную славу, было написано в 1921 году, в самый разгар движения несотрудничества, развернувшегося в стране под руководством Ганди. Видя, как унижен его народ, поэт бросает гневное обличение в лицо надменному английскому сахибу, который в апреле 1919 года хладнокровно расстрелял мирный митинг в Амритсаре:

Ты залил кровью лицо Пенджаба,
Расстрелял наше сердце, чужестранец!

В общем строю поэтов-трибунов почетное место занимает Прасиддх Нарайн Синх. Скромный клерк в окружном суде города Балия, он стал активным участником движения ненасильственного сопротивления, за что ему пришлось не раз познакомиться с тюрьмой. Наибольшей известностью пользуется его стихотворение, посвященное августовским событиям 1942 года, когда в ответ на арест Ганди и других лидеров Конгресса по стране прокатилась волна антианглийских выступлений.

Свою лепту в общеиндийскую борьбу против колониального владычества внесла и литература на брадже. Стихи и поэмы безвременно ушедшего из жизни Гхасирама Вьяса (1903—1942), проникнутые чувством безмерной любви к отчизне песни Умаваллабха Чатурведи, стихи многих других поэтов поднимали народ на борьбу за свободу отчизны. С особой силой бунтарские настроения проявились в рассказах майтхильского писателя Кумара Гангананда Синхи (род. в 1898 г.),вышедших отдельным сборником, название которого приобрело символическое значение—«Буря». Активный участник национально-освободительного движения, автор сумел изобразить первые признаки бури, которая привела к освобождению Индии.

Торжественным гимном обретенной наконец независимости звучало стихотворение «Мы свободны», написанное на авадхи поэтессой Торандэви Шукла Лали в те памятные для Индии дни августа 1947 года, когда над Красным фортом в Дели вместо «Юнион Джек» взвилось оранжево-бело-зеленое знамя независимой Индии.

Нарастание массового национально-освободительного движения в Индии и завоевание страной независимости явились той революционной встряской, которая пробудила народы Индии к активной исторической деятельности, подняла к жизни целый ряд новых наций и национальных групп, а в хиндиязычном ареале ускорила процесс складывания зональных литератур.

Ныне в стране, обретшей независимость, литература, создаваемая на диалектах, в массе своей глубоко патриотична и преисполнена веры в будущее. Поэты и прозаики, избравшие свою родную речь в качестве средства литературного выражения, с удовлетворением встречают те перемены, что происходят в их стране, а когда родине грозит опасность, готовы вместе со всем народом встать на защиту ее рубежей, о чем свидетельствуют, в частности, стихи Чандрабхушана Триведи — поэта, пишущего на авадхи.

Главной темой современных зональных литератур до сих пор является по преимуществу жизнь крестьянства и средних слоев города. Приветствуя то новое, что несет современная индийская действительность, поэты основной пафос своего творчества направляют на критику существующих социальных зол. В их стихах находят отражение нелегкие проблемы — как старые, доставшиеся в наследство от колониального периода, так и новые, возникшие в условиях независимой Индии. И в родной деревне они видят не только красочный пейзаж, тихую радость труда и семейного счастья, но и тяжкую долю бедняка, не имеющего своего клочка земли. Именно такой предстает жизнь безответного труженика индийских полей в известном стихотворении бходжпур-

ского поэта Бхоланатха Гахмари «Жизнь крестьянина». Горькой иронией звучат его заключительные строки:

Рассчитался с людьми — в закромах ни зерна,
Чем кормиться — бог весть, хоть во все времена
Называют меня анна-дата [1].

Среди раджастханских поэтов ведущими являются Буддхипракаш Пари (род. в 1922 г.) и Вишванатх Шарма Вималеш (род. в 1927 г.). Широкой известностью пользуется также имя поэта Реватдана. В своих стихах, изданных отдельным сборником под названием «Память человеческая», Реватдан не только обличает, но и впервые в раджастханской литературе обращается к тем, кого веками угнетали, грабили, держали в нищете и невежестве. Эти новые веяния представляют собой отражение в литературе процесса поляризации политических сил Индии. В условиях обострения классовой борьбы наиболее передовые из них занимают свое место в общем строю левых сил Индии, выступая за глубокие социальные преобразования, за демократию, мир и прогресс.

В мальвийской литературе хорошо известно имя поэта-рабочего Мансинха Рахи, стихи которого, простые, подчас грубоватые,— о человеке, создающем все блага земли. Он поет гимн его мозолистым рукам, умеющим ворочать многопудовые болванки и нежно ласкать крохотного младенца. В стихотворении «Рабочий тупик» бходжпурский поэт Джагдиш Оджха Сундар рисует картину жизни тех, кого ежедневно властный рев фабричного гудка зовет на работу. В своем «Рабочем» Бхоланатх Гахмари выводит образ пролетария, осознавшего могущество своего класса. Несколько стихов посвятил рабочему бунделькхандский поэт Рамчаран Хаяран Митр, изобразивший его в традиционно индийской манере — как «юного подвижника-аскета».

Значительное место в зональных литературах до сих пор занимают произведения, написанные на традиционные темы вишнуитской поэзии. На брадже, к примеру, вплоть до наших дней процветает традиционно вишнуитская поэзия, славящая голубителого бога-пастуха Кришну и его возлюбленную — пастушку Радху. Поэзия «традиционалистов», этих запоздалых последователей великих мастеров средневековья, все более приобретает характерные черты эпигонства, хотя на земле Кришны она до сих пор находит своих горячих почитателей и приверженцев. Эта поэзия представлена многими именами также в литературах, создаваемых на бундели, чхаттисгархи и пахарских диалектах. Наиболее талантливым представителем традиционной школы является Бальмукунд Чатурведи (род. в 1907 г.). Вершина его творчества—эпическая поэма «Драгоценный камень Кришны» (1955). В ней Кришна предстает как мудрый государственный муж, непобедимый воин и искусный целитель.

[1] Анна-дата — дарующий пищу *(хинди)*.

Но в условиях сегодняшней Индии традиционные образы вишнуитской поэзии переосмысливаются, наполняются новым содержанием. В этом плане особого внимания заслуживает поэма «Горбунья» (1965) Рамнарайна Агравала (род. в 1923 г.). Это сказание о безобразной горбунье, по воле Кришны превратившейся в стройную красавицу, воспринимается вполне современно — как написанная на традиционный сюжет аллегория, изображающая индийскую женщину, которая стряхивает с плеч бремя вековой приниженности.

В современной раджастханской поэзии традиционные персонажи индийской мифологии выводятся уже не как небожители, а как земные, хотя и идеализированные образы народных заступников.

В то же время народные герои наделяются чертами небожителей, ничем не уступающих Раме или Кришне — земным воплощениям всемогущего бога Вишну. Чтобы показать величие тех, кто пожертвовал жизнью ради свободы отчизны, поэты прибегают к испытанному приему народной поэзии — гиперболизации. Всесильным сказочным богатырем рисует бесстрашного Дургадаса раджастханский поэт Нарайн Синх Бхати (род. в 1930 г.) в одноименной поэме, вышедшей в 1956 году:

Сильнее ты властителей земли,
Небес высоких конь твой достигает.

Могучими полубогами изображает борцов за честь и свободу родного края джайпурский поэт Мукан Синх в своих поэмах, написанных в подражание чаранам — этим бардам индийского средневековья.

Зональные литературы не отделены друг от друга ни в пространстве, ни во времени. Между народами, говорящими на диалектах, нет каких-либо значительных естественных преград (гор или морей), их не разделяют государственные границы, поэтому зональные языки развиваются в тесном взаимодействии.

С тех пор как благодаря стараниям многочисленных энтузиастов хинди — общественных деятелей, писателей и поэтов — сложился и утвердился современный книжно-письменный стиль и литература хинди постепенно заняла место в ряду наиболее развитых литератур Индии, творчество на диалектах проходило под непрерывным и все возрастающим ее влиянием. Поэтому, вполне естественно, становление зональных литератур в новейшее время во многом напоминает развитие литературы хинди. Однако за этим внешним сходством путей развития скрываются и существенные различия.

С первых десятилетий XX века усилия индийского народа были направлены на решение основной задачи — освобождение страны от колониального ига. Втягивая в борьбу широкие массы, национально-освободительное движение Индии, с одной стороны, дает мощный импульс всему литератур-

В. ЧЕРНЫШЕВ
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К СОВРЕМЕННОСТИ

ному развитию, в том числе и на старописьменных диалектах, внося в их традиционно-каноническую атмосферу новую струю гражданской, патриотической лирики, которой индийское средневековье по существу не знало; а с другой — вызывает рождение литературы на тех диалектах, на которых ее прежде не было или почти не было.

Поскольку зональные литературы оказались вовлеченными в общеиндийский литературный процесс гораздо позже, чем развитые литературы, такие как бенгальская или маратхская, то, естественно, для всех них — как «старописьменных», так и особенно «младописьменных» — весьма остро встает вопрос о необходимости «наверстывать упущенное». Так, период просветительства, составивший целую эпоху в развитии бенгальской литературы, в истории соседней, майтхильской, литературы занимает менее десятилетия и по существу представлен всего лишь несколькими названиями. Период романтизма в литературе на брадже длился немногим более десяти лет и закончился со смертью Сатьянарайна Брадж-кокиля (1880—1918), после чего наблюдался процесс определенного возвращения к традиционным средневековым темам и сюжетам. Литература магахи за четверть века своего существования стремительно проскочила все те этапы, которые прошла литература хинди, выдвинув писателей-реалистов. Мальвийская литература, минуя просветительство и чхаявад (романтизм), от средневековых мистерий обратилась прямо к реализму. Точно такой же процесс характерен и для бходжпурской литературы, перескочившей от средневековья к современной гражданской лирике. Проза на брадже от средневековых «житий бхактов» непосредственно перешла к современному реалистическому роману. То же, в общих чертах, и относится и к раджастханской литературе. В своем скачке от средневековья к современности зональные литературы широко используют опыт как соседних, родственных литератур (бенгальской, санскритской, хинди), так и иностранных, познаваемых через переводы на английский или какой-либо из индийских языков. В современную эпоху все большее воздействие на индийские (в том числе и на зональные) литературы оказывает советская литература.

Конечно, зональные языки в разной степени используются в литературном творчестве, и, естественно, уровень их развития далеко неодинаков. Для некоторых из них единственный вид письменной литературы представляют записи фольклора. К таким относятся канауджи и хариани (из диалектов пачханха), багхели (из диалектов пурби). На других диалектах, таких, к примеру, как бундели, чхаттисгархи и основные пахарские диалекты, существуют лишь зачатки литературы, представленные традиционной поэзией. На брадже и авадхи, наоборот, имелась богатая литературная традиция, во многом, однако, угасшая к настоящему времени. В то же время на таких зональных языках, как бходжпури и магахи — на востоке, мальви — на западе, на которых не существовало письменной литературы, в настоящее время делаются небезуспешные попытки литературного творчества. Наиболее же высокого уровня развития достигли такие зональные литературы, как раджастханская — на западе и майтхильская — на востоке.

■

Наблюдая за литературным процессом в областях распространения хинди, мы можем проследить две тенденции литературно-лингвистического развития.

Первая тенденция проявляется в том, что литературный хинди, употребляющийся во всех основных сферах социального функционирования, постепенно сглаживает, нивелирует различия между диалектами. Это неизбежно влечет за собой признание хинди в качестве единственного литературного языка, стоящего над локальными разновидностями диалектной речи. На практике это означает, что литературное творчество на диалекте либо полностью прекращается, либо, теснимое хинди, не способно выйти за пределы зачаточного состояния, несмотря подчас на длительное существование, либо существует как реминисценция былого величия, во многом сохраняя связь с прошлым.

Вторая тенденция проявляется прежде всего в стремлении поднять диалект до уровня официально признанного языка. В этом случае роль диалекта как средства словесно-изобразительного искусства резко возрастает. Этот процесс наиболее заметен в литературах, создаваемых на майтхили и на раджастхани, которые уже получили признание как самостоятельные литературные языки (первый в 1965 году, второй — в 1971 году).

Соотношение этих двух тенденций не остается неизменным. На протяжении последнего столетия — с того времени, как в основных чертах сложился современный литературный хинди,— это соотношение постоянно менялось. Трудно сказать, как пойдет развитие отдельных зональных литератур; ясно одно — само рождение литературы на том или ином диалекте отвечает общественной потребности.

Развитие зональных литератур дает некоторым исследователям повод рассматривать этот процесс как якобы направленный на подрыв позиций хинди. Нет ничего ошибочнее такого мнения. В каком бы направлении ни развивались зональные языки, это ни в коей мере не может поколебать положения хинди. На это неоднократно указывали виднейшие представители «джанапада-андолан», это подтверждается жизнью. Добиваясь официального признания родного языка, народы данного ареала стремятся сохранить хинди как свое общее достояние и язык межобластного общения. В этом — одно из проявлений сложного, диалектически противоречивого процесса национального развития современной Индии.

ЛУИС МЕРИНО РЕЙЕС

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Ныне, когда Чили предприняло первые шаги на пути развития социализма, перед нами стоит задача привить народу любовь к чтению, сделать так, чтобы чилийца занимали не только радио, телевидение, скачки или спорт, и осторожно повести его к волнующему счастью общения с книгой. Это не легкая задача, и решение ее, безусловно, потребует планирования, основанного на статистических данных, которых пока еще не хватает.

Нам известен не один случай, когда в руки того или иного крестьянина, единственным развлечением которого было скакать на лошадях по степям или отыскивать птичьи гнезда, вдруг попадала книга и он превращался в фанатика чтения. Четвертушка бумаги, несколько абзацев или колонок, покрытых печатным текстом, открывали ему новое видение действительности. Но чудо взаимного обогащения исчезнет, если эти четыре элемента — писатель и лист бумаги, читатель и напечатанная книга — не вступят во взаимосвязь друг с другом. Сам писатель уже иными глазами начнет смотреть на свое творчество, читатель отдастся иным развлечениям, и его жизненный опыт уже не обогатит ничья память, ничей тайный голос, который смог бы сопровождать его по жизни; он будет лишен всего, что вносило бы в его жизнь волшебство общения с печатным словом.

Однако перейдем к более конкретным примерам.

Существует огромное число мелких, средних и крупных чилийских буржуа, которые не читают ничего, разве лишь страничку вечерней газеты по возвращении с работы; иные заглядывают в технические книги или издания, имеющие непосредственное отношение к их профессии, но мы знаем, что многие специалисты, живущие в провинции, не читают даже этого. Может быть, они чувствуют себя лучше без чтения? Может быть, жизнь им кажется более свежей и чистой, если в ней существуют лишь те простые эмоции, которые вызывает созерцание футбольного матча или скачек? При общем отсутствии какого-либо интереса к литературе встречаются случаи, способные привести в отчаяние. Помню, я однажды посетил служащего радиомагазина и предложил ему просмотреть список книг, опубликованных одним из крупнейших испанских издательств. «Но я ничего не читаю!» — ответил он мне. «Может быть, ваши дети»,— времени для того, чтобы поднять жизненный уровень своей семьи. «Они тоже ничего не читают!» При этом в его голосе слышалась своеобразная гордость, как будто он хотел мне сказать, что среди его детей нет ни пьяниц, ни игроков.

Тем не менее за последние тридцать лет тиражи книг в Чили поднялись с одной до трех-пяти тысяч экземпляров. И если в конце XIX века такие писатели, как Эдуард Барриос, Мариано Латорре, Аугусто д'Альмар, вынуждены были издать свои первые книги за собственный счет, то теперь их произведения широко издаются. Еще раньше привлекали внимание читателей книги Альберто Блест Ганы, прожившего большую часть жизни за границей, и поэта Педро Антонио Гонсалеса. Его поэмы, порой похожие на рассказы в стихотворной форме, его звучный лиризм, повести «Монах» и «Лук-

реция Борджиа» восхищали не одно поколение наших читателей. Еще до появления стихов Пабло Неруды и Габриэлы Мистраль поэзию читали в Чили с подлинной страстью. Тут хочется вспомнить Мануэля Магальянеса Моуре, живописца и создателя прозрачнейшей лирики на любовные темы.

Говоря о лирических повествованиях о крестьянской жизни, нельзя обойти поэта Диего Дубле Уррутиа. Он — предтеча литературы о крестьянах-креолах. Его пылкие стихи впитали в себя лучшее из поэтических течений начала XX века.

Писатель, жаждущий обрести читателя, в свою очередь, вышел на его поиски и завоевал себе пространство на страницах самых читаемых газет. Наиболее характерно в этом смысле творчество Хоакина Эдвардса Бельо — журналиста с талантом писателя, писателя, в котором никогда не умирал журналист. Одно из его наиболее распространенных произведений — роман «Обитатель дна» (скандальная для того времени тема) — имеет в основе своей ложную идею: вывести в качестве национальных характеров обитателей ночлежки и публичного дома, но его богатые мыслями и написанные с подлинным талантом хроники и по сию пору сохраняют силу.

Если мы зайдем в дом среднего чилийского читателя, мы не встретим там полных собраний сочинений национальных авторов, зато найдем там произведения Хулио Кортасара, Габриэля Гарсиа Маркеса, Марио Варгаса Льосы и некоторых североамериканских романистов — Фолкнера, Стейнбека, Хемингуэя, Трумэна Капоте.

Большое влияние в свое время оказала на чилийскую прозу великая русская литература. Она помогла чилийцам проникнуть в глубины человеческого бытия и увидеть в свете вечности мелочи каждодневной жизни, как видели это Пушкин, Тургенев и Достоевский. Диего Муньос, написавший повести «Внезапно», «Проклятые вещи» и «Уголь»,— один из лучших учеников великой славянской прозы. Для творчества его характерна взволнованная напряженность, которая граничила бы с излишней чувствительностью, если бы не строгость формы. Несмотря на то, что сегодня великих русских классиков — Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева — читают меньше, чем прежде, тем не менее их книги издаются постоянно. Я имею в виду, в частности, «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых», «Анну Каренину».

Североамериканские веяния ощущаются в рассказах очень популярного и сегодня прозаика Мануэля Рохаса. Рохас занимался ремеслами, бродяжил, работал в газете (а газета обуздывает творческий пыл, уподобляя писателя капитану большого корабля, плывущего по пруду); он служил на ипподроме, знал скучную рутину университета и потому, быть может, обрел свой добрый скепсис, а творчество его стало бесстрастным, как течение реки. Его «Сын вора» — один из лучших наших романов и не уступает образцам этого жанра в европейской литературе.

Хосе Сантосу Гонсалесу Вера близок и жанр хроники, и жанр короткого рассказа. Писатель этот, прославившийся добродушием и сердечностью, наделен добрым даром: он умеет поведать о смешном, не впадая в злобу. Самая популярная до сих пор книга прозаика Бенхамина Суберкасо «Чили — безумная география» много раз была издана и переведена на другие языки. Он описывает нашу страну — от засушливого, каменного Севера до иссеченного водой и ветром Юга,— ее пейзажи, ее прошлое, ее города, народ и предания.

Из писателей современного поколения назову Хуана Марина (по поводу его книги «53-я южная параллель» критик Хуан де Луиджи заметил: «Это социальная драма, которой так не хватало нашей литературе»), Лаутаро Янкаса, написавшего среди прочего «Разоренных» — акварельно-ясную повесть о наших бродячих крестьянах; Сальвадора Рейеса, чья тонкая проза дышит любовью к морю; Луиса Энрике Дэлано, автора биографических книг «Увенчанная лира» и «Бальмаседа, политик и романтик», нескольких романов и смелых очерков на злободневные темы; Франсиско Колоане, который не всегда заботится о строгости стиля, но увлекает магией действия и серьезностью нравственных конфликтов; Володю Тейтельбойма — политика, сенатора, адвоката, собирателя поэзии, романиста, эссеиста. Его книга «Сын селитры» (биография Элиаса Лаферте, одного из виднейших деятелей чилийской компартии) и роман «Семя в песке» свидетельствуют, что это несомненно крупный мастер. Гильермо Атиас опубликовал книгу. «Пошлое время», на ее страницах он изобразил современного человека, лучшие порывы которого душит среда,— оттого решения, им принимаемые, выглядят смешным позерством.

Исторически сложившийся национальный характер чилийского народа (мы любим юмор, пусть иной раз несколько пассивны, однако так бывает, пока нас не доведут до крайности) диктует склонность к исторической литературе. Даже сегодня для чилийского поэта, романиста, историка остаются жизненно важными темы и события, связанные с концом XIX века,— Тихоокеанская война, революция 1891 года и многое другое: ведь до сих пор еще живы люди, либо непосредственно принимавшие участие в этих событиях и преисполненные гордости за свершенные ими подвиги, либо их потомки, готовые чеканить на гербах героические силуэты своих близких предков, которым ныне воздвигнуты мраморные монументы. Я тоже испытал на себе влияние этой легенды о подвигах, совершенных в недавнем прошлом, и даже попытался написать стихи в духе народного романса, посвященного жестокой гражданской войне 1891 года, стоившей жизни десяткам тысяч чилийцев и приведшей к самоубийству президента Хосе Мануэля Бальмаседы.

Франсиско Антонио Энсина — чилийский историограф, ученик Спенсера и Моммзена, был первым, кто осмелился нанести серьезные удары величественной галерее офици-

альных идолов; под этими ударами иные мраморные изваяния дали глубокие трещины. Он говорит о них как о персонажах, отличавшихся безусловной личной храбростью, но притом ограниченных, порой весьма достойных, чаще слабых, не способных к большой политике и обладавших даром лишь мелкой интриги. Двадцать томов его исследований — именно потому, что они проникнуты высоким, хотя порой и горьким чувством патриота,— широко читаются и по сей день, в отличие от подкрепленных документальными данными, хотя и несколько сухих по стилю, работ признанного историка Диего Барроса Араны. Причина успеха Энсины — молчаливого депутата, с гораздо большим усердием посещавшего библиотечные залы, чем зал заседаний Сената, возможно, кроется в том, что его идеи совпали с общими настроениями и чувствами чилийского читателя, чье национальное самосознание растет изо дня в день.

Пожалуй, этим же объясняется и успех наших романистов, имена которых сегодня известны далеко за пределами страны и которые не потеряли своей популярности и в Чили—д'Альмара, Дюрана, Мануэля Рохаса, Марии Луисы Бомбаль, Карлоса Дрогетта,— я уже не говорю о неиссякаемом Пабло Неруде, его произведения, распродаваемые по самым высоким ценам, мгновенно раскупаются у нас в стране, где не привыкли выделять на книги ту или иную сумму из семейного бюджета, даже если эти книги являются подлинной ценностью.

Все это означает, что мы стоим перед необходимостью научиться планировать развитие нашей культуры, осознать, что книга — не просто товар, но несет социальную функцию, и увеличивать тиражи в соответствии с пробужденной в народе потребностью в культуре.

Ликвидация неграмотности, воспитание уважения к нашим великим писателям, как к национальным героям, и наконец создание Музея писателя, с рукописями и вещественными реликвиями,— лишь первые необходимые шаги, которые обеспечат в будущем высокое развитие нашей культуры.

Когда мы, чилийцы, видим, что в СССР книга приобрела широчайшее признание, что народ читает везде — на улицах, в метро, в моменты отдыха от работы,— нам кажется, что ступили мы на порог 2000 года.

Сантьяго, Чили

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

Отклики, встречи, впечатления

ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

(НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ В РЕЙМСЕ)

Всего три года прошло со времени созыва первого конгресса Международной ассоциации литературных критиков — она была учреждена в Парме, старинном итальянском городе, в 1969 году после многолетней, начавшейся еще в 1962 году подготовительной работы. Об успехе этой инициативы, опирающейся на понимание той важной роли, которую профессиональное общение литературных критиков может иметь для общения литератур и самих народов, ярче всего, пожалуй, скажут цифры. В Парме Ассоциация объединяла представителей 14 стран, в Реймсе, где в мае этого года состоялся ее второй конгресс, были представлены 30 национальных центров разных стран Европы, Америки, Азии, Африки, географически отдаленных друг от друга многими тысячами километров.

Быстрому росту Ассоциации, теперь уже признанной ЮНЕСКО в качестве международной организации, во многом способствовало то, что на обсуждение ею выносились вопросы, представляющие широкий интерес. Вот почему так весомо прозвучало на конгрессе в Реймсе короткое вступительное слово президента Ассоциации, французского романиста и критика Ива Гандона[1]. Делегатам конгресса был роздан первый номер «Бюллетеня», созданного для взаимной информации о состоянии литературы в каждой из стран, входящих в Ассоциацию,— еще одно подтверждение серьезности начатого дела.

Советские писатели, стремящиеся к развитию творческих контактов со своими коллегами, к деловому и серьезному обсуждению проблем литературы и искусства, с самого начала поддерживали инициативу, направленную на создание Ассоциации. Одним из вице-президентов Ассоциации стал советский критик А. Михайлов. Представители советской литературы присутствовали на всех встречах, организованных Ассоциацией, в том числе и на конгрессе в Реймсе, в работе которого участвовали Л. Новиченко (глава делегации), А. Михайлов, П. Палиевский, Г. Брейтбурд, А. Тамм, П. Топер.

Вместе с советскими литераторами деятельное участие в работе Ассоциации на протяжении ее истории принимали критики ряда социалистических стран. Круг их расширяется. На конгрессе в Реймсе в Ассоциацию был принят вновь созданный национальный центр ГДР. Приветствуя коллег из Германской Демократической Республики, Ив Гандон высказал надежду, что в недалеком будущем к Ассоциации присоединятся литераторы Кубы, Монгольской Народной Республики и других социалистических стран. Выразив глубокое удовлетворение созданием национального центра МАЛК в Индии, который представлял на конгрессе вице-президент Литературной академии Индии известный писатель Шриниваса Айенгар, Ив Гандон сообщил о формировании в ближайшем будущем нового национального центра в Японии.

Тема конгресса — «Литературная критика в системе современных средств массовой информации», то есть каково положение и каковы возможности литературной критики в газетах и журналах, на радио и телевидении. В выступлениях многих ора-

[1] Об истории создания МАЛК см. интервью Ива Гандона. «Иностранная литература» № 9 за 1971 г.

торов из разных стран Запада эта тема прозвучала острей, и ее условно можно было бы сформулировать так: «Книга или транзистор?» — то есть что победит в единоборстве подлинной культуры, символом которой считается книга с новейшими техническими средствами массовой информации. О критике сейчас говорят и пишут много во всем мире — хотя и по-разному; быстрый количественный рост критических работ отмечается библиографами чуть ли не всего мира, и среди хлестких журналистских определений нашего времени появилось и такое — «век критики», и оно несколько раз прозвучало на конгрессе. Но о какой критике идет речь — о веском, продуманном суждении, основывающемся на познании искусства и закономерностей его развития, или о стереотипных фразах, предназначенных для манипулирования сознанием миллионов читателей и зрителей? Что представляет собой писатель сегодня — художник и мыслитель, чье творчество дает основу для глубоких раздумий о судьбах мира и человека, или позер, мелькающий на телевизионных экранах? И какова роль критика в этих условиях, может ли он сказать новое слово людям или же ему суждено быть составной частью книжной рекламы, винтиком «культурной индустрии», цель которой — по крайней мере, видимая цель — продавать предметы «массовой культуры» так, как продают холодильники и стиральные машины?

По наблюдениям многих исследователей, занятых изучением общественных проблем в условиях современного государственно-монополистического капитализма, роль так называемой «массовой культуры» необычайно выросла в наши дни. Массовое репродуцирование литературы, музыки, произведений изобразительного искусства дало жизнь целой отрасли промышленности, которая в принципе ничем не отличается от других отраслей, работающих на потребление. Экономическая доступность изделий этой отрасли (книги в «карманных изданиях» стоят немногим дороже газеты) не означает, однако, что они становятся в культурном плане доступны потребителю, даже в том случае, если в общем потоке продукции на рынок «выбрасываются» действительно великие творения человеческого гения. Рядовой потребитель не в состоянии «различить» их, выделить из общего потока, воспринять их подлинный смысл, ибо границы этого восприятия обусловлены и уровнем культуры потребителя, и тем коммерческим фоном восприятия, который преднамеренно создается «культурной индустрией».

Было бы, однако, чрезвычайно наивно рассматривать ее задачи лишь как чисто коммерческие. В так называемом «потребительском обществе» связь потребителя с предметами потребления в любом случае мистифицирована и приобретает фетишизированный характер. Что же касается «культурной индустрии», то у нее своя особая задача — она предназначена для манипулирования сознанием масс в интересах хозяев системы, научившихся включать — или интегрировать — даже те взгляды и течения, которые направлены против нее самой. Таким образом сама «культурная индустрия», предназначенная для масс, становится не последним по важности орудием управления обществом. В своем выступлении на конгрессе Г. Брейтбурд привел слова французского либерального ученого Алена Турэна, который в книге «Постиндустриальное общество» отметил «все возрастающее влияние крупных государственных или частных предприятий, определяющих содержание и формы культурных сообщений», и поставил вопрос: «Нет ли здесь самого полного подчинения моделям поведения, разрабатываемым верхушкой социальной организации?»

Каковы же в этих условиях место критика, его предназначение и возможности? Или, конкретнее, в чем задача критика — помочь продать книгу или помочь понять книгу? Должен ли критик подчиниться машине «культурной индустрии» или у него есть возможность заставить ее работать на благо человека, на благо подлинной культуры?

В речах многих западных критиков, произнесенных на конгрессе в Реймсе, эти вопросы, поставленные с должной серьезностью, иллюстрированные многими фактами и обсуждавшиеся, надо сказать, без снобистского пренебрежения к средствам массового распространения культуры, получали чаще всего пессимистические ответы. Тон был задан уже в выступлении французского романиста и критика Анри Боннье, которым открылось первое рабочее заседание и в котором говорилось об упадке критики, о потере ею престижа, о «сумасшедшей игре безличного потребления». Англичанин Морис Кренстоун поднялся на трибуну лишь для того, чтобы сказать несколько фраз о том, что он настроен пессимистически и ситуация в Англии дает еще меньше оснований для оптимизма, чем та картина, которую Анри Боннье нарисовал относительно Франции. О засилии снобизма и потере «учительской» точки зрения говорил бельгийский писатель Даниэль Жиллес. Итальянский критик Мария-Луиза Спациани рассказала о том, как страдает подлинная культура ее страны от «масс медиа» и о безуспешной борьбе истинной критики за сохранение позиций высокой литературы в системе средств массовой информации. Разве только одно выступление американского профессора Джона Брауна было, в отличие от выступлений его коллег, выдержано в рекламном духе и содержало явно приукрашенную информацию. Надо сказать, однако, что двери конгресса, проходившего в благоприятной международной обстановке, были закрыты для ветров холодной войны. Для ответа на поставленные вопросы важна была взаимная объективная информация — вот по-

чему с таким вниманием выслушивались сообщения, содержащие достоверные факты о ситуации в литературной критике той или иной страны.

Разумеется, представители литератур, развивающихся в разных социальных условиях, по-разному говорили о положении дел, и столкновение объективного материала было наглядным для каждого, кто хотел составить себе широкое представление о характере затронутых проблем. Существенно иным бывал и подход к основным вопросам. Представитель Индии Шриниваса Айенгар подчеркнул, что средства массовой информации, как и древо познания, могут давать и плоды добра, и плоды зла. Он рассказал об особенности развития литературы в недавно еще колониальной Индии, для которой характерна бедность населения, неграмотность, сложность языковых проблем. Известный камерунский писатель Т. Меллоне с чувством горечи говорил о последствиях колониализма в странах Африки, о трудных условиях, в которых развивается молодая литература его страны. Для нас самое главное, заметил он, это — «конкретная работа». Т. Меллоне сообщил об интересных литературно-критических исследованиях, вышедших в Камеруне, и обратился ко всем участникам конгресса с просьбой способствовать их распространению в своих странах. Советские участники конгресса, поддержав Т. Меллоне, рассказали об участии советских писателей в афро-азиатском писательском движении и о предстоящей в 1973 году в Алма-Ате конференции писателей стран Азии и Африки.

Совершенно другие аспекты деятельности литературных критиков были затронуты в выступлениях представителей социалистических стран. Здесь определяющим становился новый социальный фон, та подлинно демократическая, массовая культурная революция, которая пробудила стремление к высокой культуре в самых широких слоях населения. Рассказывая о конкретных фактах культурной и литературной жизни своих стран, Р. Матушевский (Польша), М. Саболчи (Венгрия), Д. Ивашку (Румыния), Х. Кайш (ГДР) и их коллеги приводили немало примеров позитивного опыта использования средств массовой информации для распространения действительно подлинных культурных ценностей. Об этом же говорил П. Палиевский в своем докладе, вызвавшем много откликов. А. Тамм, основываясь на примере советской Эстонии, отметил, что средства массовой информации могут способствовать более широкому распространению культуры малочисленных народов. Прозвучал на конгрессе и рассказ об опыте советских литературно-художественных журналов, в том числе «Иностранной литературы». «По нашему мнению,— говорил П. Топер,— обращенная к широкой аудитории литературная критика ни в коем случае не должна становиться упрощенной и опускаться до некоего «среднего» по своему идеологическому и эстетическому уровню читателя, а, напротив, должна подымать его до подлинной, высокой культуры».

Работа такого журнала, как «Иностранная литература», раскрывает еще один аспект литературной критики. Диалектика «своего» и «чужого» в литературном процессе достаточно сложна. Переводное произведение, оказываясь в другой языковой, национальной, социальной среде, может поразить читателя своей непривычностью и даже оттолкнуть его. Задача критики — осветить характерные особенности и истинное значение переведенной книги — то есть не только «проинформировать» о выходе ее в свет, но и дать ей глубокую оценку. Закономерны и естественны столкновение мнений, дискуссии, которые помогают определить место произведения в мировом литературном процессе и сопровождают его «вхождение» в новую читательскую среду. Понятие «мировая литература» — не фикция, и сегодня, в эпоху широких международных связей, быстрого социального развития и мощного подъема культуры у ранее отсталых народов, ее реальное содержание богаче, чем прежде. Вот почему одна из общественных задач критики — способствовать взаимопониманию и взаимообогащению культур, движению их по пути прогресса.

В выступлениях советских представителей важное место занял вопрос о связи критики с жизнью. «Треугольник» писатель — критик — читатель (слушатель, зритель), о котором не раз упоминалось на конгрессе, должен иметь опору в действительности, иначе он теряет свой смысл. Одна из опасностей, которая подстерегает сегодня критику,— это опасность замкнуться в себе. Критика не может ограничиваться внутрилитературными сопоставлениями, как бы тонки и метки они ни были. Подлинная критика сопоставляет не литературу с литературой, а прежде всего литературу с жизнью. Это не значит, конечно, что «способы изображения мира» безразличны для критики,— наоборот, она не может не заниматься профессиональными вопросами творчества, и чем шире она ими занимается, тем больше она может сказать и писателю, и читателю. Но это значит, что главное в оценке искусства наших дней заключено в том, как в творчестве художника преломилась сложная и подвижная современная действительность, какие ответы дает он на главные вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Подлинное искусство всегда гуманистично и если не субъективно, то объективно всегда антибуржуазно по своему смыслу.

Л. Новиченко рассказал о большом общественном внимании, которым пользуется в Советском Союзе литературная критика, о постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», о недавно прошедшем специальном пленуме Правления СП СССР. Он говорил о высокой ответственности советской критики перед читателем, об объективных возможностях, которые раскрываются перед ней в социа-

листическом обществе. Мы не собираемся утверждать, сказал Л. Новиченко, что у нас нет трудностей. «Но не следует усматривать источник зла в самом телевидении или радио: не они, конечно, повинны в той примитивизации критики, о которой здесь так много говорилось. Надо видеть и объективную сторону дела — огромные новые возможности, которые они дают для литературы».

Конгресс в столице Шампани станет важной вехой в работе МАЛК. Он закончился принятием резолюции, подчеркивающей значение критики, ее ответственность перед обществом, призывающей критиков глубже использовать возможности периодической печати, радио и телевидения для распространения подлинных художественных ценностей. Выступившие на заключительном заседании президент Ассоциации Ив Гандон и директор департамента литературы ЮНЕСКО Роже Кайюа говорили о значении литературы как средства духовного общения, подчеркнули ту роль, которую может сыграть литературная критика для взаимопонимания народов, для прочного мира.

Ниже мы печатаем (в сокращенном виде) текст вступительного слова президента МАЛК Ива Гандона и некоторые из выступлений на конгрессе — Анри Боннье (Франция), П. Палиевского (СССР), Даниэля Жиллеса (Бельгия), Шринивасы Айенгара (Индия), Клауса Ярмаца (ГДР).

ИВ ГАНДОН (Франция)

Наша цель — взаимопонимание и сотрудничество

Я не собираюсь восстанавливать здесь длинную историю нашего развития, но считаю нужным сообщить: сорок критиков, собравшихся в Париже в 1962 году, с таким мужеством отстаивали свой замысел, что благодаря этому Международная ассоциация литературных критиков, получившая с тех пор полномочия при ЮНЕСКО, насчитывает сегодня 30 национальных центров и почти 400 активных членов. Конференции, состоявшиеся в Барселоне (апрель 1970) и в Ницце (май 1971), подтвердили, что наша Ассоциация имеет всемирное значение. Чтобы напомнить основные принципы. нашей деятельности, я процитирую несколько отрывков из речи, которую я произнес на открытии нашей конференции в Барселоне:

«Случилось так, что наш приезд сюда совпал с юбилеем великого Сервантеса. Это не случайное совпадение — так было задумано для того, чтобы напомнить нам о духе универсализма, который должен царить на наших прениях. Помню, как несколько лет назад я был приглашен в Грузию на празднование юбилея поэта XII века Руставели, автора «Витязя в тигровой шкуре». Во Францию я возвращался через Москву. В столице меня пригласили на представление в Большом театре. Спектакль был целиком посвящен Сервантесу, так как слава великих писателей не знает границ.

В уставе мы торжественно провозгласили, что наша Ассоциация ставит своей целью крепить узы братского содружества между литературными критиками, сообща изучать проблемы, интересующие нас, организовывать встречи в духе взаимопонимания и профессиональной солидарности и с помощью соответствующих изданий создать атмосферу реальной близости между различными литературами, облегчив доступ к ним читателям всех стран.

Это кредо не двусмысленно. Оно требует от всех нас отказа от эгоистической точки зрения во имя торжества коллективного мнения. Это не значит, что мы отказываемся от тех или иных характерных особенностей: мы хотим только, чтобы писатели, равные по таланту, приносили пользу всем. Если, например, у маленькой нации появляется могучий гений, то мы считаем необходимым, чтобы у него были такие же возможности испытать свои силы, как если бы он родился в величайшей стране мира. Мы надеемся достигнуть этого благодаря постоянному общению и сотрудничеству. Это одна из причин создания нашей Ассоциации — не самая маловажная и не единственная.

Само собой разумеется, что программа, основные пункты которой я сейчас перечислил, может быть реализована только благодаря «духу взаимопонимания», предусмотренному нашим уставом. Сфера нашей деятельности — литература. И в этой принадлежащей нам сфере мы намереваемся сотрудничать во имя сближения умов, а впоследствии, может быть, и сердец. Мы не идеалисты, а люди доброй воли. Мы считаем, что хорошо потрудился тот, кто, закончив обрабатывать свое поле, помог и своему менее удачливому соседу».

Сегодня вышел в свет первый номер «Бюллетеня» Международной ассоциации литературных критиков. «Бюллетень» должен служить связующим звеном между нами. Его целью будет, соответственно второму пункту нашего устава,— создание «атмосферы реальной близости между раз-

личными литературами». И добиться этого он сможет благодаря непрерывному обмену информацией. Интересно и даже важно, чтобы американец, например, знал о лучших книгах, опубликованных в Советском Союзе, а венгр обратился к испанцу, чтобы узнать о духовных связях Кальдерона де ля Барка или Кеведо, в то время как испанец узнает от венгра, в каких направлениях развивалась венгерская поэзия после Вёрешмарти и Эндре Ади.

В «Бюллетене» мы будем пользоваться свободой действий, исключающей какие-либо коммерческие соображения, заботясь только об одном — качестве. Мы знаем, что слишком часто скрывается за «качеством» бестселлера. Каждый центр будет стремиться изобличать ложные ценности и раскрывать истинные. Наше издание открыто для всех центров, согласных нести полную ответственность за свои тексты.

Мы стремимся к тому, чтобы «Бюллетень» выходил на многих языках. То, что сегодня по чисто материальным причинам он издан только на французском языке, вовсе не означает, что так будет и в дальнейшем.

Какой будет его периодичность? Для начала мы хотим, чтобы «Бюллетень» выходил хотя бы один раз в полгода. В дальнейшем это будет зависеть от имеющихся в нашем распоряжении средств.

Как бы то ни было, этот первый международный «Бюллетень» является для нас новым шагом вперед. И мы на этом не остановимся.

АНРИ БОННЬЕ (Франция)

Литературная критика и ее аудитория

Национальный синдикат французских издателей недавно проводил анкету под вполне определенным названием — «Кто покупает книги». Целью анкеты было выяснить, что же является наиболее характерным для нашего главного клиента, или, если хотите, нашего лучшего союзника.

Так вот, на 13-й странице этого отчета (богу известно, что я не суеверен!) в рубрике «Происхождение информации» можно обнаружить недвусмысленную, даже слишком недвусмысленную картину, которая касается нас всех. И вот почему: если 30% купленных книг приобретены по совету книжных магазинов, 24% — по совету родственников или друзей, то на долю прессы остается только 20%. Знаете ли вы, как распределяются эти проценты?

Из 20% купленных книг 11% приобретены под воздействием рекламы и только 9% — благодаря литературной критике. Иначе говоря, мы, критики, только на 9% участвуем в приобретении книг. Заметьте, что нашему влиянию еще можно позавидовать, если учесть, что на долю телевидения остается только 3%, а на долю радио — едва 1%.

Конечно, надо сделать скидку на то, что владельцы книжных магазинов или родственники и друзья не могут прочесть всех книг и черпают информацию в прессе, радио и телепередачах. Таким образом, наша значимость сразу же возрастает. Но не будем обольщаться. Осмелюсь заявить с самого начала: ситуация литературной критики во Франции неблагополучна — ясно, что наше влияние непрерывно падает. Отчего это зависит? В чем причины равнодушия к критике? Можно ли что-то изменить? Эти вопросы затрагивают нас всех, и я попытаюсь на них ответить.

Десять лет назад, на первом международном коллоквиуме по литературной критике, Жан Бланза закончил свой доклад о французской критике следующими словами: «Мы переживаем промежуточный этап перед наступлением так называемой аудиовизуальной цивилизации. Письменная литература не исчезнет, но приспособится к ней. Можно предвидеть, как она будет развиваться. Часть ее подчинится требованиям нового времени, но останутся истинные творцы культуры, мятежные художники, все более своеобразные и в то же время очень далекие друг от друга. И хорошо, если рядом с каждым из них как его эхо, как посредник будет литературный критик, подобный тем, каких мы знаем еще сегодня».

Конечно, такое заключение, при всей его горечи, было встречено горячими аплодисментами. Таким образом, Жан Бланза набросал весьма пессимистическую картину литературной критики во Франции. С тех пор прошло десять лет.

Как же дело обстояло тогда? В каком положении оно сейчас? Я сопоставил информацию, которой располагал Жан Бланза в 1962 году, с результатами анкеты, опубликованными в «Библиографии Франции» (16/VI 1971 года) под заголовком «Литературная пресса в 1971 г.». В области еженедельной прессы картина стала несколько иной: «Фигаро литтерер» сошел со сцены. «Нувель литтерер» изменил свой формат, если не направление, «Ар э спектакль» и «Нуво Кандид» тоже исчезли. В остальном не так уж много изменилось, если не считать того, что на наших глазах был создан «Монд де ливр», напоминающий литературное приложение к «Таймс». Чуть не забыл еще два новых издания — «Кензен литтерер» (выходит два раза в месяц) и «Магазен литтерер» (ежемесячный). Что касается провинциальной прессы

(к ней я еще вернусь), то и в ней как будто намечаются кое-какие преобразования.

В целом итог производит, казалось бы, положительное впечатление, и по сравнению с 1962 годом пресса, пожалуй, многое сделала для книжного дела.

Это верно. Точно так же, как и то, что радио, со своей стороны, готово расширять свою деятельность в этом направлении. Так, я читал отчет о работе отдела литературных радиопередач за прошлый год и должен признать, что он буквально восхищает. Лучше всего это докажут две сухие, но красноречивые цифры: Жерар Мург, который руководит отделом, подсчитал, что только за 1970 год обсуждалось 1100 литературных произведений и на них было затрачено 850 часов эфирного времени. И надо опять признать, что никогда раньше столько не делалось для книжного дела.

Это верно. Точно так же, как и то, что телевидение в свою очередь, стремясь привлечь внимание публики к книге, стало разнообразить свои литературные передачи. Десять лет назад Жан Бланза мог назвать только одну литературную передачу на телевидении — «Чтение для всех». Теперь литературных передач гораздо больше. Достаточно назвать такие передачи, как «Курсивом», «Содержание и форма», «100 книг», «Маленький читатель станет большим», «Слово имеют читатели» и другие.

На что же нам жаловаться? Может быть, все идет гораздо лучше, чем кажется? Рискуя удивить вас, я отвечу — да. Но, сопоставив эту огромную работу по информации и весьма скромный резонанс литературной критики в нашем обществе, я задам единственный вопрос: чем же объяснить эту потерю влияния?

Я вижу два рода причин: причины материальные, которые часто выходят за пределы нашей профессии, и причины моральные, которые к ней непосредственно относятся. В связи с этим разрешите мне еще раз вернуться к выступлению Жана Бланза. 10 лет назад он говорил о тех опасностях, которые угрожают нашей профессии.

Главную из них он видел в деятельности литературных жюри, и опасность эта не переставала возрастать. В самом деле, доводы Жана Бланза было легко понять: литературная премия — это прежде всего информация, и критик, связанный с газетой, подчиняется, сознательно или нет, требованию всегда поставлять свежие новости. Если он стремится произвести хорошее впечатление на руководство своей газеты, ему не остается ничего иного, как угадывать выбор литературных жюри. Известно, что по крайней мере три месяца своей деятельности литературные критики начиная с сентября (начало нового сезона) заняты этим трюкачеством.

Повторяю, это давление, столь же подспудное, сколь и губительное, все усиливается и неизбежно ведет к чрезмерному обеднению французской литературной жизни, так как раскупаются в основном только четыре или пять романов, вышедших в конце года.

Мне возразят, что есть нечто парадоксальное в утверждении, будто происходит опасное обеднение книжного рынка, в то время как расширяется литературная информация всех видов. Парадокс этот кажущийся, если признать, что главной проблемой остается литературная критика и речь идет о ее престиже.

Прежде чем продолжать, я задам конкретный вопрос: видели ли вы, чтобы литературному критику была предоставлена настоящая трибуна на радио или телевидении? Однако этого стоит и остерегаться: незаметно, под предлогом информации, все мы вынуждены освещать литературные произведения так, как от нас этого требуют.

Будут вздыхать и сожалеть о тех временах, когда достаточно было статьи Кемпа, Анрио или Руссо, чтобы создать книге прочную репутацию. Вспомнят знаменитый пример, когда Баррес одним взмахом пера создал известность Ф. Мориаку. Какой-нибудь выдающийся социолог мог бы определить, зависит ли это от публики. Что касается меня, то я думаю, что не зависит. В доказательство приведу одну телевизионную передачу — «Чтение для всех». Эта передача запомнилась всем. В книжных магазинах сожалеют об ее исчезновении и считают, что все остальные литературные передачи по телевидению не влияют в такой степени на продажу книг.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли: мною руководит не пристрастие к прошлому. Я только пытаюсь объяснить, чем вызвано такое явление, как упадок критики. Надо признать, публике недостаточно сознавать, что деятельность критика полезна, ей необходимо еще и верить в его авторитет. И это естественно. В конечном счете, «Чтение для всех» до сих пор помнят по той причине, что участники этой передачи, еженедельно появляясь на маленьком экране, смело высказывали свои суждения о книгах, и телезрители знали их и доверяли им.

В самом деле, в наш век потребления и информации слишком часто забывают о том, что критика — процесс, требующий трех участников — автора, разумеется, критика и в особенности читателя. Что касается меня, то я убежден, что критик только тогда добивается настоящего успеха, когда его читатель поддерживает с ним контакт. Литературная критика — это прежде всего область человеческих взаимоотношений.

Поскольку этот треугольник угрожает распасться — то ли потому, что личность критика теряется за литературными суждениями, в которых совершенно не отражается его индивидуальность, то ли он перестает быть в центре внимания, но очевид-

но, что под вопрос ставится само значение критики: ее гуманная направленность и ее авторитет.

Возвращаюсь к понятию авторитетности. Мне приходилось слышать такой вопрос: по какому праву критик позволяет себе судить о произведениях? Вопрос глупый, но интересный: в нем отражается все нелепое противоречие эпохи, когда количество ценится больше, чем качество, и некоторые директора газет, причем довольно крупных, полагают, что лучше посвятить по 10 строк десяти книгам, чем 100 строк одной. Есть пословица: много говорить — делу вредить. А когда говорят о множестве книг, то вреда от этого еще больше. Публика в этом смысле не ошибается. Лишенная тех особых отношений, которые складывались у нее с критиком в прежние времена, она тем меньше знает, кому ей довериться, чем больше требуют от нее интересоваться с одинаковым рвением сразу всем. Вот почему, не соглашаясь принимать участие в этой сумасшедшей игре безличного потребления, она испытывает все большее стремление бездумно довериться выбору четырех или пяти влиятельных жюри.

Поскольку я имею честь представлять провинциальную прессу, мне хотелось бы теперь привлечь ваше внимание к ее тяжелому положению. Достаточно нескольких цифр, чтобы осветить вам его: из 32 ежедневных провинциальных газет только 4 имеют еженедельную литературную страницу. И они заслуживают быть здесь отмеченными. Это «Провансаль», «Депеш дю Миди», «Меридьональ ля Франс» и «Репюбликен Лоррен».

Девять других ежедневных газет имеют литературную рубрику, то есть они не посвящают книгам специальной страницы.

Таковы скромные цифры. Это значит, что остальные ежедневные газеты в провинции, а среди них есть очень значительные по тиражу, ничего, абсолютно ничего не делают для литературы.

Вот прекрасный повод для размышлений в наши дни, когда только и говорят о децентрализации.

Может быть, духовная жизнь свойственна одному Парижу? Не думаю. Напротив, я полагаю, что именно провинция является человеческим противовесом стремительному централизму Парижа сегодняшнего и абстрактной Европе завтрашнего дня. И я убежден, зная это по опыту, что лучшим способом преодолеть опасности, о которых я здесь говорил, будет самое широкое развитие литературных разделов как в провинциальной прессе, так на радио и телевидении.

Это потребует времени, терпения и большой самоотверженности. А также тех качеств, которыми мы уже располагаем. Тогда мы снова завоюем авторитет, а затем влияние. По крайней мере в заключение мне хочется выразить на это надежду. Она связана с нашим представлением о литературе и, кроме того, с нашим представлением о человеке. Не будем забывать об этом.

П. ПАЛИЕВСКИЙ (СССР)

Трудности и возможности

Очень многие считают, что между транзистором и книгой идет сейчас война, и война на уничтожение. Говорят, что у транзистора есть в этой войне мощный союзник — телевизор, который вскоре тоже будет переносным; готовятся к наступлению видеокассеты; считают, что книге в этой борьбе не устоять.

И вот мы собрались с вами, чтобы решить, так ли это и нет ли, напротив, возможностей союза книги и других массовых средств. Критики, вероятно, лучше других могли бы обсудить эти возможности и, если они есть, осуществить их.

Но прежде, чем мы их рассмотрим, хотелось бы начать с трудностей. Если признать их, трезво оценить их размеры, может быть, виднее бы стало, как из них выбраться.

Так, например, стоит спросить себя: не увеличивает ли самый факт появления литературной критики на телевидении ее скуки — что, как известно, убийственно для литературы. Кому, в самом деле, интересно видеть физиономию критика или слышать его голос, часто далеко не благозвучный? Если в критике есть что-нибудь интересное, так это ее мысль — острая, ядовитая, проницательная, вскрывающая ценность под ворохом мишуры. Если физически, так сказать, критик в печатном слове отсутствует, то это, может быть, преимущество для мысли: возможность лучше, чище и прямее ее донести. Оно также объективнее и менее навязчиво. Читатель всегда может просто пробежать статью глазами, выхватить, что ему нужно, сказать «ага!» У радио и телевизора он должен терпеливо ждать, чтобы сделать выбор, или, не дожидаясь, выключить, что, понятно, бывает чаще.

Возможно, что появление критика на экране таит в себе и угрозу еще большего удаления от литературы. Это типичная для нашего времени проблема, когда посредник начинает заслонять собой пред-

мет. Например, как-то незаметно мы уже ценим дирижера больше, чем композитора («какая тонкая интерпретация» и т. п.), забывая, что главное благо мы получаем все же от музыки; режиссера — больше, чем драматурга, кинооператора и его «ракурсы» — выше, чем актера, и так далее. И критик тоже, захватив многомиллионную аудиторию, обладает возможностью, если он достаточно хорошо усвоит технику убеждения, заменить собой литературу, сделать ее в сущности ненужной. Читать некогда, и тут действительно можно сделать так, что литература будет существовать в форме мнений о литературе. Появятся писатели, если они уже, увы, не явились, которые станут известны не своими произведениями, а спорами, умело организованными вокруг них союзной с ними критикой.

Они и будут ориентироваться на критику, а читателям читать их будет вовсе не нужно. Только отмечаться, так сказать, следить. И самый процесс слежения будет признаком культуры. Возникает еще одно из средств манипуляции общественным мнением! Этой опасностью никак нельзя пренебрегать. Тем более что никто еще не изобрел против нее решающей защиты.

Наконец литература угрожает здесь потерять свою особенность, раствориться в других жанрах. Собственно чтение выглядит в этих условиях как пережиток, который критики, вольно или невольно, помогают устранять. Книга как бы делается ненужной. Обмен мнениями, сжатый пересказ содержания, разговор о персонажах, звучащая речь — все это мало-помалу превращает книгу в размеченный текст, промежуточную стадию между редактором и диктором, своего рода перфокарту, которая сама по себе для нас неинтересна. Недаром внешние символы книги становятся в наше время все ярче и значительней. Словно они стремятся вобрать в себя, чтобы уже не утруждался человек чтением, все ее содержание: глянцевитая поверхность, поблескивающая на свету, как елочные украшения, огромные буквы заглавия и фамилия автора, суперобложка с исчерпывающими данными. Подобная книга, как бы горько ни смеялись над этим сторонники старинной мудрости, действительно предназначена, чтобы украшать полку, а не для того, чтобы ее читать. Это цветовая и символическая гамма, часть интерьера. Ее также удобно взять в руки и перелистать перед дулом телеобъектива, но посидеть, подумать над ней, как когда-то,— вряд ли.

Все это выглядит, кажется, печально. Прогресс техники предлагает нам пойти на утраты, согласиться с которыми трудно. Тревога людей, отстаивающих внутренние ценности, понятна, и отмахиваться от них, как ретроградов, нельзя.

Но посмотрим, не означают ли те же самые угрозы и некоторые преимущества, если последовать за ними дальше. Нет ли тут для литературы приобретений, способных продвинуть ее вперед и даже возвратить, быть может, кое-что забытое.

Конечно, это трудно предположить, если считать книгу и статью высшей, законченной формой литературы. Но ведь можно допустить и иное. Притом вовсе не отбрасывая этих форм или тех великих достижений, которые с ними связаны. На этот счет были ведь и другие мнения. Платон, например, считал изобретение письменности злом. Буквы и вообще идея записанной речи уничтожали, по его мнению, естественность и живость мысли и, отделенные от момента, человека, значили мало или даже сбивали с толку. Один философ в России обвинял в том же Гутенберга. «Это он,— говорил он о распространении безличных трафаретов,— вылизал все своим медным языком». Доля парадоксальной правды в этих высказываниях есть. Записанная мысль без интонации, контекста, минуты рождения, а главное, без человека теряет огромную часть своего содержания, хотя мы не всегда это признаем.

Но обратим внимание. И радио, и телевидение несомненно возвращают нас к источнику мысли, к человеку. Медленно и неосознанно, быть может, но куда ближе. Смотри, слушай, наблюдай за выражением лица, только еще не собеседуй.

Письменная литература несет в своем названии «литеру», букву, а ведь давно известно, что «буква убивает, дух животворит». В новых наших средствах коммуникации мы, кажется, избавляемся от буквы, повторяю, робко и сами не всегда это сознавая, но явно и с облегчением. Даже когда идет не живая передача, а запись. Потому что записываются не мертвые «слоги», а весь облик человека — огромное преимущество! Благодаря каждому оттенку, произношению, манере держаться мы улавливаем свой смысл. В том числе и тот, который, может быть, говорящий и не имел в виду нам сообщить. Мы сами его находим. Так что любовь современного жителя к телевизору не столь уж слепа и безрассудна, как изображают в карикатурах. Перед нами распахнуто новое окно в мир.

И вот весь этот арсенал неписаных средств критик и вообще литератор получает в свое распоряжение. Это ново и ошеломляюще, и надо признать, что освоение этих средств литературой идет слабо. Хочется, как обычно, писать: роман, рассказ, рецензию, статью — и выступать с ними. Но ведь от нас ждут здесь не этого. Условия иные, иной открывается жанр. Возможно, какое-то подобие салона, процветавшего в XVIII — начале XIX века, где, как утверждают, люди лучше говорили, чем писали. Только понятно, что аудитория теперь совсем не кружковая,— это сразу все общество во всех возможных представителях.

Короче говоря, телевидение возвращает критике и литературе достоинства устного рассказа. Понятия стиля, формы оборачиваются во что-то иное, почти бытовое. Словно наступает пора для литературы показать, что же она сумела сделать с человеком: чем улучшила его речь, облик, где и как вошла в плоть и кровь. Идеальная ее сторона, выразимая в записанном слове, теперь тяготеет к тому, чтобы показать и некоторый свой результат.

Правда, критика всегда поддерживала связь литературы с жизнью, особенно в России.

Вследствие разных исторических обстоятельств литература заменяла у нас во многом и философию, и эстетику, и этику, и даже социологию. Общественное самосознание двигалось в форме литературы. Критика часто была в этом процессе направляющей силой.

Мы привыкли к этой традиции, и легко увидеть, как она сказывается в советской литературе сегодня. Критика играет у нас в так называемых «толстых» журналах заметную роль и занимает в каждом номере примерно 3—5 печатных листа. Вот, скажем, № 1 журнала «Знамя» за этот год. Из 250 страниц текста 50 отведено критике — 5 статей и 4 рецензии. Тираж журнала 200 тысяч. Аналогичная картина в таких журналах, как «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Иностранная литература» и другие.

Естественно, что в новых средствах информации (телеаудитория в Советском Союзе насчитывает сейчас 170 млн. человек при 45 млн. телевизоров) критика старается укрепить свои позиции. Выступая недавно в «Литературной газете» со статьей «Телевидение, писатель, зритель», поэт Алексей Сурков сказал: «У писателей нет оснований обижаться на телевидение за недостаточное внимание к литературе». Сам Сурков в течение уже трех лет ведет там передачу под названием «Беседы о литературе». Она, правда, идет раз в месяц, но с ней конкурируют другие, такие как «Литературные чтения» — 2 раза в месяц; «Книжная лавка» — 2 раза в месяц; «Альманах поэзии» — 2 раза в месяц; «Страницы творчества советских писателей» — раз в месяц. Существует также «Трибуна писателя», выступления в которой носят большей частью публицистический характер, и непременная «Литература в школе». Эта передача активно общается с учащимися, поддерживает обширную переписку и в свою очередь подвергается критике.

Все эти примеры говорят, как нам кажется, что задачи критики на телевидении только возрастают. Критикам тут, что называется, все карты в руки. Извлечь все реальности литературы, втиснутые в слово, показать их, выставить на обозрение теперь более доступно, осуществимо. Киноленты, документы, свидетели, рисунки, прототипы, портреты, мнения известных людей, которых можно пригласить к аппарату,— все имеет теперь выход, площадку, где может показаться вместе. Без сомнения, о литературе можно вести в этих условиях не менее интересные репортажи, чем о путешествиях в диковинные страны или о расследовании таинственных преступлений.

Речь идет не только о современной литературе. Этого оживления ждет вся классика. Можно сказать, что с появлением массовых средств она впервые способна войти в толщу народа, рассеять свои драгоценные семена. Экранизация старых произведений литературы убеждает нас, с какой силой эти образы рвутся к воплощению, как они хотят участвовать в современной жизни. Их встречает жадный взаимный интерес. Но телевизор может сделать на этом пути много больше.

Казалось бы, как далека от современности русская литература XVIII века. Но вот совсем недавно у нас по телевидению была передача о языке того времени. Появились странные лица, фрагменты гравюр, увеличенные телеглазом, дома, музыка той поры, монастыри, где жили одинокие «лаборанты» слова, их стихи, рукописи, показанные крупным планом. Подчеркнуто современный ведущий вызывал их к жизни, на собеседование. Два-три актера степенно отвечали и дополняли документ. Впечатление это произвело замечательное. Наши нечитаемые, хоть и почитаемые писатели, такие как Феофан Прокопович или родоначальник русской науки Ломоносов, который закладывал также основы новой литературы, зазвучали увлекательно и причастно нашему времени. Буквально заговорили молчавшие.

Другой пример телевизионной удачи из старой литературы дал профессор Бонди. Он вынес на экран пушкинские черновики. Пушкин, напомнил он, никогда не называл свою поэзию творчеством. Пушкин говорил: труд. И в самом деле, перед зрителем открылась картина труда, и какого— каторжного. И это при абсолютно невесомом стиле и непроизвольной быстроте мысли, которая всегда так удивляет в Пушкине. Для сотен тысяч людей была восстановлена важная часть его личности.

Подобные примеры говорят, что мы все еще недооцениваем воскрешающую силу телевидения.

Я не собираюсь формулировать никакого правила, тем более в такой новой для нас области, но, кажется, наиболее перспективное направление литературной критики на телевидении можно было бы назвать так: восстановление реальности образа. Или так: вскрытие с помощью всевозможных документов жизненных связей искусства.

Мы все надеемся, что благодаря усилиям наших народов и правительств политический климат в Европе улучшится. Для литературной критики это открывает самое обширное поле деятельности. Через литературу и ее образы очень хорошо видна национальная культура того народа, который мы хотим узнать и понять, с которым

желаем сблизиться. Появление на экране литератора этой страны, его умение показать реальности, стоящие за знакомым уже писателем и поэтом, означают многое.

Приведу подобный случай. Корреспондент московского радио и телевидения во Франции Анатолий Потапов как-то выступил у нас с репортажем о д'Артаньяне из Гаскони. Вы не представляете себе успех этой передачи. Ее потребовали повторить, хотя он показал очень немногое: улицы старого города, какие-то шпаги. Надо сказать, что Дюма остается у нас одним из самых популярных писателей, купить его романы, несмотря на переиздания стотысячными тиражами, почти невозможно. И это несмотря на то, что современная литература Франции известна у нас достаточно хорошо,— как сотрудник журнала «Иностранная литература» могу вас заверить в этом, напечатаны почти все известные писатели и их главные книги. Просто интерес направлен не на эксперимент, а, как бы это сказать,— на безусловную реальность Франции, ее устойчивый характер. По мнению самой широкой публики, Дюма в этом смысле правдив, жив, незаменим, и сколько бы ни отворачивался от него высокомерный снобизм, эти шпаги продолжают занимать людей, вполне сознающих, что они живут в атомной эре.

Разумеется, Дюма частный пример. Бальзак, Флобер, Стендаль, Мопассан, Ромен Роллан, Анатоль Франс, Мартен дю Гар, Мориак, Сент-Экзюпери и многие иные, в том числе и Сименон,— о каждом из этих популярных у нас писателей французский критик мог бы рассказать и показать многое, рассчитывая на активное внимание. Убежден, что, со своей стороны, русская литература далеко не исчерпала возможностей заинтересовать аудиторию на Западе. Что касается быстро растущих литератур других республик Советского Союза — Украины, Молдавии, Грузии и др.,— то здесь эту аудиторию ожидают, несомненно, много непредвиденных открытий. Мы знаем, например, как благодаря критике стал известен на Западе Чингиз Айтматов. Но это лишь начало.

Литературная критика не имеет права упустить возможностей этих новых технических средств и с ними связанного международного общения. Мы обязаны помочь прогрессивной критике выйти к широкой аудитории наших стран и обмениваться опытом ее лучших достижений.

ДАНИЭЛЬ ЖИЛЛЕС (Бельгия)

Телепортрет писателя

Сегодня писатель пользуется таким вниманием радио и телевидения, что мне доводилось слышать несколько интервью с Сименоном в течение одной недели. Мы к этому привыкли и с трудом вспоминаем о том, что так было не всегда, что диалог между писателем и критиком возник лишь недавно. Сент-Бёв никогда не помышлял задавать Бальзаку, Флоберу или Стендалю вопросы относительно их творчества, а между тем какие «Беседы по понедельникам» это могло бы нам дать! Толстой, умерший в 1910 году, был заснят на пленку одним из сотрудников братьев Люмьер. А вот Бирюков, который, прежде чем стать его биографом, часто бывал у него в гостях, ни разу его не проинтервьюировал.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что первым критиком, которому пришла в голову мысль систематически опрашивать писателей своего времени, был в начале 20-х годов Фредерик Лефевр. Своими знаменитыми «Один час с ...», публиковавшимися в еженедельнике «Нувель литтерер», он создал образец документированного, остроумного и изобретательного интервью с писателем, и ему с тех пор подражают во всем мире. После второй мировой войны этот прием использовался на радио и имел все возрастающий успех. Окончательно покинув свою башню из слоновой кости, писатель таким образом входил в непосредственный контакт со своей публикой, со своими читателями.

Развитие техники происходит все более быстрыми темпами, и если благодаря радио устное слово восторжествовало над словом печатным, то телевидение благодаря сочетанию образа и слова открыло новые возможности представить писателя и его творчество.

Телевизионный портрет более или менее известных писателей стал сегодня достаточно распространенным видом передачи. Я сделал не менее десятка работ в этом жанре, не всегда без промахов, и думаю, что будет небесполезно познакомить вас с некоторыми размышлениями, возникшими у меня в результате общения с писателями, у которых я брал интервью.

Может быть, прежде всего следовало бы уточнить, что такое телепортрет. Телевидение — это одновременно образы, звуки и слова. Речь идет о том, чтобы гармонически сочетать эти три элемента для созда-

ния живого и разностороннего портрета писателя. Недостаточно ограничиться, как это слишком часто бывает, показом рабочего стола писателя, который делает вид, будто пишет. Прежде всего надо отобразить мир, который его окружает, пейзажи, вдохновляющие его творчество. Во время интервью важно подметить и передать характерный жест или взгляд, подкрепляющий слова. Звуки должны способствовать воссозданию атмосферы, окружающей писателя. Наконец непринужденные диалоги с ним самим, короткие беседы с его близкими, друзьями и (почему бы нет?) с его противниками, чтение отрывков из произведений писателя должны достаточно полно представить его личность и позволить телезрителям определить его истинное место в литературе.

Некоторые считают, что этот вид литературных передач для большей части телезрителей неинтересен. Я вижу в этой точке зрения зародыш презрения к публике. Письма, которые я получаю после моих передач, убеждают меня в обратном — в том, что широкая публика жаждет овладеть культурой в гораздо большей мере, чем полагают интеллигенты, которые, может быть, бессознательно хотели бы сохранить монополию на нее.

Но массы требуют единой национальной культуры, и, следовательно, творчество тех, кто ее представляет, имеет в известной мере просветительское значение. Когда я говорю об этом некоторым моим коллегам на телевидении, они пожимают плечами и называют меня ретроградом. А я убежден, что на телевидении, так же как и везде, роль критика состоит в том, чтобы чему-то научить. Критик, который пишет только для того, чтобы поразить своих коллег, не выполняет своей миссии, и если критика утратила сегодня во многом свое влияние, то это произошло по причине ее начетничества.

Тем не менее понятно, что перед телевизионной аудиторией — публикой всех возрастов, разных интеллектуальных уровней и идеологий — критик невольно теряется. Но он почувствует себя увереннее, когда вспомнит, что эта огромная аудитория состоит из индивидуальных семейных очагов, обращаясь к которым он благодаря телевидению может рассказать много интересного.

Я видел некоторые телевизионные портреты, испорченные ужасным самодовольством и снобизмом. Критик сделал все для того, чтобы убедить телезрителя в том, что эта «сверхкультура» не для него, и добился этого с помощью непонятных фраз, которыми он обменивается с писателем.

Существуют также критики, помешанные на фрейдизме, их главный метод состоит в публичном раздевании писателя, который должен рассказывать о своих комплексах.

Создать хороший портрет писателя посредством сочетания образов, звуков и слов так же трудно, как изобразить его с помощью красок и кисти.

Тот, кто стремится создать искреннее произведение, обладающее портретным сходством с моделью, почти всегда сталкивается с сопротивлением избранного им писателя.

Если почти все писатели спешат принять приглашение выступить по телевидению, то чаще всего они стараются навязать автору передачи свое представление о литературном портрете. Некоторые писатели хотят, чтобы он был очень официальным. Есть среди них и такие, которые каждое слово произносят с подтекстом.

Другие, более многочисленные, чем можно было бы предположить, пожалуй, чересчур общительны. Врожденные актеры, избалованные успехом, они привыкли выступать по телевидению и заниматься саморекламой. Один из них диктовал мне: «Я приближаюсь к моему бюро, сажусь за него, делаю несколько записей в блокноте, печатаю несколько строк на пишущей машинке...» Другой хотел во что бы то ни стало показать свою жену в элегантном дезабилье. Можно не добавлять, что я не стал снимать ни одну из этих сцен.

Возникает весьма деликатная проблема подготовки вопросов, которые критик будет задавать писателю. Что бы ни говорили защитники импровизации, которые, кстати, никогда не импровизируют, эти вопросы должны быть предварительно составлены и тщательно продуманы. Хорошие ответы бывают только тогда, когда есть хорошие вопросы, а эти последние предполагают глубокое знание творчества писателя. Важно решить, нужно ли эти вопросы сообщить интервьюируемому писателю заранее. У меня возникали конфликты с многими литераторами, которые отстаивали свое право подумать над вопросами, а я отказывал им, чтобы сохранить в интервью непосредственность и естественность.

Решительным противником заранее подготовленных ответов меня сделал опыт. Если вы познакомили писателя со своими вопросами заранее, то из страха показаться недостаточно умным он выучивает свои ответы наизусть. Ничто не звучит с экрана более фальшиво, чем речь писателя, который читает как по книге, даже если он высказывает то, что думает, а это случается далеко не всегда, так как он боится показаться банальным. Телезритель, чувствуя фальшь, смеется или поворачивает ручку настройки.

Забавный случай у меня произошел с поэтом Жаном Тардьё. Когда я впервые задавал ему свои вопросы, он отвечал блистательно, вдохновенно, убедительно. На следующий день он попросил повторить интервью, так как он размышлял всю ночь и теперь его ответы должны стать намного лучше. Мы снова беседовали перед камерой, но на этот раз результат был катастрофическим — Тардьё нервничал, и все очарование непосредственности исчезло.

На телевидении, так же как и в прессе, критик должен, на мой взгляд, пользоваться полной свободой выражения и стиля.

Чаще, чем обычно думают, приходится сражаться с цензурой, более или менее скрытой, с властями всех рангов, с глупостью или с разного рода репрессиями. Вот так, например, был отвергнут сценарий одного телепортрета Лоуренса Даррелла. Точно так же не был после длительных дискуссий принят фильм о Гарсиа Лорке, над которым я долго работал.

Главная обязанность критика — это сохранять уважение к правде, интеллектуальную честность. Достаточно одного взмаха ножниц для того, чтобы показать интервьюируемое лицо в совершенно ином свете или придать противоположный смысл тому, что было сказано.

Один из законов телевидения состоит в том, чтобы непрерывно поддерживать внимание зрителей, а это значит, что всегда велико искушение меньше думать о правде, о соответствии действительности, чем об эффектности, неожиданности, внезапности произведенного впечатления. Стремясь достичь успеха фильма, часто забывают его основную тему, думая лишь о виртуозности: подбирают сенсационные кадры и те высказывания писателя, которые острее звучат, но полностью искажают дух всего, что было сказано.

Итак, критик должен все время помнить золотое правило скромности, помнить, что он лишь посредник между писателем и публикой и что от него ждут не блистательного стиля, а правдивого портрета.

Я говорю о золотом правиле скромности потому, что в этом жанре передач писатель и критик часто меняются ролями. Вместо того чтобы стушеваться и дать возможность высказаться писателю, с которым он беседует, критик сам занимает центральное место в передаче. Только его и видно, только его и слышно. Мне кажется, что обеспечивать себе таким образом легкий успех за счет писателя, которого он интервьюирует, недостойно настоящего критика.

И вот последнее соображение, которое послужит мне заключением. Я хотел бы убедить вас в том, что литературные портреты писателей представляют значительный интерес и создавать их нелегко. Я хотел бы, чтобы вы согласились со мной, что подготовку таких передач нельзя доверять кому угодно. Но, увы! Именно это чаще всего и происходит во всех странах. Вместо квалифицированных критиков администрация телевидения поручает подготовку телепортретов, так же как и многих других литературных передач, журналистам и репортерам самого широкого профиля, которые занимаются литературой лишь от случая к случаю.

Неудивительно, что они преподносят нам небрежные и поверхностные литературные портреты в перерыве между передачей о каком-нибудь велосипедном гонщике и репортажем о загрязнении атмосферы.

Я считаю (ведь являюсь же я членом синдиката критиков), что критики должны защищать свои права и требовать, чтобы литературные передачи поручались только специалистам.

ШРИНИВАСА АЙЕНГАР (Индия)

Судьбы критики в Индии

Пресса, радио и телевидение — эти распространенные средства массовой информации — обладают неограниченными возможностями распространять благо либо порок. Древо познания, увы, обречено давать плоды добра и зла, и одно часто выдается за другое.

Для чего существуют средства массовой коммуникации? Естественно, для передачи правдивых новостей и информации о текущих событиях, в том числе о явлениях литературы и искусства. Уже сам отбор новостей предполагает некоторую оценку, определенную точку зрения. Потребители хотят услышать авторитетные, ответственные, основанные на информированности мнения. Публика ждет, кроме того, развлечений. Действующие на коммерческой основе средства массовой коммуникации достаточно оснащены для того, чтобы подогревать и эксплуатировать естественную склонность людей к сильным ощущениям. Сообщения и репортажи преследуют цель создать эффект соучастия аудитории. Для этого используются последние достижения техники. Слуга превратился либо превращается в хозяина, даже в тирана. Потребитель близок к положению беспомощной жертвы ловких поставщиков средств массовой информации.

Сегодня возможна почти немедленная передача новостей и мнений. Расстояния не играют роли. Где бы ни происходили события, вы можете о них прочесть, услышать или даже увидеть их по телевидению. Это не только возможно, но и стало в нынешних условиях жизненной необходимостью, настоятельной потребностью.

Но Индия умудряется одновременно существовать во всех исторических эпохах,

от палеолита до ядерного века. Пока что телевидение имеется только в Дели, и даже там это предмет роскоши, новости передаются скудно. Другим индийским городам тоже сулят или грозят ввести телевидение. В недалеком будущем, вероятно, телевизионная сеть охватит всю страну, хотя едва ли проникнет в глухие углы, которые всегда решительно и успешно противостояли напору «цивилизации».

Довольно значительная часть населения Индии, возможно около 40%, либо неграмотна, либо едва умеет читать по складам. Далеко не каждому по карману приобрести даже самый дешевый транзисторный приемник. До сих пор сохранились сельские высокогорные районы, где люди живут так же, как жили их предки сотни лет либо тысячелетия назад. Даже в городах можно встретить людей, которые, казалось бы, находятся в самом пекле цивилизации и в то же время самым решительным образом существуют «вне ее».

И все-таки пресса и радио сейчас доступны большей части, если не большинству, индийского народа. Некоторые районы, например Керала, превосходят в этом отношении остальные. Города Бомбей, Калькутта, Мадрас, Дели, Бангалор, Хайдарабад, Лакхнау, Нагпур имеют собственные ежедневные газеты и радиостанции.

Пресса в Индии формально является свободной. Радиовещание, напротив, подчинено правительственному контролю и действует под эгидой министерства информации и радиовещания. В годы британского господства существовала четкая граница между так называемой англо-индийской прессой, в основном поддерживающей бюрократическую администрацию, и национально-патриотической печатью, выражавшей чаяния народа, его стремление к самоуправлению и независимости.

Теперь, после достижения независимости, эта демаркационная линия проходит между так называемой «монополистической печатью» и прессой, отстаивающей свою самостоятельность от капиталистических магнатов. Но правительства — как центральное, так и правительства штатов — имеют возможность в случае необходимости осуществлять определенный контроль над печатью с помощью различных принудительных мер.

Пресса и радио имеют права и обязанности, сбалансированные таким образом, чтобы сохранить атмосферу свободы. Пресса и радио призваны распространять новости и комментарии к ним, вызывать здоровое любопытство у публики, побуждать к пытливости и интеллектуальному спору, содействовать развитию общественной мысли, чтобы у народа возникало ощущение своей причастности к внутренним и международным делам.

Книги, авторы, литература приравниваются к новостям. Литература — это информация о былом, настоящем и будущем. Книги вызывают суждения, критику, разногласия. Литература — это надежное средство противостоять давлению среды и суетным побуждениям. Писатели — это наиболее восприимчивая часть общества, а их произведения — предметы интеллектуального и духовного потребления для нас и наших потомков. Каково отношение средств массовой коммуникации к книгам, авторам и литературе в целом?

Средства массовой коммуникации, перегруженные политикой и экономикой, сексом и насилием, лезущие из кожи вон, чтобы развлекать и возбуждать, передающие новости спорта, кино, биржи, сообщающие о студенческих волнениях, часто упускают из виду литературу, писателей, книги, за исключением случаев, когда автор либо его произведение подвергаются преследованию за порнографию, становясь таким образом на время сенсацией.

Специфика индийских проблем связана с бедностью, неграмотностью, а также многонациональным составом населения. Продолжает доминировать английский язык, хотя он и не пользуется престижем и популярностью, будучи языком чуждого правящего класса. И все же в 1968—1969 годах из 20 тысяч книг, изданных в Индии, почти 6,5 тысячи вышли на английском языке, а остальные поровну распределились между пятнадцатью или более того региональными языками и диалектами, такими как хинди, бенгали, маратхи, гуджарати, тамили, телугу, каннада, малаялам, ория, урду, пенджаби и др. Газеты и книги на английском языке по-прежнему пользуются спросом, но издательства на местных языках проявляют все возрастающую энергию, опираясь на массовую поддержку в своих штатах. И все-таки у нас нет «бестселлеров» среди книг, газет и журналов, как на Западе. Газеты на английском языке (в 1970 году) имели общий тираж, превосходящий 2 миллиона экземпляров, газеты на хинди — 1,3 миллиона, на малаялам — почти 1 миллион. В общей сложности издавалось 6483 газеты, из которых лишь 40 имели тираж свыше 100 тысяч экземпляров.

Индийское радио, являясь правительственным, страдает от особых трудностей. Оно пытается быть солидным, даже чопорным, достоверным, некоммерческим, официальным. Иногда в радиопередачах рецензируются новые книги. На это отводится не более пятнадцати минут в месяц. В одной передаче обычно рецензируют 3—4 книги. Иногда по радио передают интервью с писателями либо дискуссии по различным литературным проблемам. Региональные языки здесь имеют преимущество перед английским, который по-прежнему остается одним из двух официальных языков страны. И хотя индийская литература на английском языке количественно и возрастает, особого энтузиазма у аудитории она не вызывает.

Крупные, влиятельные газеты и еженедельники обычно имеют «литературную страницу», где помещаются обзоры новых книг. Мадрасская газета «Хинду» одно время издавала специальное приложение,

посвященное проблемам литературы и народного образования, но теперь оно слилось с обычным еженедельным приложением. Редактор приложения выступает и в роли литературного редактора. В результате литературный раздел еженедельника пребывает в плачевном состоянии.

Это еще один порочный круг, каких в нашей жизни множество. Издательское дело в Индии организовано из рук вон плохо, издатели не могут или не желают помещать рекламу новых книг в газетах. Газеты, не получая доходов от такой рекламы, в свою очередь, отводят все меньше места литературным рецензиям. Читатели не узнают, таким образом, о книжных новинках и, следовательно, не покупают их. Издатели не выручают денег от продажи книг, а значит, не могут тратиться на рекламу. Кто-то должен прорвать этот заколдованный круг, уже делаются кое-какие попытки в этом направлении, но пока они не дали желаемого результата.

Позвольте рассказать о моей собственной работе. Вот уже более сорока лет я рецензирую книги. Для меня это не способ зарабатывать на жизнь, а увлекательное хобби, которое сопутствует главному делу моей жизни — преподаванию и писательскому труду. В течение нескольких лет мои рецензии — всегда анонимные — печатались в «Хиндустан таймс». Меня не ограничивали в объеме, не ставили никаких условий, не давали никаких указаний. Мне платили из расчета 5 рупий за 100 страниц рецензируемого текста. Поэтому было выгоднее написать короткую рецензию на скучную книгу мемуаров либо толстенный роман, нежели на тоненький сборник стихов.

Несколько лет я был рецензентом мадрасской газеты «Хинду». И снова пользовался полной свободой в том, что касалось размера заметок, которые на сей раз печатались под моим именем. Некоторые из них по объему приближались к статье. На протяжении последних четырех лет я пишу рецензии для бангалорской газеты «Деккан геральд». И снова никаких ограничений. Я получаю некоторое вознаграждение, хотя и скромное, но покрывающее затраты на перепечатку и почтовые расходы.

В начале своей карьеры я печатался в небольших еженедельниках, пользующихся некоторым авторитетом благодаря политическому направлению газет, которым они принадлежали.

Быть может, мой опыт рецензента не является типичным для сложившейся в Индии ситуации. В конце концов, я зарабатывал на хлеб более надежным преподавательским трудом. Поэтому гонорары не слишком волновали меня. Иногда книги, которые присылались на рецензию, можно было оставлять себе. Но стоящих книг было мало. Во всяком случае, я мог бы их и сам приобрести. По моему убеждению, дело с рецензированием новых книг у нас в стране обстоит крайне плохо.

Авторы в Индии бедствуют. Издательское дело из-за своей неорганизованности отпугивает писателей, и они сами, по возможности, выступают в роли издателей собственных книг и книготорговцев.

Писатель обычно болезненно реагирует на критику и падок на лесть. Поскольку даже мягкая и доброжелательная критика вызывает обиду, то рецензии сводятся либо к пустому захваливанию, либо к жестокому, незаслуженному разносу. И в том, и в другом случае критика не выполняет своего назначения.

Когда рецензии подписываются авторами, в их содержании больше проявляется стремление критика к самоутверждению. Умничание вытесняет объективность, а предрассудки — критические оценки. Бывают и прекрасные исключения — критики, не кичащиеся своей ученостью, относящиеся к своему труду со всей ответственностью.

КЛАУС ЯРМАЦ (ГДР)

В широких дискуссиях

Литературной критике в Германской Демократической Республике свойственны особенности в постановке проблем и в методике их разработки, тесно связанные с новой социальной природой нашего социалистического общества.

Литература и литературная критика занимают важное место в общественной жизни социализма, они должны участвовать и участвуют в осуществлении целей социалистического гуманизма. Этим объясняется тот факт, что литература и литературная критика привлекают интерес общественности и постоянно находятся в центре дискуссий, в которых участвуют самые широкие круги населения, и не только те, кто традиционно интересуется литературой. Это существенная черта таких дискуссий. Все слои нашего общества, прежде всего рабочий класс, предъявляют свои требования к литературе и литературной критике. Отгородиться от этого важного общественного процесса значило бы

для литературной критики сослужить себе плохую службу, обречь самое себя на бесплодие. Литературные критики должны уйти с привычной протоптанной тропы и заинтересоваться прежде всего новым читателем, представлять его интересы, формулировать его нужды, его требования к литературе и на этой основе вырабатывать некоторые важные критерии для своих собственных критических выводов.

Исходным пунктом для литературной критики в нашем обществе должны стать принципы социалистического реализма. Для писателя, стоящего на позициях социалистического реализма, главное в работе — не эстетическое переживание само по себе, не углубление в собственное «я», а стремление поставить перед читателем общественно важные проблемы. Эстетическое наслаждение для социалистической литературы не изолировано от других сфер жизни. В то же время социалистическая литература требует от читателя активного отношения к искусству. Это тоже дает новую точку зрения, новый исходный пункт для определения критического метода. Литературная критика должна стать поборником того отношения к действительности, которого требует социалистический реализм, именно этот взгляд на исторический процесс должен полностью выявить новый эстетический критерий.

Развитие литературной критики, в том числе и ее методологии, было и остается связанным с общественными переменами, с вновь сложившимся характером отношений между литературой и обществом. В нашей литературной жизни получил развитие целый ряд форм прямого, непосредственного контакта между писателями и их читателями. Многие писатели сознательно стремятся к таким контактам; как во время работы над произведением, так и после публикации завершенного труда они ищут публичной дискуссии. Многие писатели заявляют, что непосредственный обмен мнениями с определенным кругом читателей оказывается чрезвычайно ценным для их литературного творчества. Это и понятно — ведь писатель встречается с читателем, суждения которого основаны на долгом и глубоком жизненном опыте, на «политехническом образовании», если воспользоваться выражением Вальтера Беньямина. Читатель и автор здесь союзники в том смысле, что оба непосредственно обмениваются мнениями по вопросам, которые произведение искусства ставит перед обществом.

С этим же связан второй фактор. Для многих членов нашего общества обсуждение старых и новых литературных произведений стало естественной составной частью их повседневной жизни. Это приводит к тому, что число людей, участвующих в широких дискуссиях о жизненно важных проблемах нового общества, о развитии литературы и искусства, постоянно растет.

Однако тот факт, что читатели, говоря о произведении искусства, выходят за рамки ограниченной дискуссии, в том числе и за рамки непосредственного обмена мнениями с писателями, делают свое мнение достоянием общественности, открывает перед профессиональной критикой новое и все более расширяющееся поле деятельности. Во время дискуссий о литературе и искусстве, которые проводят наши газеты и еженедельники, читатели из всех слоев населения пишут о своих впечатлениях от произведений искусства. Такая широкая, проводимая всеми средствами массовой информации литературная дискуссия представляет собой выражение новой литературной активности, которая в целом оказывает влияние на литературную критику. При этом заметны симптомы, которые свидетельствуют о преодолении односторонней ограниченности литературной критики, ориентировавшейся на определенный круг специалистов. Социалистическое общество стремится к тому, чтобы все большее число трудящихся развивало в себе способность критически судить об искусстве. Тем самым оно создает предпосылки для реализации требования о связи социалистического искусства с народом — и в то же время новые предпосылки для дальнейшего развития профессиональной литературной и художественной критики.

Это ни в коем случае не делает излишними профессиональные критические оценки. Ни тот факт, что сама литература решительно формирует новую способность к эстетическому наслаждению, ни то, что широкая литературная дискуссия становится важным фактором литературной жизни, не отменяет профессиональной критики. Именно новый характер взаимоотношений между литературой и обществом обусловливает деятельность компетентной литературной критики в собственном смысле слова.

Развитие литературы при социализме выходит за рамки того, что раньше воплощало представление о прогрессе искусства. Это вовсе не относится только или в первую очередь к новым находкам в области литературной формы. Литература, если она действительно связана с новой жизнью, сама ставит на обсуждение жизненно важные проблемы социалистической действительности, которые еще не попали в поле зрения других сфер духовной жизни. Опыт обсуждения таких значительных произведений, как романы Анны Зегерс «Решение» и «Доверие», как «Оле Бинкоп» Эрвина Штриттматтера и других, показал, что и при социализме нередко возникает расхождение между новым подходом, новой формой, которую приносит новое произведение, и той художественно-эстетической нормой, которая сложилась в общественном сознании. Подлинный прогресс в искусстве прокладывает себе дорогу не вдруг и не без духовной борьбы. Чтобы утвердить новые критерии, требуется разъяснительная работа, которая не может сводиться только к содружеству между художником и читателем.

В этом процессе ведущую, решающую роль скорее играет литературная критика. Следовательно, литературная критика в нашем обществе имеет будущее. Это особенно относится к литературной критике в средствах массовой информации. Именно такая, публицистическая, журналистская форма литературной критики имеет наиболее широкую аудиторию. Связь между этой формой критики и критикой научной представляет собой важную проблему, так как публицистическая критика нуждается в научном анализе как в исходной основе. Она не должна повторять того, что уже живет в общественном сознании, она прежде всего должна заботиться об эстетическом образовании всего населения. Не секрет, что писать короткие, но точные литературно-критические статьи для ежедневных газет — искусство особого рода. Им можно овладеть только в том случае, если литературная критика в широкой прессе не будет противопоставляться литературоведению. Одна из основных задач культурного развития в нашем обществе состоит в том, чтобы преодолеть противопоставление литературоведения и публицистической критики и на основе творческого сотрудничества найти путь к синтезу того и другого.

С этой точки зрения, важным является существование ежемесячного литературного приложения к нашей крупнейшей газете «Нойес Дойчланд». Здесь в кратких рецензиях представлены почти все новинки. Эти статьи читаются широким кругом людей, и, как показывают опросы, около 9—10% читателей при выборе книг ориентируются на рекомендации литературного приложения этой газеты. Если же принять во внимание то, что эти 10% оказывают влияние на еще больший круг людей, то уже один этот факт дает представление о возможностях профессиональной литературной критики.

С другой стороны, социалистическое общество, вовлекая все большее число трудящихся в литературные споры, создает все условия для роста литературно-критической активности и в то же время дает профессиональной критике новые возможности воздействия, ставит перед ней далеко идущие задачи. Современные средства массовой коммуникации в союзе с литературной критикой создают важную предпосылку для того, чтобы сделать реальным «общество литературы», о котором мечтал наш поэт Иоганнес Р. Бехер.

Культура и современность

Заметки на полях

ПИСАТЕЛИ В ПОИСКАХ ПЕРСОНАЖЕЙ...

Человек — увлекательный, захватывающий предмет исследования для современных врачей и антропологов, физиологов и психиатров, криминалистов, ученых и, конечно, писателей. Человек XX века. Кто он? Что он такое? Каков он? Мир его чувств, идеология и этико-эстетические концепции, общественно-политические отношения и взаимосвязь с историей — все это вот уже несколько месяцев активно обсуждается на страницах румынской прессы. В обсуждение втягивается все более широкий круг не только критиков и теоретиков, но и прозаиков, драматургов, поэтов. Тема дискуссии поистине необъятна, ибо предмет ее — человек и таинство его превращения в литературный персонаж. Форма дискуссии — ответ на один-единственный вопрос: «Каковы главные черты героя современной литературы?»

И вот как выглядят «коллективный ответ» участников дискуссии:

«Герой должен быть выразителем духа эпохи»;

«Герой должен отражать этику социализма»;

«Герой должен воплощать правду жизни»;

«Герой должен быть тождествен величию народных свершений»;

«Герой и его поступки должны служить гуманистическим идеалам».

Как и проведенная незадолго до этого дискуссия о социальном содержании литературы, дискуссия о герое еще раз показала, что сегодня главное направление развития румынской литературы — правдивое отражение действительности, социалистический реализм.

В ходе первой дискуссии критик и эстетик Ион Паскади в большой теоретической статье «Социальное и художественное в современном романе», опубликованной на страницах журнала «Лупта де класэ», подчеркнул, что ни одно значительное произведение литературы не может пройти мимо общих и специфических закономерностей развития общества, общественной жизни и социального поведения человека, его отношения к труду, современных тенденций развития брака и семьи, путей и средств совершенствования государственного управления и т. д. Это — не только проблемы марксистской социологии, но и достояние литературы.

«Я считаю, что критика не может оставаться равнодушной к волне намеренно асоциальных романов, отражающих незначительные темы или лишенных элементарных художественных достоинств,— пишет И. Паскади.— Стремительное размножение книжонок, освещенных ореолом лжеинтеллектуализма, подмена человека с его сложными проблемами биологическим индивидуумом с упрощенными реакциями, выставление напоказ духовного примитивизма — эти и подобные им явления могут только изумлять. К чести прозаиков следует отметить, что они сами почувствовали — даже раньше критиков — угрожающее прозе опасное положение, когда ошибки возводятся в ранг принципов, а легковесность, незначительность принимаются за показатель глубинного смысла...

Под рубрикой литературной критики на страницах многих журналов создан своеобразный жанр мягкого и бесхребетного разглагольствования вообще, а

ссылки на социальные стороны, на идейное содержание произведения встречаются в критике крайне редко.

Термин «социальное» очень долго—а возможно, и сейчас еще—поднимался узко и односторонне. Не ограничиваясь идеологическим слоем (который сам по себе чрезвычайно сложен и включает политический, философский и этический элементы), социальное подразумевает наличие психологического, антропологического и даже биографического слоев в произведении.

Попытка оторвать искусство от социального столь же догматична, как и существовавшие раньше тенденции сведения литературы к условиям, причинам, внешним предпосылкам и голому сюжету. В обоих случаях не учитывались как социальная природа произведения во всех его компонентах, так и человеческие параметры восприятия его читателей».

Содержание и уровень дискуссии о социальном в литературе определили характер и направление разговора о современном литературном герое.

Участники обеих дискуссий единодушно считают, что изображение действительности и человека социалистического общества невозможно без отражения социально-экономических корней этого бытия, социальной психологии людей, характера и особенностей формирования человеческого сознания.

«Литературный герой... немыслим без непосредственного соприкосновения с социальной проблематикой»,— заявил романист Александру Ивасюк в журнале «Лучафэрул».

Он убежден, что и литература, и ее герои не выдержат ценза художественности и идейной значимости, если они — будь то преднамеренно или без умысла, случайно или по легкомыслию и непониманию автора — асоциальны.

Вечным двигателем литературы являются, по мнению многих участников дискуссии о современном литературном герое, требования эпохи. В наше время, говорит писатель Семлер Ференц, отдается предпочтение такому творцу, который

«не только до конца раскрывает свое природное дарование, но и умеет одновременно постигать веления времени и истории...»

Человек и история — излюбленный предмет философско-литературных раздумий Ал. Ивасюка.

«На фоне истории, которая непосредственно влияет на человеческие судьбы, вырисовываются люди, ставшие литературными персонажами, героями или антигероями, теми, кто признает историю или не приемлет ее, кто предопределяет ее ход или по слабости своей целиком попадает под ее влияние. Столкновения и единство коллективной и личной судеб, обрисовка личной судьбы, оказавшейся под влиянием сил истории,— таковы сюжеты, которые можно передать через волнующие, страстные образы».

Показать в книгах героев нашего времени, достойнейших из достойных, коммунистов — нелегкая творческая задача, мечта и законный повод для гордости в случае удачи, считает Ал. Ивасюк.

«Мы не сможем оставить свидетельство о нашем времени,— пишет он,— если не будем говорить о лучших сынах нашей родины — о коммунистах, о партии, которая руководит нашей страной. Писатель обязан находиться в центре событий, уметь улавливать живые, характерные типы. Рабочие и коммунисты — вот герои нашего времени».

В центре внимания участников «круглого стола» оказалась также проблема писатель — жизненный герой — персонаж. Взаимоотношение писателя и героев, сближение или расхождение автора с персонажами, абсолютное отождествление или позиция «над героем», герой — плод авторского вымысла или герой, перенесенный в литературу прямо из жизни с документальной точностью,— вот далеко не полный перечень вопросов, вызвавших оживленные споры.

«Перевоплощение человека в литературного героя,— утверждает драматург Аурел Баранга,— не ведет к искажению его сути, а, напротив, представляет обобщение всего наиболее характерного для человеческой натуры и эпохи... Попытка создавать литературу без персонажей, без героев, без людей равнозначна бесполезному и упрямому стремлению называть цифру «7» четной...»

Большинство участников дискуссии согласилось с тем, что литературных героев порождают личный опыт, жизненные наблюдения, помноженные на мировосприятие, художническое сознание и писательский вымысел.

«Подлинный источник реализма, живой реальной действительности — это не мертвый, бездыханный кусок нашего опыта, а фантазия, сопричастность опыту

и способность к возрождению его. **Что не сопричастно душе, не может возродиться,** ибо творить искусство — не значит переносить реальные булыжники двора на страницы книги»,— иронически замечает в одной из своих статей Ал. Ивасюк.

Писатель Пауль Шустер пытается дать собственную иерархию, градацию героев жизни и литературы. Вот как она выглядит в его представлении:

«Герои — в самом положительном, торжественном понимании слова: безудержные смельчаки на войне, чемпионы в спорте, выдающиеся люди в науке, музыке и т. д.— это герои высшей категории».

Далее идет

«средняя категория героев ни войны, ни мира: это рыцари справедливости, мужественные и симпатичные люди...»

И, наконец, существует безвестный или «маленький» герой, который не жаждет ни трофеев, ни гласности, неизвестный герой, на котором лежит вся тяжесть борьбы.

«Безвестный героизм обыденной жизни,— пишет П. Шустер,— проявляется не в ярких поступках, а в последовательном поведении... Герой истории, который связал свою судьбу с чаяниями народа, достоин стать героем литературы. Но... литературные герои гораздо более многочисленны».

Поэтому П. Шустер считает, что

«термин «герой» следует заменить термином «персонаж» или «простой человек», сознательный и ответственный в своей конкретной деятельности. Токарь лично отвечает за свой станок, свою норму, свою семью; директор фабрики — за все фабричные станки, за всех рабочих и, в определенной степени, за все семьи».

Персонаж и его «связи» любопытно анализирует прозаик Вирджил Дуда:

«...Стержневой чертой литературного персонажа, придающей ему силу, полнокровность, жизненность, является его способность устанавливать «связи», контакты с окружающим миром и людьми, судить их поступки, мысли, воздействовать на них, привязываясь к одним, покидая других, будучи холодным, безразличным к третьим...

Главный персонаж книги, наиболее сложный и противоречивый, чей промах может привести к аннулированию художественной ценности всей книги,— это сам автор.

Коль скоро автор — не просто повествовательный механизм, персонажи его — составные части натуры, пропущенные сквозь призму его мировосприятия... среди которых действуют силы притяжения и отталкивания».

А вот как мыслит В. Дуда взаимосвязь писателя с собственными персонажами:

«Один персонаж дополняет его, другой обедняет, третий делает более выпуклым моральный или интеллектуальный облик, четвертый задает вопросы... персонажи обогащают бытие, созданное авторским воображением.

Будучи не элементами сухого доказательства, а живыми существами, которые дышат, действуют, мыслят, они изменяют автора, обязывают его порою к неожиданным даже для него самого откровениям, заставляют быть подозрительным или, напротив, восхищаться бесчисленной когортой теней, которая со временем начинает преследовать его».

Что это? Неуправляемые персонажи? Неподвластные автору герои? Не оказывается ли писатель при таком самоуправстве действующих лиц в роли заклинателя духов или живого человека, вызывающего души из царства мертвых?

Романист Корнелиу Штефанаке тоже считает, что только тот, кто в состоянии по-настоящему вжиться в свои персонажи, может надеяться создать реалистическое произведение:

«Автор — как многоликий Янус, сам выступает в роли всех персонажей книги, сам «играет» десятки и сотни ролей».

Но, в отличие от В. Дуды, его прежде всего волнует ответственность созданных автором персонажей.

«В «игру»,— пишет он,— мы вкладываем условия нашего бытия — как человека и писателя — и то влияние, которое мы оказываем на окружающих».

Какими должны быть сегодняшние литературные герои, что они должны делать, что говорить, есть ли у них шансы выжить или они скоропостижно скончаются и почему — такие вопросы, считает К. Штефанаке, волнуют сегодня каждого уважающего себя писателя.

Посторонний наблюдатель заметит, что в дискуссии не было разговора о герое-крестьянине (а ведь совсем недавно на эту тему вышла книга Марина Преды «Невозможное возвращение»), о национальном и интернациональном в облике современного героя, о неоднородности его этических и эстетических чувств, об извечных человеческих темах любви, смерти, войны и мира, гранях забвения, мере прощения и т. д. Да мало ли еще значительных и интересных проблем, связанных с героем нашего времени? Однако стоит ли проявлять нетерпение? Дискуссия не окончена. Значит, разговор продолжается.

Л. ДОЛГОШЕВА

И ВСЕ-ТАКИ РЕАЛИЗМ!

Ощущение неблагополучия в литературе, кризиса, о котором не перестают говорить на Западе и который объясняют самыми разными причинами: засилием средств массовой информации, злоупотреблениями издательских монополий, «диктатурой бестселлеров», наконец, общим кризисом буржуазной культуры,— заставляет многих литераторов все чаще обращать свои взоры к реализму. Неоднократно похороненный «авангардистами» разного толка, третировавшийся как «буржуазный» «ультралевыми», он единственный подтвердил свою жизнеспособность, сохранил и обогатил свою систему ценностей. Бесчисленные школы и школки рождались и умирали, иногда осуществив смелую и небесполезную разведку, иногда же не оставив после себя ничего, кроме пены шумных деклараций,— могучий поток реализма принимал в себя разнородные ручейки, усваивая все ценное — и оставаясь самим собой.

Дискуссии о «смерти реализма» (или о «смерти романа» и т. п.) при всем своем эмоциональном накале носили порой до странности умозрительный характер. Как «авангардистские», так и «ультралевые» теоретики конструировали свои выводы, исходя больше из своих же общих предпосылок, чем из живого опыта литературы; они словно не замечали ни имен, ни книг писателей-реалистов, ни основательного их успеха у читателей — возможно, искренне убежденные, что литература не может развиваться иначе, как в соответствии с их собственными теориями.

Сейчас, похоже, наступает пора переоценки многих ценностей. Несостоятельность антиреалистических, прежде всего авангардистских, концепций становится все более очевидной. А главное, практика отнюдь не подтверждает, что именно такого рода искусство отвечает современному состоянию общества и потребностям времени. Скорее наоборот.

> «Авангардизм означает по существу бегство от проблем нашего общества с их диалектической напряженностью,— пишет в журнале «Уомини и либри» известный итальянский критик Антонио Сакка́.— Наверно, сейчас возникает возможность радикального поворота к реализму, который использовал бы прошлое, но который решительно и мужественно направил бы свои главные усилия на то, чтобы верно уловить наше настоящее и обратиться к будущему».

Мысль Сакка поддержали многие итальянские литераторы, принявшие участие в дискуссии о реализме, организованной журналом «Уомини и либри». Существенным было то, что исходили они при этом не из отвлеченных концепций, а из реального состояния литературных дел, из анализа творческих результатов. Как заметил критик Марио Миччинези, сами разговоры о кризисе романа вызваны отчасти тем, что

> «качество или, вернее, отсутствие качества литературной продукции, которую принято определять как «бегство от реальности», а также литературной продукции авангардистов дает основания для пессимизма». По его мнению, «надо отказаться от легковесной и бесполезно-циничной позы людей, которые играют в смерть старой гуманистической души... Пришло время серьезно задуматься о новом гуманизме и новом человеке».

Многие участники дискуссии отвергают как ложные и неправомерные ссылки авангардистов на изменившийся характер жизни, на новые условия существования современного человека, якобы недоступные реалистическому анализу, и считают, что, напротив, именно сейчас особенно велика потребность в таком анализе.

> «Нельзя во всем винить общество потребления, средства массовой коммуникации и вообще развитие промышленности,— заявляет критик Вальтер Мауро,— забывая о том, что все эти явления способствовали формированию нового измерения человека. Сейчас возникли и существуют и новые чувства, и тревога, и отчаяние, и все это выплескивается из прежних экзистенциалистских рамок».

Мауро считает, что надо исходить именно из честной констатации всех этих фактов и тогда возникнут предпосылки «новой реалистической прозы», которая отражала бы сложную проблематику нашего времени.

Если авангардизм представляет собой бегство от реальности и при всей своей видимой смелости, в сущности, трусливый уход от действительных сложностей жизни, то экстремистское, негативное отношение к реализму (а то и к искусству вообще) политически активных «новых левых», напротив, было парадоксально связано с нетерпеливым стремлением как можно более непосредственно вмешаться в ход событий. Из многих функций искусства (эстетической, познавательной и т. д.) их теоретики выделили и абсолютизировали одну: функцию прямого воздействия на читателя или зрителя, причем воздействия почти исключительно политического. Сложный, диалектически-опосредованный характер этого воздействия ими игнорировался. Традиционно-реалистическая литература представлялась им слишком условной, вялой, неэффективной.

«Парадоксальным образом,— пишет в западногерманском журнале «Кюрбискерн» критик Дагмар Плёц,— возросшая политизация обусловила отказ от социально-критической прозы и лирики; это выразилось, с одной стороны, в недоверии к буржуазному роману, с другой — привело к поспешному разочарованию в возможностях воздействия литературы».

Слабость этой концепции, как и авангардистских теорий, была в ее умозрительности; однако она оказалась соблазнительной и долгое время производила впечатление на многих искренних и серьезных писателей. Впрочем, не обошлось тут и без оглядки на моду, без боязни «отстать от века». Подчиняясь диктату определенного рода критики, пишет в том же «Кюрбискерне» редактор журнала Фридрих Хитцер, «левая» литература заранее отказывалась от повествования: оно объявлялось старомодным.

Серия статей, опубликованных на страницах «Кюрбискерна», подтверждает отмеченную уже тенденцию к переоценке некоторых абстрактных и чересчур категоричных концепций. В значительной степени это объясняется тем, что так называемая «агитационная» литература, противопоставленная якобы «недейственной» реалистической литературе, довольно скоро обнаружила свою несостоятельность.

«В начале движения агитпропа,— пишет в журнале Уве Тимм,— лежал преувеличенный оптимизм — надежда добиться революционного преобразования общества с помощью литературы (результат революционного нетерпения буржуазных литераторов)».

«Мы еще тогда заявили, что литература и искусство необходимы,— напоминает Фридрих Хитцер.— Мы полемизировали с кокетливым желанием улечься на смертный одр и тем самым капитулировать перед буржуазией... Лозунг «революция вместо литературы» формулирует ложную альтернативу».

Хотя главным для этого течения было влияние на массы, широкого читателя такого рода литература не завоевала. По замечанию Уве Тимма, она по существу ориентировалась на тех, кто не нуждался в агитации; к тем же, кто еще не является «социалистом» или «сочувствующим», она часто не находит ключика, да и слишком мало заботится об этом.

Неудовлетворенность состоянием определенной части «левой» литературы заставляет искать выхода на пути к реализму.

«Нам нужна литература, соответствующая современной действительности в ее исторических связях,— заявляет Ф. Хитцер.— Рифмованных или нерифмованных деклараций политических статей уже недостаточно... Реалистическая литература требует новых чувств. Между тем большая часть нынешней передовой литературы эмоционально бедна. Чувства спрятаны. Авторское «я» отгорожено валом цитат, лозунгов, ассоциаций. Почти нет персонажей, действующих лиц».

Отсутствие в произведениях «агитационной» литературы человека — не схемы, а живого, полнокровного, разностороннего — осознается многими как, пожалуй, главный ее недостаток. Особенно существенной при этом представляется потребность в положительном герое.

«Нужно вновь отважиться показать положительного героя,— пишет Д. Плёц.— «Человек», «чувство» и т. п., то, чем до поры до времени пренебрегала политическая литература, заслужив упрек в «стерильности», не должны исчезать. Однако это должен быть не только чувствующий, но и мыслящий человек».

Ф. Хитцер приводит в своей статье слова Маркса, которые последнее время часто цитируются прогрессивными критиками: «Человек присваивает себе свою всестороннюю сущность всесторонним образом, т. е. как целостный человек. Каждое из его человеческих отношений к миру — зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь — словом, все органы его индивидуальности... являются в своем предметном отношении... присвоением человеческой действительности» [1].

«Искусство как боевая сила нуждается в полном арсенале средств»,— заключает Ф. Хитцер.

[1] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I, М., 1967, стр. 221.

Здесь, правда, приходится заметить, что это требование полноты порой толкуется авторами «Кюрбискерна» слишком прагматично. Говоря о литературе, пользующейся успехом у читателя, журнал называет не только реалистическую литературу, но и «то, что принимают за реализм». Речь идет о так называемой «массовой литературе», которая подделывается под реалистическую, эксплуатируя подлинные потребности и надежды читателя. Подбор героев (либо знакомых по повседневной жизни — медсестра, полицейский, секретарша, либо занимающих воображение — тайный агент, кинозвезда, президент), характер конфликтов, изображение чувств — все здесь ориентировано на реальные интересы читателя с циничным и нескрываемым намерением: компенсировать эрзац-переживаниями бедность его собственной жизни.

> «Массовая литературная продукция,— пишет Ф. Хитцер,— содержит основные элементы изображения человеческих отношений, которые создают видимость связи с реальной жизнью... Таким образом, основные элементы изображения здесь состоят в поставленной на голову действительности, в «реализме наизнанку»; такая литература вредна прежде всего потому, что сбивает с толку и деморализует человеческую фантазию».

Однако тот факт, что она пользуется популярностью и оказывает несомненное воздействие на читателя, представляется слишком важным для некоторых авторов «Кюрбискерна». Так, рассуждая о расширении сферы влияния «левой» литературы, Хитцер обращается к опыту прежде всего именно этих массовых серий — и ставит довольно неожиданный вопрос:

> «Можно ли перестроить этот эстетический механизм, поставив его на службу демократическому и социалистическому содержанию? По-моему, мы не должны отдавать массовую литературу на откуп реакции».

Правда, Хитцер тут же делает оговорку о возможных издержках такой практики, уточняет, что гораздо важней «эксперимента с тривиальной литературой на политической основе» была бы попытка использовать способности и навыки авторов «массовых серий».

> «Их работа столь же скучна и изматывающа, как труд рабочего у конвейера. В рамках профсоюзной солидарности можно было бы установить контакты, которые при известных обстоятельствах побудили бы мастеров «холодной литературы» взяться за прогрессивные тексты. Речь идет не о новом использовании формы, а об усвоении и создании прогрессивной литературы».

Увы, оговорка не столько проясняет мысль, сколько делает ее еще более путаной. Понятная и оправданная забота о завоевании массового читателя сама по себе не может быть определяющей для писателя. Жаль, что, заговорив о перспективах западногерманской литературы, авторы статей в «Кюрбискерне» уделили больше внимания «серийным» поделкам, чем конкретному рассмотрению подлинно значительных реалистических произведений.

Вообще иногда создается впечатление, что участники обеих упомянутых дискуссий, ориентируясь на реализм, сами все еще отчасти находятся под гипнозом опровергаемых ими же фраз о его «устарелости». Критическая часть их выступлений оказывается убедительнее, чем позитивная программа.

Так, некоторые итальянские литераторы, не найдя достойных внимания примеров в современной реалистической литературе, предлагают в качестве перспективной программы некую новую абстракцию — культуру «фантастико-научную».

Теоретическое обоснование необходимости перехода к такой культуре дает Вальтер Мауро, заявивший вслед за Сакка, что протестовать против окружающей действительности, исходя из чисто гуманитарных позиций, недостаточно и неверно — «нужна новая идеология, находящаяся на уровне науки». Эту мысль развивает в своей статье Марио Миччинези.

> «Должны исчезнуть,— пишет он,— и в некотором смысле уже исчезли определенный тип искусства и определенный тип культуры, присущие обществу, которое агонизирует и в то же время думает, что все еще может навязывать свои прогнившие истины миру. Этот мир (отчасти благодаря всем новейшим средствам массовой коммуникации) осознает свою сущность и создает новые структуры, соответствующие его новому сознанию».

И, наконец, известный писатель старшего поколения, один из «отцов» неореализма, Карло Бернари, конкретизирует эти несколько абстрактные и туманные соображения. Он пишет о большом и старом споре между двумя культурами: гуманистической и научной. Вот тут-то и возникает тезис о «третьей» культуре, которую Бернари называет «фантастико-научной» и которая, по его мнению, наступает на обе другие культуры.

Что же это за новая загадочная культура — и так ли она нова и загадочна? Бернари далее уточняет свой тезис, выделяя в рамках этой культуры «фантастико-

научную» литературу, уверенную в своих возможностях, опирающуюся на то, что она выдает за научную основу, гордящуюся своим рационализмом, как бы обращенным в будущее.

> «Эта фантастико-научная литература,— пишет он,— впитывает в себя — беря их из традиционной литературы — мифологический заряд легенды и утопическую суть философской сказки наряду с рационалистической четкостью науки и оптимизмом технологии».

Именно этой литературе, способной стать «культурной философией самого высшего уровня», и принадлежит, по мысли Бернари, будущее.

Но невольно возникает вопрос: не идет ли здесь речь об обычной, хорошо всем известной научно-фантастической литературе? Все сказанное Бернари (правда, лишь в идеале, редко достигаемом) вполне можно отнести к ней. Однако отстаивать право научной фантастики на существование значит ломиться в открытую дверь. Объявлять же научную фантастику единственно достойным и имеющим перспективы на будущее видом литературы — по меньшей мере сомнительно. Ни Бернари, ни другие авторы, ратовавшие за новую литературу, не основывали свои доказательства на анализе конкретных произведений итальянской или мировой научной фантастики. Это и понятно. Любое упомянутое заглавие или имя сделало бы шатким утверждение о каком-то особом, решающем преимуществе именно этого жанра. Кроме того, стало бы очевидным, что жанр этот может развиваться как в русле реализма, так и вне его.

И все же, несмотря на спорность некоторых положений, обе дискуссии — и итальянская и западногерманская — недвусмысленно свидетельствуют об определенной и все более отчетливой ориентации многих западных литераторов на реалистическое, социально значимое отображение жизни во всей ее полноте и сложности.

В. ЛЕБЕДЕВ

«СОФИСТИЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ»

(О НЕКОТОРЫХ ВЫСОКОНАУЧНЫХ ПОПЫТКАХ ДОКАЗАТЬ НЕДОКАЗУЕМОЕ)

В библиотеке монастыря св. Викто́ра, с которой усердно знакомился юный Пантагрюэль, король дипсодов, сын великого Гаргантюа, наряду с выдающимися трудами «Улитка рифмачей», «Опыты алхимериков», «О прорехах на вздоре» почетное место занимало исследование «Софистические забавы», поражавшие читателей глубиной искажения истины. Магистр Алькофрибакс Назье, извлекатель квинтэссенции (известный в миру как Франсуа Рабле), рассказав о содержании библиотеки святого Виктора, не оставил сколько-нибудь подробного описания достоинств этой монографической работы. Однако последующая история науки дает достаточно материала, чтобы составить о ней необходимое представление. «Софистическими забавами» занимались немалочисленные представители науки и до Рабле и после него. До сих пор такие «забавы» различного типа процветают на периферии большой науки, паразитируя на ее достижениях и компрометируя ее в глазах общественности.

Сегодня, когда наука вышла из стен скромных университетских лабораторий и стала огромной общественной и производительной силой, «софистические забавники» — уже не одиночки. Это целая социальная группа со своей сложной, дифференцированной структурой. Среди них встречаются люди, по ошибке подавшиеся в науку. Их забавы — результат честных заблуждений, попытки играть на скрипке, пролистав самоучитель.

Особое место занимают спекулянты на науке. Это люди, для которых наука — модный бизнес, обеспечивающий высокий социальный статус и приличную оплату. Если бы торговля пивом оценивалась обществом столь же лестно, они бы с большим удовольствием стали у крана, из которого поступает не только положенная жидкость, но и прибыльная пена.

Третий вид «забавников» — самый сложный. Его образуют лица, которые действительно многое значат в своей конкретной науке. То, что они делают как профессионалы, не вызывает никаких сомнений. «Софистические забавы» начинаются тогда, когда, пресытившись признанием и славой на своем научном участке, они, соблазненные реальной возможностью великих открытий на стыках науки, совершают разбойничьи набеги в соседние сферы. Подобные набеги таят в себе огромную опасность. Сочетание полного незнания предмета с огромным профессиональным апломбом, предельный дилетантизм, прикрытый действительно заслуженным научным авторитетом, создают взрывчатую смесь большой разрушительной силы. Детонация этой смеси наносит невосполнимый ущерб как самим зачинщикам набега, так и науке в целом.

Предложенная типология не претендует на полноту и всесторонность оценки ситуации, сложившейся в буржуазной науке. Она лишь подводит к основной теме нашего разговора, в центре которого будут находиться «софистические забавы» нескольких представителей третьего вида — забавы, которые при ближайшем рассмотрении оказываются далеко не забавными. Речь пойдет о попытке некоторых западных ученых гальванизировать идею биологического обоснования неравенства людей, социальных групп и народов.

Чтобы облегчить читателю понимание сути спора, кратко напомним об истории вопроса. Персональное, социальное и национальное неравенство является, как известно, характерной чертой человеческого общества на протяжении всего его развития. Это обстоятельство привлекло к себе внимание социальной, философской мысли со времен Сократа и Платона. С течением времени в подходе к этой проблеме выкристаллизовались две диаметрально различные трактовки. Первая исходила из того, что неравенство представляет собой неотъемлемое свойство человеческого существования, необходимое для функционирования общественного организма. Сответственно оно трактовалось как позитивный фактор. Согласно второй трактовке, неравенство — это фактор, тормозящий и искажающий общественное развитие, отрицательное явление, которое должно и может быть преодолено по мере общественного прогресса. Для марксизма-ленинизма неравенство есть продукт социального развития на определенном этапе истории человечества. В основе этого явления лежат как социальные, так и биологические причины. Однако тот вид неравенства, с которым сталкивалось человечество на протяжении предыдущей истории, обусловлен преимущественно социальными факторами. И его преодоление связано прежде всего с изменением социальных условий. В результате неравенство потеряет свое социальное содержание, а его биологическая подоснова превратится в базу для развития многообразия проявлений человеческой личности.

Уже с давних пор различие в оценке феномена неравенства знаменовало собой демаркационную черту, отделяющую сторонников тирании или олигархии от демократов, консерваторов от прогрессистов, защитников отживших порядков от революционеров.

В наше время в роли апологетов неравенства выступили фашисты. В фашистском преломлении апологетика неравенства индивидов, социальных групп и народов приобрела форму проповеди крайних форм расизма, «биологического превосходства» немецкого народа, его исторического призвания осуществлять господство над всем миром. В практической политике это нашло отражение в захватнических войнах, геноциде и лагерях смерти.

Все это достаточно известные вещи. Менее известно то, что спустя немногое время после разгрома фашизма апологеты неравенства, поставлявшие ему аргументы, вновь заявили о себе, пусть не громко, но достаточно определенно.

Несколько лет тому назад среди западных социологов возникла острая дискуссия, связанная с выступлением двух известных американских специалистов по теории стратификации (социального деления общества)—Кингсли Дэвиса и Уилберта Мура. Пытаясь объяснить и, более того, оправдать необходимость неравенства в любой социальной системе, Дэвис и Мур сформулировали следующие основные тезисы:

1. Некоторые виды деятельности в обществе функционально более важны, чем другие, поскольку для них требуются специальные навыки. Только небольшое число индивидов обладает необходимыми для этого способностями.

2. Превращение способностей в навыки требует некоторого периода обучения, во время которого приходится кое-чем жертвовать. Чтобы у талантливых людей был стимул нести эти жертвы и овладевать знаниями, они должны знать, что в будущем их ждут привилегии в виде непропорционального доступа к дефицитным и необходимым благам, в виде особых прав и льгот.

3. Неравный доступ к главным видам вознаграждения приводит к тому, что различные социальные группы пользуются неодинаковым престижем и уважением. Именно престиж и уважение вместе с правами и преимуществами создают закрепленное общественными институтами социальное неравенство.

На основании всего этого делался вывод, что социальное неравенство между различными группами позитивно и неизбежно.

Нетрудно заметить, что идея биологической основы социальных различий сформулирована Дэвисом и Муром весьма осторожно, с учетом широко распространенного даже среди буржуазных социологов негативного отношения к теориям, в той или иной форме близким расизму. Но и в этом виде она вызвала резкую критику, причем далеко не только у ученых, занимающих прогрессивные позиции.

В такой обстановке и занялся «софистическими забавами» крупный генетик, ученый с мировым именем К. Д. Дарлингтон.

Задачу, решению которой он посвятил себя, действуя в совершенно чуждой для него научной сфере, вряд ли можно назвать скромной.

> «Вооруженный новыми средствами исследования,— формулирует он эту задачу в статье «Генетика и общество. Ответ ученого», опубликованной в английском журнале «Энкаунтер»,— я счел, наконец, технически возможным попытаться интерпретировать историю в терминах биологии».

Нельзя сказать, что, вступая на новую стезю, Дарлингтон не отдавал себе отчета в том, что он занимает тем самым определенную не только научную, но и общественно-политическую позицию. Прочтя кой-какую литературу по теме, он имел некоторое представление о дискуссии по поводу причин и оценки неравенства, в которую счел себя вправе вмешаться.

Об этом свидетельствует его откровенная ставка на общественный скандал, которую он излагает следующими словами:

«Работая над книгой «Эволюция человека и общества», я вспоминал то раздражение и даже гнев, которые вызывали у ученых критиков мои прежние работы: я нарушил установленные правила. Я предполагал, что моя новая книга нарушит еще больше правил и вызовет еще большее раздражение».

Более того, зная, с какой стороны будет вестись критика, и пытаясь по возможности предварить ее, Дарлингтон заранее нарисовал схематический образ некоего абстрактного прогрессиста, выразив ему свое решительное неодобрение.

«Я размышляю,— пишет он,— о проблеме «представителя прогресса», которая нависла сегодня над нашей социологической мыслью как на Западе, так и на Востоке. Его можно узнать не по тому, что он называет себя «прогрессивным», а по привычке характеризовать инакомыслящих «реакционерами».

При всем своем недоброжелательстве к изображенному им «представителю прогресса» Дарлингтон не хочет признать себя реакционером. В его понимании реакционер — это тот, «кто отрицает желательность перемен и, таким образом, возможность прогресса». Сам же он не возражает против перемен, хотя, как следует из его работ, посвященных общественному развитию, понимает их весьма своеобразно.

Насколько можно судить, ключ ко всему историческому развитию Дарлингтон видит в генетических пружинах развития человеческой культуры. Свою аргументацию он апробирует на еще одном манекене, которого он именует — «все социологи».

«Все социологи, будь то коммунисты, буржуа, христиане, атеисты или просто либералы,— заявляет он,— придерживаются сейчас единой догмы, столь непререкаемой, что она не требует повторения. Но я повторю ее. Социологи считают, что поведение и верования всех человеческих обществ определяются, обуславливаются и передаются через так называемую культуру. Эта культура есть продукт «психо-социальной» эволюции... Она независима от расового, наследственного или генетического характера данных народов. Подвергать эту догму сомнению значит проповедовать нетерпимость и даже «расизм». Наоборот, считается, что генетически все народы в равной степени наделены культурными возможностями. Все люди могут научиться всему, если им будут предоставлены необходимые возможности. От природы все одинаково благородны, добры и умны. Народы,— иронизирует далее Дарлингтон,— различаются лишь с точки зрения культур, которые, плавая в воздухе, снисходили на человечество, распределяясь по равноценным друг другу в умственном и духовном отношении этническим группам. Это происходило при определенных обстоятельствах, которые могут быть раскрыты впоследствии, но о которых сейчас не нужно спрашивать. Пока что мы должны верить, что биологические процессы наследственности, изменчивости и эволюции уже давно приостановлены и поэтому различные культуры, существующие сегодня, могли развиться в соответствии со своими собственными психо-социальными процессами. И это наше дело (или дело ЮНЕСКО) смешивать или отшлифовывать эти культуры, отливая их в однородные матрицы нового и совершенного мирового порядка».

Трудно сказать, с какого образца срисовал свой манекен Дарлингтон, компилируя столь одностороннюю и упрощенную систему взглядов. Во всяком случае, очевидно, что с марксистской точкой зрения на затронутые проблемы он не знакомился. Да и немарксистская прогрессивная мысль изложена им крайне карикатурно.

Но главное в данном случае не в этом. Гораздо интересней выяснить, какую же систему взглядов он пытается противопоставить своим оппонентам. Обвиняя сваленных им в кучу «социологов» в том, что они не сумели поставить вопрос, к а к возникли различные культуры, Дарлингтон оповещает всех, что сам он не только поставил этот вопрос, но и сумел дать на него исчерпывающий ответ.

«Наш опыт,— читаем мы,— показал, что, во-первых, одни индивиды в любом обществе способны изобретать или совершать открытия, а другие нет. Он продемонстрировал, во-вторых, что одни индивиды могут научиться копировать, имитировать или воспроизводить то, что уже было изобретено, а другие нет. И он показал, наконец, что между этими двумя классами существует разница — врожденная и неизменная, так как способность мыслить не одинакова и зависит от структуры мозга, заданной с рождения Именно эта разница и является тем крупным генетическим компонентом, который подвержен действию наследственности и перегруппировке. Это именно тот компонент, на основе которого различаются все индивиды, все родовые группы, классы и расы.

Таким образом,— продолжает Дарлингтон,— я считаю, что культура была создана отдельными индивидами и сохранена или утрачена определенными линиями их преемников. Когда поэтому встречаются два разных народа, судьба их культур зависит, на мой взгляд, от наличия, отсутствия или масштабов скрещивания и перегруппировки этих двух народов в целом или же определенных их классов».

То есть речь идет вовсе не о том, чтобы при анализе социальных процессов учитывать биологический, наследственный фактор. На сложное общественное развитие влияет множество переменных, и подчеркивание биологического элемента, учитывая, что за перо взялся генетик, можно было бы считать в какой-то мере уместным. Нет! «Генетический мессия», призванный пересмотреть историю мира, не согласен на компромиссы. Для истории человечества, его культуры, его социальных и политических институтов нет бога, кроме наследственности, и Дарлингтон пророк ее.

Правда, открытая отмычкой Дарлингтона, эта история выглядит весьма забавно, особенно для специалистов. Например, различия в культурах Европы и Индии Дарлингтон объясняет следующим образом:

«Каждый раз, когда происходили значительные переселения и над Европой прокатывались волны завоевателей, за ними следовало смешение. И хотя эта гибридизация всегда была в расовом и социальном отношении дискриминационной, она была достаточно глубока и стремительна, чтобы создать что-то новое и уничтожить старое. Таким образом, культуры усложнялись и различия между ними возрастали.

Напротив, в Индии из-за цветного барьера или апартеида, усиленного законами браминов, миграции и завоевания сопровождались минимальной гибридизацией. Несомненно, браминам удалось, завоевав Индию, править ею без войн и гибридизации. Оперев религию на касту, а касту на цвет кожи, они разделили страну. Но тем самым они, естественно, объединили ее; они сохранили свою расу и ее господство; они сохранили свою культуру, всю культуру целиком в нетронутом виде, а это означало застой».

Разбор одних лишь фактических ошибок, содержащихся в этом глубокомысленном абзаце, дал бы материал на целую диссертацию.

В аналогичном духе излагает автор историю возвышения и падения Афин, Спарты, Венеции.

Не менее поразительные результаты дает «генетический принцип», перенесенный на социальные отношения в обществе. В трактовке социальной структуры Дарлингтон оказывается на позициях, расположенных правее самых консервативных буржуазных социологов-профессионалов. Он с восторгом подхватывает утверждение столетней давности относительно того, что в любом обществе имеется лишь два класса: накопителей и расточителей, и пытается проиллюстрировать его на примере английских рабочих, объясняя «их расточительностью» и кризис национального платежного баланса, и неустойчивость фунта, и «неясность общей национальной перспективы».

«Существуют,— пишет он,— различия в поведении квалифицированных классов, которые стараются тратить меньше, чем зарабатывать, и неквалифицированных, которые стремятся больше потратить, чем зарабатывают. Вот та разница, которая разделяет классы во всех стратифицированных обществах. Это разница между теми, кто умнее, бережливее и аккуратнее, и теми, кто менее бережлив, рассудителен и аккуратен. Это разница между теми, кто закрывает ворота, пройдя через них, и теми, кто этого не делает. Потому что всегда будут такие, кто обладает слишком большим чувством ответственности, и такие, кто вообще не знает, что это такое».

Имея в виду ответственность ученого за то, что он пишет, последнюю фразу, в отличие от того, что сказано выше, можно принять без всяких поправок.

Деление общества на пай-мальчиков и шалопаев, которое предлагает автор, по его мнению, также имеет генетические корни.

«И в этой разнице,— читаем мы,— присутствует сильный генетический элемент. Она проистекает из общего селекционного движения, которое всегда управляло эволюцией общественных классов. Ее историю можно проследить на фоне истории собственности и бережливости вплоть до ее истоков, таящихся в зерновом хозяйстве. Ибо дальнозоркость, бережливость и аккуратность человека, который впервые сохранил зерно до следующего урожая, были условием выживания его потомков среди всех поколений».

Завершая панегирик самому себе и книге, в которой изложены его историко-социологические взгляды, Дарлингтон утверждает, что во имя спокойствия умов он сказал читателям лишь часть правды. Жаждущим испить источник истины до конца рекомендуется подождать. Как выражается автор, «во время этого ожидания им есть о чем подумать». Впрочем, эта рекомендация может быть адресована и самому Дарлингтону.

Могут сказать, что Дарлингтон — одиночка, не отражающий магистральной линии

развития западной науки. В какой-то степени это верно. Массовых набегов такого рода пока не происходило. Но кроме него на Западе имеются и другие, проповедующие подобные взгляды. А совокупность одиночек — это качественно нечто иное.

Почти одновременно со статьей Дарлингтона в американском журнале «Атлантик» появилось обширное итоговое сообщение Ричарда Херренштейна об исследованиях интеллектуального уровня, проведенных под его руководством. Примененные им методика и техника, насколько можно судить, вполне профессиональны. Результаты исследования, свидетельствующие о различном интеллектуальном уровне индивидов, представляющих разные социальные группы, также правомерны, если не банальны. Зато «философско-социологическая» надстройка над полученным материалом вполне на уровне «софистической забавы».

Свои выводы и оценки Херренштейн формулирует в виде своеобразного силлогизма, который полностью воспроизводится ниже:

«1. Если различие интеллектуального уровня является наследственным, и
2. если этот уровень требуется для успеха, и
3. если доход и престиж зависят от успеха, то
4. в таком случае социальное положение, как результат дохода и престижа, будет в какой-то степени основано на наследственных различиях между людьми».

Как мы видим, у Херренштейна нет такого глобального замаха, как у Дарлингтона. Да и силлогизм свой он формулирует гораздо скромнее. Определенную роль в этом, видимо, сыграло то, что поле, на котором он оказался, все-таки ближе к его родному научному дому. Но это никак не уменьшает опасности его взглядов. Поскольку автор считает «доказанным», что «различие в интеллектуальном развитии — фактор наследственный», поскольку для него бесспорны и важность интеллектуального уровня для достижения успеха, и неотъемлемая зависимость от успеха дохода и престижа, вывод из силлогизма оказывается однозначным. Социальное неравенство, с точки зрения автора, неизбежно. Более того, по мнению Херренштейна, современный мир уже живет в условиях унаследованного кастового деления.

«Есть признаки, указывающие на то,— пишет он,— что в будущем это деление скорее усилится, нежели ослабнет.

Чем сильнее наследственность, тем ближе человечество подходит к образованию строго кастовой общественной системы, когда семьи из поколения в поколение сохраняют свое место на социальной лестнице, ибо в основных чертах дети подобны своим родителям. Для каждого класса обеспечена биологическая определенность, и если появляется необычный «выродок» — более или, наоборот, менее способный, чем его близкие родичи,—то он быстро подымется над своей семьей или же упадет вниз и займет свое место среди биологически и социально равных себе».

Читателям автор предлагает не возмущаться такой перспективой, а готовить себя к ней, предав забвению старые идеалы равенства.

«Растущее богатство, здоровье, свобода, честность, образовательные возможности не принесут нам эгалитарного общества, такого, которое изображается в нашем философском наследии. Вместо этого мы получим общество с жестким общественным делением, с большой внутренней разницей между верхами и низами, с четкой однотипностью внутри семьи...»

Сколько красивых слов, чтобы замаскировать одну, совсем не красивую идею. Русские крепостники XIX века выражались в этом случае попроще. Их мудрость аналогичного свойства укладывалась в поговорки: «из хама не выйдет пана» и «каждый сверчок знай свой шесток». Это было, по крайней мере, честнее.

«Софистические забавы» ученых, забредших на чужое поле и затоптавших немало всходов, не заслуживали бы такого подробного разбора, если бы не опасная тенденция, проявившаяся в последнее время. Кризис традиционного просветительства, крах многих привычных мифов, сложности социального развития, создавшие ощущение распада идеологии, побуждают многих интеллигентов Запада обратиться к поиску новых идеалов. Поиски эти проходят сложно и далеко не всегда успешны. Иногда за новых богов принимают старых, измазанных кровью идолов. А это уже не только индивидуальная, но и социальная опасность.

А. ГАЛКИН

КАРЛ ГРЮНБЕРГ

ОТ ТАЙГИ ДО КАВКАЗА

Было это на пасху 1929 года. С замиранием сердца вступили мы на землю советской столицы. Мы — это шесть делегатов Союза пролетарских революционных писателей Германии, которые по приглашению советских писателей впервые приехали в СССР.

Когда поезд остановился на Белорусском вокзале, неподалеку раздалась военная музыка. Вокзал был празднично украшен. Взволнованные репортеры и фотокорреспонденты мчались вдоль состава. Мы тоже стали высматривать ту особу, которой устраивалась столь пышная встреча,— вероятно, кто-то после долгого отсутствия возвращался на родину.

Вдруг я услышал свое имя — меня почему-то приветствовали совершенно незнакомые люди. Это были известные советские писатели, узнавшие меня по фотографии в «Правде». Один из них сказал на хорошем немецком языке, имея в виду флаги, военный оркестр и людей, со всех сторон приветствующих нас:

— Все это в честь вашего приезда.

Вероятно, у нас был несколько смущенный вид по поводу столь незаслуженных почестей, потому что товарищ добавил:

— Почетный караул перед вокзалом тоже в честь немецких писателей, которые словом и оружием борются на классовом фронте.

Во время нашей поездки по стране мы узнали, как высоко ценят в Советском Союзе литературное творчество. Писатель, чьи произведения отражают революционную борьбу рабочего класса, пользуется не меньшим уважением, чем, скажем, военачальник. Особенно отчетливо мы поняли это, когда в один прекрасный весенний день, будучи в Харькове, тогдашней столице Украины, посетили Школу красных командиров имени Петровского. Школа, размещенная в здании бывшей духовной семинарии, за три года готовила командиров Красной Армии из красноармейцев. В то время — несколько лет спустя после окончания гражданской войны, которую с вражеской стороны вели в основном бывшие офицеры и ученики офицерских школ,— слово «офицер» было еще очень непопулярно. Вместо него говорили только о командирах.

Для приема гостей курсанты выстроились на лестнице. Глядя на их юные сияющие лица, мы поднялись наверх, где произошел обмен короткими приветствиями. А потом (мы так спешили в школу, что не успели пообедать) нас повели в столовую. За едой, которая была столь же проста, как и сама столовая, нам составили компа-

нию комиссар школы и преподаватель тактики, украинец, превосходно владевший немецким. Но мы в тот день ели мало, мы знали, что наверху нас с нетерпением ждали наши друзья. В роскошном, выдержанном в бело-золотых тонах актовом зале состоялся незабываемый митинг дружбы с речами, которые, разумеется, переводились. В заключение все запели «Интернационал». А потом мы впервые пережили ту процедуру, которой и русские и украинцы подвергают всякого, кто пришелся им по сердцу. Мы взлетали вверх, подбрасываемые крепкими руками, нас ловили и снова подбрасывали — пока, наконец, не отпустили едва живых.

И наш уважаемый квартирмейстер Мате Залка не избежал этой участи. Хотя он и дважды кавалер ордена Красного Знамени, а может быть, именно поэтому, его подбрасывали дольше всех. Кто же здесь не знает знаменитого генерала Залку, которому, кстати, Украина обязана освобождением от поляков! После гражданской войны он прославился как автор увлекательных книг и первый секретарь писательской организации Красной Армии и Флота. О том, как растет эта организация, говорит удостоверение за номером 322, выданное мне как почетному члену и подписанное Мате Залкой 21 апреля 1931 года.

Когда мы затем осматривали спальни и клуб, аудитории и фехтовальные площадки, каждый старался показать нам что-нибудь интересное. Предметом особой гордости была богатейшая библиотека военной, политической и художественной литературы.

Вдруг в широком коридоре раздались звуки гармоники. Лица, только что такие серьезные, радостно засияли. Один уже начинает танцевать, за ним — другие. И вот в центре круга оказывается Мате Залка. Знаменитый генерал пляшет перед обыкновенными курсантами чардаш своей родной Венгрии, а они хлопают в ладоши, подзадоривая его.

■

Когда мы уезжали из Москвы, там только-только начинал таять снег, под Воронежем хлестал ледяной апрельский дождь. А в Краснодаре на Кубани мы застали весну. Солнце сияло с такой кавказской интенсивностью, как будто тоже выполняло пятилетку.

Еще днем 30 апреля 1931 года внешность большого города стала меняться: группы людей с флагами шли на митинги, отовсюду слышались музыка и песни — праздник Первого мая повсюду в Советском Союзе начинается уже накануне. Нас, писателей, тоже пригласили на торжественное заседание городского совета с представителями предприятий и учреждений, выбрали в почетный президиум, и наши приветственные речи прозвучали изо всех уличных репродукторов.

Но гораздо важнее были другие выступления: рабочие Краснодара, колхозники Кубанщины и Адыгейской автономной области докладывали о выполнении государственного плана: введена в строй электростанция! Принят в эксплуатацию стекольный завод! Близится к завершению строительство фабрики по производству маргарина и фабрики кожевенных изделий! Консервный комбинат ждет урожая!

Отчитывается руководительница курсов по ликвидации неграмотности. На Кубани уже не осталось неграмотных моложе 50 лет, ни среди русских, ни среди черкесов — последние научились читать и писать в этом году! Затем под громкие звуки оркестра на сцену маршем выходят молодые мужчины и женщины в синих формах — шестнадцать членов организации Осоавиахим, за прошедшие месяцы сдавшие экзамены на звание пилотов гражданской авиации. Снова аплодисменты, приветственные речи, музыка, и так несколько часов.

Но все это только начало. Нам предлагают занять места в партере: на сцене — спектакль по пьесе украинского драматурга Микитенко. Пьеса, на немецкий вкус, несколько затянута. После десятого действия — было уже за полночь — объявили, что несколько действий выпустили. Но и после этого народ не расходится, выступает мюзик-холл. Кончается все в три часа ночи.

— Да, товарищи,— говорит нам толстый черкес,— так уж мы устроены, в нашем Советском Союзе. Работаем в ударном темпе, а когда отдыхаем, тоже не знаем усталости.

Новый день будит нас фанфарами и трубами. Внизу море флагов. Рабочие, женщины в кокетливо завязанных цветных косынках, пионеры в белых рубашках, алые галстуки вьются на ветру... Снова и снова взмывает к небу мелодия старой боевой песни времен гражданской войны:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И как один умрем
В борьбе за это...

Войска выстроились вдоль железнодорожной насыпи. Наверху четыре празднично украшенных паровоза. Транспаранты гласят: «Бесплатно отремонтированы добровольцами в дар нашему социалистическому государству». Такая же надпись на поручнях украшенного флагами колесного парохода, пришвартованного у берега реки.

Дальше видны белые цистерны для очищенной нефти, похожие на прикрытые брезентом карусели, на них тоже лозунги.

66-й пехотный полк в этот день получает новое знамя, а вручать этот символ поручено интернациональной бригаде писателей — совершенно неожиданная для нас честь... Тяжелый шелк с шуршанием разворачивается на ветру... Гремят орудия праздничного салюта. Протяжно гудят паровозы, с реки им отвечает пароходная сирена. Командиры отдают честь. Откуда-то доносится «ура!». Потом звучит мелодия «Интернационала», и ее подхватывают множество людей, стоящих с непокрытыми головами.

Автомобиль снова подвозит нас к трибуне, которая возвышается над майским полем, словно сторожевая башня. Отсюда сверху командующий — бывший рабочий-металлист — принимает парад своей дивизии. Во главе парада идут курсанты Школы командиров, в которой, как и в харьковской школе, горцы — сыны национальных меньшинств Кавказа становятся офицерами. (Раньше представителей этих меньшинств даже освобождали от воинской повинности, настолько велик был страх царизма перед угнетенными нациями.) Строевым шагом проходит пехота, ощетинившийся вал тускло поблескивающих штыков. За ней, поднимая вихрь пыли, скачут конники Буденного, сабли наголо. В быстром темпе проезжает артиллерия, погромыхивают орудия. Последней следует милиция и пожарники с новыми пожарными насосами.

Мы уезжаем с парада, торопясь побывать на майском празднике у черкесов... Возвращающиеся домой дети бросают охапки колокольчиков, которые растут здесь как одуванчики, и смеются.

В стороне, на грузовой платформе, рабочие разгружают вагон досок. Как, Первого мая? «Ну и что же, это субботник, доски привезли с опозданием, а третьего мая они уже должны быть на стройке». В Адыгее мы застаем почти всех черкесских колхозников на полях, они хотят нагнать время, упущенное из-за поздней весны. Не отставать! — вот главный лозунг 1 и 2 мая.

■

Приехав в 1931 году в Баку, я обнаружил, что на нефтяных полях — удивительно, но факт! — нет ни нефтяных луж, ни запаха нефти. Я видел там ужасные бараки, в которых отечественные и иностранные магнаты в свое время селили рабочих, добывавших им из недр земных жидкое золото. Сейчас эти бараки используются только как складские помещения, рабочие живут в новых кварталах в стороне от нефтяных полей или в поселках, где у каждого есть свой домик. Но в Азербайджанском государственном музее нам показали макет старого барака, который тщательно воспроизводил все ужасающие подробности бесстыдного пренебрежения человеческим достоинством. Даже питьевой воды без привкуса нефти не было у рабочих.

Большинство рабочих на нефтяных промыслах были тюрки, принадлежавшие при царизме к презираемым национальным меньшинствам. Когда они умирали, надорвавшись на работе ради прибылей нефтяных магнатов, их без лишних церемоний зарывали между нефтяными вышками. Мне еще довелось увидеть такое мусульманское «рабочее кладбище», отвратительно унылое место без единого деревца или куста, где эти жертвы погони за прибылями нашли свое последнее пристанище под маленькими плитами из песчаника, заросшими сорной травой.

Баку был адом для рабочих, но он же стал их надеждой.

...Весной 1931 года мы попали в Баку, когда здесь сложилась напряженная ситуация: третий бакинский Ленинский район, который в прошлом квартале выполнил свой план на 102 процента, вдруг отстал. В апреле план был выполнен всего на 75 процентов, а это означало дефицит в 27 тысяч тонн чистой нефти. И вот не хватило валюты, на которую покупались иностранные станки для досрочного выполнения пятилетки. И не хватило источников энергии для тракторов и электростанций в далеких колхозных деревнях. И не хватило сырья для оборонной промышленности. Не только Баку, весь Советский Союз с большой тревогой говорил о непонятном отставании третьего Ленинского района. Нужно было непременно что-то сделать, отыскать причины прорыва. Мы стали свидетелями одного из новаторских методов, которыми рабоче-крестьянский строй исследует причины таких «загадочных» явлений.

Ежедневная газета «Вышка» шефствовала над этим районом и потому чувствовала себя в некоторой степени ответственной за его неудачи. Редакция организовала хорошо продуманное наступление на опасного врага, творящего свои безобразия где-то в лесу вышек на Апшеронском полуострове в Каспийском море. Для этого штаб-квартира была переведена ближе к линии фронта. Из сотрудников редакции создали бригаду, которая с пишущими машинками и фотоаппаратами заняла позиции посреди третьего Ленинского района. Отпечатали воззвание к войскам: помочь обнаружить причину прорыва и ликвидировать его. Были мобилизованы все ударники и рабочие-корреспонденты.

Звездной майской ночью мы отправились знакомиться с ударной бригадой тружеников пера и топора. Поистине фантастический мир открылся перед нами. Так выглядит фронт за второй линией: повсюду развороченная земля, времянки, проволока, строительные материалы, лужи, колонны грузовиков, беспорядочно снующие

люди. Только в отличие от фронта здесь стоят огромные прожекторы, и их яркий свет порождает призрачные тени. Но врага, которого ищут, не видно. Где же он окопался? Может, в решетчатых штангах темных буровых вышек? В сваленных кучами бурах, так похожих на пушки? В свистящих отдушинах нефтяных фонтанов? Или на локомотиве только что промчавшейся мимо пригородной электрички?

Наконец мы находим бригаду «Вышки» во времянке. На оконных рамах и на полу еще свежа краска. Вот уже четыре дня и четыре ночи стучат здесь пишущие машинки, звонит телефон, снуют взад-вперед редакторы, рабочие-корреспонденты и ударники. Они постоянно приносят сообщения о недостатках, неполадках и трудностях в производстве. Одновременно вносятся бесчисленные предложения об изменениях и исправлениях. Все эти сообщения печатаются на восковке, и 250 экземпляров тиража распространяются среди рабочих. За четыре дня вышли уже 15 номеров полевой «Вышки».

Молодой редактор с запавшими от бессонницы глазами и бледным, заросшим щетиной лицом сует мне в руку карандаш, я должен нацарапать на восковке несколько слов от имени нашей интернациональной бригады писателей. Я пишу: «Не сдаваться, товарищи! Мы, рабочие и товарищи из капиталистического мира, помогаем вам!» Ниже мы — француз, итальянец, венгр, американец и немец — пишем свои имена. Когда час спустя мы бредем в темноте через лужи и глыбы развороченной земли к одной из освещенных вышек, мы видим, как несколько рабочих читают «Вышку» с нашим призывом к солидарности.

С буровой доносится жуткий скрип, как раз сейчас в землю опускают новый бур. Новый советский метод турбовинтового бурения позволит достать драгоценную кровь матушки-земли с глубины в три тысячи метров. Занятые здесь четыре или шесть рабочих едва удостаивают взглядом полуночных гостей. Они не отрываясь следят за буром. Сейчас шумный механизм молчит. Вода, булькая, выносит на поверхность шлам. Между тем по системе подъемных блоков поднимается вверх новая гигантская труба, управляемая двумя крошечными фигурками, которые при неясном свете нескольких ламп накаливания на головокружительной высоте возятся у буровых штанг. Для короткого интервью остается лишь несколько минут...

■

У москвичей тридцатых годов были серьезные заботы. Речь шла о выполнении первой пятилетки за четыре года. Для этого надо было в первую очередь полностью использовать мощность машин. А зачем машинам воскресный отдых? Эти рассуждения породили пятидневную неделю, не только на предприятиях, но и в учреждениях, бюро — повсюду. В результате «воскресеньем» стал не седьмой, а пятый день недели — для всех разный. Календарное воскресенье на долгие годы потеряло свои права.

Каждому, конечно, доводилось видеть муравейник, к которому прикоснулась рука «великана». Сколько трудолюбия, какая толчея и неразбериха! Одни волокут всевозможные строительные материалы, другие самоотверженно мучаются с подрастающим поколением. Третьи в невероятной спешке и, по всей видимости, без всякого плана мчатся навстречу друг другу и при этом часто сталкиваются.

Вот такой осталась у меня в памяти картина тогдашнего уличного движения в Москве. Узкие улицы едва могли вместить переливающийся через край людской поток. Во многих местах были протянуты веревки, чтобы освободить узкие островки для движения транспорта.

Помимо нескольких автобусных маршрутов, единственным общественным транспортом в городе был трамвай. Хотя вагоны ходили бесперебойно и люди удивительно дисциплинированно ждали на остановках, вход в трамвай всегда был проблемой, а выход из него — не меньшей. Эгон Эрвин Киш, которого я встретил в Москве, рассказал мне такой анекдот: он приходит в редакцию в совершенно растерзанной одежде, его спрашивают: «Что, Киш, вы попали под трамвай?» «Не под, а в него»,— ответил Киш. Это ни в коей мере не преувеличение. Я однажды, продравшись сквозь плотную людскую стену к переднему выходу, оказался на улице без единой пуговицы на пальто и с оторванным рукавом. Здесь я облегчил душу всеми русскими ругательствами, которые я — прости господи! — уже успел выучить.

Пожилой человек с добродушной улыбкой тронул меня за плечо и сказал на хорошем немецком языке: «Не ругайтесь так, товарищ, все это временно! Через пять лет вы поедете в нашем метро».

Мне стало неловко. До моего следующего приезда прошло не пять лет, а целых 21 год, но все эти годы я помнил лицо человека, который так добродушно упрекнул меня на Маросейке.

Те, кто уж очень торопился, нанимали дрожки дедовских времен, потому что в городе было всего двадцать такси. Проехать на таких дрожках — с тощей лошаденкой в хомуте, с бородатым извозчиком в длинном синем армяке на козлах — было почти романтическим путешествием. Но оно стоило очень дорого, и дело почти никогда не обходилось без предварительных переговоров. Я ненавижу торговаться, но здесь без этого было нельзя, так как извозчик, как правило, сначала всегда требо-

вал вдвое большую сумму, чем та, на которую рассчитывал. Бесплатным приложением к поездке были вид на неизменно интересную уличную жизнь и свежий воздух — а равно изучение русских ругательств.

Однажды Киш привел меня в редакцию известного сатирического журнала «Крокодил». Меня попросили написать очерк о моих московских впечатлениях. Что же я мог написать для журнала, задача которого — в сатирическом свете изображать недостатки, ошибки и неурядицы советских будней?

— Вы как настоящий, воспитанный в любви к порядку немец наверняка заметили у нас недостатки?

— Конечно заметил, но было бы невежливо мне, гостю вашей страны, писать об этом,— ответил я.

Редактор «Крокодила» хитро улыбнулся.

— И все же, товарищ, мы даже просим вас об этом. Помните, мы еще делаем очень много ошибок. К некоторым люди так привыкли, что уже не замечают их. Указать на такие ошибки — важнейшая задача нашей сатиры. Может быть, вы, иностранец, обнаружили что-нибудь такое, чего мы не замечаем.

И так я написал для «Крокодила» очерк о моих самых свежих московских впечатлениях под заглавием «Московские пятидневные гонки»:

«Тот, кто не видел Москву с начала пятилетки, не скоро опомнится от удивления. Все организовано, рационализировано и отрегулировано. Немецкая точность сочетается с американским темпом. Ни у кого нет времени. Я наблюдал, как даже хорошие друзья заменяют отнимающее много времени рукопожатие символическим помахиванием руки и «здравствуйте» — сокращенным «здрасьте».

Темп распространился даже на официантов. Куда пропало старое «сейчас»? Сегодня официант говорит «будет». Это звучит более прогрессивно и обнадеживающе, когда после часового ожидания ты осведомляешься, построена ли уже фабрика, на которой выпускается машина, которая высиживает курицу, которая кладет яйцо, которое ты заказал на завтрак. При этом милейшему официанту постоянно так некогда, что он забывает дать тебе сдачу меньше рубля.

Мое личное невезение заключается в том, что всякий раз, когда я захожу в какое-нибудь издательство, у ответственного работника, к которому у меня дело, выходной день. Когда я встречаюсь с ним на другой день, он сразу же с величайшей готовностью берется за мое дело. Но, к сожалению, у того, кто должен подписать, сегодня как раз выходной. «Вы же знаете, товарищ, пятидневная неделя».

Что ж, прекрасно. На третий день дело уже выглядит много лучше. «Тот, кто подписывает», несмотря на хронический недостаток времени, провожает меня к кассе. Но к сожалению, из-за многочисленных телефонных звонков и других отвлекающих моментов наши переговоры так затянулись, что касса уже закрыта.

— Не сердитесь, товарищ, завтра она непременно будет открыта.

Да, на четвертый день она уже действительно открыта, но денег я все же не получаю, так как у ответственного за выплату сумм больше 3 рублей сегодня выходной. Из-за недостатка времени мне забыли сказать об этом накануне.

Наконец на пятый день я поймал кассира. Но самого главного — денег — как раз и нет.

Завтра? И мои пятидневные гонки начинаются заново. Уже и деньги на месте, и все было бы прекрасно, если бы...

Если бы у заведующего снова не было очередного выходного дня, так как указание о выплате мне гонорара, конечно же, надежно заперто в его столе.

Итак, я приду сюда завтра, и это будет уже седьмой день. Как известно, за семь дней господь бог создал мир. Мне же эти семь дней кажутся злым проклятием. Боюсь, что завтра заведующий на четыре недели уедет в Самарканд.

Я хотел рассказать эту трогательную историю моим советским друзьям, но к сожалению, ни у кого не было времени меня слушать. Очевидно, они, как и я, должны ликвидировать такой же прорыв. И потому я поведал эту историю тебе, дорогой «Крокодил», потому что никто не мог дать мне адреса «Лиги по борьбе с потерями времени», который однажды был уже здесь напечатан. Говорят, что лигу распустили. Я подозреваю, оттого, что ее заседания всегда начинались так непунктуально».

■

— Объясните же мне, что там, собственно, должно получиться из этого вашего социализма?

Такой вопрос задал мне много лет тому назад, сразу после моего возвращения из поездки в Советский Союз, один известный берлинский врач. Я разъяснил ему основные понятия социалистического общественного строя, но чем дальше я продвигался в своей лекции, тем скептичнее становилось выражение его лица. Сочувственно улыбаясь, он похлопал меня по плечу.

— То, что вы тут наговорили, так прекрасно, что прямо-таки впадаешь в искушение принять в этом участие. Но это слишком прекрасно, чтобы быть правдой! Вы просто идеалист, как ваш Маркс, Ленин и Либкнехт. Перед такими людьми можно только преклоняться! Но все вы делаете ошибку, забывая главное: человека и еще

раз человека. С тех пор, как я знаю людей — а я знаю их очень хорошо,— я люблю животных! Ведь в наше время каждый глотку готов другому перегрызть. Нет, мой дорогой, чтобы достигнуть вашего идеала, нам сначала нужно иметь совершенно других людей.

Так говорил этот «знаток души человеческой». Но несколько лет спустя он тоже стал «социалистом»... Конечно национал-социалистом! А еще через 12 лет полковой врач войск СС доктор Баумгартен из берлинского района Панков застрелился.

■

Более чем полстолетия прошло с того исторического момента, когда Советы рабочих, крестьян и солдат вступили во владение наследством царского самодержавия эпохи капитализма, приведшей Россию к катастрофе. Революция высвободила огромные резервы сил, дремавших в широчайших народных массах, в эксплуатируемых классах России. Советская власть уничтожила эксплуатацию человека человеком! Безграмотность и бескультурие! Эпидемии! Голод! И массовое вымирание!

«Пытаться строить социализм в такой отсталой стране — это чистая фантастика!» — отозвался на это весь тогдашний старый и «новый» свет. Рабочие, крестьяне и интеллигенты советской страны не обращали на это внимания, они приступили к работе. Начался не имеющий прецедентов процесс индустриализации, базой для которого послужили неразведанные до сих пор сокровища недр. Страна поставила перед собой задачу добиться независимости от враждебного капиталистического окружения. Советские люди принялись за работу с энтузиазмом, который не только мог бы сдвинуть горы, но и действительно сдвигал их! Строились грандиозные водохранилища, прокладывались каналы, необъятные степи и пустыни превращались в плодородные сады! Началась всеобщая коллективизация сельского хозяйства! Широко развивалась культура, которая перестала быть привилегией узкого круга избранных, а стала доступной всему народу.

Согласно социалистическому лозунгу «Каждому по труду!» в Советском Союзе распределяются доходы. Следовательно, тот, кто благодаря более высокой производительности труда зарабатывает больше, может и больше себе позволить. Он может лучше есть и пить, приобретать хорошую мебель и произведения искусства, предпринимать интересные путешествия, купить себе автомобиль и даже собственный домик! Только одного он не может, а именно — использовать свой большой счет в банке для приобретения земель, доходных домов, фабрик, магазинов и так далее и тем самым эксплуатировать труд других людей! Это проклятие доллара не тяготеет над социалистическим рублем.

Величайший философ всех времен Карл Маркс учил: дело не в том, чтобы объяснить мир, дело в том, чтобы его переделать! Когда Маркс говорил «мир», он, конечно, имел в виду не вещественный мир, но прежде всего людей, которые живут в этом мире. Маркс изучал как вещи, так и людей или, соответственно, отношения, в которых находятся люди и вещи. При этом он нашел, что в обстоятельствах, которые господствовали в прошлом, люди не могли быть лучше, чем в настоящее время, но что они могут и даже должны стать лучше, если поместить их в действительно человеческие условия. Это произошло под руководством его великого ученика Ленина в Советском Союзе благодаря развитию социалистического способа ведения хозяйства и социалистическому строю. И потому мы уже сегодня видим в Советском Союзе нового человека, социалистического человека, сознание которого преобразовалось и становится все более многогранным и возвышенным! Исполнилось гетевское пророчество:

Как человек, я с ними весь.
Я вправе быть им только здесь.

Это процесс, разумеется, сложный. И при социализме есть люди, обремененные пережитками прошлого, имеющие слабости и недостатки и нравственно убогие. Было бы наивно предполагать, что за прошедшее время 220 миллионов советских граждан превратились в идеальных людей! Но новый и лучший человек, моральный облик которого сформировался в условиях социализма,— уже свершившийся факт! Констатировать это было самым радостным событием во время моих поездок по Советскому Союзу.

Перевод с немецкого Э. ВЕНГЕРОВОЙ и Е. МИНКИНОЙ

А. КАРАГАНОВ

У итальянских кинематографистов

В середине шестидесятых годов итальянские кинокритики с горечью писали о некой неопределенности тогдашнего кино: на смену новаторству и совместной борьбе пришли индивидуальные взлеты, находки, иногда весьма интересные, даже гениальные, но не способные оказать решающего влияния на общее положение, создать направление, школу, тенденцию, которые можно было бы хоть как-то сравнить с тем, чем для всего мира являлся неореализм в пору его расцвета. В 1971 году, характеризуя свои и своих товарищей творческие устремления, постановщик фильма «Сакко и Ванцетти» Джулиано Монтальдо заявил на VII Московском кинофестивале: «Мы — дети неореализма».

Что же стояло за этим исповедническим заявлением — какие перемены и процессы?

Не так давно мне довелось побывать в Риме, встретиться с Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Карло Лидзани, Леонардо Фиорованти, Элио Петри, Уго Грегоретти и другими итальянскими кинематографистами. И естественно, что в ходе этих встреч неизменно возникали разговоры о положении в итальянском кино, в том числе и о творчестве тех режиссеров среднего поколения, которых имел в виду Монтальдо в своем московском интервью.

Режиссеры эти, как правило, начинали свои кинематографические биографии ассистентами у мастеров, принесших мировую славу неореализму. После того как неореализм был задушен в его первом цветении, они долго не могли оправиться. Оказавшись на распутье, они стали выпускать вестерны, мелодрамы и комедии, близкие по своим эстетическим параметрам «коммерческому кино». Хотя в их фильмах можно было без труда найти стилевые цитаты из учителей, фильмы эти оставались в рамках ординарной продукции, ориентированной на рынок. В них не было живой души развивающегося искусства, не было цельности. Кинематограф увлекал зрителя крепко сколоченными сюжетами, рассказывал о дальних странах и давних временах, бросался то в античность, то на дикий американский Запад, а сам не двигался. Положение не меняли и обращения к итальянской современности — слишком поверхностные, чтобы наполнить экранное действие социальными страстями. Разнообразие содержания не нарушало однообразия искусства. Цитаты из неореалистических фильмов ничего не меняли по той простой причине, что были всего лишь цитатами. Могло даже сложиться впечатление, что ученики создателей неореализма сгинут как художники, разбогатев на рыночных поставках.

Впрочем, так оно и было со многими режиссерами нынешнего среднего поколения (и даже с некоторыми знаменитыми «стариками» неореализма): ставя «коммерческие фильмы», чтобы разбогатеть, а потом начать снимать «для души», они постепенно «втянулись», привыкли к новому «амплуа». Со многими, но не со всеми! В очень трудные для итальянского кино времена Фран-

ческо Рози ставит «Руки над городом», Уго Грегоретти — «Омикрон», Джило Понтекорво — «Войну в Алжире»...

Искания кинематографистов, хранивших в душе неореалистические верования, получают новые импульсы в борьбе рабочих, в молодежных и студенческих выступлениях второй половины шестидесятых годов. На волне подъема освободительного движения «дети неореализма» открывают для себя новые возможности. Благодаря их усилиям в итальянском кино возрождаются традиции социального фильма, углубляется анализ общественной жизни.

Как известно, «итальянское чудо» (так официальная пропаганда окрестила подъем экономики, сменивший послевоенные трудности) породило не только ощутимое улучшение экономического положения страны, но и разнохарактерные иллюзии, превосходившие реальный эффект «чуда». Многим кинематографистам демократического направления (а не только их реакционным критикам — не будем упрощать!) показалось, что людские горести, изображавшиеся неореалистами, уходят в прошлое вместе с лачугами, которые вытеснялись новыми современными домами, вместе с двориками и балкончиками, перегороженными развешанным бельем. Показалось, что критический пафос неореализма исчерпал себя.

Когда первый угар «чуда» прошел, наиболее чуткие к жизни художники поняли эфемерность далеко идущих надежд. Несмотря на некоторое улучшение экономической конъюнктуры — до благоденствия было далеко. В «потребительском обществе» остались не только социальные и моральные истоки «некоммуникабельности», исследуемой в фильмах Антониони,— остались социальное неравенство и связанные с ним несправедливости, эксплуатация человека человеком, унижение человеческого достоинства. Осталась коррупция государственного аппарата, особенно опасная для тех, которые не могут или не хотят вовремя подкупить «нужного человека». По-прежнему бесчинствует мафия, усилились ее преступные связи с государственно-полицейским аппаратом, основанные на взаимной выгоде. Честного человека могут убить из-за угла, выгнать с завода или уволить со службы, бросить в тюрьму по случайному и необоснованному подозрению. И даже если с человеком труда не происходит подобных несчастий, он живет более или менее комфортабельно, его жизнь тоже остается далекой от идиллий, обещанных трубадурами «итальянского чуда»: для того чтобы иметь в достатке пищу, одежду, холодильник, телевизор, он должен надрываться на работе, часто отказывая себе в простых человеческих радостях.

Бедняки из неореалистических фильмов о телевизоре мечтать не могли. Их сыновья и младшие братья могут позволить себе такую роскошь. Но какой ценой? И каков реальный эффект перехода итальянского труженика на современный уровень «потребительского общества»? Ведь, скажем, появление того же телевизора в рабочей семье означает передачу значительной части досуга буржуазной «массовой культуре», не более того. В таких случаях известная закономерность — человек приобретает вещи, чтобы стать их рабом,— проявляется с предметной наглядностью.

Жизненные ситуации и коллизии, о которых идет речь, довольно часто возникают теперь на итальянском экране: я назвал только те из них, которые уже стали темой и содержанием новейших фильмов. Разумеется, за пределами этого перечня остаются многие другие, пока еще не освоенные кинематографом. Но, думается, и сказанного достаточно, чтобы понять: в Италии возникло искусство, критикующее собственническое общество не по воспоминаниям о несчастьях людей, у которых крали последний велосипед, не было крыши над головой и оставались только два гроша надежды, а по наблюдениям над тем, что происходит сейчас, сегодня.

Характернейшие черты этого искусства, его силу и слабости воплощают в себе фильмы «Рабочий класс идет в рай» Элио Петри и «Дело Маттеи» Франческо Рози, получившие «Гран при» Каннского фестиваля 1972 года.

Главным героем фильма «Рабочий класс идет в рай» является слесарь Масса. Наверное, это одна из лучших ролей Джан Мария Волонте: артист открывает нам новые грани своего поразительного таланта в обрисовке характера сложного и очень подвижного. В какие-то моменты Масса становится непреклонным, напористым, похожим на других героев Волонте. Но он бывает и беспомощным, растерянным, даже жалким. В нем уживаются расхлестанность и собранность, легкомыслие и сосредоточенность... Переходы из одного состояния в другое бывают резкими, неожиданными — словно бы по капризу индивидуальной мысли и чувства: их не объяснишь лежащими на поверхности причинами и учебниковыми формулами социальных закономерностей. Однако закономерности эти действуют, но без диаграммно-хрестоматийной очевидности: тема перехода от покорности к борьбе раскрывается в фильме через сложные движения индивидуальной психологии и характера, через воссоздание пестрой картины заводской жизни.

В начале фильма перед нами — примерный рабочий: Масса трудится много и безотказно, «гонит норму», чтобы хорошо обеспечить семью. Товарищи по цеху недолюбливают его — слишком уж он выслуживается перед начальством. Несмотря на прилежание и сравнительно хорошие заработки, жизнь не клеится: Масса надрывается на заводе, приходит домой усталый, чтобы подремать у телевизора. Во сне и наяву его преследуют заводские шумы, становящиеся лейтмотивом звукового оформления фильма. Жена им недовольна — ей не хватает ласки, нежности. К заводским перегрузкам прибавляются семейные дрязги...

Тем временем на заводе нарастают весьма бурные события. Каждое утро к заводским воротам приходят бородатые студенты

с мегафонами: они призывают рабочих к решительным и немедленным действиям; в своем крикливом максимализме студенты нетерпеливы, их нетерпеливость безрассудна, авантюристична. В кинорассказе о студентах есть сцены, вполне «натуральные» по фактуре, но приобретающие остроту многозначной метафоры: студенты — за высоким забором, они бурно жестикулируют, что-то кричат, а что — непонятно. Забор отделяет их от рабочих буквально и фигурально. У рабочих — своя жизнь, и им нет дела до беснующихся «леваков». Однако и в этой жизни есть свои проблемы, заботы и драмы. Под их влиянием на заводе возникают волнения. Даже «примерный» Масса перестает быть смирным. А начав бунтовать, как это часто бывает при таких крутых поворотах, он становится агрессивным. Сближается со студентами, его дом становится их пристанищем. Отношения в семье и без того были натянуты, теперь жена вместе с сыном уходят из дома. Потом уходят и студенты, остерегаясь полицейских преследований. Масса остается один — без семьи, без друзей, без работы (с завода его уволили за участие в «беспорядках»).

На экране возникают выразительные панорамы: зритель как бы глазами героя рассматривает вещи — десятки вещей, нужных и ненужных. Масса подсчитывает — чего стоила ему каждая из них, скольких часов работы. Им овладевает, может быть впервые в жизни с такой силой, глухая ярость: какая подлюга придумала все это, кто внушил человеку, что все это необходимо. Тема отчуждения рабочего человека и его реального положения в потребительском обществе возникает здесь не в ее, так сказать, философском обозначении, а в конкретностях каждодневного быта. На заводе герой фильма гонит детали, толком не зная, для чего они, зачем они. Он надрывается на работе, чтобы иметь дома четыре будильника, два пылесоса, какие-то изящные безделушки, купленные в дни получки по примеру соседей: а мы что — хуже других... Раньше Масса не задумывался над всем этим, теперь, в часы вынужденного безделья, в минуты одинокого блуждания по квартире, он начинает понимать: наполняя квартиру, вещи не прибавляли счастья, он и не заметил, как постепенно становился их слугой и рабом.

Фильм заканчивается внешне счастливо. Студентам не удалось увлечь рабочих своими авантюрами. Зато профсоюзный лидер заводского коллектива преуспел: поборник рабочего единства, он сумел повести за собой рабочих. В результате организованной им «частичной» (на два часа в день) забастовки хозяева пошли на уступки. Улучшились условия труда. Восстановлен на работе Масса. К нему вернулась жена. Однако коренные проблемы рабочей жизни не решены — борьба продолжается. Об этом фильм. Об этом говорится и в финальных сценах, где один из рабочих рассказывает о приснившемся ему рае...

Фильм «Рабочий класс идет в рай» вызвал в Италии критику как «справа», так и «слева». Что касается критики «справа», так она более или менее традиционна в главных своих направлениях: фильм осуждается за тенденциозность, за драматизацию противоречий между рабочими и хозяевами, за чрезмерное увлечение политикой в ущерб искусству... Сложнее с критикой «слева». Конечно же, деятели левацкого толка обиделись на изображение своих собратьев: ведь даже «натурально» снятые сцены беснующихся экстремистов неизбежно становятся похожими на карикатуру. Но не о них сейчас речь. Осуждая крикливый экстремизм «левых», авторы фильма распространяют свои сомнения и на профсоюзного лидера: слишком уж он благополучен, спокоен, слишком увлекается тактикой частичных требований, не связывая экономическую борьбу с борьбой политической. Однако авторская позиция лишь заявлена противопоставлением крайностей, между которыми мечется герой фильма. Внутренняя тема фильма, тема воспитания классового самосознания рабочих, борьбы за их единство могла бы приобрести реалистическую наполненность и глубину, если бы авторы фильма показали левацкий экстремизм студентов и чересчур осторожную тактику профсоюзного лидера в соотнесенности с деятельностью передовых рабочих, авангарда рабочего класса, в соотнесенности с истинно революционным пониманием его задач и целей. На такие углубления авторы фильма не пошли, их позитивная программа в фильме остается весьма неопределенной.

Некоторые критики фильма «Рабочий класс идет в рай» осуждают его авторов за «эстетический оппортунизм», за уступки публике ради коммерческого успеха. И тут в спорах о новом фильме Элио Петри снова возникают сложнейшие вопросы взаимоотношений кино и зрителя. Я пишу «снова», потому что они уже не раз становились предметом горячих дискуссий и драматических раздумий. В этой связи стоило бы вспомнить о дискуссии «Итальянское тенденциозное кино». «Итальянское кино,— заявил тогда, в 1965 году, открывая дискуссию, режиссер Уго Грегоретти,— не должно быть кино для избранных, это должно быть кино для широкой публики. Поэтому, признавая значимость фильмов Антониони, которые затрагивают такие темы, как отчуждение, философские проблемы общего плана, я считаю необходимым отметить, что эти режиссеры ведут кинематограф по дороге, которая имеет мало выходов. Это устаревшие фильмы, ибо это фильмы для избранных, искусство, которое воспринимается с большим трудом. Я же считаю, что когда что-то можно сказать ясно и просто, не стоит выражать это посредством символики и аллегорий».

Эта мысль получила развитие и в выступлениях других участников дискуссии.

«Концепция современного,— говорил, например, Эдуардо Бруно,— не только не-

---

А. КАРАГАНОВ
У ИТАЛЬЯНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

совместима с абстрактной интеллектуальностью, но и прямо противоположна ей. Концепция современного — это концепция народного. В обществе потребления, каковым является наше общество, предлагать произведение, которое не может быть понято, не может быть потреблено зрителем, обществом, равнозначно защите аристократической, идеалистической точки зрения». И дальше: «Преувеличенное внимание к своему «я» характерно для некоторых наших художников. Результатом этого является то, что художник запирается в себе, замыкается в своем мире и повествует лишь о своем опыте, лишая себя, таким образом, возможности критически осмыслить реальность. Я бы определил это состояние души как неоромантизм».

Нетрудно заметить, что «дети неореализма» своими новыми фильмами пытаются дать ответ на вопросы, обсуждавшиеся по ходу дискуссии 1965 года. Они не только выводят искусство из сфер абстрактной интеллектуальности и обращают его к социальным проблемам народной жизни, но и упорно ищут язык и стиль, доступный широкой публике.

Возвращаясь в этой связи к фильму «Рабочий класс идет в рай», по-моему, следует со всей определенностью подчеркнуть: было бы принципиально неправильным видеть оппортунистическое приспособленчество, потакание рынку в любой попытке создать кинозрелище, увлекающее миллионы людей. Очевидно, все дело в том, какими средствами, какими способами завоевывается массовый зритель. Скажем, нельзя отвергать острый сюжет на том только основании, что он острый. Ведь одно дело, когда зрителя завлекают ловко сочиненными хитросплетениями рыночного кино, когда сюжетные структуры не имеют другой цели кроме как держать зрителя в напряжении, выбивать из него смех или слезу и в любом случае — деньги. И совсем другое дело, когда сюжет становится выразителем реальных противоречий и конфликтов жизни, развития характеров и человеческих судеб, когда он концентрирует в себе уроки и примеры жизни, не становясь от этого назидательным. Точно так же следует отделять простоту языка от вульгарного упрощенчества, ясность стиля — от подыгрывания эстетически отсталому зрителю, обращение к жизненному опыту и чувству зрителя — от эксплуатации зрительских привычек.

В фильме «Рабочий класс идет в рай» есть драматическое напряжение, острота, есть образы и сюжетные мотивы, очень емкие по своему жизненному содержанию и социальному смыслу. Но есть и такие сцены, в которых расчетливая борьба за зрительский успех берет верх над соображениями эстетической целесообразности. Например, сцена соблазнения героем фильма молоденькой девушки снята в таких затянутых подробностях, которые замедляют естественное движение фильма, становятся «самоигральными» — совсем в стиле современного «коммерческого кино». В таком же стиле построены некоторые семейные сцены. Из них мы узнаем о том, что жена героя фильма, все активнее включающегося в борьбу рабочего класса, выступает против коммунистов, добавляя к бытовым дрязгам еще и политические ссоры. Эта ее позиция не раскрыта — просто заявлена. Поскольку в фильме нет даже малой попытки показать историю характера, внутреннюю логику взглядов молодой женщины, причины их возникновения, их связь с какими-то влияниями, особенности психологии, жизненного опыта и поведения — получается еще один «сюжетный аттракцион», не более того. И для объективного критического анализа фильма очень важно отделить эти уступки «коммерческому кино» от сюжетной структуры фильма по его главному драматургическому ходу, от мотивов и особенностей, определяющих суть и стиль фильма.

Одним из наиболее последовательных продолжателей неореалистических традиций является Франческо Рози, чьи фильмы «Сальваторе Джулиано», «Руки над городом», «Люди против» сыграли существенную роль в нынешнем возрождении и подъеме политического, социального кинематографа. В новом фильме Рози «Дело Маттеи» воссоздается история умного и сильного человека, инженера Энрико Маттеи, который погиб при таинственных обстоятельствах в 1962 году. Экранное действие развертывается как реставрация событий, которые в свое время взволновали Италию, потом постепенно стали забываться, пока один пытливый журналист — уже в наши дни — не занялся расследованием давней авиационной катастрофы, стоившей жизни инженеру Маттеи. На экране возникают сцены, показывающие тогдашнее полицейское расследование — они поставлены и сняты в документальной манере: впечатление такое, что полицейских сопровождал кинохроникер. И возникают сцены из жизни Маттеи — журналист ведет свое «расследование» не по канонам полицейского следствия, а по законам социального анализа.

Рози нашел точные стилевые соотношения и монтажные переходы, чтобы объединить историю Маттеи и два расследования его гибели, давнее и недавнее. У зрителя создается ощущение: это не реставрация событий средствами игрового фильма, а их документальная фиксация. Такой эффект достигается и внедрением журналистского репортажа в структуру фильма, и удивительной достоверностью актерской игры, и незаметностью переходов от актеров к «не актерам», широко используемым в фильме, и работой оператора, который дорожит возможностью снимать как кинохроникер — в особенности в «натурных», уличных и производственных сценах.

Сюжет фильма развивается напряженно и драматично. Его «ведет» главный герой — человек сильный, умный, энергичный. Инженер Маттеи (Джан Мария Волонте) бесстрашно вступает в борьбу с нефтяными монополиями. В этой борьбе ему помогает не только биография (Маттеи — выходец из бедной семьи, участник антифашистского

Сопротивления) — помогает непоколебимая убежденность: нефть лежит в итальянской земле, она должна принадлежать итальянцам, служить повышению уровня жизни людей. Только национализация нефти может обеспечить такое ее использование. Только на принципах взаимной выгоды могут строиться экономические отношения Италии с другими странами. Во имя этих принципов он едет на переговоры в Москву. И его не могут остановить демагогические рассуждения противников насчет того, что торговля с Москвой принесет выгоды Итальянской компартии: коммунисты — тоже итальянцы...

В борьбе за национализацию нефти, в защите национальных интересов Маттеи сталкивается не только с итальянскими монополиями и поддерживающими или боящимися их властями. В нескольких эпизодах фильма возникает фигура немногословного, властного, надменного американца. По немногим его репликам, иной раз просто по выражению глаз и интонации мы понимаем — сюда, к нему идут многие нити... Мы начинаем догадываться, кому нужна, кому выгодна смерть строптивого, непокорного и неподкупного инженера. В сюжете фильма, в расследовании аварии самолета есть многоточия вместо финальной точки окончательных выводов. Но создатели фильма достаточно определенны в выражении чувств и взглядов, противопоставляющих инженера Маттеи заокеанским олигархам нефти: Маттеи резко говорит о том, что американцы нагло вламываются в чужие дома, а он не хочет, чтобы его страна оказалась в роли маленького котенка, которого грубо отталкивают от пищи большие собаки.

Инженер Маттеи, вспоминающий эту притчу о котенке, необычайно активен и энергичен в осуществлении своих целей — он азартно работает и азартно борется с противниками (артист с убеждающей силой воплощает этот азарт, эту энергию своего героя). Всепоглощающая страсть делает инженера Маттеи фанатиком идеи и дела, он яростно бросается в схватки — одна опаснее другой — и идет, что называется, напролом и сокрушает все преграды — будь то скепсис знакомого журналиста, интриги заокеанского магната, продажность или трусость политиканов.

Есть в этом изображении непреклонности, всесокрушающей прямолинейности Маттеи некое увлечение создателей фильма своим героем. Характер и деятельность Маттеи слишком «выпрямлены», «очищены» от сложностей, связанных с его политическими взглядами и позициями (выступая против потакавших монополиям политиков, он сам принадлежал к правящей христианско-демократической партии, правда, к ее левому крылу). Можно сказать больше: временами возникает ощущение, что инженер Маттеи показан как некий сверхчеловек, идеальный герой. Это ощущение становится особенно сильным в сценах встреч Маттеи с сицилианцами: в них он выступает как благодетель и спаситель от нищеты, вынужденной эмиграции, как надежда и любовь народа, его мужественный и почитаемый лидер. В какой-то момент эмоциональная атмосфера вокруг героя, отношение к нему со стороны народных масс и создателей фильма вступает в определенное противоречие с фактическим содержанием его деятельности: инженер Маттеи делает прогрессивное дело, борясь с заокеанскими монополиями, с коррупцией и бюрократией, облегчающими хищническую власть монополий, но его борьба остается в рамках защиты интересов национального капитала, национализации нефти. В деятельности Маттеи нет узколобого технократизма, но нет и необходимой для полного успеха дела широты социального мышления, умения и желания соединить борьбу за то, чтобы итальянская нефть принадлежала итальянцам, с демократическим движением трудящихся.

■

Есть своя закономерность в том, что новые работы Рози и Петри привлекли широкое внимание кинематографической общественности — как в Италии, так и за ее пределами: в них воплотилось характернейшее для современного кинематографа движение в сторону политического и социального фильма. Чтобы полнее ощутить и оценить масштаб этого движения, надо еще раз вспомнить уже упомянутые фильмы: «Сакко и Ванцетти» Джулиано Монтальдо и «Люди против» Франческо Рози, а также «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» Элио Петри, «Кеймада» Джило Понтекорво, «Признание полицейского комиссара прокурору республики» Дамиано Дамиани, «Конформист» и «Бедные умирают первыми» Бернардо Бертолуччи,— все они были показаны на прошлогоднем Московском кинофестивале, и о них много писала тогда наша пресса.

Уже сам перечень имен и названий свидетельствует о том, что движение оказалось довольно сильным — в нем участвуют крупнейшие мастера итальянского кино. Значение их тематических и стилевых исканий с особой отчетливостью раскрывается не только в противоборстве с кинематографом, приукрашивающим, рекламирующим буржуазный образ жизни, но и на фоне искусства, которое критически изображает окружающую действительность, но свою критику не поднимает до высот социального анализа. Неблагополучие человеческого существования в условиях материального достатка, уродства «потребительского общества», засилие техники и драматическая античеловечность машинной цивилизации трактуются этим искусством весьма отвлеченно: не проводится никаких различий между обществами с различной социально-экономической структурой, отчуждение человека от результатов его труда, деформация гумани-

---

А. КАРАГАНОВ
У ИТАЛЬЯНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

стической морали под влиянием своекорыстия, неспособность индивидуалиста понять других и быть понятым другими наделяются чертами вселенского зла.

В такого рода мистификациях реальных противоречий и драм собственнического общества по-своему отражаются сложности формирования демократического и социалистического мировоззрения у той части художественной интеллигенции, которая уже разочаровалась в буржуазном образе жизни, но еще не нашла достаточно прочных опор в антикапиталистических народных движениях, в современном развитии революционной мысли, в понимании реальных ценностей — не только экономических и социальных, но и моральных — социалистического мира.

Каковы бы ни были исходные импульсы искусства, показывающего тотальное поражение человека, реальное воздействие этого искусства заставляет задуматься: а уж так ли опасны для буржуазии гнев без адреса и отчаяние, оторванное от своих реальных истоков? Ведь протест против вселенского зла настолько абстрактен, что с его апостолами трудно говорить о каких-то конкретных целях. И бывает очень трудно находить в их произведениях диагноз болезней, на которые они жалуются, а о лекарствах и говорить не приходится.

Очевидно, именно такие произведения имел в виду Роберто Росселлини, когда в интервью, опубликованном в «Фильмкритике» (№№ 156—157, 1965 г.), с горечью говорил о том, что искусство превратилось в сплошной ропот недовольства. О художнике, его значении судят по тому, сколько он жалуется. Ропот и жалобы называют обличением. Но обличение требует анализа и борьбы. «К сожалению, жизнь сейчас стала чрезвычайно сложной, поэтому нужно много труда, чтобы постичь ее, нужно научиться понимать ее. Но именно этого почти никто не делает, в мире становится все больше и больше «бездельников», и настает момент, когда уже не остается ничего, кроме ощущений и чувств... Тут-то и возникает ропот. Согласен, пусть будут люди ропщущие, но в противовес им должно быть много людей, которые не ропщут. Ропот как проявление иррационального, по-моему, мало действен, когда по сути дела надо бороться за совершенно конкретные вещи».

Горечь суждений Росселлини рождена жизнью кинематографа, печальным опытом тех его мастеров, которые вместе с протестом против отчуждения человека несут зрителям чувство безнадежности. Конечно, винить индивидуалиста за его индивидуализм, человека, лишенного веры и надежды, за пессимизм,— занятие странное по крайней своей наивности, и уж во всяком случае бесплодное. Тут не нужны торопливые прокуроры. Нужен анализ жизни и отражающего его сознания. Только такой анализ, обнажающий силу фактов, может просветить и направить художническую мысль и чувство.

К такому анализу и идут создатели фильмов, раскрывающих не только психологию, но и социальные истоки человеческих драм, упорно ищущие альтернативу, опору, идеал, пути к нему.

Работа над политическими и социальными фильмами демократического и социалистического направления сталкивается сейчас не только с «традиционными», «привычными» противодействиями: у этих фильмов появились фальшивые союзники, которые, практика показывает, бывают опаснее откровенных врагов. Речь идет о кинодеятелях, продюсерах, считающих, что «деньги не пахнут», главное, чтобы прибыли росли, а какой ценой они добываются — не суть важно. Рассуждающие столь цинично кинодеятели любят накладывать на любой жизненный материал схемы «прибыльного фильма». Это под их влиянием на мировом экране получили сейчас распространение кинококтейли порнографии и политики. Это под их влиянием стала весьма реальной опасность инфляции фильмов, посвященных важнейшим политическим и социальным проблемам современности.

Об этой опасности у меня был разговор с Уго Грегоретти, постановщиком «Омикрона», в котором фантастика искусно использовалась для углубления в драматические проблемы рабочей жизни в условиях капиталистической эксплуатации. Когда снимался «Омикрон», напомнил Грегоретти, фильм о рабочем классе был для Италии редкостью, чем-то из ряда вон выходящим. В буржуазных кругах он встречался в штыки: практически не мог пробиться на экран, а если все же пробивался, широкого распространения все равно не получал — его замалчивала или обливала грязью буржуазная пресса, его загоняли в самые глухие кинотеатры...

На рубеже 60—70-х годов положение изменилось. Несколько фильмов о рабочем классе не просто пробились на экран, но и завоевали массовые аудитории. Продюсеры и прокатчики, умеющие держать нос по ветру, решили, что открылся новый кинематографический Клондайк: они всегда бросаются туда, где пахнет большими деньгами. И вот почти одновременно на итальянский экран выходят три фильма «из рабочей жизни», а еще четыре или пять запускаются в производство. О чем они? О том, как жена наставляет рога мужу-рабочему. О любовных похождениях очередного донжуана из рабочего предместья. Еще одна адюльтерная история...

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Уго Грегоретти показал мне газету «Паэзе сера» с рекламой фильма «Синдикалист». Воспроизведенная в газете афиша построена таким образом: на первом плане сидит тепло одетый, весьма серьезный, чтобы не сказать — мрачный, профсоюзный деятель, а мимо него дефилируют вызывающе раздетые грудастые девицы. По словам Грегоретти, эта афиша весьма точно воспроизводит не только «систему образов» «Синдикалиста», но и стиль, характер всех фильмов этого направления: буржуазное «коммерческое кино» пытается завладеть и рабочей

темой, приспособив ее к своим понятиям и потребностям.

Я спросил: не повторяется ли история приспособления неореализма к потребностям «коммерческого кино»?

— Не совсем так,— ответил Грегоретти.— Тогда трансформации неореализма в сторону «коммерческого кино» проходили все же на уровне искусства. Сейчас все это делается цинично, страшно цинично. Рабочая тема превращается в рыночную тему. Превращается в очередную моду — на потребу рынка. Нужна непреклонная убежденность и стойкость, чтобы противостоять соблазнам выгоды и моды. Далеко не все кинематографисты, занимающиеся ныне социальными фильмами, обладают такими качествами.

— Да, опасность инфляции реально существует,— говорил, соглашаясь с Грегоретти, режиссер Карло Лидзани.— Естественно, что на разных людей она действует поразному. Что касается меня,— продолжал Лидзани,— я и впредь буду снимать фильмы, посвященные проблемам политики и социальной жизни. Что бы ни происходило. Какие бы препятствия ни пришлось преодолевать.

В этой связи мы вспомнили второй симпозиум итальянских и советских кинематографистов, проходивший в Москве в 1963 году.

— Мы тогда,— улыбается Лидзани,— критиковали вас за то, что в советских фильмах слишком много политики. А сейчас сами делаем политические фильмы. В частности, я готовлюсь к съемкам фильма о внедрении мафии в один из городов северной части Италии. Потом поставлю фильм об Африке, об одной из африканских стран, которая в свое время была итальянской колонией, а сейчас развивается в условиях независимости.

В связи с проблемами социального кино естественным было спросить моих собеседников, какое место в его развитии занимают фильмы молодых кинематографистов, бунтующих против окружающего их общества, его традиций и моральных ценностей. Ответы были самые разные, но в большинстве случаев весьма критические в отношении этих фильмов, их направления и стиля.

Некоторые из кинематографистов старших поколений объясняют «эпатирующий» стиль молодых совсем прозаически: в Италии ежегодно снимается 200 фильмов, а режиссеров, способных ставить фильмы, много больше. Вот молодые и бунтуют против всех и вся, воюя за место под кинематографическим солнцем.

Но даже и те, которые не сводят борьбу молодых к столь прозаическим расчетам, с горечью отмечают, что пока, кроме нескольких интересных работ Марко Беллоккио и братьев Тавиани, эксперименты молодых не дали ничего существенного, ничего возбуждающего надежду и веру. Среди молодых сейчас царит разброд. Одни едут работать в США. Другие, оставаясь у себя на родине, начинают снимать рыночные фильмы, которые еще вчера клеймили презрением. Третьи по-прежнему бунтуют, доходя в своем бунте до крайних точек анархистского всеотрицания.

В основе такого отрицания — скорее эмоциональная, нежели аналитическая, оценка хода истории: благоприятные условия 1945 года не были использованы для коренных изменений социальной структуры общества; ничего существенного в этом смысле не дал и 1968 год, хотя движение было бурным — и не только в майском Париже, но и в городах Италии; а раз так, значит, ничего у нас не получается и не получится, все гибнет, ну и пусть все катится в тартарары. Такова, может быть, изложенная в несколько упрощенной редакции психология анархистского бунта.

С этой психологией в определенной степени связаны и стилевые эксперименты бунтарей. В своих интервью «левые» бунтари настойчиво ставят вопрос о необходимости «провоцировать массу» самим стилем фильма, поднимать массы на борьбу всеми доступными кинематографу средствами. Но такого рода декларации остаются декларациями, сотрясением воздуха, а пророки бунтующего искусства — «революционерами» для себя и своих адептов, для узкого круга посвященных. До масс их искусственно усложненные, «шокирующие» фильмы не доходят, мысль и чувство массового зрителя не затрагивают.

Среди участников наших бесед о молодых были и такие, которые не разделяют пессимизма своих коллег: рано еще делать окончательные выводы о творчестве молодых, надо подождать, посмотреть, что вырастет из их бунтарского искусства. Но и «оптимисты» пока весьма сдержанны в прогнозах, их тоже не покидает чувство тревоги: так случилось, что в итальянской кинематографии сейчас нет сколько-нибудь значительной группы молодых талантливых мастеров.

■

Ну, а что происходит с режиссерами, которые в конце 50-х — начале 60-х годов выступили с фильмами, заставившими итальянскую критику говорить о «кинематографе индивидуальностей», пришедшем на смену неореализму?

Новый фильм Федерико Феллини «Рим» я смотрел в кинотеатре, почти пустом: зрителей там было человек 25—30. Зная по газетам, что это единственный театр, где шел «Рим», я был удивлен — ведь еще недавно каждый новый фильм Феллини привлекал толпы зрителей, вызывал потоки восторженных рецензий, бури дискуссий. Что же произошло?

«Рим» по-феллиниевски выразителен. Изобретательность и неуемная сила режиссера по-прежнему поражают, ни в какие обоймы этот фильм не поставишь, по аналогиям не определишь — он сам по себе.

А. КАРАГАНОВ
У ИТАЛЬЯНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

У входа в кинозал — огромная афиша. На ней — толстая, вызывающе декольтированная, величественно-надменная проститутка на фоне ночного неба, разорванного сполохами пламени — то ли пожар, то ли гроза... Это очень точный образ фильма. «Рим» — гигантская кинофреска-гротеск. Не рассказ о «вечном городе», а именно гротеск, «визуально» передающий трагическое ощущение жизни, гнев и ярость художника.

В начале фильма Феллини резко «снижает» историю Рима, сотканную из легенд, перемежающих и связывающих факты. Переход через Рубикон изображается в добродушно-карикатурных смещениях: группа тщедушных юнцов в цилиндрах, ведомая занудливым учителем, переходит вброд мелководную речушку, осторожно перешагивая с камня на камень, чтобы не замочить брюки.

По мере приближения к современности фильм становится все злее. На экране возникают сцены предвоенного и военного быта — он какой-то неопрятный, грязный, буржуазная сытость соседствует в нем с нищетой, старательное демонстрирование приличий и достоинства — с фактическим ничтожеством, мелочностью, суетностью человеческого существования.

Атмосфера жизни при Муссолини передается через эстрадное представление: на сцене — блеск мишуры, пошлость, усиленно взбадриваемая жизнерадостность, в зале — дикие выкрики, шум, в котором слышатся угрозы служителям муз, их забросают огрызками яблок, а то и побьют, если они не сумеют развеселить публику... Концерт представлен как «зрелище» в том самом понимании этого слова, в каком применяли его римские патриции, устраивая развлечения для плебеев.

Большое место в фильме занимают, как бы перекликаясь с эстрадой, сцены в двух публичных домах: дешевом, солдатском, и дорогом — чудовищные по коллекционированию телесных уродств, скотской похоти и наглого разврата.

В изображении послевоенного Рима одной из ключевых является сцена великосветского приема с участием кардинала. В фешенебельном зале собирается «высший свет» — старушки с громкими титулами, меланхолически вспоминающие о временах минувших, сановные старики в сопровождении молодых ловкачей, старающихся отменной учтивостью, услужливостью, лестью повысить свои доли в будущих разделах наследств... Приходит кардинал. Он милостиво протягивает руку для поцелуев и усаживается в почетное кресло — как на трон. Начинается... показ мод. На помосте, подковой огибающем зал, появляются монашки, демонстрирующие фасоны одежды для повседневности и службы, священники, князья церкви, а в конце — скелеты на тележках: демонстрируются новые модели саванов...

Всем своим образным строем фильм представляет жизнь «вечного» города как уродство, которому нет ни конца, ни края. В жизни этой безобразна аристократическая спесь, но безобразна и дикость толпы.

В рассказ о городе, ставшем средоточием всяческих пороков, о городе проституток и сутенеров, жалких хиппи-наркоманов и жестоких полицейских «органически вписываются» сцены, показывающие современный «прогресс». Его практическими носителями в данном случае выступают строители метро. Прокладывая подземные трассы, они то и дело наталкиваются на сокровища древнего Рима. Так, на одном из участков они обнаруживают зал с фресками поразительной красоты, но фрески эти у них на глазах обесцвечиваются, исчезают — их убивает воздух, проникший сюда через прорубленные строителями входы. На стенах остаются лишь блеклые контуры творений гения. Смысл этих встреч с прекрасной стариной более чем прозрачен: современный человек губит красоту, портит все, к чему прикоснется.

Феллини заостряет мысль о тотальности уродств, поднимаясь в своих заострениях до уровня трагического гротеска, почти без деформаций натуры. В изображении «разрушительной роли» творцов современной цивилизации он пользуется кадрами, документально показывающими строительство метро. Точно так же — путем выбора предмета, времени и места съемок — он обнажает свою мысль о том, что люди губят красоту «вечного города» не только под землей, но и на земле.

Всякий побывавший в Риме знает, как автомобили портят этот чудо-город. Он буквально задыхается от потока транспорта, от автомобилей, стоящих по обочинам улиц, загораживающих скверы и площади. Феллини показывает столпотворение машин в дождливую погоду, в сумерках. При этом его операторы снимают не только потоки машин в сполохах молний под проливным дождем, но и работу своих товарищей по съемочной группе, включая самого Феллини. Получается нужный для фильма эффект: перед нами — натура, реальность сегодняшнего Рима и одновременно нечто апокалипсическое.

Тот же прием используется в уже упомянутых сценах в публичных домах — простым подбором «натурщиц» и «высвечиванием» продающегося женского тела создается гротесковый кошмар гульбища. При этом каждый раз — и агрессивная наглость проституции, и фантасмагория автомобильного движения в часы грозы, и разрушение древних фресок на трассе строящегося метро — уродства жизни Рима изображаются в фильме (таков тон изображений, таковы их контексты, такова внутренняя логика экранного действия) как воплощение уродств человеческого существования. Драматизм бытия не только непереносим, но и непреодолим. К такому ощущению мира ведет фильм. Этому ощущению фактически не противоречат и вкрапленные в фильм интервью с Марчелло Мастроянни, Анной Маньяни, самим Феллини (в фильме нет «сквозных образов», все фигуры и все роли эпизодичны, среди других эпизодиче-

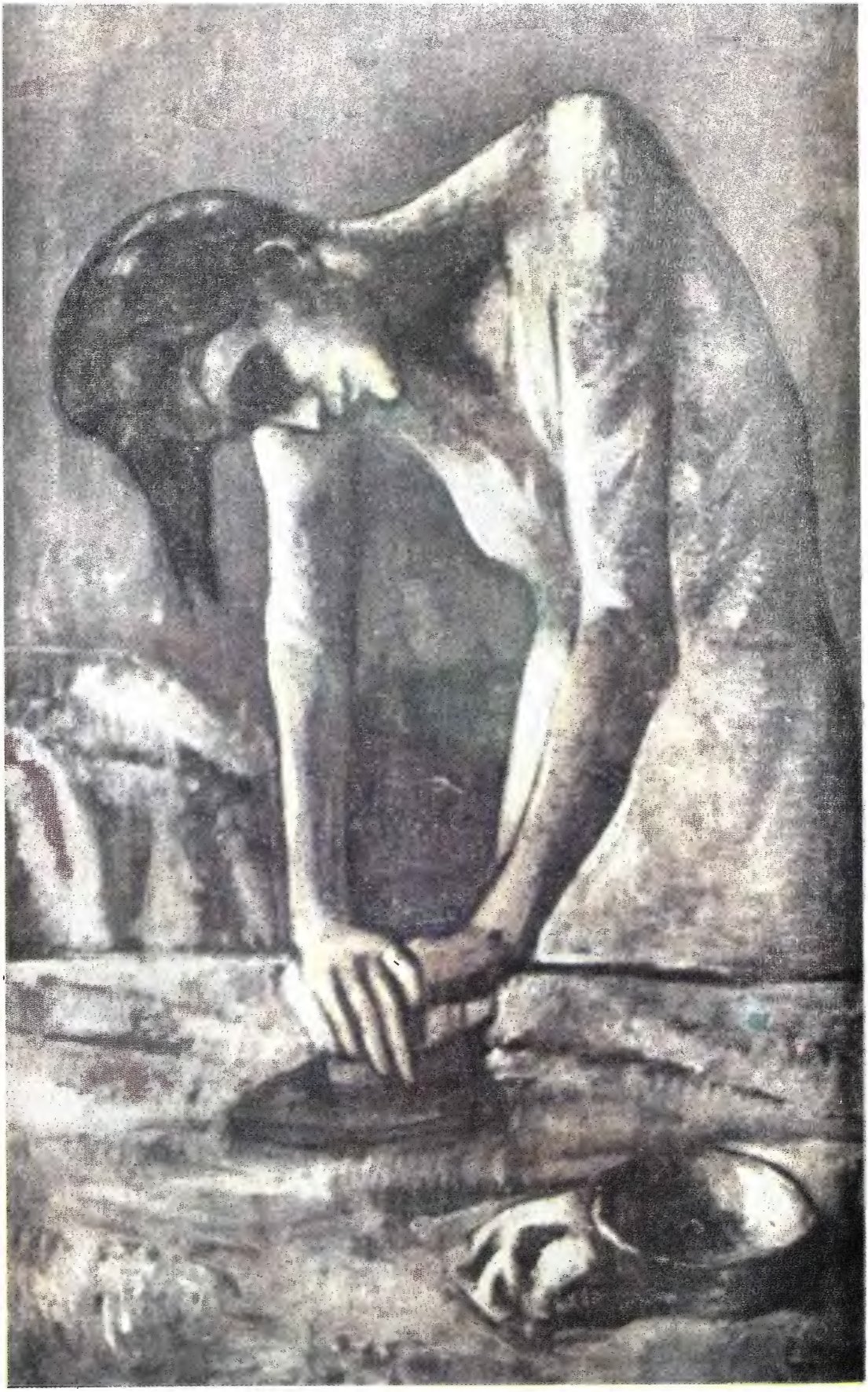
Мать и сын. 1905 г.

Голубое и розовое

(Из нового альбома Пикассо)

Бедняки на берегу моря. 1903 г.

Фокусники. 1905 г.



Гладильщица. 1904 г.

ских персонажей возникают и названные деятели кино), их спрашивают: чем вам нравится Рим, почему вы его любите — но вопросы остаются без ответа, спрашиваемые просто отшучиваются или уклоняются от разговора.

Этому трагическому ощущению жизни не противоречит и «счастливый финал»: по ночному городу, наконец-то освободившемуся от потоков автомобилей, мчатся молодые мотоциклисты, они проезжают по прекрасным улицам и площадям Рима, мимо знаменитых дворцов, соборов и памятников. На экране возникает некий кинематографический путеводитель для туристов. И так же как финальный хоровод в «Восьми с половиной» или улыбка юной девушки в финале «Сладкой жизни», марш мотоциклистов — не более как условный знак возможного счастья, очередной иероглиф Феллини: читай его как знаешь. Боюсь, что эти внешне многозначные, но мало что значащие в соотнесенности с социальными реальностями фильмов иероглифические «хэппи энды» становятся неким стереотипом режиссера.

При всем том, что в «Риме» много по-феллиниевски яркого, трудно отделаться от ощущения: после страстной защиты человека в тонких и глубоких фильмах «Дорога» и «Ночи Кабирии», после беспощадной в своей почти документальной достоверности «Сладкой жизни», после сильного и сложного воплощения в «Восьми с половиной» духовной драмы художника, ищущего и не находящего правды, искусство Феллини замедлило свой ход.

В произведениях художников, даже самых гениальных, всегда можно найти самоповторения, выражающие художнические пристрастия, последовательность мысли и стиля: выражая своеобразие индивидуальности, они не мешают движению искусства. Есть такие самоповторения и у Феллини, в том числе и в его вершинных фильмах. Но после «Восьми с половиной» появились в его творчестве и повторы иного типа — вариации на тему, ставшую уже привычной, перелицовки ранее найденного, не продвигающие разработку темы, самоцитаты, замедляющие обновление искусства. Когда вышел на экраны фильм «Джульетта и духи», многие его критики стали говорить о перепевах некоторых мотивов «Восьми с половиной»; в «Сатириконе» сквозь антураж древности отчетливо просвечивали образы «Сладкой жизни», переодетые в античные одежды. Ощущение некой монотонности в разработке темы возникает и при знакомстве с «Римом». Этого ощущения не ослабляет по-прежнему гениальная изобретательность Феллини, необыкновенная выразительность его режиссерских решений. Очевидно, тут играет свою роль авторское «бидение жизни»: драма художника, о которой шла речь в «Восьми с половиной», не преодолена. В новом фильме Феллини снова возникают языковые и стилевые структуры, показывающие жизнь как нечто неподвижное, застывшее в уродливых окаменелостях; происходит лишь количественное нарастание режиссерской экспрессии: Феллини как бы повышает «порог ощущений», чтобы уродства жизни били по мозгам зрителя с прежней силой и зритель не отмахивался от кинематографического изображения уродств, как от чего-то такого, что уже успело стать привычным. Рост режиссерской экспрессии не сопровождается повышением энергии познания жизни, аналитическим углублением в ее противоречия. Тем самым ослабляются импульсы искусства, вызывающие ответные движения в душе зрителя, неизбежно соотносящего образы фильма с опытом своих наблюдений и переживаний.

Сложно и противоречиво развивается и творчество Антониони, чьи фильмы, как и фильмы Феллини, назывались в 60-е годы среди вершинных достижений итальянского кино. Его «Забриски-Пойнт» — произведение во многом переходное. Антониони не отказывается в нем от самого себя, вчерашнего, не перестает быть исследователем человеческого одиночества. Но в «Забриски-Пойнт» появились новшества, озадачившие и даже обескуражившие тех критиков, которые поклонялись многозначным туманностям Антониони, превозносили анатомию неврозов, скрупулезное исследование любовных драм как единственно возможный путь в сложный мир современного человека, в тайны человеческого бытия. Словно бы полемизируя со своими нерассуждающими поклонниками, Антониони обращается к проблемам бунтующей молодежи США. Рядом с многозначно-отвлеченными изображениями человеческого смятения появляются прямые — даже с полусатирическим нажимом — обращения к реальностям «потребительского общества», где трудно, очень трудно человеку сохранить себя, свою личность и обрести хотя бы минимум свободы. Гневно показывает Антониони и «силы порядка», которые с тупой полицейской деловитостью расправляются с молодым героем фильма.

Фильм заканчивается сценой бегства героини из дома ее босса. Она, потерявшая любимого, а вместе с ним и последние надежды на счастье, с ненавистью смотрит на этот роскошный дом — и он взрывается, разрушается, горит под ее ненавидящим взглядом: мечта становится явью, «материализуется» эффектными экранными изображениями. Снова и снова — в разных ритмах и ракурсах — повторяются взрыв, разрушение, пожар.

Эта назойливая повторяемость финала может быть по-разному «прочитана»: одни видят в ней метафору конца мира, характерную для «традиционно пессимистического» Антониони, другие расшифровывают финал более социально — как продолжение, пусть в воображении героини фильма, того бунта, которому отдал жизнь ее любимый. Но при любом прочтении финала ясно, что в «Забриски-Пойнт» есть нечто новое в сравнении с такими фильмами, как «Приключе-

---

А. КАРАГАНОВ
У ИТАЛЬЯНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

ние», «Ночь», «Красная пустыня». «Забриски-Пойнт» появился где-то на границе между его вчерашним и завтрашним искусством. В этой переходности есть свои слабости, проявляющиеся в недостаточной последовательности стиля. Но есть и своя сила — отказ от искусства, которое постепенно становилось монотонным в исследовании психологии одиночества, движение к прямому разговору со зрителем не только о противоречиях запутанных душ, но и о противоречиях социальной жизни, формирующей эти души, о реальных силах, которые не хотят перемен — одних покупают, других растлевают, третьих расстреливают «во имя порядка».

Пока маршруты этого движения не определились. Более того, тут возможны самые парадоксальные и самые неожиданные зигзаги. Но сам факт движения — реальность творчества Антониони, не желающего повторять себя, вчерашнего.

— Я наблюдаю действительность,— сказал мне Антониони в ответ на традиционный вопрос о новых замыслах.— Мои планы и замыслы зависят от того, какая она сейчас, в каком направлении и как меняется. Не так давно я собирался начать съемки нового фильма (очевидно, Антониони имел в виду автобиографический фильм «Спираль».— *А. К.*). Уже был готов сценарий, подбирались актеры. Но незадолго до съемок я понял, что задуманный мною фильм станет повторением или почти повторением того, что уже было. Я решил отказаться от замысла, которому было отдано несколько месяцев работы.

Из разговора с Антониони я узнал, что он едет в Китай. Объясняя столь неожиданное решение, Антониони рассказал о том, что он получил приглашение китайского посольства в Риме пожить несколько месяцев в Китае и снять там документальный фильм.

— Я ни разу не был в Китае, мне интересно там побывать. Посмотрю, что это такое — нынешний Китай, и сделаю фильм. Не знаю, понравится ли китайцам то, что я буду делать, дадут ли они мне возможность снимать то, что я захочу. Во всяком случае, я попробую. Как вы думаете, пустят они меня к советско-китайской границе?

На мое замечание о парадоксальности такого перехода от исследования психологии одиночества к документальному фильму о Китае Антониони повторил:

— Мне интересно туда поехать. Конечно, маоистом я не стану,— добавил он смеясь,— я человек западной культуры, но мне интересно увидеть Китай, попробовать понять, что там происходит.

Разговор о новых произведениях Антониони, Феллини и режиссеров, называющих себя «детьми неореализма», станет по неизбежности односторонним, если мы забудем о «репертуарном контексте» этих произведений. Как и десять лет назад, на итальянском экране преобладающее, можно сказать сильнее — господствующее положение занимают буржуазные «коммерческие фильмы». Новое тут заключается только в том, что фильмы эти все активнее «взаимодействуют» с произведениями искусства, которые противопоставляют себя коммерческой «киношке». Происходит некая диффузия приемов и стилей. Я уже упоминал о том, что даже ведущие мастера нередко обращаются, чтобы привлечь зрителя, к приманкам и магнитам «коммерческого кино». Еще заметнее и активнее обратное воздействие: сейчас даже в откровенно рыночных фильмах можно встретить диалоги о Вьетнаме и долгие планы наисовременнейшего образца, рассуждения о моральных проблемах современного человека и уличные съемки — «под хронику»...

Однако все эти «диффузии» проблем и стиля не должны вводить в заблуждение: слияния не происходит, «коммерческое кино» остается частью буржуазной «массовой культуры», большой и весьма опасной силы — опасной для истинного искусства и для зрителя.

Очевидно, только в контексте этих реальностей можно понять горькие размышления Роберто Росселлини о современном кино:

— Кино перестало быть тем новым языком человечества, каким оно было в пору своей молодости. Теперь оно — развлечение, товар, средство получения прибылей. Деформированы, вульгаризированы сами цели кино, а значит, и его язык. Нынешнее кино занимается созданием мифов. Среди других мифов распространяется и представление о художнике как о боге. Между тем в прошлом сам народ умел выражать себя прямо, без посредничества художника. Известно, что язык создан на основе зрения — как фиксация зрительных представлений: каждое слово рождалось как символ, импульс определенных ассоциаций. Язык развивался вместе с познанием и в результате роста познания. А что выражает сегодняшнее кино? И как выражает? Фактически оно говорит чужими словами — не поднимается на уровень современной науки, которая имеет свой язык, развиваемый и обогащаемый научными исследованиями.

В наше время особую важность приобретает борьба за человека — надо воспитывать в нем благородство, доброту, альтруизм, мужество. Кино — я все время говорю о западном кино, вашего по сути дела не знаю — этого не делает. Известно, что проповедь, пропаганда используются веками, ими занимаются не только церковь, но и другие институты. Конечно, проповедь имеет свое влияние. Но не так оно велико. В человеке несколько миллиардов нервных клеток. На какие из них влияет проповедь? Первичные формы художественного самовыражения человека были связаны с эмоциями, действовали на эмоциональный мир. Нам надо было бы подумать о том, чтобы не только память и разум воспринимали информацию, содержащуюся в фильме, в том числе и сообщаемые кинематографом научные истины. Надо искать такие кинематографические образы, которые выражали бы истины непосредственно, воздействуя на максималь-

но возможное количество клеток сложной структуры человека. А это предполагает и воздействие эмоциональное. Познавая и выражая истину, кино должно развивать, обогащать себя как искусство, а не просто применять уже известные, ранее найденные выразительные средства для передачи информации. Только в таком саморазвитии кино может стать вровень с современной наукой.

В этой связи Роберто Росселлини рассказал о своем намерении создать — примерно на 40 часов экранного времени — серию фильмов, посвященных многовековой истории человечества. Замысел уже осуществляется. Не так давно по итальянскому телевидению был показан фильм «Сократ». Тема фильма сложная, не для широкого зрителя, и тем не менее посмотрело фильм около семи миллионов зрителей. Этот зрительский успех для многих оказался неожиданным.

— Знаете, кто мне помог в поисках новых возможностей кинематографического воплощения истории? Ваш Тарле своей книгой о Наполеоне: он собрал все доступные факты; рассказ его очень конкретен, история показана в движении — в пластически впечатляющей конкретности и внутренней логике развития.

По-моему, своим подходом к созданию киноистории человечества я утверждаю марксистские взгляды. Надо создавать новое кино. Кино, какого сейчас нет.

Я спросил Росселлини, как он в этом плане относится к исканиям Антониони, Феллини, к экспериментам молодых кинорежиссеров, часто ломающих привычный язык кино во имя искусства бунтующего, неведомого, озадачивающего своими новшествами. Росселлини ответил: пока такого кино, о котором идет речь, нет. Конечно, каждый должен выражать себя по-своему, но каждый должен думать о развитии нового, истинно современного искусства...

В чем-то рассуждения Росселлини могут показаться спорными, даже несправедливыми в отношении современного кино. Но им нельзя отказать в главном — они продиктованы заботами о развитии истинного искусства, презирающего торгашество и отвергающего ремесленное повторение пройденного. В этих заботах «отцы» и «дети» неореализма идут навстречу друг другу.

Среди книг

Издано в СССР

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ «МАНЪЁСЮ»

«Манъёсю» («Собрание мириад листьев»). В 3-х томах. Перевод с японского, вступительная статья и комментарии А. Е. Глускиной. Ответственный редактор Н. И. Конрад. Поэтическая редакция Н. А. Павлович. Москва, «Наука», 1971—1972 гг.

Культура каждого народа имеет корни, которые часто уходят в глубь веков. Они определяют облик народа, его историческое лицо. Это относится и к художественному творчеству, поэзии, искусству.

«Лучшее литературное наследие мира обладает непреходящей художественной ценностью и входит в нашу современность как вечно живой источник мыслей и чувств, обогащающий сокровищницу мировой культуры» — этими словами открывается трехтомное издание японской антологии «Манъёсю» на русском языке.

Вне всякого сомнения, к такому именно литературному наследию наряду с другими бессмертными памятниками мировой литературы — «Книга песен», «Илиада» и «Одиссея», «Рамаяна» и «Махабхарата», «Слово о полку Игореве» — относится и японская антология «Манъёсю», хранящая поэтическое богатство своего народа.

«Собрание мириад листьев» является ценнейшим и наиболее ранним памятником традиционной культуры, национальной гордостью японского народа. Здесь собраны песни многих поколений, датированные четвертым—восьмым веками, а также подлинные жемчужины фольклорной поэзии, выходящие далеко за рубежи феодальной эпохи.

В этой поэтической энциклопедии представлены произведения около пятисот авторов. 20 книг японского издания «Манъёсю», где насчитывается 4516 песен, составили три тома в русском переводе.

Известно, что в дореволюционное время на русском языке появились немногочисленные песни этого собрания, однако преимущественно в переводе с западноевропейских языков. Впоследствии были переведены с японского лишь отдельные произведения из «Манъёсю» — в сборнике «Японская поэзия», увидевшем свет в 1954 году и вышедшем вторым, дополненным изданием в 1956 году.

В недавно опубликованном трехтомнике «Манъёсю» впервые сделан полный перевод памятника непосредственно с японского оригинала, с филологическими и историческими комментариями и весьма ценными приложениями.

Это издание, как отмечается в предисловии, ставит целью ввести в широкий научный и культурный обиход весь богатейший материал этого редкого собрания, с тем чтобы помочь глубже понять особенности некоторых сторон японской действительности и в первую очередь литературного и культурного развития современной Японии. При этом для перевода текста «Собрания мириад листьев» использовано главным образом комментированное издание «Манъёсю-сосяку», в подготовке которого принимали участие крупнейшие современные японские филологи—исследователи «Манъёсю».

Важно отметить, что основная задача комментария прежде всего состояла в том, чтобы раскрыть реальное содержание песни путем разъяснения условий, при каких создавалась она, и объяснения реалий лежащих иногда за пределами поэтического текста. Лишь в самых необходимых случаях, когда текст вызывает у японского читателя дополнительное художественное восприятие, подсказанное привычной ассоциацией или поэтической традицией, то есть когда требовалось раскрытие внутреннего или ассоциативного образа, переводчик позволял себе выражать это сло-

весно, чтобы передать советскому читателю художественно-эстетическое содержание песни и впечатление от нее во всем объеме.

И говорить здесь следует не только об аутентичности перевода, но и о творческом вхождении в образную систему и смысловую сущность японского оригинала. Несомненно, что от того, как переводчик прочтет подлинник, в значительной степени зависит эстетический результат его творческого вхождения в образ.

А. Е. Глускина, исследовавшая произведения «Манъёсю» в течение четырех десятилетий, предлагает нам свое прочтение и поэтическую интерпретацию, которая отличается столь же поразительной проникновенностью, сколько и образной аутентичностью. И потому песни «Манъёсю» на русском языке вызывают доверие и симпатию читателя своей естественностью, искренним выражением чувств. Они словно открывают свой мир, полный неповторимых красок, звуков, образов.

Мы знаем, что в такую отдаленную от нас эпоху, когда создавались песни «Манъёсю», поэзия органически входила в жизнь, в быт. И выразителями ее были как одаренные поэты, так и простые люди, в силу традиций воплощавшие свои мысли и чувства в песнях, направлявшие поэтические послания друзьям, возлюбленной, родителям и рассказывавшие в песнях нередко о самом обыденном и повседневном.

В отличие от классической японской поэзии более позднего времени, в значительной мере ограниченной особой «поэтической темой», содержанием песен «Манъёсю» служит окружающая реальность во всем разнообразии ее проявлений. В них говорится и о старинных обрядах, и об условиях труда, и о красоте окружающей природы.

Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок
душистых,
И поля
Показались так дороги сердцу,
Что всю ночь там провел средь цветов
до рассвета!

(Песня, 1424)

Главное в поэзии — сама поэзия. Характеризуя сущность японской поэзии, автор первого трактата о поэзии Ки-но Цураюки (X в.) говорил: «Песни Ямато [1], вы вырастаете из одного семени — сердца и превращаетесь в мириады лепестков речи, в мириады слов. И когда слышится голос соловья, поющего среди цветов, или голос лягушки, живущей в воде, хочется спросить: что же из всего живого на земле не поет своей собственной песни?»

Эпоха Нара, время заката древности и раннего средневековья (VIII в.), явилась знаменательным этапом в художественном движении японского народа. Именно с этим периодом расцвета художественного творчества, когда закладывались основы дальнейшего развития японской поэзии, и связано собирание произведений «Манъёсю».

Содержание «Манъёсю» весьма разнородно: здесь и образцы литературной поэзии, принадлежащие выдающимся поэтам эпохи, и записи народных песен, старинные анонимные песни, фамильные собрания и сборники песен и т. п.

Первый том «Собрания мириад листьев», в который вошли семь книг японского издания, включает придворную поэзию, записи народных песен, плачи, песни-послания, песни-аллегории, а также разные песни. Здесь представлены произведения таких знаменитых поэтов и поэтесс, как Хитомаро, Акахито, Окура, Табито, Якамоти, Нукада, Отомо Саканоэ, и многих других. Среди песен «Гимн вину», созданных Отомо Табито, находим следующее пятистишие:

До чего противны мне
Те, что корчат мудрецов
И вина совсем не пьют,
Хорошо на них взгляни —
Обезьянам, впрямь, сродни!

Показательна песня Яманоэ Окура, сложенная в тоске по родине во время пребывания в Китае:

Итак, друзья, скорей в страну Ямато,
Туда, где сосны ждут на берегу!
В заливе Мицу,
Где я жил когда-то,
О нас, наверно, память берегут!

Второй том «Манъёсю», включающий последующие семь томов японского издания, содержит песни поэтических турниров, песни странствования, песни-аллегории, календарную поэзию — песни весны, лета, осени, зимы, любовную лирику и народные легенды. В этом томе также содержатся произведения крупнейших поэтов: Акахито, Окура, Якамоти и других известных поэтов того времени.

Здесь мы находим много записей народных песен западных и восточных провинций. Вот одна из песен западных провинций:

Чем так жить,
Тоскуя о тебе,
Лучше было бы мне просто умереть,
Оттого что думы, полные тревог,
Словно скошенные травы на полях...
О, если жить
Всегда в такой тоске,
То даже эту жизнь,
Что жемчугом сверкает,
Совсем не жаль мне будет потерять!

В томе третьем этой поэтической антологии, в котором представлены оставшиеся шесть томов японского издания, собраны песни-послания, песни на темы народных легенд, древние песни-предания, песни поэтических соревнований, шуточные песни, песни пограничных стражей и лирический дневник Отомо Якамоти.

Характерна, например, песня, сложенная Отомо Якамоти для пира в честь нового

[1] Ямато — древнее название Японии.

урожая, когда в саду рядами сажали деревья, устроив из них ширмы:

Хочу, чтоб соловей
Здесь с песней пролетел
Между деревьями, посаженными нами,
Указывая всем, что к нам пришла весна
Со стелющимся по земле туманом.

Или другая песня Якамоти, который слывет певцом любви, посланная любимой:

Чем так мне жить, страдая и любя,
Чем мне терпеть тоску и эту муку —
Пусть стал бы яшмой я,
Чтоб милая моя
Со мной осталась бы, украсив яшмой
руку!

Богатство образов и широта тематики придают песням «Манъёсю» особенное значение, раскрывая перед нами картину редкого подъема японской древней культуры. И здесь, естественно, напрашивается сопоставление раннего китайского, индийского, персидского речевого искусства с песнями «Манъёсю». Творческое освоение фольклорных традиций и приемов иноземной поэзии, философии, культуры, разумеется, не могло не способствовать расцвету глубоко самобытной японской поэзии. Кстати, фольклорная основа характерная для самого «Собрания мириад листьев», отличает его от других, более поздних японских поэтических памятников.

О взаимосвязях различных культур в эпоху раннего японского средневековья и об источниках древнего искусства Японии свидетельствуют художественные и археологические памятники, произведения искусства, бронза, лак, керамика, зеркала, парча, в том числе изделия и предметы обихода китайского, индийского, персидского и арабского происхождения, которые до сих пор хранятся в знаменитой сокровищнице Сесоин в древней столице Наре.

«Собрание мириад листьев», справедливо отмечает А. Е. Глускина раскрывает «необычайно широкий диапазон поэзии, весь сложный путь, проделанный песней за этот период, сопровождавшей вначале труд и обряд, глубоко проникшей в быт, в жизнь, выросшей затем в произведения высокого поэтического искусства, большой художественной ценности и в определенной среде выродившейся в увеселительную игру. Рассмотрение этого материала позволяет видеть и общемировые закономерности в развитии данной поэзии, и в то же время ее национальный облик».

В самом деле, в «Манъёсю» представлены почти все жанры народной песни, о которых известно в истории мирового фольклора. Среди них: трудовые и обрядовые песни, календарная поэзия, заговоры, песни-гадания, плачи, семейно-бытовые песни, солдатские песни, народные лирические песни и т. д. Своеобразной разновидностью народной песни являются песни-обеты, любовные клятвы, которыми обменивались возлюбленные перед разлукой, и песни-предания, где приводится ситуация, при которой была сложена песня, то есть как бы ее история. Среди трудовых песен нет примитивных «песен-возгласов», живущих главным образом за счет ритма, определяющего лишь темп работы. Здесь зафиксированы трудовые песни уже развитого типа, почти всегда связанные с любовной тематикой.

Жизненно значимые темы, конкретные образы, календарные циклы, сопровождавшие земледельческие обряды, специфические приметы и своеобычная «сезонная» эстетика получили свое выражение в песнях «Манъёсю» и сыграли затем важную роль во всем развитии японского поэтического искусства.

Характерны приметы и образы японской пейзажной лирики: для весны — легкая дымка тумана, зеленая ива, соловей, цветы сливы, сакуры; для лета — кукушка (ее кукование вызывало такое же восхищение, как пение соловья), цветы померанцев, цикады; для осени — цветы хаги, багровые листья клена, стонущий олень, крики диких гусей, лягушек, рисовое поле, ветер, роса; для зимы — снег и для поздней зимы, как и для ранней весны,— цветы декоративной сливы «умэ».

Вот одна из многочисленных песен «Манъёсю» о белоснежном цветении «умэ», столь широко воспетом в японской поэзии:

Я не могу найти цветов расцветшей
сливы.
Что другу показать хотела я:
Здесь выпал снег—
И я узнать не в силах,
Где сливы цвет, где снега белизна?

(Песня, 1426)

В лирических этих песнях нет ничего вычурного, никакой красивости, искусственного украшения. Здесь особенно ощутимы черты непосредственности. Эмоциональный настрой стиха исполнен чистоты и свежести.

Кукушка,
Прилети сюда поближе
И песню спой прошу тебя,
Ведь после минет дорогое время,
Тогда и песня будет ни к чему...

(Песня, 1438)

Иногда в строках нелегко обнаружить смысловую точность, быть может, оттого,

что делается это сознательно. Здесь скорее не точность, а как бы недосказанность, намеренная многозначность.

Хоть любовалась я цветами сливы,
Срывая их и не срывая их,
Но все-таки
С цветами этой ночи
Я не могу сравнить цветов других!

(Песня, 1652)

Старинные эти песни японцев с их общечеловеческим звучанием, пройдя столетия, продолжают сохранять живые чувства и движения людей минувшего времени.

«Значение «Манъёсю» для истории японской литературы,— как очень верно отмечает А. Е. Глускина,— огромно. Эта антология оказала влияние не только на дальнейшее развитие поэзии, но вся последующая феодальная литература, включая и повествовательные жанры, и драматургию, так или иначе испытала ее влияние. Более того, ее песни или фрагменты песен, ее образы, сравнения вплетены в художественную ткань не только песенно-повествовательных жанров «Ямато-моногатари», «Исэ-моногатари», но и знаменитого романа «Гэндзи-моногатари», классических драм ёкёку, сказов дзёрури, они встречаются и в известных дневниках — никки, в эссе — дзуйхицу (Макура-соси и др.), в рассказах периода позднего средневековья (периода Эдо). Эта поэзия живет до сих пор в национальных жанрах современной японской поэзии. Редкая любовь к природе родной страны, тонкое понимание прекрасного, гуманизм, свойственные этой поэзии отметили своей печатью все лучшие произведения японской поэзии и феодального прошлого, и современности».

Обладая неповторимостью поэзии раннего средневековья — творения лучших художников слова Хитомаро, Акахито, Окура, Табито, Якамоти и народные песни, предания, легенды и др.,— «Манъёсю» по праву рассматривается как сокровищница японской литературы, щедрый источник, к которому обращалось на линиях своего движения все последующее литературное творчество.

Многовековое существование «Собрания мириад листьев» словно бы перекидывает мост из столетий прошлого в наше время. Здесь обнаруживается неукротимое существо самой жизненности этого поэтического памятника, в котором столь ярко видны своя художественная система, особенная поэтика, образное мышление японцев, нерасторжимо связанное с народной жизнью.

Переводы стихотворных текстов «Собрания мириад листьев», обладающие несомненными литературными достоинствами, свидетельствуют о прекрасном знании переводчиком японского поэтического языка и отличном владении искусством интерпретации. Древнеяпонская песенная поэзия с ее афористичностью, тонкостью наблюдений, литературных намеков и посылок передана на современном русском языке с большой точностью и художественной выразительностью. Переводы А. Е. Глускиной стихотворений «Манъёсю», исполненные живого звучания, войдут ценным вкладом в нашу отечественную сокровищницу художественного перевода

И мы не можем не испытывать глубокой признательности к исследователю и переводчику, благодаря творческой щедрости которого перед нами раскрылась поэзия японского народа как неугасающий отклик далекого бытия в его самобытном выражении общечеловеческих чувств, извечных чаяний и надежд.

Н. ФЕДОРЕНКО

Издано за рубежом

ПРОНИКНОВЕНИЕ В БОЛГАРСКИЙ ХАРАКТЕР

Ефрем Каранфилов. «Българи» (книга втора). София, «Народна младеж», 1971.

Стремление к самопознанию — как у отдельного человека, так и у целых народов — обыкновенно возникает в переломные для личности или общества моменты, когда нужно оглянуться на пройденное, чтобы уловить наиболее характерные проявления индивидуального или национального духовного мира и с их помощью нравственно подкрепить дальнейшее движение вперед. Наряду с идеалами будущего подвиг прошлого нацеливает и обуславливает очередной шаг человеческого развития. Поэтому замысел своеобразной эссеистской трилогии Ефрема Каранфилова «Болгары» и ее появление сегодня, когда болгарский народ вступает в новый исторический этап, в развитую фазу социализма,— явление закономерное и необходимое. Книга «Болгары» — это попытка глубже познать наш национальный характер в решительные моменты его исторической жизни и, таким образом, проследить истоки духовной силы болгарского народа. Хотя и обращенное к прошлому, произведение Ефрема Каранфилова глубоко актуально по своему идейному пафосу. В этом году трилогии «Болгары» была присуждена премия имени Георгия Димитрова.

Национальную судьбу и существенные проявления болгарской народной психологии автор раскрывает не посредством прослеживания общих исторических процессов. Свое внимание Ефрем Каранфилов останавливает прежде всего на образах ряда выдающихся личностей, в чьих характерах

просматривается характер народа, чья индивидуальная судьба в большей или меньшей степени выражает историческую судьбу Болгарии. И здесь автор не ограничивается достоверным изложением фактов, а проявляет свои несомненные художественные возможности. Изображенные им лица не остаются замкнутыми в сфере одних только общественных идей — так, как их увидел бы историограф, а оживают со своим интимным миром, со своими противоречиями, сомнениями и индивидуальными испытаниями, со своими волевыми побуждениями, человеческими радостями и скорбями. Перед нами встают живые люди из плоти и крови, в их нравственном облике преломляются и общественные идеи, и социальные мотивы борьбы и подвига, и главные задачи времени. Но одновременно с частными подробностями, наряду с воссозданием отдельных индивидуальностей Каранфилову удалось обобщить сокровенно болгарское и типично классовое в соответствующие исторические моменты. Его эссеистское повествование движется по восходящей: от характерной детали в поведении героев к существу болгарской души, между ними найдена гармония, они взаимно дополняют и мотивируют друг друга.

Первая часть «Болгар» затрагивала время национально-освободительной борьбы и первые десятилетия после освобождения Болгарии от османского ига. Теперь в руках у нас вторая книга трилогии. Она повествует о лицах и общественных явлениях, имевших место после первой мировой войны — драматического периода в жизни нашей страны. Болгарские национальные идеалы времен Балканской войны уже скомпрометированы корыстной и продажной политикой буржуазии и царского двора. Происходит неуклонное классовое расслоение. Социальные границы очерчиваются все яснее, назревает поединок между прогрессивными силами и реакцией. Под влиянием Октябрьской революции и острых классовых противоречий в стране социальная революция встала и на пороге Болгарии. После кратковременного правления Александра Стамболийского и жестокого фашистского переворота вспыхивает Сентябрьское восстание. Его кровавое подавление, ряд политических убийств, покушения и белый фашистский террор, усилия коммунистической партии организовать демократические силы в единый фронт против разнузданного фашизма заполняют это краткое, но полное значимости время. На арене политической борьбы появляются яркие личности, которые выражают народные стремления и народный дух. Именно тут Ефрем Каранфилов и находит наиболее характерные проявления болгарской народной психологии.

Каранфилов не стремится последовательно прослеживать события. Вторую часть «Болгар» открывает эссе «Георгий Димитров и родина перед Лейпцигским судом». На этом судебном процессе самым блестящим образом проявились черты болгарина-коммуниста в момент наивысшего испытания. Победа Г. Димитрова, его выдержка превращаются в политический и нравственный эталон, которым мы измеряем дела других героев книги. Это, вероятно, и одна из причин, по которым автор не расположил материал в книге в хронологическом порядке, а начал с одного из позднейших для этого периода событий. Скупыми, но точными историческими сопоставлениями Ефрем Каранфилов показывает политические последствия Лейпцигского процесса. «Судебные процессы,—утверждает он,—нередко освещают как историю идей, так и моральную историю человечества». В этом смысле поединок в Лейпциге находит свое подлинное, всемирно-историческое значение. Кроме политической стороны автор раскрывает и психологические моменты борьбы, сражение характеров, в котором проявляется творческий дух коммунистической наступательности, твердость и энергия, так ярко воплотившиеся в личности Георгия Димитрова. Победное движение болгарского революционера через лабиринт судебного шантажа, уловок и наглого насилия — результат всей его целеустремленной жизни, закаленной в классовых битвах. Ефрем Каранфилов показывает творческую широту и глубокую проницательность, с которой Димитров разоблачает тщательно подготовленную, но бессильную ложь нацистских поджигателей. И не случайно автор приходит к обобщению, что Димитров — «одна из наиболее цельных личностей, какие у нас когда-либо были...»

Во втором томе «Болгар» Ефрем Каранфилов изобразил разного рода людей, игравших различную роль в общественных столкновениях. Но в каждом из них — от Георгия Димитрова до Александра Стамболийского, от Христо Ясенова до Гео Милева, от Станко Димитрова до Петко Д. Петкова, от Георгия Шейтанова до Косты Янкова — он находит новые грани национального характера. Автор поставил своих героев в типичные обстоятельства их революционного пути, выбрал в их жизни те моменты, которые лучше всего выражают их нравственный облик и их идейное кредо.

Отдельные их поступки сохраняются в памяти и приобретают новую значимость. Спасенное в дождливую октябрьскую ночь 1919 года Петко Д. Петковым полковое знамя превращается в символ чести и мужества. Необыкновенное решение Георгия Шейтанова преодолеть путь до Москвы в самые смутные времена гражданской войны, чтобы своими глазами увидеть новую Советскую власть, словно бы служит выражением всеобщего внимания, с которым болгарские революционеры встречают Октябрь 1917 года. Незабываема сцена открытия Пятого Великого народного собрания в 1911 году, которое собралось, чтобы вручить чрезвычайные полномочия царю Фердинанду. Тогда он, Фердинанд, находился в «зените своей славы», окруженный лакейским раболепием своих угодливых царедворцев. После блистательной церемонии, самовлюбленный и «недосягаемый» на своем престоле, Фердинанд начинает тронную

речь, но первые же его слова были прерваны резко и бескомпромиссно: «Я протестую против нарушения конституции, согласно которой князь не имеет права открывать Великое народное собрание!.. Это произвол!..» Эти слова выкрикнул молодой земледельский депутат Александр Стамболийский. Уже тут проявилась его прямота, смелость, сила характера.

Но кроме отличного знания исторических фактов и их глубокого осмысления Ефрем Каранфилов сумел воссоздать и самый дух эпохи, те на первый взгляд неуловимые черты, которые передают атмосферу того или иного времени. Он проник в душные салоны нашей лжеаристократии — снобистской и лукавой, извлек (за ушко да на солнышко) ее «добродетели» и показал, как за благопристойностью скрывалось лицемерие, за претензиями — невежество, за богатством — духовная нищета. Автор описывает карьеризм бюрократического буржуазного управленческого аппарата, атмосферу студенческих споров, конспиративные законы того бунтарского времени.

Во всем замысле автора присутствует еще одна большая тема — судьба болгарской литературы, ее место в революционной борьбе. Каранфилов подробнее останавливается на образах Гео Милева и Христо Ясенова, касается литературных интересов Георгия Шейтанова и подчеркивает единство, в котором развивалось их творчество и их общественная деятельность. В деятельности наших художников слова, говорит Е. Каранфилов, трудно провести границу между написанным и сделанным — обыкновенно они слиты в их жизни, и таким образом литература превратилась в верное революционное оружие, в уверенного ваятеля характеров бойцов. Болгарские писатели всегда приходили к сознанию, что для них самое важное «спасти не свою жизнь, а жизнь своих идеалов». И это стало традицией нашей национальной литературы.

Ефрем Каранфилов сумел наряду со значимым и высоким раскрыть с марксистско-ленинской точки зрения и идейные заблуждения, и политическую недальновидность некоторых деятелей, о которых он пишет в своей книге. Показана диалектическая взаимосвязь между временем и личностью, и в этой связи определяется место того или иного человека в ходе истории.

В одном интервью Ефрем Каранфилов на вопрос о качествах, на его взгляд, необходимых эссе, ответил, что в нем «должен быть и личный стиль, и полет воображения, и трепет сердца, и восторг, и ненависть, и все прочие движения богатой и сложной души». Все это в самом неподдельном виде мы можем найти и в книге «Болгары». Написанная с вдохновением, книга эта по праву займет свое место среди лучших эссеистских произведений болгарской литературы.

ДИМИТР КИРКОВ

г. София

НОВАЯ ВЕТКА МОГУЧЕГО ДЕРЕВА

Marin Preda. Marele singuratic. Bucureşti, Cartea Românească, 1972.

После романа «Семья Морометов», ставшего уже классикой современной румынской литературы, каждая новая книга Марина Преды радовала читателей широким охватом социальных и психологических проблем нашего времени, ощутимым нравственным и интеллектуальным беспокойством автора. И даже когда Преда издал в конце прошлого года сборник статей «Невозможное возвращение», оказалось, что, собранные вместе, эти как будто непритязательные размышления писателя о текущих проблемах румынской жизни, о румынской литературе и искусстве, о новых писателях и новой культуре превратились в заметное явление, в своеобразную книгу времени, где наряду с воспоминаниями об ошибках, заблуждениях и упущениях, к которым не должно быть возврата, отражено и все то новое и доброе, что подлежит развитию и укреплению в сегодняшней Румынии.

Последняя книга Марина Преды, роман «Великий отшельник», находится на скрещении гражданских и художественных интересов писателя.

На первый взгляд, это роман о любви Никулае Моромете и Симины — людей очень разных во всем, кроме страстности чувства и преувеличенной склонности к правдивости. Когда они впервые встречаются, кажется, что оба неудачники. Никулае Моромете — в прошлом партийный работник, едва избежавший исключения из партии, покинул родное село и устроился рабочим в садоводческом хозяйстве вблизи Бухареста, где он пытается вести отшельническую жизнь, особенно старательно избегая своих бывших товарищей и односельчан. Художница Симина — это уже другой случай потери душевного равновесия: потерпела неудачу в замужестве, а главное — в своем безмерном желании стать художницей. Чего-то не хватает ее полотнам, несмотря на природную одаренность Симины и восторженное стремление к живописи.

И вот эти два столь разных человека, живущих разными интересами, влюбляются друг в друга. В любви, как и в жизни, все сложно и противоречиво, в особенности у двух глубоких натур, которые постоянно ведут тяжбу с самими собой. Любовь Никулае и Симины — это и счастье, и невыносимая подчас мука душевной взвинченности и страстного поиска равновесия. Оба боятся оказаться несостоятельными, слабыми, побежденными.

Марин Преда умеет исследовать душевные движения своих героев, те пути, кото-

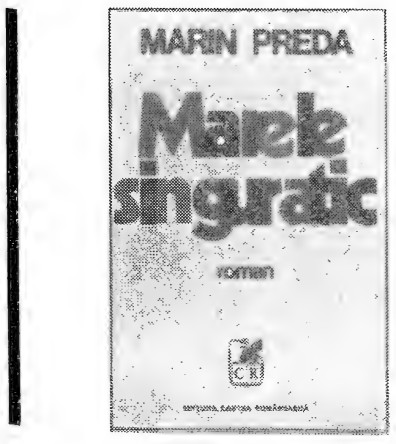
рые соединяют веления их разума и сердца. Медленно, нередко окольными путями, проникает писатель в самые причудливые сплетения и лабиринты интимных чувств Никулае и Симины. Но ни на одно мгновение он не изолирует своих влюбленных от окружающей среды. И это, пожалуй, самое ценное в романе.

Преда хорошо видит объективную действительность в ее многообразии, характерные особенности времени, пестрые факты и подчас неприметные детали реальной жизни. Есть в романе десятки первоклассных страниц — описания жизни, быта, мимолетные зарисовки, портреты второстепенных персонажей (писатели в доме отдыха, рабочие цветоводческого хозяйства и т. п.).

Есть в этой книге и главы, посвященные родному селу Никулае Моромете, куда он привозит Симину. Здесь мы снова встречаемся с Илие Моромете — отцом Никулае — живописнейшей фигурой, хорошо знакомой румынскому читателю по роману «Морометы». Рассказывая историю юношеской любви Илие Моромете и ее эпилог, относящийся уже к нынешнему времени, писатель как бы показывает, что корни его классического романа о деревне еще не оборваны, что мир, который он создал в двух книгах «Морометов», несмотря на свои географически крохотные размеры, все еще содержит в себе необозримые возможности для художника.

Справедливости ради следует сказать, что связь «Великого отшельника» с «Морометами» таит в себе своеобразную опасность: подлинная глубина нового романа Преды, его «второй план» может быть по-настоящему оценен только теми, кто читал и помнит «Морометов». Несмотря на самостоятельный сюжет и иное время действия, «Великий отшельник» все же только ветвь старого могучего дерева «Морометов».

Но вернемся к содержанию нового романа. Марин Преда уже исследовал однажды — в романе «Чужой» — психологию человека, который после душевной травмы уходит из родной среды. Кэлин Сурупэчану, после случившегося с ним несчастья, приходит к мысли, что он чужой в своем городе, даже в своей собственной семье, и покидает их с тем, чтобы попытаться начать другую жизнь. В «Великом отшельнике» показано, как может начаться новая жизнь для такого человека, какими путями приходит к нему исцеление.



Любовь преобразует человека. Любовь к Симине преобразует и Никулае Моромете. Человек этот с юных лет был склонен к гордыне и одиночеству. Подростком мечтал основать «новую религию». Одержимый этой идеей, он с радостью принял идеологию построения нового общества, победившую в Румынии после окончания второй мировой войны. Но он становится неразборчивым в выборе средств и вынужден уйти с партийной работы.

Преда, к сожалению, обходит этот важнейший момент в жизни своего героя. Автор лишь показывает, как Никулае вдруг проникается желанием уйти в замкнутый личный мир и, говоря словами Вольтера, «возделывать свой сад».

Став рабочим в большом садоводческом хозяйстве, Моромете, хоть и вспоминает о герое Вольтера, чаще думает о работах садовода Мичурина. В годы своего «отшельничества» он поступает на заочные сельскохозяйственные курсы и успешно заканчивает их. Большая жизнь зовет его, однако, когда бывший друг и товарищ по партийной работе предлагает ему вернуться к общественной деятельности, Никулае еще не готов к этому шагу. И только любовь к Симине заставляет его в конце концов снова изменить свою жизнь и вернуться к тому, что свойственно его характеру, его самым заветным устремлениям.

Спасительно и благотворно действует любовь и на Симину. С ней происходит удивительная метаморфоза: она становится настоящей художницей. Искусство требует порыва. Любя, как никогда раньше, и чувствуя себя любимой, Симина начинает рисовать «раскованно». Прежде она просто работала. Теперь ей впервые открывается лицо вдохновения. Она беспредельно отдается искусству и платит за это самой высокой ценой: она заболевает и вскоре вслед за этим умирает. Эта трагическая история как бы перекликается с темой известного стихотворения Пастернака: «О, знал бы я, что так бывает...»; получилась она, однако, в книге довольно туманной и не совсем оправданной.

В «Великом отшельнике» много страниц посвящено искусству, в частности живописи. У Марина Преды тонкая восприимчивость ко всему прекрасному, тонкое понимание подлинных эстетических ценностей. Немало места уделено в книге идейным спорам писателей и художников, столкновению различных тенденций в артистической среде современной Румынии.

Было бы, конечно, ошибкой видеть здесь в Марине Преде моралиста или проповедника. Он принципиальный враг нравоучений в художественной литературе. С точки зрения Преды, выраженной и в последнем романе, и в его сборнике «Невозможное возвращение», художественное произведе-

ние — это «обольщение», которое теряет часть своей силы в том случае, если в нем содержатся элементы морализаторства.

Однако и сам Преда, в сущности, не может устоять перед «обольщением» определенными идеалами — и мы говорим это отнюдь не в осуждение писателю. Марин Преда — один из тех современных румынских писателей, для которых в высшей степени характерно серьезное отношение к жизни, к писательской работе, строгость, целеустремленность. Удачные наблюдения, мгновенные открытия, как и создание образов,— не самоцель, они служат воплощению идеалов, лежащих в основе народной жизни.

Последний роман Марина Преды — новое звено в его творчестве; это частица сегодняшней Румынии, ее герои — люди сегодняшнего дня, более сознательные подчас по сравнению с иными своими предшественниками, попадавшими в сходные ситуации, более опытные в самонаблюдении, более искушенные в своих социальных взаимоотношениях, более любопытные к себе самим и ко времени, в котором они живут.

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

НИГЕРИЯ: РОМАН ИЗ ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Munonye John. Oil Man of Obange. London, Heinemann, 1971.

После кровопролитных событий в Нигерии 1967—1970 годов ждешь, что каждая книга, написанная нигерийским романистом в это время, будет хотя бы эхом этих событий. Но нет, видимо, события столь грандиозные попадают в художественное произведение не сразу. Пока на недавнюю гражданскую войну в Нигерии откликнулся лишь писатель и ученый из Кении Али Мазруи, опубликовавший в 1971 году повесть «Процесс Кристофера Окигбо».

Повесть написана по горячим следам, но, к сожалению, она мало дает для понимания нигерийского конфликта. Окигбо — реальное лицо, поэт, погибший в 1967 году в войсках Биафры, и разговор в повести ведется не только о событиях в Нигерии: Мазруи ставит вопрос о долге писателя перед обществом, о его положении в современной Африке, и, надо сказать, позиция Мазруи не всегда ясна. Действие его повести развертывается в потустороннем мире; в судебном разбирательстве в числе свидетелей защиты выступают некоторые исторические лица, и среди них — поэт Байрон, погибший за свободу Греции, но автор часто уводит разговор в такие области, где серьезные проблемы вдруг оборачиваются малозначительными или очень затуманенными. Публицистическая повесть Мазруи оставляет многие важнейшие вопросы открытыми. Наверно, писатель слишком поспешил за событиями и не сумел прийти к серьезным обобщениям.

Не случайно три нигерийских романа, написанные в 1969, 1970 и 1971 годах, рассказывают не о войне, но о жизни мирной. С новым романом выступил Элечи Амади («Большие пруды», 1969), написала свой второй роман еще неизвестная у нас Флора Нвапа (роман «Иду», названный по имени героини, 1970); и надо сказать, что в этих произведениях быт, «локальный колорит», многословные диалоги, в которых не вырисовываются черты характера, правдивость в мелочах и неумение типизировать — все это делает чтение скучным и утомительным.

Тем примечательнее роман Джона Мунони (род. в 1929 г.) «Торговец из Обанги», написанный им после двух весьма посредственных, перегруженных описаниями быта романов «Единственный сын» (1966) и «Оби» (1969). Новый роман создан уверенной рукой, в нем нет поверхностной описательности, нет столь часто встречающейся у африканского писателя экзотики и т. п. Но этот роман примечателен не только своими несомненными художественными достоинствами, хотя одно это для молодой литературы значит очень и очень многое. «Торговец из Обанги» интересен тем, что в нем появляется образ «маленького человека», отчаянно борющегося за существование.

К этой геме нигерийская литература подошла не вдруг: писатели Нигерии уже делали своим героем «маленького человека» — та же Нвапа в романе «Эфур», Клемент Огунва в романе «Попытайся еще раз». Тем больший интерес представляет книга Мунони, который впервые в нигерийской литературе (и, пожалуй, вообще в литературе стран Африки южнее Сахары) показал судьбу человека в тесной, неразрывной связи с социальной средой, показал с состраданием и сочувствием задавленного нуждой, работой маленького, униженного человека — и вот в нигерийскую литературу вошла хорошо знакомая из русской классической литературы тема «бедных людей».

О чем же роман Мунони? Его герой — тихий человек, мелкий торговец пальмовым маслом, содержащий своим трудом большую семью. На торговле этим сырьем для европейской парфюмерии крупные нигерийские дельцы наживают состояния, его же выручка в день — четыре-пять шиллингов, и он едва сводит концы с концами. Робкий от природы характер и постоянные опасения любой случайности, которая, при столь скромных доходах, может обернуться бедой, сделали его девизом «осторожность». Повесив бидоны на старенький велосипед, Джери, герой романа, объезжает спозаранку «поставщиков» и, наполнив бидоны, боясь расплескать масло, добирается до берега реки, где обосновались «торговые дома» местных богачей: «Браун», «Холтс и сыновья» и др.— каждый со своей клиентурой и сферой влияния. Писатель очень выразительно показал становление буржуазии в Нигерии — и совсем мелких, но безжалостных хищников, и крупных дельцов, разбогатевших на торговле с англичанами.

Джери ведет упорную борьбу с неудачами. Ему хочется, чтобы его дети во что бы то ни стало получили образование, «вышли в люди». Он отдает старшего сына в миссионерское педагогическое училище, которое из деревенской бедной глуши кажется ему местом «где-то между небом и землей». Для этого он одалживает у своего «патрона» Брауна двадцать фунтов, обязавшись выплатить их в определенный срок. Ради денег, говорит он сестре, «я продал бы самого себя, найди только покупателя».

Сцена в доме Брауна выразительна и трогательна. С просьбой о долге Джери обращается к Брауну письменно: чтобы подчеркнуть весомость своих обещаний, для «солидности» — и сам же привозит ему письмо. Опытный Браун смотрит, по привычке, письмо на свет — нет ли какого подвоха — и затем приглашает Джери в дом. Провинциальная «роскошь» дома поражает бедняка Джери: большое зеркало в деревянной позолоченной раме, большие фарфоровые тарелки, большой буфет, на стенах — фотографии Брауна и семьи. Слуга приносит пиво — большую бутылку для хозяина, маленькую — для гостя, которую Джери тотчас выпивает, чувствуя себя как в раю — и от приглашения в дом, и от пива, и от мысли, что Браун даст деньги.

Сцена с письмом в чем-то и комична, но комичное здесь служит способом показать смиренную бедность маленького человека, для которого одолжить столь крупную сумму — двадцать фунтов — огромной важности шаг, и он в своем деревенском простодушии поступает сообразно значительности события.

После получения денег счастливый Джери трудится не покладая рук. Надо расплатиться с долгами, уплатить за ученье сына, за велосипед. А дающий напрокат велосипед деревенский предприниматель за все накидывает по монетке: возишь масло — шиллинг, опоздал на час — еще шиллинг. И все-таки Джери чувствует себя счастливым. Он по-прежнему так же беден, по-прежнему его руководящий принцип — осмотрительность, но так или иначе, а дела идут на поправку. Однако судьба подстерегает его в виде двух грабителей на дороге, отбирающих у него с помощью нехитрой уловки велосипед и дневную выручку. Это означает новые долги, вереницу новых непреодолимых трудностей. Рассудок Джери не выдерживает, он впадает в тихое помешательство, а через несколько месяцев милосердная смерть положила предел его страданиям.

Есть в романе Мунони нечто созвучное «Шинели» Гоголя, при всей несхожести и места действия, и героев. Это связь глубинная, показывающая, что писатели Нигерии начинают осваивать ранее ускользавшую от внимания сферу жизни, населенную «бедными людьми», сферу трудного, безрадостного существования, жалкое прозябание людей, которые, в силу объективных причин, вынуждены заискивать, просить, страдать.

Писатели Нигерии, как можно судить по роману Мунони, начинают разрабатывать новую тему, значимость которой для нигерийской литературы становится все более несомненной, поскольку тема эта отражает одну из важных сторон жизни современного нигерийского общества.

ВЛ. ВАВИЛОВ

ОТТЕНКИ БЛАГОДУШИЯ, ИЛИ МЕТАМОРФОЗА «СЕРДИТОГО» ПИСАТЕЛЯ

John Braine. The View From Tower Hill. New York, Coward McCann, Inc, 1971.

На суперобложке — старинный английский дом: приземистая башня из серого камня, красная черепичная крыша, увитые зеленью белые окна. На лужайке, среди свежей, густой, чуть тронутой ветерком травы, под собственной тяжестью клонятся к земле огромные красные розы. Безупречно одетый мужчина протягивает цветок женщине в элегантном летнем костюме. А рядом, на асфальтированной дорожке, как символ устроенности и благополучия сияет матовым блеском вместительный и солидный белый «мерседес».

Вглядываясь в эти оттенки нежной зелени и безоблачно голубого неба, читатель, еще не успевший открыть книгу, проникается ощущением спокойствия и безмятежности. Да и название романа, «Вид с Тауэр-Хилл», не обещает превратностей и тревог. Что это: еще одна любовная история, пронизанная тонким психологизмом деталей? Очередной из романов «малой темы», каких так много в английской прозе последних лет? И лишь имя писателя, начертанное на обложке, вызывает сомнение в верности такой догадки: Джон Брейн, автор книги «Путь наверх».

«Путь наверх» (1957), ставший заметной вехой в литературном движении английских литераторов, наименованных критикой «сердитыми», хорошо известен советскому читателю. В свое время это повествование о восхождении по социальной лестнице современного провинциального Растиньяка наделало немало шума. Роман снискал широкое признание его автору — никому не известному газетному репортеру. Брейна не без оснований зачислили в один ряд с Джоном Уэйном, автором романа «Спеши вниз» (1954), Кингсли Эмисом, автором «Счастливчика Джима»[1] (1953) и драматургом Джоном Осборном — писателями, «оглянувшимися во гневе» на послевоенную действительность Британских островов и вынесшими ей обвинительный приговор от имени своего поколения.

Их недовольных, мятущихся персонажей роднило ожесточенное неприятие этой действительности, ее иерархической омертвелости, духовной пустоты, материальной неустроенности. Правда, были между ними

[1] Роман опубликован в «Иностранной литературе» № 10, 11 и 12 за 1958 год.

и различия: жизнь несла по течению уэйновского Чарльза Ламли, немилосердно била по голове горькими сюрпризами осборновского Джимми Портера, а брейновский Джо Лэмптон, сжав зубы, игнорируя тумаки и щелчки по носу, упрямо карабкался вверх, к заветной цели — миленькой, глупенькой Сьюзен Браун и миллионам ее папаши. Цинично признаваясь в том, что он любит Сьюзен «как сто тысяч фунтов», Джо Лэмптон тем не менее лгал: фунты он любил значительно больше.

Шумный успех первых книг открыл «сердитым» возможность обеспеченного буржуазного существования. Они продолжали писать, и спустя несколько лет критики с сожалением констатировали, что их анархический «гнев» стал заметно убывать. В дальнейшем они пошли разными путями. Если Джон Уэйн, при всех крайностях его сложной творческой эволюции, стал создателем ряда произведений неоспоримой художественной ценности (лучший пример тому — его последний роман «Зимой в горах» [1]), то новые книги Эмиса и Брейна все явственнее обнаруживали тревожные симптомы капитуляции их авторов перед той самой «позитивной программой» буржуазного конформизма, бунт против которой одушевлял их ранних беспокойных героев.

Вначале зарекомендовав себя как романист с незаурядным даром изображения буржуазной и мелкобуржуазной среды, типичных для этой среды характеров и конфликтов, Брейн в романах, написанных в 60-е годы — «Жизнь наверху», «Ревнивый бог», «От руки охотника»,— демонстрирует все большее тяготение к камерному, интимно-психологическому повествованию с заметным фрейдистским подтекстом, все более очевидное безразличие к болезненно острым проблемам, выдвигаемым временем. Эту тенденцию в творчестве Брейна можно было бы назвать эскепистской, если бы...

...Если бы этому не противоречили заявления самого Брейна в печати, свидетельствовавшие о том, что у него имелось свое, особое мнение по вопросам, настойчиво привлекавшим внимание английской общественности. Красноречивым проявлением верноподданнической позиции Брейна явилось, в частности, его письмо в «Таймс» (опубликованное в январе 1967 года и подписанное также Кингсли Эмисом, Саймоном Рэйвеном и еще несколькими литераторами), где заявлялось о безоговорочной поддержке «Америки и ее союзников из Содружества наций и стран Азии» в империалистической агрессии, развязанной во Вьетнаме. (Нет нужды добавлять, что на фоне развернувшегося в Англии массового движения за мир во Вьетнаме, в котором приняли участие и многие деятели литературы и искусства, Брейн, Эмис и их «патриотически мыслящие» собратья оказались в подавляющем... меньшинстве.)

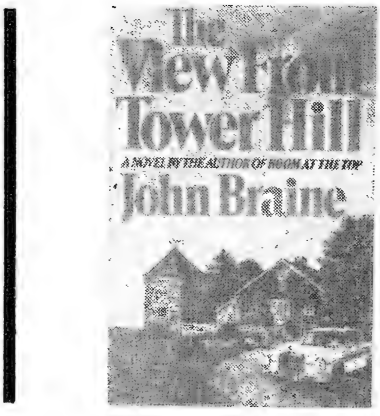
И наконец, своего рода итогом общественной эволюции Брейна стала его статья, вышедшая в 1969 году и озаглавленная «Как один британский социалист стал консерватором», где писатель критически оценивал свое «социалистическое» прошлое с точки зрения респектабельного «консервативного» настоящего. Статья эта весьма симптоматична: в ней явственно проявились и вся — весьма относительная — мера его былых симпатий (которые Брейну угодно именовать «социалистическими»), и его нынешняя — вполне искренняя — приверженность идеологическим догмам консерватизма, и присущий ему крайний эгоцентризм, закономерно приведший этого литератора в стан политической реакции[1].

Как видим, итоги идейной эволюции Брейна малоутешительны. А каковы же итоги художественной эволюции этого романиста, начавшего путь под знаменами «сердитых» полтора десятилетия тому назад?

С наибольшей полнотой они воплотились в последнем романе писателя «Вид с Тауэр-Хилл», действие которого развертывается в наши дни в небольшом йоркширском предместье Трослдон.

Главный герой книги — Клайв Лендрик, управляющий и совладелец фирмы по производству шерстяных тканей. Этот сорокасемилетний мужчина в расцвете сил и способностей, образцовый предприниматель, муж и отец — что называется, «славный парень»: жизнерадостный, приверженный материальным благам, но не слишком, начитанный, но не слишком образованный, умеющий нравиться женщинам, но никогда не теряющий чувства меры, самое же главное — ни на минуту не забывающий старинного девиза: «Мой дом — моя крепость». Его жизнь (как ее ретроспективно рисует Брейн) сложилась на редкость удачливо и счастливо. Ему не пришлось тратить лучшие годы молодости на основание семейного «дела»: фирму, вместе с братом Дональдом, он унаследовал от отца, легко и безболезненно

[1] Роман опубликован в «Иностранной литературе» № 5, 6 и 7 за 1972 год.



[1] Подробнее смотри об этом в статье А. Караганова «Художник в сложном мире» (статья вторая), «Иностранная литература» № 10, 1969, стр. 234.

пережил войну, служа в штабах союзных войск в Африке и Италии и выйдя оттуда в чине майора, затем добропорядочно и разумно женился на разумной и добропорядочной девушке своего круга.

Образ антагониста Клайва — Стивена Бельгарда — может служить убедительным показателем того, насколько глубока пропасть между Брейном «прежним» и Брейном «нынешним». В прошлом — неудавшийся, хотя и не лишенный способностей поэт, в настоящем — один из высших администраторов «Би-би-си», предмет платонической привязанности жены Клайва Робин в прошлом, ее любовник в настоящем, Стивен Бельгард весь — окарикатуренный слепок с «выскочки» Джо Лэмптона.

Противопоставляя степенного, чинного, уверенного в себе «капиталиста по праву рождения» Клайва вечно неудовлетворенному, обеспокоенному интригами подчиненных, равнодушному к своей жене и в то же время болезненно переживающему ее измены, принесшему свой талант в жертву материальному преуспеянию и терзаемому ностальгией по безвозвратно утраченному прошлому Стивену, Брейн всей душой на стороне Клайва. Он как бы констатирует чисто человеческую несостоятельность всех честолюбцев и «отщепенцев», осмеливающихся нарушать непоколебимые барьеры имущественной иерархии. Некогда энергичный и одушевляемый силой собственного индивидуалистического протеста, Джо Лэмптон спустя полтора десятилетия вырождается в ожесточившегося и не находящего себе покоя в роскошных лондонских апартаментах неудачника.

Разумеется, будучи опытным литератором, Брейн отчетливо сознает, что преподносить сегодняшнему читателю прозаичные и далеко не новые прописные истины буржуазной этики (типа «семья — это крепость», «мой дом — моя крепость») без поправок на современные, порою очень далеко идущие модификации подобных истин бессмысленно. В «эпоху Пилюли» (так он обозначает период широкого распространения противозачаточных средств) в традиционных понятиях о супружеской верности, бытующих в имущих классах, произошли резкие смещения. Брейн и не помышляет умалчивать об этих смещениях; напротив, для моралиста, на позицию коего он пытался претендовать, он проявляет удивительную терпимость к эскападам своих персонажей.

Вполне в духе «общества вседозволенности» Брейн с дотошностью хрониста регистрирует повседневную эротическую жизнь своих героев. Основным конфликтом романа становятся два параллельно развивающихся адюльтера: Робин со Стивеном Бельгардом и Клайва с Викки Кельведон, скучающей женой приезжего эксперта фирмы, производящей электронную технику. При этом взаимные измены, сделавшиеся достоянием молвы, ничуть не препятствуют прочной, установившейся за десятилетия совместной жизни привязанности между супругами. Живописующий «сексперименты» Клайва и Робин, автор как бы лукаво подмигивает читателю, советуя не принимать их всерьез. Все дело в том, доверительно сообщает благодушный, сподобившийся житейской — или обывательской? — мудрости романист, что эти двое «не отлюбили своего» в юности. Но вот кончаются их затянувшиеся «каникулы», и все постепенно встает на свои места.

Покинутая мужем Викки пытается отравить себя и Клайва газом, и он, пресытившись будничными неудобствами адюльтера и вульгарностью собственной любовницы, пользуется этим случаем, чтобы оставить ее. Затем Клайв поселяется в доме влюбленной в него Рут Инглвуд, владелицы книжного магазина, с которой его связывают скорее духовные интересы, нежели физическое влечение. Но это всего лишь отсрочка перед неизбежной развязкой. «Deus ex machina» — а проще говоря, сердечный приступ, без лишних ухищрений придуманный Брейном и настигающий Клайва, прерывает внеочередной отпуск, предоставленный героем самому себе. И он возвращается, сопровождаемый доброжелательным взглядом опекающего его автора, к Робин и фирме «Лендрик и сыновья» и, может быть самое главное,— в Тауэр-Хилл. Добродетель супружества, освященного комфортабельным уютом, восторжествовала...

На этом можно было бы поставить точку, если бы не еще одна особенность книги, не свойственная автору «Пути наверх» и являющаяся позднейшим завоеванием «нынешнего» Брейна. А именно — его настойчивая (и далеко не всегда оправдываемая литературным замыслом) склонность к детальным описаниям комфортабельного быта: «мерседесов» Клайва, «ягуаров» Стивена, косметики и парфюмерии Робин, мебели, паркета, драпировок Тауэр-Хилл. Временами складывается впечатление, что читаешь не роман о людях — человеческих существах с неповторимым и изменчивым миром чувств, переживаний,— а беллетризованную рекламу блещущих совершенством и прочностью ультрасовременных предметов потребления.

Воистину, своим переходом от «социализма» к «консерватизму», о коем английский романист поведал миру в упомянутой нами статье, Джон Брейн оказал неоценимую услугу той классовой цивилизации, из лона которой он некогда вышел.

Да, кто мог бы предположить, что в лице этого «сердитого» общество сверхпотребления обретет столь ревностного защитника и апологета?

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПОВЕСТЬ ПЕТЕРА ХАНДКЕ «НЕСЧАСТЬЕ БЕЗ ЖЕЛАНИЙ»

Зальцбургское издательство «Резиденц» выпустило в свет отдельной книгой новую повесть известного австрийского писателя и драматурга Петера Хандке «Несчастье без желаний», опубликованную до этого в австрийском журнале «Манускрипт».

Это, по всей видимости, автобиографическое произведение начинается протокольным описанием самоубийства матери рассказчика. Дальнейшее повествование объясняет предысторию этой трагедии — по существу, историю всей жизни матери. П. Хандке детально описывает затхлую мелкобуржуазную обстановку, в которой она росла и воспитывалась, скупого до помешательства деда, первоначальное опьянение нацизмом, военный угар, вызванный войной, и наступившее затем протрезвление. «Самоубийство выглядит естественным результатом этой повседневной, отмеченной мелкими надеждами и большими разочарованиями жизни»,— пишет западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне».

АЛЖИР

НОВАЯ ПЬЕСА КАТЕБА ЯСИНА

Творчество крупнейшего современного алжирского писателя Катеба Ясина известно во многих странах. Прозаические произведения и драмы, полные сложной символики и одухотворенной патетики, отразили колониальное прошлое Алжира и его полный надежд сегодняшний день. Написанные на французском языке, они рассказывали миру о судьбах и чаяниях алжирского народа, но были практически недоступны большинству самих алжирцев.

И вот появилась пьеса, которая, по словам рецензента «Нувель критик», явится, очевидно, поворотным моментом не только в судьбе самого писателя, но и народного алжирского театра. «Мухаммед, собирай чемодан» — первая пьеса, созданная Ясином на разговорном арабском языке. Ее тема — судьба африканских, главным образом алжирских, рабочих в высокоразвитых капиталистических странах. Ясин ставит многие насущные вопросы экономической эмиграции: жестокая эксплуатация африканских рабочих, расизм, проблемы взаимоотношений с местными профсоюзами, нищенские условия существования, оторванность от семьи и от родины.

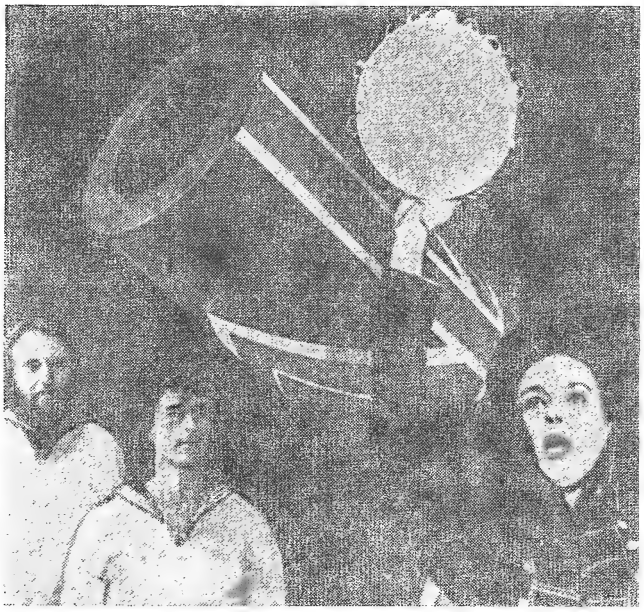
Поставленная молодой алжирской труппой «Театр де ля мер» (Театр моря) пьеса «Мухаммед, собирай чемодан» в течение нескольких месяцев с успехом шла во многих городах Франции, где трудится немало рабочих-африканцев. Небывалый успех спектакля, живой отклик зрителя на все происходящее на сцене убедительно свидетельствуют о том, что на этот раз Катеб Ясин обратился к очень актуальному материалу. Как пишет обозреватель французского журнала «Нувель критик», сидящие в зрительном зале ежедневно сталкиваются с теми проблемами, которые затронуты в спектакле по пьесе Ясина.

АНГЛИЯ

«Я КРИЧУ: «ПОЖАР!»

Внимание театральной критики вновь привлек известный английский драматург Эдвард Бонд. Тема новой постановки его пьесы «Узкая дорога на дальний Север» — разоблачение разлагающего влияния колониализма и лицемерия религии.

Автор раскрывает эту тему на материале японской истории XVII—XIX веков — периода первых столкновений Японии с империалистическими устремлениями Запада. Бонд написал свою пьесу под влиянием японской драмы XVII века, что не помешало ему, по мнению критики, вскрыть социально-политические противоречия в современной Англии. В интервью, данном американскому еженедельнику «Нью-Йорк таймс», Бонд сказал, что видит свою задачу в разоблачении пороков английского общества, которое он сравнил с «раненым зверем». Комментируя реакцию английской критики на его пьесу, драматург сказал, что, к сожалению, она не пишет о ее содержании. «Если в доме пожар,—сказал Бонд,— я кричу: «Пожар!» — не для того, чтобы оценили мои голосовые данные».



Сцена из спектакля «Узкая дорога на дальний Север».
(Еженедельник «Нью-Йорк таймс»)

«ЗАБАСТОВКА! ЗАБАСТОВКА!»

Лондонский театр «Юнити» осуществил новую постановку пьесы Клиффорда Одетса «В ожидании Лефти», которую зритель впервые увидел в 1935 году в Нью-Йорке. В пьесе рассказывается о тяжелом и плохо оплачиваемом труде нью-йоркских водителей такси и о борьбе в профсоюзном руководстве между сторонниками и противниками забастовки, судьба которой должна окончательно решиться с прибытием боевых

Сцена из спектакля «В ожидании Лефти».
(Газета «Морнинг стар»)

вого профсоюзного лидера Лефти. В конце концов принимается решение начать забастовку. Спектакль заканчивается кличем «Забастовка! Забастовка!».

В 30-е годы спектакль бесчисленное количество раз показывали рабочей аудитории — и всегда с неизменным успехом. Пьеса была признана «величайшей пропагандистской пьесой, которая поддерживала и поднимала наш боевой дух в те дни», пишет в газете «Морнинг стар» обозреватель Джек Сазерленд.

Ныне, почти четыре десятилетия спустя, пьеса Одетса получила новую жизнь на сцене театра «Юнити» в постановке Майкла Кейе. И снова спектакль с энтузиазмом был встречен зрителем. «Она по-прежнему живет — небольшая, но великолепная революционная пьеса, которая вдохновляет и мобилизует нас, призывая к активной жизни и действиям»,— пишет Джек Сазерленд. В постановке использованы записи песен в исполнении Поля Робсона.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОПЕИ «ДЕТИ НАСИЛИЯ»

«Люди и события, внешние проявления жизни очень метко переданы во всем том, что создает Дорис Лессинг, но подлинная сила ее писательского таланта заключается в том, как она мотивирует поведение своих героев, отражая убеждения и глубокие внутренние импульсы, которые ими движут»,— пишет в газете «Морнинг стар» рецензент Эдди Вудс в связи с выходом новой книги Дорис Лессинг «Город четырех ворот». Это заключительный, пятый, том эпопеи «Дети насилия», первая книга которой, «Марта Квест», вышла в 1952 году.

Марта — центральный персонаж всей эпопеи. Жизненный путь Марты прослеживается автором с момента ее рождения в Южной Африке, через годы юности, семейной жизни до времени становления ее политического сознания и начала участия в общественной жизни.

Действие последнего романа происходит в Лондоне в 50-е годы — в обстановке «холодной войны», международных кризисов, маршей в защиту мира.

БОЛГАРИЯ

«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК УХОДИТ»

Новый фильм талантливого писателя Георгия Мишева и режиссера Людмила Киркова «Молодой человек уходит» освещает проблемы становления, возмужания нового поколения.

Болгарская пресса отмечает успех молодого актера Филипа Трифонова в роли главного героя Рана. Филип Трифонов выступает в этом фильме вместе с известными актерами болгарского кино Н. Кокановой, К. Господиновым, Е. Райновой.

Кадр из фильма «Молодой человек уходит».

(Журнал «Филмови новини»)

ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В Софии большое внимание публики привлекла выставка прикладного искусства, на которой было представлено 457 произведений 168 мастеров — ковры, декоративные панно, мозаика, керамика, изделия из кованого железа, стекла, дерева.

На открытии выставки выступила заместитель председателя Комитета искусства и культуры Людмила Живкова. Она отметила, что художественная выставка прикладного искусства является свидетельством таланта болгарских художников, глубокой преданности национальной традиции, их чувства гражданской ответственности. Это праздник болгарской культуры, встреча вековой традиции с современным искусством, с современными требованиями и проблемами, выдвигаемыми жизнью.

В статье В. Свинтилы «Новая выставка», напечатанной в журнале «Пламк», дается образ произведений мастеров прикладного искусства Болгарии и подчеркивается, что впервые в таком масштабе представлены национальное искусство и народная поэтичность.

БРАЗИЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ЖОРЖИ АМАДУ

Выдающийся бразильский писатель академик Жоржи Амаду, как сообщает выходящий в Рио-де-Жанейро литературный ежемесячник «Жорнал ди летрас», в настоящее время завершает работу над новым романом, которому автор дал условное название «Тереза Батиста, уставшая от войны».

По сведениям ежемесячника, новое произведение популярного романиста, отмечающего свое шестидесятилетие, появится в книжных магазинах Бразилии в конце этого года.

ВЕНГРИЯ

НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ — РОМАН ЛАСЛО НЕМЕТА

Творчество одного из крупнейших мастеров венгерской прозы, Ласло Немета, давно привлекает внимание венгерских режиссеров. По его роману «Траур» была сделана телевизионная литературная композиция, экранизирован роман «Отвращение». Сейчас режиссер Дердь Хинтч воссоздал на телевизионном экране один из последних опубликованных романов Л. Немета — «Милосердие».

Интерес кинематографистов к творчеству Ласло Немета объясняется гражданским звучанием его произведений, их нравственно-философской проблематикой, серьезными размышлениями писателя о смысле жизни, о призвании человека.

«Работать с произведениями Ласло Немета чрезвычайно трудно в силу интеллектуальности и психологизма его прозы, что сказывается в усложненном синтаксисе произведений.

Но лишь визуальное воспроизведение событий его книг без колдовства их языка было бы далеко недостаточно,— отмечает Дердь Хинтч.— В этом отношении роман «Милосердие», являющийся глубоко психологической семейной хроникой, в которой слиты воедино общественные и личные начала, обуславливающие действия, а порою и судьбы людей, очень хорошо «лег» на экран, так как по своему идейному содержанию связан не со зрелищностью, а с человеческими отношениями».

В главных ролях этого фильма снимались известные актеры венгерского кино: Мари Тёрёчик, Ласло Месарош, Анна Селеш и др.

ГДР

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Исполнилось 25 лет одному из крупнейших издательств Германской Демократической Республики «Фольк унд вельт/Культур унд фортшритт». В 1947 году были образованы два самостоятельных издательства: «Фольк унд вельт», издававшее книги современных авторов разных стран, и «Культур унд фортшритт», выпускавшее в основном книги советских авторов и литературу, посвященную советско-германской дружбе. В деятельности обоих издательств было много общего, поэтому решили объединить их в единое большое издательство иностранной литературы.

Одна из первых книг, выпущенных издательством — антология «Письма приговоренных к смерти борцов европейского Сопротивления», стала как бы программной. «Это произведение, глубоко интернациональное по духу, явилось своеобразным завещанием борцов разных стран»,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг». Недаром на эту антологию откликнулись крупнейшие деятели культуры, среди которых был Томас Манн. Незадолго до кончины писатель посвятил этой антологии эссе, где писал о ней как о книге, обращенной к будущему человечества. «Будущее отдаст должное людям, которые принесли в жертву свои жизни»,— писал Томас Манн.

Интернационализм, дружба народов — вот главное направление работы издательства на протяжении 25 лет его существования.

Сорок миллионов книг — таков итог, с которым издательство пришло к своему юбилею. Более 14 миллионов книг советских авторов было выпущено за эти годы. Среди них произведения Максима Горького, Гладкова, Серафимовича, Фадеева, Фурманова, Федина, Шолохова, Эренбурга, Леонова, Гранина, Антонова, Николаевой, Казакова, Бакланова. Много внимания уделяется и поэзии: вышли в свет стихи Блока, Есенина, Твардовского, Ахматовой, Мартынова, Вознесенского. Над переводами советских стихов работали такие крупные поэты ГДР, как Пауль Випс, Фоль-

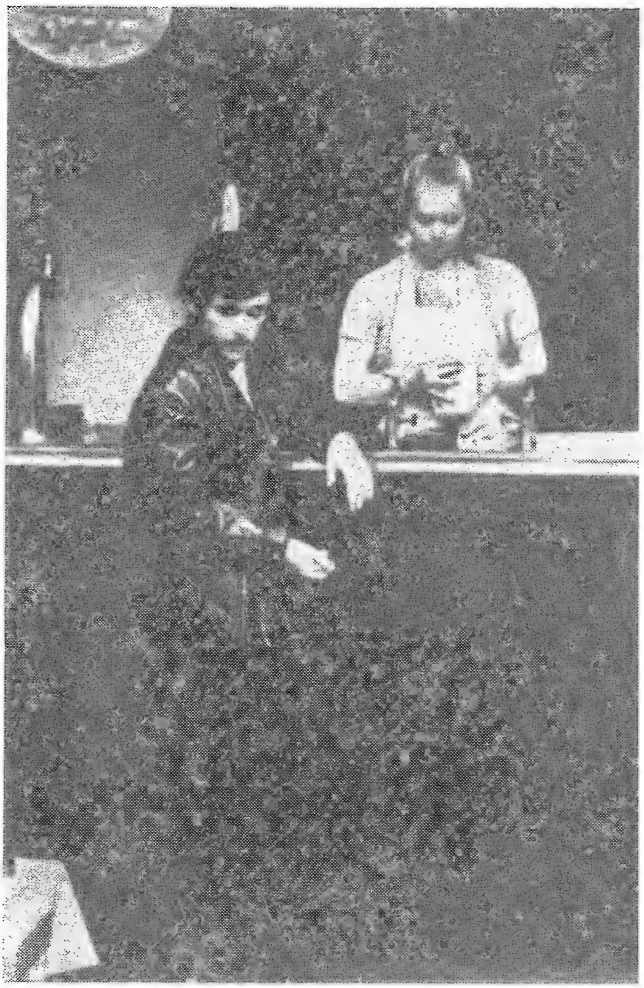
кер Браун, Гюнтер Дайке, Франц Фюман, австрийский поэт Гуго Гупперт. Издательство познакомило читателей с книгами 23 национальных литератур Советского Союза.

В большом количестве выходят книги писателей социалистических стран и западных авторов. Выпущены также антологии арабских и африканских писателей.

Продукция издательства очень многообразна. Коллектив издательства под руководством Юргена Грунера относится к поколению, выросшему в Германской Демократической Республике. Люди в основном молодые, энергичные, они много сил отдают пропаганде литературы самых разных стран. «Эти люди выполняют благородную миссию — несут свет литературы народу»,— пишет газета «Нойес Дойчланд».

Пьеса драматурга Рольфа Шнейдера «Вступление в замок», недавно удостоенная премии Свободных немецких профсоюзов, посвящена современности, когда в связи с крупными экономическими преобразованиями меняется жизнь людей. Драматург рассказал о самых разных судьбах.
Пьеса поставлена в двух театрах: в берлинском «Дойчес театер» и шверинском Государственном театре.
На снимке: артист Петер Ройссе — в роли Гюнтера и Урсула Стаак — в роли Уллы (постановка «Дойчес театер», Берлин).

(Журнал «Театер дер цайт»)



XIV ФЕСТИВАЛЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА

Состоялся очередной, XIV фестиваль пролетарского искусства. На этот раз он проходил в Шверине. 80 000 человек из разных городов Германской Демократической Республики и других стран собрались на торжественное открытие фестиваля, 1500 профессиональных актеров и любителей показали свое искусство. В фестивале приняли участие театральные коллективы, оркестры, хоры, коллективы самодеятельности. Были организованы выставки, показаны кинофильмы. Особо отличившимся коллективам присуждены золотые медали.

Золотыми медалями награждены пять ансамблей из зарубежных стран, среди них ансамбль художественной самодеятельности из Советского Союза и рабочий хор города Роттердама.

В торжественной обстановке были вручены премии Свободных немецких профсоюзов за 1972 год. Лауреатами этого года стали Хельга и Ганс Георг Мейер за книгу «Никаких цветов для героев», Рольф Шнейдер за пьесу «Вступление в замок», Армин Штольпер за пьесу «Вознесение на землю». Были также награждены: Рабочий театр города Гера, коллектив создателей фильма о Карле Либкнехте «Наперекор всему», кружки пишущих рабочих, ряд музыкальных коллективов, а также ряд композиторов и художников.

Пресса Германской Демократической Республики уделила большое внимание фестивалю в Шверине. «Фейерверком всех муз» назвала этот фестиваль газета «Берлинер цайтунг».

Сцена из спектакля «Оптимистическая трагедия».

(Газета «Франкфуртер альгемайне»)

ЗАП. БЕРЛИН

ЯРКАЯ ПРЕМЬЕРА

В западноберлинском театре «Шаубюне» с большим успехом прошла премьера спектакля по пьесе Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия».

Постановщик пьесы, известный режиссер Петер Штайн, использовал в спектакле фрагменты из разных редакций пьесы, из других произведений Вишневского, а также документы времен гражданской войны.

Перевод принадлежит перу известного писателя-коммуниста Фридриха Вольфа. В роли Комиссара выступила актриса Эльке Петри.

Пресса дает спектаклю высокую оценку.

ГРЕЦИЯ

30 ЛЕТ АФИНСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

В 1972 году исполняется тридцать лет со дня основания афинского Художественного театра, созданного и по сей день руководимого выдающимся греческим режиссером К. Куном. К своему юбилею театр подготовил три новых спектакля: пьесу Лулы Анагностаки «Антонио, или Известие», две одноактные пьесы Димитриса Кехаидиса «Обручальное кольцо» и «Тавлеи» и пьесу Георгиса Скуртиса «Музыканты»—произведения современной греческой драматургии, посвященные актуальным проблемам времени.

Юбилейный год афинского Художественного театра открылся премьерой пьесы Лулы Анагностаки. Успешный дебют молодой писательницы состоялся в 1965 году в этом же театре, поставившем ее первые одноактные пьесы «Город», «Парад», «Ночлег». В 1967 году, незадолго до военного переворота, в Национальном театре пошла пьеса Анагностаки «Общение». После переворота на протяжении пяти лет Анагностаки, как и многие другие греческие писатели и драматурги, хранила молчание. Тема новой пьесы, с которой она выступила сейчас, связана с современной греческой действительностью, с жизнью стран Западной Европы.

«Главный мотив пьесы,— сказал на пресс-конференции К. Кун,— угроза. Угроза общественная и личная. Место действия — Европа». Главная героиня пьесы — женщина, покидающая родину в поисках убежища от произвола. Однако и в той стране, куда она приезжает, ее настигает угроза произвола. Насилие пронизывает атмосферу западного мира и находит питательную среду в апатии людей, в их покорности. Бегство от катастрофы не выход — такова основная мысль пьесы, открывающая зрителю надежду на то, что «не все потеряно».

ДАГОМЕЯ

СБОРНИК НОВЕЛЛ ЖАНА ПЛИЙЯ

Одной из последних новинок камерунского издательства «Кле», благодаря которому африканский читатель смог познакомиться со многими произведениями художественной литературы разных стран континента, стал сборник новелл дагомейского писателя Жана Плийя «Дерево-фетиш».

Жан Плийя стал известен широким кругам культурной общественности Африки в 1967 году, когда его пьеса «Акула Кондо» — о легендарном африканском правителе Беханзене была удостоена Большой литературной премии Черной Африки. В настоящее время Плийя работает преподавателем геоистории в университете столицы Того Ломе.

В сборник вошли четыре новеллы. Самая крупная из них — «Дерево-фетиш», давшая название всей книге, рассказывает о том, как молодой, получивший европейское образование чиновник сталкивается с нежеланием рабочих рубить мешающее строительству новой дороги священное в народе дерево. В новелле «Красная машина» читатель знакомится с мальчиком из бедной семьи, име-

ющим заветную мечту — получить в подарок на праздники красную машину. Рецензент журнала «Жён Африк» особо отмечает глубокий социальный смысл новеллы «Человек, который отдал все».

Все четыре новеллы сборника рассказывают о сегодняшнем дне Дагомеи, «где сохраняются прочные связи между традиционными верованиями и новой жизнью».

ДАНИЯ

«ЛЕГЕНДАРНАЯ СКАНДИНАВКА»

Так немецкий критик Лотта Эйснер назвала в свое время знаменитую датскую киноактрису Асту Нильсен. Современники говорили о ней «великая», подчеркивая тем самым ее талант, неповторимую индивидуальность и необыкновенную преданность искусству.

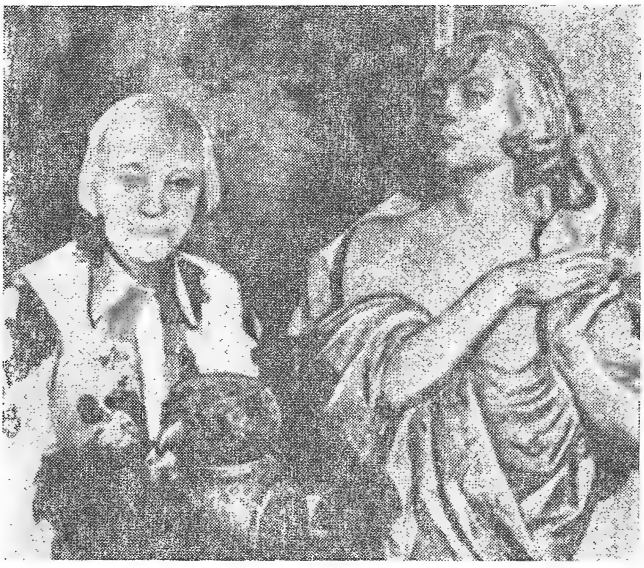
В связи с недавней кончиной Асты Нильсен газета «Ланд ог фольк» писала: «Уже в начале века имя Асты Нильсен было хорошо известно в театральных кругах Дании. Но подлинное признание пришло к ней как к актрисе кино и, к сожалению, не на родине. После огромного успеха, который имел ее первый фильм «Бездна» (1910), Аста Нильсен приняла предложение одной из крупнейших немецких кинофирм и переехала в Германию».

За двадцать с лишним лет (в 1932 году Аста Нильсен оставила кинематограф) актриса снялась почти в 70 фильмах. Во многих из них она не только играла главную роль, но была одновременно сценаристом и постановщиком.

Став признанной кинозвездой мирового и немецкого кино, Аста Нильсен продолжала оставаться подлинно датской актрисой, любящей свою родину и свой народ.

Рассказывая о творческом пути замечательной датчанки, газета «Ланд ог фольк» подчеркивает значительную роль Асты Нильсен в разви-

Аста Нильсен в спектакле «Балерина».



Аста Нильсен в последние годы жизни.

(Газета «Ланд ог фольк»)

тии немого кино, отмечает народность и высокую гражданственность ее таланта.

«Отдавая дань памяти великой актрисы, — пишет «Ланд ог фольк»,— мы не должны забывать о том, что именно благодаря мужеству истинного таланта, которым обладала Аста Нильсен, она ответила решительным «нет» на предложения Гитлера и Геббельса стать «первой дамой» нацистского государства. Заманчивой перспективе основать собственную кинофирму на средства фашистов и быть «свободной» в выборе репертуара она предпочла безработицу и безвестность.

Немало черт характеризует эту выдающуюся личность,— заключает рецензент «Ланд ог фольк»,— и немаловажное значение имеют твердость и верность собственным принципам».

ЕГИПЕТ

ИЗДАНИЕ «КНИГИ ПЕСЕН»

Многотомная «Книга песен», составленная филологом Абу-ль-Фараджем аль-Исфахани в X веке, представляет собой подлинную сокровищницу древней арабской поэзии: многие произведения доисламской эпохи и первых веков ислама дошли до нас только благодаря этому фундаментальному своду.

В настоящее время в Египте выходит научное издание «Книги песен». По сообщению журнала «Аль-Адиб», в Каире вышел девятнадцатый том «Книги» под редакцией генерального директора Академии арабского языка Абд аль-Керима аль-Азабави.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ МУХАММЕДА ТЕЙМУРА

Проживший недолгую жизнь Мухаммед Теймур (1892—1921) был одним из основоположников современной египетской драматургии и новеллистики.

Сейчас египетское министерство культуры готовит к изданию собрание сочинений писателя. Уже вышел из печати первый том, предисловие к которому написал брат Мухаммеда Теймура—крупнейший египетский новеллист Махмуд Теймур.

«ВЕШНИЕ ВОДЫ» ТУРГЕНЕВА В АРАБСКОМ ПЕРЕВОДЕ

В очередном выпуске египетской популярной серии «Романы «Аль-Хиляля» напечатана повесть «Вешние воды» И. С. Тургенева. Перевод повести принадлежит сирийскому литератору Сами ад-Даруби — известному популяризатору русской классической литературы в арабских странах, который уже познакомил арабских читателей со многими произведениями Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.

ИНДИЯ

ПЕРВЫЙ СБОРНИК ТАЛАНТЛИВОГО ПРОЗАИКА

Вышел первый сборник рассказов молодого прозаика Кевала Суда. В книге — двадцать пять рассказов, посвященных, казалось бы, самым заурядным событиям повседневной жизни рядового пенджабца. Об этом говорят сами названия рассказов — «На перекрестке», «Мокрая мостовая», «Курятник» и т. п. Написаны они сочным, ярким языком современного пенджабца-горожанина, многие из них — в форме непрерывного сказа, причем автор заставляет остро почувствовать и пережить пусть самое мелкое событие, привлекшее его внимание, и разделить его высокогуманистическую позицию.

Стиль К. Суда отражает особенности формирования вполне современной пенджабской прозы. Лиризм повествования временами напоминает лиризм «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева. Автору присуще чувство юмора. Когда же он обращается к значительным, общенациональным проблемам, его юмор оборачивается умной, тонкой сатирой, как в рассказе «Какой-нибудь другой Чаканья...», по которому назван и весь сборник.

ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Как сообщает журнал «Брадж Бхарати», вышел в свет специальный выпуск журнала «Вина», посвященный истории и многочисленным культурно-лингвистическим проблемам народа, говорящего на мальви — языке, который по традиции, идущей со времен английского господства, относят к числу диалектов раджастхани. Ежемесячный журнал «Вина», орган «Центрального индийского комитета литературы хинди», выходит в гор. Индаре (штат Мадхья-Прадеш).

Основная часть номера отведена мальвийскому фольклору и современной поэзии. В журнале выражается серьезная озабоченность сложившимся отношением к собиранию и изучению устного народного творчества в условиях, когда кино и другие средства массовой информации интенсивно вытесняют фольклор. В связи с изучением фольклора в номере затрагивается вопрос об отношении между народными языками и официально принятым здесь литературным — хинди.

В результате насыщения санскритской лексикой хинди, который и без того весьма существенно отличается от мальви, доступен лишь определенной части городского населения, а переводы и переложения на хинди образцов мальвийского фольклора воспринимаются простым народом так, как если бы они были написаны на чужом языке.

ИРАК

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ МИРА»

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», известный

иракский поэт Абд аль-Ваххаб аль-Баяти, живший долгое время за границей, главным образом в Каире, возвратился в Багдад, где он назначен советником по вопросам культуры в иракском министерстве информации.

Журнал сообщает также, что Союзом арабских писателей в Дамаске выпущен сборник избранных произведений аль-Баяти под названием «Путешествие по городам мира». Предисловие к сборнику написал египетский критик Сабри Хафез.

ИРАН

«ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ»

Фильм иранского режиссера Даррьюша Мержуи «Почтальон» был назван Обществом постановщиков фильмов одной из лучших работ, представленных на последнем фестивале в Канне. Это третья полнометражная картина молодого режиссера. Первая его картина, «Корова», была сделана в 1968 году и получила Приз критики на кинофестивале 1971 года в Венеции. В том же году советские зрители имели возможность познакомиться со вторым фильмом Мержуи — «Наивный», который был показан на Московском фестивале.

Даррьюш Мержуи принадлежит к молодому поколению иранских кинематографистов, которое пытается выйти за рамки мелких, преимущественно мелодраматических тем, характерных до последнего времени для иранского кино. Фильм «Почтальон» в числе других работ, отобранных в Канне Обществом постановщиков, демонстрировался в конце мая — начале июня в парижском дворце Шайо. Еженедельник «Леттр франсэз» называет его «важным открытием Каннского фестиваля».

ИТАЛИЯ

«СЕМЕНА, ПОСЕЯННЫЕ ГРАМШИ»

Так называется симфоническая поэма Сильвано Буссотти, первое исполнение которой состоялось в Риме в концерте, посвященном творчеству этого композитора. Работу над этим произведением Буссотти начал более десяти лет назад, посвятив его двадцатипятилетию со дня смерти Антонио Грамши. Однако оно было закончено лишь недавно, и его первое исполнение совпало с тридцатилетием со дня кончины основателя Итальянской компартии, которое широко отмечалось всей прогрессивной итальянской общественностью.

Симфоническая поэма написана по мотивам некоторых тюремных тетрадей, где Грамши, в частности, рассказывает о том, как он выращивал цветы. Поэма представляет собой концерт для четырех арф с оркестром. Ее исполнил пользующийся в Италии заслуженной известностью «Итальянский квартет». Оркестром дирижировал Джанпьеро Таверна. Музыкальная критика высоко оценивает новое произведение талантливого композитора.

ХУДОЖНИК-ПИСАТЕЛЬ

Внимание критики и читателей привлекает автобиографический роман Уго Аттарди «Наследник-дикарь» (название его можно перевести и как «Жестокий наследник»), удостоенный главной итальянской литературной премии — премии «Виареджо» за прошлый год. Книга вызывает тем больший интерес, что автор ее — дебютант в литературе, а имя его широко известно как имя одного из самых видных современных художников и скульпторов. Вслед за Карло Леви Аттарди воплощает счастливое сочетание двух талантов — художника и писателя.

Аттарди детство и раннюю юность провел на Сицилии. В своем романе он и повествует о сицилийской действительности конца 20 — 30-х годов — в мрачный период господства фашизма, когда вся жизнь на острове была проникнута жестокостью и насилием, нашедшими там особенно благоприятную почву в силу вековечной отсталости и нищеты, царивших на острове.

Аттарди показывает, как эта жестокость нравов и всей окружающей жизни влияла

Кадр из фильма «Почтальон».

(Еженедельник «Леттр франсэз»)

на него — сначала подростка, потом юношу, ожесточая его сердце, но вместе с тем рождая в нем смутное стремление к другой, более справедливой и человечной жизни, желание изменить, переделать невыносимую, безжалостную действительность.

Роман кончается бегством юноши на материк — исторически этот момент в биографии Аттарди совпал с окончанием войны и освобождением Италии от фашизма. Автор оставляет своего героя в возрасте двадцати лет — здесь как раз начинается уже творческая биография художника, примкнувшего после приезда в Рим к прогрессивному направлению в итальянской живописи. Как отмечает критика, роман Аттарди во многом помогает понять сложное, прошедшее много различных этапов творчество этого интересного художника и скульптора, которого всегда привлекали и волновали политические и социальные проблемы итальянской жизни. Роман написан в манере, несколько напоминающей произведения писателей - «меридионалистов» конца прошлого — начала этого века, живописавших жестокие страсти итальянского Юга, и в нем немало натуралистических сцен. Однако для героя романа Уго Аттарди характерно страстное желание вырваться из мрака окружающей его действительности, что отличает его от обычных персонажей в сочинениях писателей-южан.

Свой автобиографический — искренний и взволнованно - выстраданный — роман Аттарди иллюстрировал восемнадцатью акварелями, написанными им одновременно с книгой и экспонируемыми на его выставке. Недавно Уго Аттарди опубликовал в газете «Унита» большое открытое письмо, в котором дает анализ ныне существующего в Италии напряженного внутриполитического положения и заявляет о своем вступлении в ряды коммунистической партии. Он пишет о своем долге художника занять «четкую позицию в борьбе, которая, сдерживая скатывание в сторону клерикализма и фашизма, открыла бы и укрепила в Италии пути развития демократии и социализма».

КОЛУМБИЯ

«НОВОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОКУШЕНИЕ НА КУЛЬТУРУ»

Под таким заголовком газета «Вос пролетариа» — орган ЦК Коммунистической партии Колумбии — поместила редакционную статью, посвященную недавно принятым правительственным мерам, наносящим удар по театральному движению страны.

Речь идет о новом решении властей, согласно которому дополнительно взимается налог в 10% стоимости от каждого театрального билета для того якобы, чтобы «содействовать развитию спорта».

«Каждодневно мы убеждаемся в том,— пишет газета,— что были правы и остаются правыми те, кто говорят о постоянном преследовании культуры со стороны олигархических правительств Колумбии.

Ныне правящие круги решили уничтожить наше театральное движение, прикрывая эту варварскую акцию якобы «помощью» спорту. Одним выстрелом убивают двух зайцев: разрушают театр и сталкивают неимущих артистов со спортсменами-бедняками, отчего, как нам кажется, не получится никакой помощи спорту».

В июле 1970 года, по сообщению газеты, уже была сделана подобная попытка в одном из районов города Боготы, в результате чего был надет намордник на театральные труппы, работающие там, и подорвана их и без того скудная экономическая база... Колумбийская корпорация театра организовала тогда уличные демонстрации протеста и направила правительству официальное письмо. Алькальд города Боготы был вынужден изменить свое указание, распорядившись взимать налог лишь с «публичных спектаклей Экспериментального театра города Боготы».

«...То есть,— пишет газета,— алькальд Урреа провел совершенно неестественное и нелогичное разделение на «публичные спектакли» и «спектакли, носящие культурный характер... Число спектаклей, — продолжает «Вос пролетариа»,— которые можно было бы определить как «спектакли, носящие культурный характер» (то есть концерты, танец, театр, балет, киноклуб), минимально в Колумбии, оно даже не соответствует слабому развитию страны.

Теперь же в связи с новым распоряжением правительства сводится к нулю даже та небольшая июльская победа Колумбийской Корпорации театра, ибо новая мера ныне распространена уже на всю страну.

Правительство, душащее культуру тем, что не оказывает ей никакой помощи,— указывает «Вос пролетариа»,— теперь старается уничтожить и ту культуру, которая возникает стихийно и существует лишь благодаря усилиям сотен артистов.

Но есть и еще одна сторона вопроса: этот декрет, который «помогает спорту», открывает полную свободу для полицейских репрессий в области культуры. Согласно «регламентации», теперь для того чтобы показать пьесу, следует испросить специальное разрешение. Надо просить разрешение властей на использование театрального зала и указать, будет ли одновременно проводиться в нем какое-либо другое мероприятие. Это хотя и прикрытая благовидным предлогом, но откровенная цензура».

«Вос пролетариа» призывает все артистические силы Колумбии к объединенному выступлению против «новой попытки олигархии ликвидировать культуру».

КУБА

«ТРИ СЕСТРЫ» В ГАВАНЕ

На сцене гаванского театра «Уберт де Бланк» с успехом прошла премьера пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Эта постановка, осуществленная режиссером Висенте Ревуэльтой,—первая попытка поставить на Кубе крупное чеховское произведение.

Критик журнала «Боэмия» Нати Гонсалес Фрейра отмечает своеобразие режиссерской трактовки пьесы.

«В своей постановке «Трех сестер»,—пишет он,— Висенте Ревуэльта открывает нам Чехова, который совершенно серьезно считал свое произведение комедией, даже водевилем. Режиссер как бы разрушает атмосферу грусти и безысходности, в которой живут чеховские герои, привнося в нее новые акценты, новые ассоциации, хотя в целом он строго следует авторскому замыслу. Нововведения режиссера—в частности используемая им музыка — имеют своей целью не допустить мелодраматических интонаций и в то же время дать реалистическое — а порой и сюрреалистическое—описание обстановки всеобщего отчуждения, столь характерной для эпохи предреволюционных лет в России. Ревуэльта сумел добиться от актеров большой выразительности как в мизансценах, так и в раскрытии внутренних состояний каждого из героев».

Роль Маши исполняет популярная актриса Ракель Ревуэльта, знакомая советским зрителям по фильму «Лусия» (премия третьего Московского кинофестиваля). Ирину играет Марта Фарре. Наиболее удачна, по мнению кубинской прессы, роль Ольги, сыгранная Анной Виньяс. Актриса сумела достигнуть большой психологической достоверности в трактовке этого сложного образа.

Режиссерская фантазия Висенте Ревуэльты пошла дальше сценического воплощения гениальной чеховской пьесы. В фойе театра режиссер организовал большую выставку фотографий и афиш чеховской эпохи. В конце спектакля, одновременно на двух экранах, демонстрируется кинохроника времен победы Октябрьской революции в России и народного восстания на Кубе. Все это призвано, по мнению кубинских критиков, развить у зрителя главную идею пьесы Чехова — неизбежность гибели эксплуататорских классов и победы революционного народа.

НОРВЕГИЯ

КНИГА О РАБОЧИХ НОРВЕГИИ

Молодой норвежский писатель Эспен Ховардсхольм назвал свою книгу «Цинк». В центре произведения — рабочие норвежской цинковой компании, их труд, их лишения, надежды и мечты. Но книга Ховардсхольма в то же время и обо всей Норвегии, обо всех тружениках этой страны.

Корреспондент газеты «Фрихетен» попросил ответить автора на несколько вопросов:

— Какова основная тема книги?

— Я хотел рассказать о том, что рабочих Норвегии вводят в заблуждение, попросту дурачат те, кто стоит у власти. Их судьба полностью зависит от тех решений, которые принимаются финансовыми заправилами Запада. Я написал свою книгу для того, чтобы хоть как-то помешать этому, помочь пролетариям осознать истинное положение вещей. Я уверен, что пройдет немного времени и именно эти рабочие, которые гнут сегодня спину на хозяев цинковой компании, включатся в стачку протеста против участия Норвегии в Европейском сообществе.

— На страницах своего романа вы пытаетесь показать некоторые картины будущего и говорите о революции. Что вы имели в виду?

— Может быть, я действительно несколько расплывчато высказал свою мысль, но я имел в виду совершенно конкретные вещи, а именно: рабочие Норвегии должны под руководством коммунистической партии взять власть в свои руки и на правах хозяев страны владеть орудиями производства. Конечно, это дело будущего, но я верю, что все произойдет именно так.

— Вашу книгу нельзя назвать политической в строгом смысле слова. Термины, которыми вы пользуетесь, звучат не конкретно, а скорее символично. Как вы это объясняете?

— Я считаю, что мне еще надо очень много работать над языком моих произведений. Ведь для того, чтобы люди поверили идеям, заключенным в моих книгах, недостаточно сказать: вчера я был буржуазным радикалом, а сегодня — я революционно настроен, коммунист и вас призываю к тому же. Я сам не верю в подобные превращения, не думаю, чтобы поверили и другие. Необходимо еще много работать над формой, которая должна соответствовать содержанию произведения.

Своей следующей работе мне хотелось бы придать более яркую политическую окраску, что несомненно скажется и на языке произведения.

ПОЛЬША

ФИЛЬМЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ СССР

Польские кинодокументалисты в честь пятидесятилетия СССР создали несколько фильмов.

Фильм «Узбекистан» (режиссер Кшыштоф Рогульски, оператор Цезары Маковски) — это поэтическая повесть о красочной, бурно развивающейся Узбекской республике. Авторы фильма показали историю и памятники Узбекистана, причем эта часть фильма снималась на цветную пленку. Другая часть фильма рассказывает о преобразованиях в сельском хозяйстве, о развитии оросительной си-

стемы, позволившей дать жизнь безводной пустыне.

Большое место отводится Ташкенту, его жизни, истории. Город, подвергшийся жестокому землетрясению, сейчас предстает перед зрителем заново отстроенным, современным и отлично благоустроенным.

Другой фильм, «Ровесники», посвящен Российской Федерации. В нем повествуется о людях, которые родились в год образования СССР, это люди самых разных профессий: рабочие, ученые, колхозники, артисты; все они рассказывают о своих судьбах и о делах самой большой республики Советов.

Будет также снят фильм, посвященный Литовской ССР. Предполагается в рамках польско-советского сотрудничества сделать ряд совместных фильмов для польского телевидения.

«БИБЛИОТЕКА ТРИДЦАТИЛЕТИЯ»

В конце 1972 года выйдут в свет первые книги межиздательской серии «Библиотека тридцатилетия», выпуск которой осуществляется по инициативе Главного управления издательств ПНР. В составлении «Библиотеки» принимают активное участие издатели, критики, деятели культуры. Всего предполагается выпустить около ста названий. Это романы, сборники рассказов, стихов и пьес наиболее выдающихся прозаиков, поэтов и драматургов Народной Польши.

Как сообщает газета «Трибуна люду», в нынешнем году будет издано около двадцати томов. Среди них «Стихи и поэмы» Владислава Броневского, «Драмы и рассказы» Леона Кручковского, «Бронзовые врата» Тадеуша Брезы, рассказы Марии Домбровской. Публикация «Библиотеки тридцатилетия» будет завершена в 1974 году.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ «ВИТЯЗЯ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»

Краковское издательство «Выдавництво литерацке» подготовило к печати бессмертное произведение грузинской литературы «Витязь в тигровой шкуре». Это первое полное издание поэмы Шота Руставели на польском языке. Перевод выполнен известным поэтом Ежи Загурским.

Театр польского телевидения очень популярен у зрителей, его спектакли можно увидеть три-четыре раза в неделю. Особенно популярен так называемый Театральный понедельник. Понедельник у актеров выходной, и они могут в этот день выступать на телевидении. И хотя сейчас спектакли записываются на пленку, традиция сохранилась.

В репертуар Театрального понедельника входят лучшие произведения польской и мировой классики, а также пьесы выдающихся современных писателей.

На снимке — сцена из спектакля «Рафал Ольбромский» по роману Стефана Жеромского.

(Журнал «Польское обозрение»)

СИРИЯ

«НАЗЫМ ХИКМЕТ. ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ИДЕОЛОГИИ»

Как сообщает журнал «Ат-Тарик», сирийское министерство культуры опубликовало книгу «Назым Хикмет. Проблемы литературы и идеологии», написанную известным прогрессивным писателем Ханной Миной. Книга включает несколько литературоведческих исследований: большой очерк о жизни и творчестве Назыма Хикмета, занимающий основную часть книги, и статьи «Горький и люди», «Ленин и литература», «Ленин и человек», «Писатель и сопереживание».

В этих работах, по словам журнала, писатель, опираясь на свой жизненный и творческий опыт, защищает прогрессивные взгляды на литературу и искусство и подчеркивает глубокую связь «между борьбой и творчеством художника, между искусством и идеологической позицией».

Исследования написаны живо и легко. Строгие научные факты сочетаются в них с литературным изложением, что «делает книгу интересным художественным произведением».

США

«ПРОЩАНИЕ С ПРОШЛЫМ»

Недавно вышел новый роман известной писательницы, признанного мастера американской прозы Юдоры Уэлти «Дочь оптимиста», отрывки из которого были ранее напечатаны в журнале «Нью-йоркер». Юдора Уэлти принадлежит к так называемому «южному» направлению в американской литературе, к которому критика причисляет также Фолкнера, Вулфа, Уоррена, Маккалерс и многих талантливых романистов, для творчества которых характерно особое «южное» мировоззрение: ощущение близости к природе, прочности уз крови и приверженность традициям. Это цельное, гуманистическое мироощущение противостоит в американской литературе более современному «северному» прагматизму и бездуховности. И герои произведений писателей-южан ощущают это трагическое противоречие.

По мнению американской критики, в этом романе Уэлти удалось подняться над «местными» настроениями до серьезных социальных обобщений и создать произведение, имеющее «всеамериканское» звучание. Эту небольшую книжку критика называет «лучшей книгой Уэлти, достойным итогом жизни».

Действие романа «Дочь оптимиста» происходит на Юге. Сюжетную канву составляют взаимоотношения двух женщин средних лет. Одна из них, Лаурел, приезжает в больницу к своему умирающему отцу, судье. Здесь она сталкивается с его второй женой, Фэй. Фэй значительно моложе своего мужа. Она символизирует в романе не только «северный» практицизм, но и представляет иной социальный слой. Она происходит из семьи мелких фермеров из юго-восточных штатов, к которым коренные южане, особенно помещики из круга Лаурел, относятся с презрением. Бестактная и циничная Фэй могла бы показаться чудовищем рядом с интеллигентной и мягкой Лаурел, но она настолько глупа и наивна, что даже не понимает, что ее поведение ускорило смерть мужа. Однако, несмотря на то, что Фэй ей глубоко чуждый человек, Лаурел видит в ней ту жизнестойкость, которой не хватает людям ее круга. Жизненная энергия обеспечивает людям типа Фэй будущее. Похороны судьи, отца Лаурел, — кульминационный момент романа. Они символизируют гибель старого Юга, старых ценностей.

В романе «Дочь оптимиста» сталкиваются два сорта людей, два образа жизни, две борющиеся силы в жизни Америки, и победа остается за более циничным и примитивным, но более жизнестойким мировоззрением — символически дом судьи достается Фэй. И Лаурел, у которой муж погиб на войне, и Фэй — бездетны, и Лаурел понимает, что скоро дом останется пустым или в нем поселятся совсем чужие люди.

Этот роман, пишет рецензент американского литературного еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревю», — прощание не только с умирающим прошлым, но и с утраченными иллюзиями и ушедшими чувствами.

ГДЕ ШЕДЕВРЫ ИНДЕЙСКОГО ИСКУССТВА?

В нью-йоркском музее «Уитни» недавно прошла выставка произведений искусства американских индейцев. Всего на выставке было представлено 314 предметов национального искусства индейцев, собранных специально для этой экспозиции из различных, в том числе частных, коллекций всего мира. Среди экспонатов было оружие, маски, орудия труда, барабаны, фигурки святых, трубки, щиты, изделия из тканей, дерева, кости, рога.

Многие шедевры искусства американских индей-

На выставке шедевров индейского искусства.

(Газета «Морнинг стар»)

цев, сообщает корреспондент газеты «Дейли ньюс», бесследно исчезли. Создалось исключительное по своей трагедийности положение, когда у искусствоведов нет возможности во всей полноте изучить культуру коренных обитателей американского континента. А рядовые американцы, живущие ныне на их земле, почти не имеют никакого понятия об этой культуре.

ЧЕСТНАЯ ПЬЕСА

Недавно состоялась премьера новой пьесы известного американского драматурга Теннесси Уильямса «Малые предупреждения». Ее действие происходит в баре. Здесь собрались люди ничем не примечательные и малоприятные, но не лишенные человечности.

Уильямс написал пьесу о людях, проигравших жизнь, и каждый персонаж пьесы—представитель этой категории людей. Пьеса написана в характерной для Теннесси Уильямса манере «поэтического символизма». «Это скорее драматическое эссе, чем пьеса,— пишет американская газета «Интернэшнл геральд трибюн». — Уильямс — писатель огромного сострадания, что подчас делает его пьесы несколько сентиментальными, но именно это сострадание открывает мрачные и пустые сердца».

Назвав пьесу «Малые предупреждения» — «честной», газета пишет: «Это не самая значительная пьеса Уильямса, но она бесспорно удержится на сцене до его следующей пьесы, чего нельзя сказать о многих драматургических работах последних лет».

ТУНИС

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ТЕАТРУ

По сообщениям арабской прессы, в Париже в возрасте 42 лет скончался ведущий тунисский актер и театральный режиссер, руководитель Муниципального театра в гор. Тунисе Али Бен Айяд. Окончив Институт театрального искусства в Каире, Бен Айяд посвятил всю свою недолгую жизнь созданию и развитию национального театра в Тунисе. Благодаря его усилиям в стране после достижения независимости был создан постоянный театр, который ставил главным образом пьесы тунисских авторов и лишь в редких случаях обращался к произведениям иностранной драматургии. Стремясь сделать театральное искусство достоянием широких слоев народа, Бен Айяд показывал спектакли своего театра не только в столице, но и в самых далеких уголках страны.

Благодаря Бену Айяду тунисское театральное искусство стало известным в других странах: руководимый им театральный коллектив не раз выступал на сцене Театра наций в Париже, в театрах Каира, Бейрута, Алжира, Рабата и Вены.

К числу лучших постановок Муниципального театра, имевших большой резонанс в арабских странах и в Европе, принадлежат «Калигула» Альбера Камю, «Йерма» Гарсиа Лорки, «Мурад III» египетского драматурга Тауфика аль-Хакима. Зачастую Бен Айяд был не только режиссером, но и исполнителем ведущих ролей. Выступал он и как киноактер.

В статье, посвященной журналом «Аль-Адиб» памяти Бена Айяда, говорится: «Он жил для театра и умер ради него. Его смерть — большая потеря для театрального искусства в Тунисе».

ТУРЦИЯ

«БУХАРА» С. АЙНИ НА ТУРЕЦКОМ

В издательстве «Варлык» (Стамбул) в переводе Ялчина Тура вышел роман классика таджикской литературы Садриддина Айни «Бухара». Рецензент стамбульского литературного журнала «Еди тепе», отметив, что эта книга впервые знакомит турецкого читателя с большим советским художником, пишет:

«Читая этот роман, мы еще яснее понимаем, что революция — дело не только профессиональных революционеров, но всего народа, поставленного в условия жизни, противопоказанные человеческому достоинству».

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Год назад в связи с введением военного положения в Турции были запрещены все левые газеты и общественно - политические журналы, а также многие издания, посвященные литературе и искусству. Однако с начала 1972 года некоторые из них возобновили свой выход, а затем начали появляться и новые издания. Среди вновь созданных заслуживает внимания ежемесячный журнал по литературе и искусству «Янсыма» («Эхо»), который издает прогрессивный молодой поэт Текин Сенмез.

В число постоянных сотрудников «Янсыма» вошли такие известные авторы, как Хасан Хюсейн, Шюкран Курдакул, Зюхтю Баяр (постоянный раздел «Критический дневник»), Хаяти Асылязыджи (театральная критика), Тайлан Алтуг и др. В журнале публикуются стихи и рассказы известных и начинающих авторов, а также переводы с других языков (например, стихи Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо).

В редакционном сообщении о выходе нового журнала подчеркивалось, что «Янсыма» будет уделять особое внимание критическим исследованиям турецких и зарубежных авторов по общим вопросам литературы, литературного языка, эстетики, культурного наследия и народного творчества. Отмечалась важность подхода к этим про-

блемам не с догматических, а с диалектических позиций, то есть оценка исторической роли литературы и искусства.

Новый журнал довольно резко выступает против формалистического направления в поэзии, особенно против тех авторов, которые, жонглируя словами, создают «бессмысленные стихи». «Янсыма» призывает поэтов беречь «честь стиха», не засорять поэтическое искусство кривлянием и бессмыслицей.

ФРАНЦИЯ

ПРЕМИЯ АНДРЕ ВЮРМСЕРУ

Жюри премии «Волькан» под председательством Армана Лану разделило премию за лучшее эссе между Андре Вюрмсером, автором книги «Советы по пересмотру» (издательство Галлимара) и Ксавье Пиком, выпустившим книгу «Животное, которое ело людей в Оверни и Жевадоне» (издательство Альбен Мишель).

В книге «Советы по пересмотру» собраны критические работы Андре Вюрмсера о Мольере, Бальзаке, Гюго, Стендале, де Виньи, Золя, а также о некоторых писателях нашего времени—Альбере Камю, Жюльене Бенда и др.

«Юманите» отмечает глубину критической мысли А. Вюрмсера, его безупречную эрудицию и считает главным достоинством книги то, что критик всегда рассматривает литературные явления в их неразрывной связи с историей. Ведь именно А. Вюрмсер написал первый во Франции опыт марксистского исследования о творчестве Бальзака — «Нечеловеческая комедия».

Пьер Анри Симон пишет в «Монд» о книге А. Вюрмсера: «Суждения традиционной буржуазной критики основательно, иногда сурово пересматриваются». Симон отмечает присущие Вюрмсеру постоянство точки зрения и твердые убеждения.

«СТО КНИГ»

Французское телевидение показало недавно спектакль «Сто книг». Режиссер Жан Аршимбо поставил его по повести Горького «Детство». В сценарии, написанном Клодом Сантелли, использованы кадры из фильма о Горьком советского режиссера М. Донского.

В телевизионной передаче «Сто книг» принял участие автор предисловий к изданиям произведений Горького на французском языке — писатель Юбер Жюэн.

Исполнитель роли Алеши Пешкова Жиль Лоран.
(Газета «Юманите диманш»)

КРИЗИС ТНП

Уже в течение года французская пресса периодически помещает статьи и рецензии, в которых отчетливо звучит тревога за будущее основанного Жаном Виларом Национального народного театра. Еще в сезон 1970/71 гг. театр вынужден был прервать работу из-за небывало низкой посещаемости. Отсутствием зрителей, когда-то заполнявших каждый вечер огромный зал дворца Шайо, где помещается ТНП, отмечен и прошедший театральный сезон 1971/72 гг.

Большинство театральных обозревателей видит причины затянувшегося кризиса в репертуарной политике Жоржа Вильсона, сменившего в 1963 году Жана Вилара на посту директора и художественного руководителя ТНП. В последние годы на сцене театра все чаще стали появляться произведения, чуждые духу прежнего Национального народного театра Франции. В прошлом году театр поставил пьесу английского драматурга Эдварда Бонда «Ранним утром», изображающую пагубные страсти «первого семейства Англии» в годы правления королевы Виктории. По мнению театрального обозревателя «Тан модерн» Рене Сореля, постановка пьесы Бонда во Франции лишена всякого смысла, так как ничего не говорит ни уму, ни сердцу французов.

Несмотря на то, что постановка «Ранним утром» практически окончилась провалом (через месяц после начала сезона театр закрылся из-за отсутствия публики), Вильсон и в следующем сезоне включил в репертуар ТНП имя Эдварда Бонда. На этот раз речь идет о печально известной своей жестокостью пьесе Бонда «Спасенные», в одной из сцен которой хулиганы просто так, от безделья, забивают камнями лежащего в коляске малыша; среди «развлекающихся» — и отец ребенка.

Театральный обозреватель еженедельника «Экспресс» назвал свою рецензию на спектакль по пьесе Бонда «Удар в живот». Известный критик Ги Дюмур пишет в «Нувель обсерватёр»: «Эта пьеса («Спасенные») самая жестокая и самая невыносимая из всего, что я когда-либо видел».

Причины очевидного кризиса, в котором находится

сегодня один из лучших театров Франции, критика видит и в тяжелом финансовом положении ТНП. Правительственные ассигнования театру не изменились по сравнению с 1969 годом при том, что цены в стране постоянно растут. За это же время кредит, отпускаемый «Комеди Франсэз», удвоился. Материальные затруднения вынудили Вильсона пойти на беспрецедентный в истории ТНП шаг: театр закрывается в апреле и сдается в аренду предприимчивой антрепренерше Анни Фарг, известной тем, что она «ввезла» в Европу нашумевшие бродвейские постановки «Волосы» и «О, Калькутта!». На сцене дворца Шайо мадам Фарг поставила рок-оперу «Иисус Христос — сверхзвезда».

Никогда еще Национальный народный театр не отдавал на столь долгий срок свою сцену для использования в коммерческих целях.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ АНКЕТА ГАЗЕТЫ «РУДЕ ПРАВО»

Начиная с февраля этого года газета «Руде право» почти еженедельно публиковала ответы членов Союза чешских писателей на состоящую из трех вопросов анкету. Редакцию интересовало, что думают чешские писатели об общественном смысле искусства и о том, какую роль оно могло бы и должно было бы играть в сегодняшнем обществе, что они думают о существующем положении в литературной критике и в чем видят будущее чешской литературы.

На эти вопросы ответили писатели Вацлав Каплицкий, Мирослав Флориан, Алена Врбова, Т. Сватоплук, Мирослава Томанова, Йозеф Томан, Ян Пиларж, Богумил Ржига, Йозеф Рыбак, Иван Скала, Эма Ржезачева, Валя Стыблова и ряд других. Ответ каждого писателя сопровожден его портретом и краткими сведениями о творчестве. Таким образом «Руде право» знакомит своих читателей с чешскими писателями — членами нового Союза чешских писателей и с их взглядами на литературу и искусство.

Все участники анкеты видят будущее чешской литературы в новых произведениях, которые напишут уже зрелые и только что пришедшие в литературу авторы. «За ее будущее я не боюсь,— пишет Йозеф Рыбак,— как не боюсь за будущее наших народов и нашей страны, ибо мы остаемся верны социалистическому единству с Советским Союзом и другими социалистическими нациями. И чем больше наша литература будет с ними связана, чем больше она будет проникать в суть явлений, конфликтов и процессов внутри общества, тем больше эта литература, которая нужна сегодняшнему дню, будет и литературой будущего. Но будущее, и этого нельзя забывать, создается уже сегодня».

Участники анкеты не могут себе представить современную чешскую литературу лишенной общественного смысла, о чем свидетельствуют их ответы на вопросы «Руде право».

«ВПОЛНЕ ХОРОШИЕ ПАРНИ»

На экраны кинотеатров Чехословакии вышел новый словацкий фильм «Вполне хорошие парни». Фильм поставлен режиссером Йозефом Режухой по сценарию словацкого писателя Яна Соловича. Высокую оценку он заслужил на Кинофестивале молодых в Трутнове.

Автор сценария Ян Солович известен в Чехословакии главным образом как драматург и автор радиопьес. В последнее время он начал работать для кино и телевидения.

Действие его фильма «Вполне хорошие парни» развивается на строительстве. Автора прежде всего интересуют взаимоотношения между людьми. На строительстве он находит разнообразные человеческие характеры и стремится показать их во взаимодействии, в развитии, заглянуть в их глубину, понять причины и истоки человеческих поступков.

Герои фильма — бригада шоферов грузовых машин, которые возят камень с каменоломни на строительство большого завода. Однажды бригада узнает, что получает деньги не по закону. Дело в том, что работающий на экскаваторе и регистрирующий ездки бригадир Мацо приписал несколько лишних рейсов. Как решить этот вопрос? Ведь бригада представлена к премии и награде.

Рецензент газеты «Руде право» Иржи Грбас считает, что для словацкой кинематографии на сегодняшнем этапе этот фильм очень показателен. Его авторы стремятся проникнуть в современность, ведут борьбу за формирование личности в коллективе. Йозефу Режухе удалось понять замысел автора сценария, которого интересовали проблемы взаимоотношений всей бригады, целого коллектива, вопросы чести коллектива, и он сумел подчеркнуть эту мысль в фильме. Режиссер фильма принадлежит к среднему поколению словацких кинематографистов, но в художественном кинематографе его можно считать молодым: он дебютировал в 1970 году.

Авторы этого номера

ЛЕ ЧИ КИ.

Молодой вьетнамский новеллист (ДРВ). Печататься начал в 60-х годах. Его сборник рассказов «Безлюдная улица» вышел в 1964 году. Очерки и рассказы Ле Чи Ки часто публикуются в еженедельнике «Ван нге» («Литература и искусство»), где был напечатан и рассказ «Вечер в Храме Литературы».

■

ХЮИ ФЫОНГ.

Вьетнамский писатель (ДРВ). Автор рассказов, очерков, романа «Цемент» (1968), повествующего о творческих исканиях технической интеллигенции. Роман с интересом был встречен читателями и критикой. В 1971 году писатель выпустил сборник рассказов «Краснозем» — о мужественных простых людях Вьетнама, повседневно проявляющих героизм и самоотверженность в суровые годы войны.

Рассказ «Бомба замедленного действия» взят нами из антологии «Рассказы и очерки периода борьбы против американской агрессии» (1969).

■

ВО ХЮИ ТАМ (род. в 1926 г.).

Вьетнамский писатель (ДРВ). До Августовской революции 1945 года работал шахтером в угольном бассейне Хонгай-Камфа. После революции стал учиться, заниматься общественной деятельностью. Во время антиколониальной войны против французских захватчиков, находясь во вражеском тылу, участвовал в забастовочной борьбе шахтеров и написал об этом свое первое крупное произведение — роман «Угольный бассейн» (1951). О новой жизни в шахтерском крае рассказал писатель в романе «Шахтеры» (1961). В 1971 году вышла повесть Во Хюи Тама «Шагай вперед, шагай». Ее действие развертывается во время агрессивной войны США против ДРВ. Им написано также много рассказов, в том числе «Парус», взятый нами из сборника «Между двумя порывами муссонного ветра».

■

ЭВА ШТРИТТМАТТЕР — EWA STRITTMATTER (род. в 1930 г.).

На страницах литературной печати Германской Демократической Республики Эва Штриттматтер несколько лет выступала с критическими статьями и эссе. С 1967 года стали появляться ее стихи, и вскоре она завоевала широкое признание немецких читателей как поэтесса. Эвой Штриттматтер написаны также несколько книжек для детей.

В этом номере публикуется цикл ее стихов.

■

ЯН КОЗАК — JAN KOZÁK (род. в 1921 г.).

Чехословацкий писатель-прозаик, председатель Союза чешских писателей. По образованию — экономист и историк. Многие годы работал в Академии общественных наук при ЦК КПЧ, читал лекции по истории партии.

В 1962 году внимание читателей и критики привлекла повесть Я. Козака «Марьяна Радвакова», в которой писатель рассказал о грандиозных переменах в словацкой деревне 50-х годов. Повесть была переведена на многие языки, в СССР она вышла на русском и литовском. Перелому в жизни словацкой деревни, переменам в жизни и сознании людей, борьбе нового со старым посвящено большинство книг Я. Козака: сборник рассказов «Западня» («Léčka», 1968), романы «Сильная рука» («Silná ruka», 1966) и «Святой Михал» («Svatý Michal», 1971), за который писатель был удостоен Государственной премии имени Клемента Готвальда.

В 1970 году Ян Козак выпустил книгу «На охоте в Бамбуйке» («Na lovu v Bambujce»), в которой рассказал о поразившей его забайкальской тайге, о ее природе и людях.

■

ЛУИС МЕРИНО РЕЙЕС — LUIS MERINO REYES (род. в 1912 г.).

Чилийский поэт, прозаик, литературовед. Лауреат нескольких литературных премий. До недавнего времени был президентом Общества писателей Чили. Его перу принадлежат романы «Горький полив» («Regazo amargo», 1955), «Последнее пламя» («Ultima llama», 1960), «Жестокие буржуа» («Los feroces burgueses», 1964), ряд поэтических сборников и другие произведения.

Статья «Первые шаги» получена в рукописи.

■

КАРЛ ГРЮНБЕРГ — KARL GRÜNBERG (1891—1972).

Немецкий писатель и общественный деятель. В двадцатые годы был одним из основателей Союза пролетарских революционных писателей Германии. После прихода фашизма к власти заключен в концлагерь. В годы войны стал участником антифашистского Сопротивления.

Широкую известность принес ему роман «Пылающий Рур» («Brennende Ruhr», 1928) — о революционной борьбе немецкого пролетариата. К наиболее значительным произведениям писателя принадлежат роман «Квартет теней» («Das Schattenquartett», 1948), пьесы о рабочем классе «Золотом льется сталь» («Golden fließt der Stahl», 1949), «Электроды» («Elektroden», 1954) и др.

На русский язык переведены роман «Пылающий Рур», сборник рассказов «Побег из отеля «Эдем» и отдельные рассказы, печатавшиеся в журналах.

Литературная деятельность Карла Грюнберга была отмечена Национальной премией ГДР, он был удостоен также многих правительственных наград.

Мы публикуем главы из его книги «От тайги до Кавказа» («Von der Taiga bis zum Kaukasus», 1970), написанной автором на основе впечатлений от пребывания в нашей стране в разные годы.

■

ДИМИТР КИРКОВ (род. в 1945 г.).

Болгарский критик и литературовед, автор ряда проблемных статей по вопросам современной литературы. Его историко-теоретическое исследование «Организация художественного материала в коротком рассказе» отмечено премией университетского Совета научных обществ.

Статья «Проникновение в болгарский характер» получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва 109017, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 7/VII 1972 г. А 05980 Подписано к печати 10/VIII 1972 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+ 1 вкл. Уч.-изд. л. 28,28. Зак. 2333.
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К читателям

В 1973 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
Пять часов с Марио (роман).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Играем Стриндберга (пьеса).

ЯСУНАРИ КАВАБАТА (Япония)
Голос гор (роман).

ГЕРМАН КАНТ (ГДР)
Импрессум (роман).

ЦИРИЛ КОСМАЧ (Югославия)
Рассказы.

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО ЛОПЕС (Куба)
Последняя женщина и близкий бой (роман).

ПЬЕР РУАНЕ (Франция)
Кастелль (роман).

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия).
Прощай, мой друг! (роман).

МАНУЭЛЬ СКОРСА (Перу)
Бьют барабаны над Ранкас (роман).

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН (США)
Встречай меня в долине Глен зеленой (роман).

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР (США)
Шум и ярость (роман).

ФРЕДЕРИК ФОРСАЙТ (Англия)
День Шакала (роман).

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК (ФРГ)
Дон Кихот из Кёльна (роман).